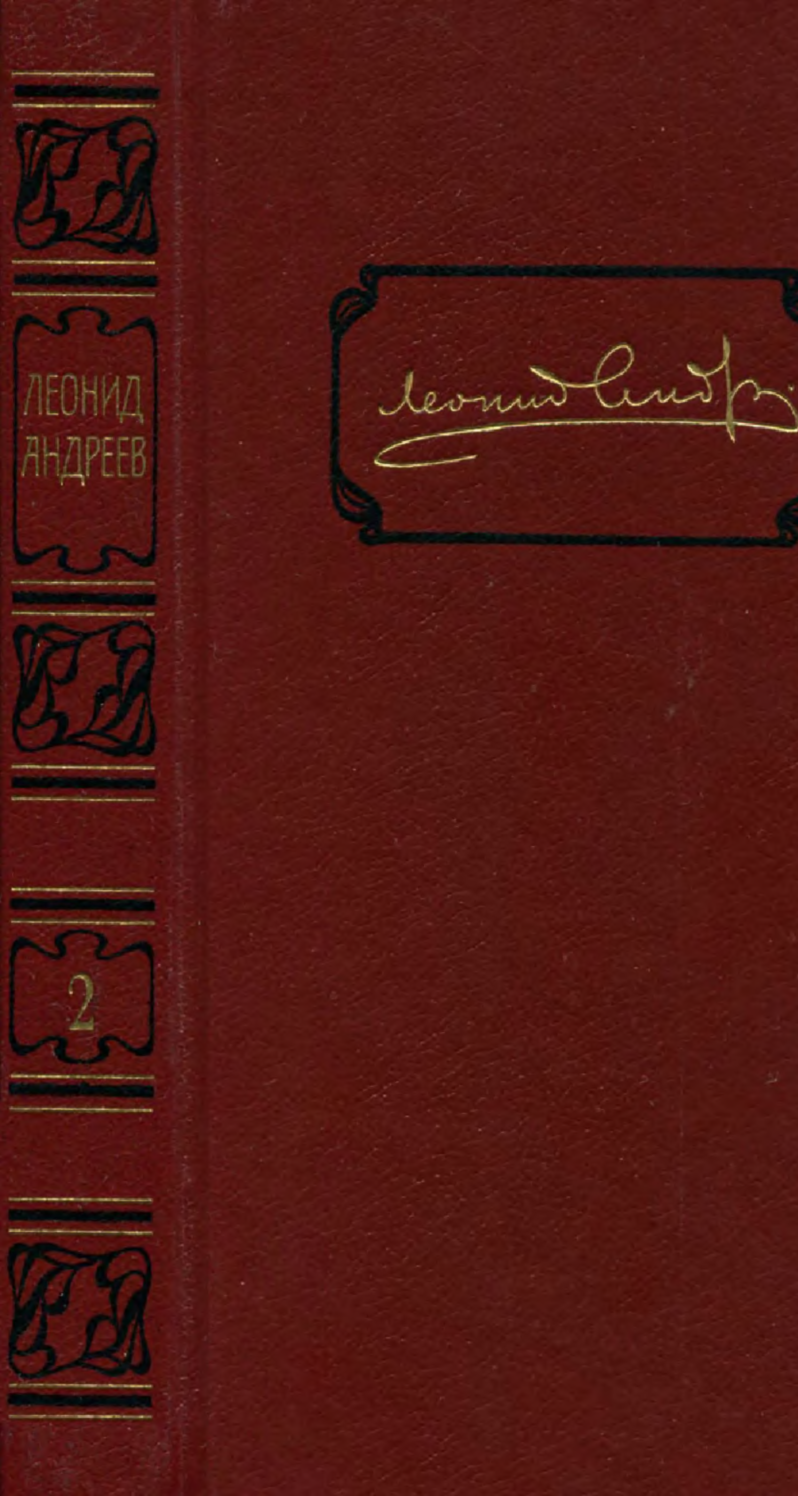
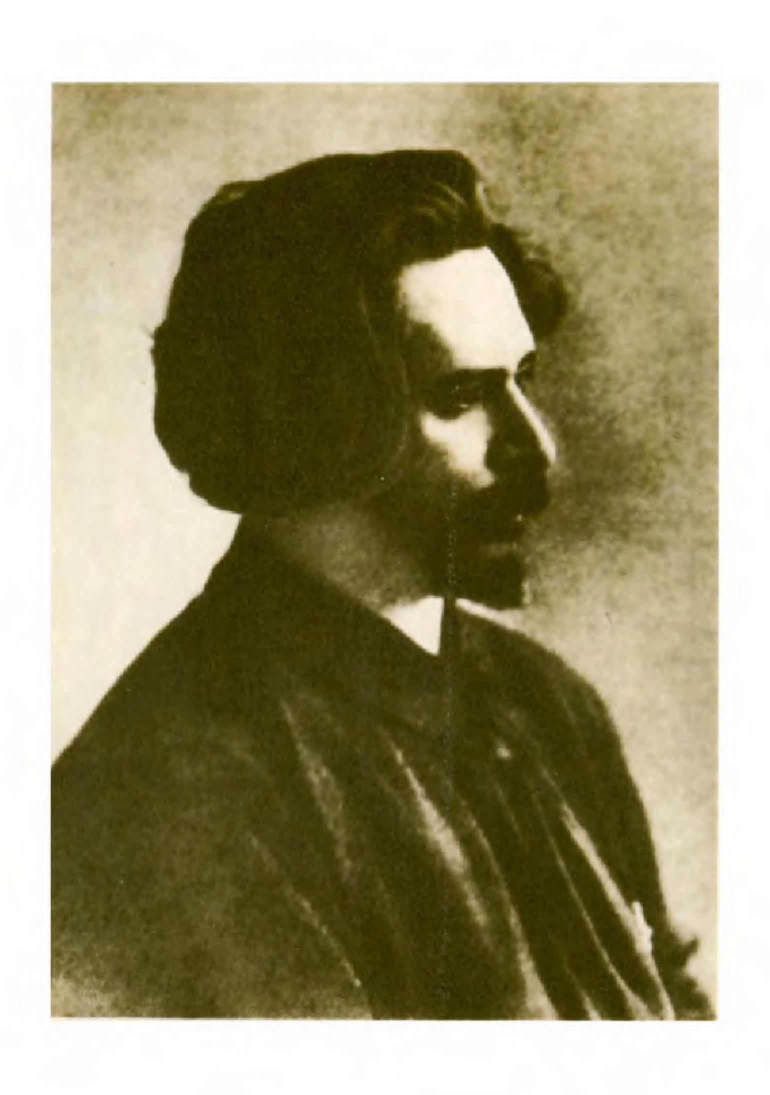
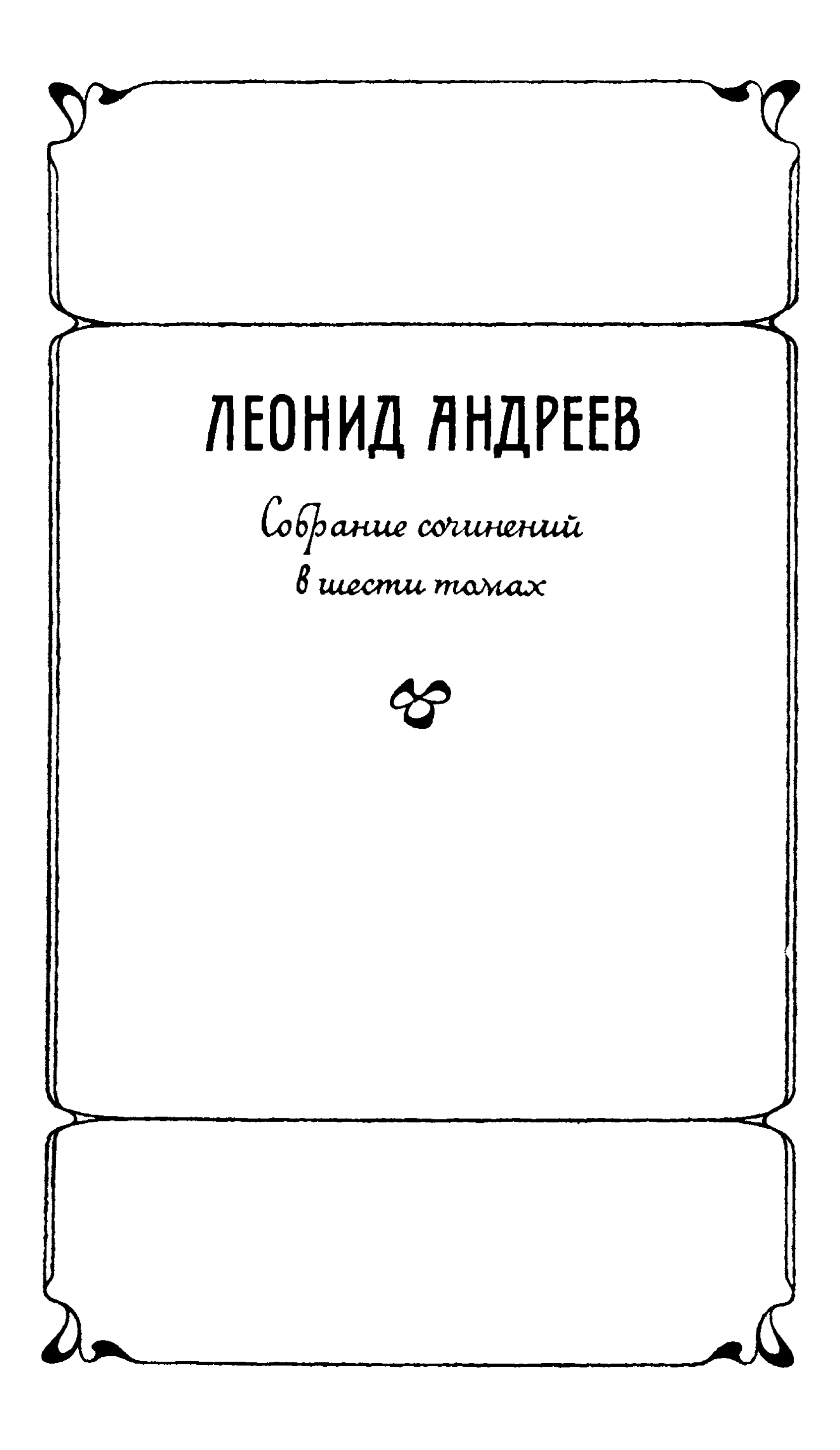

ЛЕОНИД
АНДРЕЕВ
2
Леонид Андреев





ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений в шести томах



Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1990

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений · Том второй

РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
1904–1907

Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1990

ББК 84Р1
А65

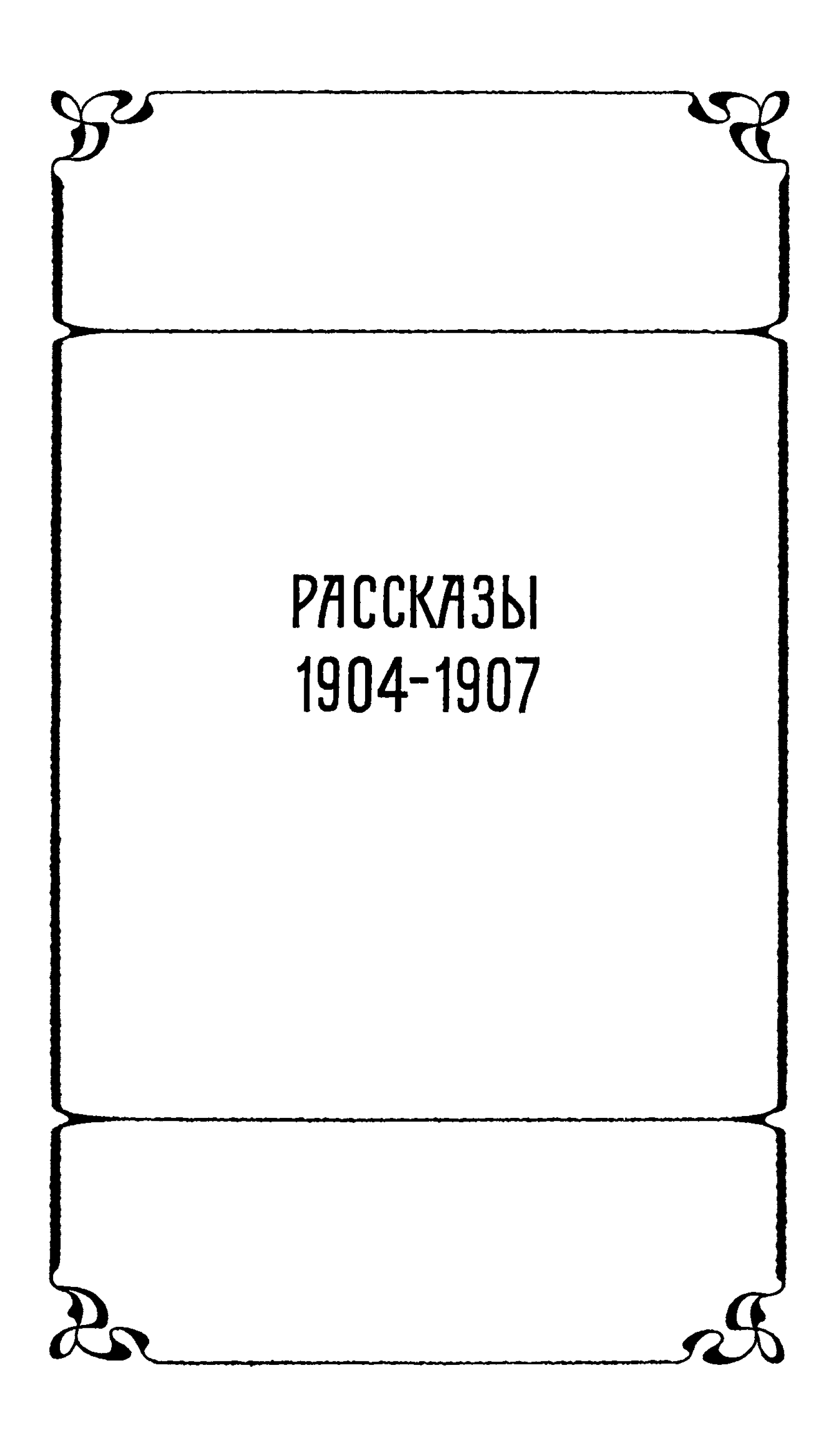
Составление и подготовка текста
Е. М. ЖЕЗЛОВОЙ

Комментарии
А. В. БОГДАНОВА

Оформление художника
Г. КОТЛЯРОВОЙ

А $\frac{4702010101-157}{028(01)-90}$ Подписное

ISBN 5-280-00979-2 (Т. 2)
ISBN 5-280-00978-4



РАССКАЗЫ 1904-1907



ВОР

I

Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, собрался в гости к своей прежней любовнице, проститутке, жившей верст за семьдесят от Москвы. На вокзале он сидел в буфете I класса, ел пирожки и пил пиво, и ему прислуживал человек во фраке; а потом, когда все двинулись к вагонам, вмешался в толпу и как-то нечаянно, подчиняясь общему возбуждению, вытащил кошелек у соседа, пожилого господина. Денег у Юрасова было достаточно, даже много, и эта случайная, необдуманная кража могла только повредить ему. Так оно и случилось. Господин, кажется, заметил покражу, потому что очень пристально и странно взглянул на Юрасова, и хотя не остановился, но несколько раз оглянулся на него. Второй раз он увидел господина уже из окна вагона: очень взволнованный и растерянный, со шляпой в руках, господин быстро шел по платформе и заглядывал в лица, смотрел назад и кого-то искал в окнах вагонов. К счастью, пробил третий звонок, и поезд тронулся. Юрасов осторожно выглянул: господин, все еще со шляпой в руках, стоял в конце платформы и внимательно осматривал пробегающие вагоны, точно отсчитывая их; и в его толстых ногах, расставленных неловко, как попало, чувствовалась все та же растерянность и удивление. Он стоял, а ему, вероятно, казалось, что он идет: так смешно и необыкновенно были расставлены его ноги.

Юрасов выпрямился, выгнув назад колена, отчего почувствовал себя еще выше, прямее и молодцеватее, и с ласковой доверчивостью обеими руками расправил усы. Усы у него были красивые, огромные, светлые, как два золотые серпа, выступавшие по краям лица; и, пока пальцы нежились

приятным ощущением мягких и пушистых волос, серые глаза с беспредметной наивной суровостью глядели вниз — на переплетающиеся рельсы соседних путей. Со своими металлическими отблесками и бесшумными извивами они похожи были на торопливо убегающих змей.

Сосчитав в уборной украденные деньги — их было двадцать четыре рубля с мелочью,— Юрасов брезгливо повертел в руках кошелек: был он старый, засаленный, и плохо закрывался, и вместе с тем от него пахло духами, как будто очень долго он находился в руках женщины. Этот запах, немного нечистый, но возбуждающий, приятно напомнил Юрасову ту, к которой он ехал, и, улыбнувшись, веселый, беспечный, расположенный к дружелюбной беседе, он пошел в вагон. Теперь он старался быть как все, вежливым, приличным, скромным; на нем было надето пальто из настоящего английского сукна и желтые ботинки, и он верил в них, в пальто и в ботинки, и был уверен, что все принимают его за молодого немца, бухгалтера из какого-нибудь солидного торгового дома. По газетам он всегда следил за биржей, знал курс всех ценных бумаг, умел разговаривать о коммерческом деле, и иногда ему казалось, что он, действительно, не крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи и сидевший в тюрьме, а молодой порядочный немец, по фамилии Вальтер, по имени Генрих. Генрих — звала его та, к которой он ехал; товарищи звали его «немцем».

— Это место свободно? — вежливо осведомился он, хотя сразу видно было, что место свободно, так как на двух диванчиках сидело только двое, отставной офицер, старичок, и дама с покупками, по-видимому, дачница. Никто ему не ответил, и с изысканной аккуратностью он опустился на мягкие пружины дивана, осторожно вытянул длинные ноги в желтых ботинках и снял шляпу. Потом дружелюбно оглядел старичка-офицера и даму и положил на колено свою широкую белую руку так, чтобы сразу заметили на мизинце перстень с огромным брильянтом. Брильянт был фальшивый и сверкал старательно и голо, и все действительно заметили, но ничего не сказали, не улыбнулись и не стали дружелюбнее. Старик перевернул газету на новую страницу, дама, молоденькая и красивая, уставилась в окно. И уже со смутным предчувствием, что он открыт, что его опять почему-то не приняли за молодого немца, Юрасов тихонько спрятал руку, которая показалась ему слишком большой и слишком белою, и вполне приличным голосом спросил:

— На дачу изволите ехать?

Дама сделала вид, что не слышит и что она очень задума-

лась. Юрасов хорошо знал это противное выражение лица, когда человек безуспешно и злобно прячет насторожившееся внимание и становится чужим, мучительно чужим. И, отвернувшись, он спросил у офицера:

— Будьте любезны справиться в газете, как стоят Рыбинские? Я что-то не припомню.

Старик медленно отложил газету и, сурово оттянув губы книзу, уставился на него подслеповатыми, как будто обиженными глазами.

— Что? Не слышу!

Юрасов повторил, и, пока он говорил, старательно разделяя слова, старик-офицер неодобрительно оглядел его, как внука, который нашалил, или солдата, у которого не все по форме, и понемногу начал сердиться. Кожа на его черепе между редких седых волос покраснела, и подбородок задвигался.

— Не знаю,— сердито буркнул он.— Не знаю. Ничего тут нет такого. Не понимаю, о чем только люди спрашивают.

И, уже снова взявшись за газетный лист, несколько раз опускал его, чтобы взглянуть сердито на надоедливого господина. И тогда все люди в вагоне показались Юрасову злыми и чуждыми, и странно стало, что он сидит во II классе на мягком пружинном диване, и с глухой тоской и злобой вспоминалось, как постоянно и всюду среди порядочных людей он встречал эту иногда затаенную, а часто открытую, прямую вражду. На нем пальто из настоящего английского сукна, и желтые ботинки, и драгоценный перстень, а они как будто не видят этого, а видят что-то другое, свое, чего он не может найти ни в зеркале, ни в сознании. В зеркале он такой же, как и все, и даже лучше. На нем не написано, что он крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, а не молодой немец Генрих Вальтер. И это неуловимое, непонятное, предательское, что видят в нем все, а только он один не видит и не знает, будит в нем обычную глухую тревогу и страх. Ему хочется бежать, и, оглядываясь подозрительно и остро, совсем теперь не похожий на честного немца-бухгалтера, он выходит большими и сильными шагами.

II

Было начало июня месяца, и все перед глазами, до самой дальней неподвижной полоски лесов, зеленело молодо и сильно. Зеленела трава, зеленели посадки в оголенных еще огородах, и все было так углублено в себя, так занято собою,

так глубоко погружено в молчаливую творческую думу, что, если бы у травы и у деревьев было лицо, все лица были бы обращены к земле, все лица были бы задумчивы и чужды, все уста были бы скованы огромным бездонным молчанием. И Юрасов, бледный, печальный, одиноко стоявший на зыбкой площадке вагона, тревожно почувствовал эту стихийную необъятную думу, и от прекрасных, молчаливо-загадочных полей на него повеяло тем же холодом отчуждения, как от людей в вагоне. Высоко над полями стояло небо и тоже смотрело в себя; где-то за спиной Юрасова заходило солнце и по всему простору земли расстилало длинные, прямые лучи,— и никто не смотрел на него в этой пустыне, никто не думал о нем и не знал. В городе, где Юрасов родился и вырос, у домов и улиц есть глаза, и они смотрят ими на людей, одни враждебно и зло, другие ласково,— а здесь никто не смотрит на него и не знает о нем. И вагоны задумчивы: тот, в котором находится Юрасов, бежит нагнувшись и сердито покачиваясь; другой, сзади, бежит ни быстрее ни медленнее, как будто сам собой, и тоже как будто смотрит в землю и прислушивается. А по низу, под вагонами, стелется разноголосый грохот и шум: то как песня, то как музыка, то как чей-то чужой и непонятный разговор — и все о чужом, все о далеком.

Есть тут и люди. Маленькие, они что-то делают в этой зеленой пустыне, и им не страшно. И даже весело им: вот откуда-то принесся обрывок песни и утонул в грохоте и музыке колес. Есть тут и дома. Маленькие, они разбросались свободно, и окна их смотрят в поле. Если ночью подойти к окну, то увидишь поле — открытое, свободное, темное поле. И сегодня, и вчера, и каждый день, и каждую ночь проходят здесь поезда, и каждый день раскидывается здесь это тихое поле с маленькими людьми и домами. Вчера Юрасов в эту пору сидел в ресторане «Прогресс» и не думал ни о каком поле, а оно было такое же, как сегодня, такое же тихое, красивое, о чем-то думающее. Вот прошла небольшая роща из старых больших берез с грачиными гнездами в зеленых верхушках. И вчера, пока Юрасов сидел в ресторане «Прогресс», пил водку, галдел с товарищами и смотрел на аквариум, в котором плавают бессонные рыбы,— все так же глубоко покойно стояли эти березы, и мрак был под ними и вокруг них.

Со странной мыслью, что только город — настоящее, а это все призрак, и что если закрыть глаза и потом открыть их, то никакого поля не будет,— Юрасов крепко зажмурился и притих. И сразу стало так хорошо и необыкновенно,

что уже не захотелось снова открывать глаза, да и не нужно было: исчезли мысли и сомнения и глухая постоянная тревога; тело безвольно и сладко колыхалось в такт дыханиям вагона, и по лицу нежно струился теплый и осторожный воздух полей. Он доверчиво поднимал пушистые усы и шелестел в ушах, а внизу, под ногами расстилался ровный и мелодичный шум колес, похожий на музыку, на песню, на чей-то разговор о далеком, грустном и милом. И Юрасову смутно грезилось, что от самых ног его, от склоненной головы и лица, трепетно чувствующего мягкую пустоту пространства, начинается зелено-голубая бездна, полная тихих слов и робкой, притаившейся ласки. И так странно — как будто где-то далеко шел тихий и теплый дождь.

Поезд замедлил бег и остановился на мгновение, на одну минуту. И сразу со всех сторон Юрасова охватила такая необъятная и сказочная тишина, как будто это была не минута, пока стоял поезд, а годы, десятки лет, вечность. И все было тихо: темный, облитый маслом маленький камень, прильнувший к железному рельсу, угол красной крытой платформы, низенькой и пустынной, трава на откосе. Пахло березовым листом, лугами, свежим навозом — и этот запах был все той же всевременною необъятной тишиною. На смежное полотно, неуклюже цепляясь за поручни, соскочил какой-то пассажир и пошел. И такой был он странный, необыкновенный в этой тишине, как птица, которая всегда летает, а теперь вздумала пойти. Здесь нужно летать, а он шел, и тропинка была длинная, безвестная, а шаги его маленькие и короткие. И так смешно перебирал он ногами — в этой необъятной тишине.

Бесшумно, точно сам стыдясь своей громогласности, двинулся поезд и только за версту от тихой платформы, когда бесследно сгинула она в зелени леса и полей, свободно загрохотал он всеми звеньями своего железного туловища. Юрасов в волнении прошелся по площадке, такой высокий, худощавый, гибкий, бессознательно расправил усы, глядя куда-то вверх блестящими глазами, и жадно прильнул к железной задвижке, с той стороны вагона, где опускалось за горизонт красное огромное солнце. Он что-то нашел; он понял что-то, что всю жизнь ускользало от него и делало эту жизнь такой неуклюжею и тяжелой, как тот пассажир, которому нужно было бы лететь, как птице, а он шел.

— Да, да,— серьезно и озабоченно твердил он и решительно покачивал головою.— Конечно, так. Да. Да.

И колеса гулко и разноголосо подтверждали: «Конечно, так, да, да». «Конечно, так, да, да». И как будто так и нужно

было: не говорить, а петь,— Юрасов запел сперва тихонько, потом все громче и громче, пока не слился его голос со звоном и грохотом железа. И тактом для этой песни был стук колес, а мелодией — вся гибкая и прозрачная волна звуков. Но слов не было. Они не успевали сложиться; далекие и смутные, и страшно широкие, как поле, они пробегали где-то с безумной быстротою, и человеческий голос свободно и легко следовал за ними. Он поднимался и падал; и стлался по земле, скользя по лугам, пронизывая лесную чащу; и легко возносился к небу, теряясь в его безбрежности. Когда весною выпускают птицу на свободу, она должна лететь так, как этот голос: без цели, без дороги, стремясь исчертить, обнять, почувствовать всю звонкую ширь небесного пространства. Так, вероятно, запели бы сами зеленые поля, если бы дать им голос; так поют в летние тихие вечера те маленькие люди, что копошатся над чем-то в зеленой пустыне.

Юрасов пел, и багровый отсвет заходящего солнца горел на его лице, на его пальто из английского сукна и желтых ботинках. Он пел, провожая солнце, и все грустнее становилась его песня: как будто почувствовала птица звонкую ширь небесного пространства, содрогнулась неведомою тоскою и зовет кого-то: приди.

Солнце зашло, и серая паутинка легла на тихую землю и тихое небо. Серая паутина легла на лицо, меркнут на нем последние отблески заката, и мертвеет оно. Приди ко мне! отчего ты не приходишь? Солнце зашло, и темнеют поля. Так одиноко, и так больно одинокому сердцу. Так одиноко, так больно. Приди. Солнце зашло. Темнеют поля. Приди же, приди!

Так плакала его душа. А поля все темнели, и только небо над ушедшим солнцем стало еще светлее и глубже, как прекрасное лицо, обращенное к тому, кого любят и кто тихо, тихо уходит.

III

Проследовал контроль, и кондуктор вскользь грубо заметил Юрасову:

— На площадке стоять нельзя. Идите в вагон.

И ушел, сердито хлопнув дверью. И так же сердито Юрасов послал ему вдогонку:

— Болван!

Ему подумалось, что все это, и грубые слова и сердитое хлопанье дверью, все это идет оттуда, от порядочных людей

в вагоне. И снова, чувствуя себя немцем Генрихом Вальтером, он обидчиво и раздраженно, высоко поднимая плечи, говорил воображаемому солидному господину:

— Нет, какие грубияны! Всегда и все стоят на площадке, а он: нельзя. Черт знает что!

Потом была остановка с ее внезапной и властной тишиною. Теперь, к ночи, трава и лес пахли еще сильнее, и сходившие люди уже не казались такими смешными и тяжелыми: прозрачные сумерки точно окрылили их, и две женщины в светлых платьях, казалось, не пошли, а полетели, как лебеди. И снова стало хорошо и грустно, и захотелось петь,— но голос не слушался, на язык подвертывались какие-то ненужные и скучные слова, и песня не выходила. Хотелось задуматься, заплакать сладко и безутешно, а вместо того все представляется какой-то солидный господин, которому он говорит вразумительно и веско:

— А вы заметили, как поднимаются сормовские?

И темные сдвинувшиеся поля снова думали о чем-то своем, были непонятны, холодны и чужды. Разноголосо и бестолково толкались колеса, и казалось, что все они цепляются друг за друга и друг другу мешают. Что-то стучало между ними и скрипело ржавым скрипом, что-то отрывисто шаркало: было похоже на толпу пьяных, глупых, бестолково блуждающих людей. Потом эти люди стали собираться в кучку, перестраиваться, и все запестрели яркими кафешантанными костюмами. Потом двинулись вперед и все разом пьяным, разгульным хором гаркнули:

— Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Так омерзительно живо вспомнилась Юрасову эта песня, которую он слышал во всех городских садах, которую пели его товарищи и он сам, что захотелось отмахиваться от нее руками, как от чего-то живого, как от камней, брошенных из-за угла. И такая жестокая власть была в этих жутко бессмысленных словах, липких и наглых, что весь длинный поезд сотнею крутящихся колес подхватил их:

— Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Что-то бесформенное и чудовищное, мутное и липкое тысячами толстых губ присасывалось к Юрасову, целовало его мокрыми нечистыми поцелуями, гоготало. И орало оно тысячами глоток, свистало, выло, клубилось по земле, как бешеное. Широкими круглыми рожами представлялись колеса, и сквозь бесстыжий смех, уносясь в пьяном вихре, каждое стучало и выло:

— Маланья моя, лупо-гла-за-я...

И только поля молчали. Холодные и спокойные, глубоко

погруженные в чистую творческую думу, они ничего не знали о человеке далекого каменного города и чужды были его душе, встревоженной и ошеломленной мучительными воспоминаниями. Поезд уносил Юрасова вперед, а эта наглая и бессмысленная песня звала его назад, в город, тащила грубо и жестоко, как беглеца-неудачника, пойманного на пороге тюрьмы. Он еще упирается, он еще тянется руками к неизведанному счастливому простору, а в голове его уже встают, как роковая неизбежность, жестокие картины неволи среди каменных стен и железных решеток. И то, что поля так холодны и равнодушны и не хотят ему помочь, как чужому, наполняет Юрасова чувством безысходного одиночества. И Юрасов пугается — так неожиданно, так огромно и ужасно это чувство, выбрасывающее его из жизни, как мертвого. Если бы он заснул на тысячу лет и проснулся среди нового мира и новых людей, он не был бы более одинок, более чужд всему, чем теперь. Он хочет вызвать из памяти что-нибудь близкое, милое, но его нет, а наглая песня ревет в порабощенном мозгу и родит печальные и жуткие воспоминания, бросающие тень на всю его жизнь. Вот тот же сад, где пели эту «Маланью». И в этом саду он украл что-то, и его ловили, и все были пьяны: и он, и те, кто гнались за ним с криком и свистом. Он спрятался где-то, в каком-то темном углу, в черной дыре, и его потеряли. Он долго сидел там, возле каких-то старых досок, из которых торчали гвозди, рядом с развалившейся бочкою засохшей извести; чувствовались свежесть и покой разрыхленной земли, и молодым тополем сильно пахло, а по дорожкам, недалеко от него, гуляли разодетые люди, и музыка играла. Прошла мимо серая кошка, задумчивая, равнодушная к говору и музыке,— такая неожиданная в этом месте. И она была добрая кошка: Юрасов позвал ее: «кыс-кыс», и она подошла, помурлыкала, потерлась у его колен и дала поцеловать себя в мягкую мордочку, пахнувшую мехом и селедкой. От его поцелуев она зачихала и ушла, такая важная и равнодушная, как высокопоставленная дама, а он после этого вылез из своей засады, и его схватили.

Но там была хоть кошка, а здесь только равнодушные и сытые поля, и Юрасов начинает ненавидеть их всею силою своего одиночества. Если бы дать ему силу, он забросал бы их камнями; он собрал бы тысячу людей и велел бы вытоптать догола нежную лживую зелень, которая всех радует, а из его сердца пьет последнюю кровь. Зачем он поехал? Теперь он сидел бы в ресторане «Прогресс», и пил бы вино, и разговаривал, и смеялся. И он начинает ненавидеть ту,

к которой едет, убогую и грязную подругу своей грязной жизни. Теперь она богатая и сама содержит девушек для продажи; она любит его и дает ему денег, сколько он захочет, а он приедет и изобьет ее до крови, до поросячьего визга. А потом он напьется пьян и будет плакать, душить себя за горло и петь, рыдая:

— Маланья моя...

Но колеса уже не поют. Устало, как больные дети, они жалобно рокочут и точно жмутся друг к другу, ища ласки и покоя. С высоты спокойно глядит на него строгое звездное небо, и со всех сторон обнимает его строгая, девственная тьма полей, и одинокие огоньки в ней — как слезы чистой жалости на прекрасном задумчивом лице. А далеко впереди маячит зарево станционных огней, и оттуда, от этого светлого пятна, вместе с теплым и свежим воздухом ночи, прилетают мягкие и нежные звуки музыки. Кошмар исчез,— и с привычной легкостью человека, который не имеет места на земле, Юрасов сразу забывает его и взволнованно прислушивается, улавливая знакомую мелодию.

— Танцуют! — говорит он и вдохновенно улыбается и счастливыми глазами оглядывается кругом, поглаживая себя руками, точно обмываясь.— Танцуют! Ах, ты, черт возьми. Танцуют!

Расправляет плечи, незаметно выгибается в такт знакомому танцу, весь наполняется живым чувством ритмического красивого движения. Он очень любит танцы и, когда танцует, становится очень добр, ласков и нежен, и уже не бывает ни немцем Генрихом Вальтером, ни Федором Юрасовым, которого постоянно судят за кражи, а кем-то третьим, о ком он ничего не знает. И когда с новым порывом ветра рой звуков уносится в темное поле — Юрасов пугается, что это навсегда, и чуть не плачет. Но еще более громкими и радостными, словно сил набравшись в темном поле, возвращаются умчавшиеся звуки, и Юрасов счастливо улыбается:

— Танцуют. Ах, ты, черт возьми!

IV

Возле самой станции танцевали. Дачники устроили бал: пригласили музыку, навешали вокруг площадки красных и синих фонариков, загнав ночную тьму на самую верхушку деревьев. Гимназисты, барышни в светлых платьях, студенты, какой-то молоденький офицер со шпорами, такой молоденький, как будто он нарочно нарядился военным,—

плавно кружились по широкой площадке, поднимая песок ногами и развевающимися платьями. При обманчивом сумеречном свете фонариков все люди казались красивыми, а сами танцующие — какими-то необыкновенными существами, трогательными в своей воздушности и чистоте. Кругом ночь, а они танцуют; если только на десять шагов отойти в сторону от круга, необъятный всевластный мрак поглотит человека,— а они танцуют, и музыка играет для них так обаятельно, так задумчиво и нежно.

Поезд стоит пять минут, и Юрасов вмешивается в толпу любопытных: темным бесцветным кольцом облегли они площадку и цепко держатся за проволоку, такие ненужные, бесцветные. И одни из них улыбаются странною осторожною улыбкой, другие хмуры и печальны — той особенной бледной печалью, какая родится у людей при виде чужого веселья. Но Юрасову весело: вдохновенным взглядом знатока он приглядывается к танцорам, одобряет, легонько притоптывает ногой и внезапно решает:

— Не поеду. Останусь танцевать!

Из круга, небрежно раздвигая толпу, выходят двое: девушка в белом и высокий юноша, почти такой же высокий, как Юрасов. Вдоль полусонных вагонов, в конец дощатой платформы, где сторожко насупился мрак, идут они красивые и как будто несут с собою частицу света: Юрасову положительно кажется, что девушка светится,— так бело ее платье, так черны брови на ее белом лице. С уверенностью человека, который хорошо танцует, Юрасов нагоняет идущих и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, где здесь можно достать билеты на танцы?

У юноши нет усов. Строгим взглядом вполоборота он окидывает Юрасова и отвечает:

— Здесь только свои.

— Я проезжий. Меня зовут Генрих Вальтер.

— Вам же сказано: здесь только свои.

— Меня зовут Генрих Вальтер, Генрих Вальтер.

— Послушайте! — Юноша угрожающе останавливается, но девушка в белом увлекает его.

Если бы она только взглянула на Генриха Вальтера! Но она не смотрит и, вся белая, светящаяся, как облако противу луны, долго еще светится во мраке и бесшумно тает в нем.

— И не надо! — гордо вслед им шепчет Юрасов, а в душе его становится так бело и холодно, как будто снег там выпал — белый, чистый, мертвый снег.

Поезд еще стоит почему-то, и Юрасов прохаживается

вдоль вагонов, такой красивый, строгий и важный в своем холодном отчаянии, что теперь никто не принял бы его за вора, трижды судившегося за кражи и много месяцев сидевшего в тюрьме. И он спокоен, все видит, все слышит и понимает, и только ноги у него как резиновые — не чувствуют земли, да в душе что-то умирает, тихо, спокойно, без боли и содрогания. Вот и умерло оно.

Музыка снова играет, и в ее плавные танцующие звуки вмешиваются отрывки странного, пугающего разговора:

— Слушайте, кондуктор, отчего не идет поезд?

Юрасов замедляет шаги и вслушивается. Кондуктор сзади равнодушно отвечает:

— Стоит, стало быть, есть причина. Машинист танцевать пошел.

Пассажир смеется, и Юрасов идет дальше. На обратном пути он слышит, как два кондуктора говорят:

— Будто он в этом поезде.

— А кто же его видел?

— Да никто не видел. Жандарм сказывал.

— Врет твой жандарм, вот что. Тоже не глупее его люди...

Бьет звонок, и Юрасов одну минуту в нерешимости. Но с той стороны, где танцы, идет девушка в белом с кем-то под руку, и он вскакивает на площадку и переходит на другую ее сторону. Так он и не видит ни девушки в белом, ни танцующих; только музыка в одно мгновение обдает его затылок волною горячих звуков, и все пропадает в темноте и молчании ночи. Он один на зыбкой площадке вагона, среди смутных силуэтов ночи; все движется, все идет куда-то, не задевая его, такое постороннее и призрачное, как образы сна для спящего человека.

V

Толкнув дверью Юрасова и не заметив его, через площадку быстро прошел кондуктор с фонарем и скрылся за следующей дверью. Ни его шагов, ни даже хлопанья двери не было слышно за грохотом поезда, но вся его смутная, расплывающаяся фигура с торопливыми наступающими движениями произвела впечатление мгновенного, резко оборванного вскрика. Юрасов похолодел, что-то быстро соображая — и, как огонь, вспыхнула в его мозгу, в его сердце, во всем его теле одна огромная и страшная мысль: его ловят. О нем телеграфировали, его видели, его узнали и теперь ловят по вагонам. Тот «он», о котором так загадочно

говорили кондуктора, есть именно Юрасов: и так страшно — узнать и найти себя в каком-то безличном «он», о котором говорят посторонние незнакомые люди.

И теперь они продолжают говорить о «нем», ищут «его». Да, там, от последнего вагона идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарями, они рассматривают пассажиров, заглядывают в темные углы, будят спящих, шепчутся между собою — и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной неизбежностью приближаются к «нему», к Юрасову, к тому, кто стоит на площадке и прислушивается, вытянув шею. И поезд несется с свирепой быстротой, и колеса уже не поют и не говорят. Они кричат железными голосами, они шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою — остервенелая стая разбуженных псов.

Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: спрыгнуть при такой быстроте нельзя, до ближайшей остановки еще далеко; нужно пройти на перед поезда и там ждать. Пока они обыщут все вагоны, может что-нибудь случиться — та же остановка и замедление хода, и он соскочит. И в первую дверь он входит спокойно, улыбаясь, чтобы не казаться подозрительным, держа наготове изысканно-вежливое и убедительное «pardon!» — но в полутемном вагоне III класса так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода и теряется в чувстве нового неожиданного страха. Как пробиться сквозь эту стену? Люди спят, но их цепкие ноги отовсюду тянутся к проходу и загораживают его: они выходят откуда-то снизу, они свисают с полок, задевая голову и плечи, они перекидываются с одной лавочки на другую — вялые, как будто податливые и страшно враждебные в своем стремлении вернуться на прежнее место, принять прежнюю позу. Как пружины, они сгибаются и выпрямляются вновь, грубо и мертво толкая Юрасова, наводя на него ужас своим бессмысленным и грозным сопротивлением. Наконец он у двери, но, как железные болты, ее перегораживают две ноги в огромных сборчатых сапогах; злобно отброшенные, они упрямо и тупо возвращаются к двери, упираются в нее, выгибаются так, будто у них совсем нет костей — и в узенькую щель едва пролезает Юрасов. Он думал, что это уже площадка, а это только новое отделение вагона — с тою же частою сетью нагроможденных вещей и точно оторванных человеческих членов. И когда, нагнувшись, как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как

у быка, и темный ужас животного, которое преследуют, и оно ничего не понимает, охватывает его черным заколдованным кругом. Он дышит тяжело, прислушивается, ловит в грохоте колес звуки приближающейся погони и, нагнувшись, как бык, превозмогая ужас, идет к темной, безмолвной двери. А за нею снова бестолковая борьба, снова бессмысленное и грозное сопротивление злых человеческих ног.

В вагоне I класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которым не спится. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках, и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавеску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.

— Pardon! — говорит он с тоскою.— Pardon.

Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.

— Pardon! — говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкою неохотно придвигается к стене.

А потом снова эти ужасные вагоны III класса — как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.

И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая стена, на которую он измученно оперся, тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет и снова толкнет — как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, задыхаясь и стеная от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся тупо-упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всею

своею топочущей громадой они устремятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один — а их тысячи, их миллионы, они весь мир: они сзади его и впереди, и со всех сторон, и нигде нет от них спасенья.

Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах, какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, одни их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом, а там, за несколько вагонов сзади, быть может, за четыре, быть может, только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери... еще одни двери...

Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полоску, закрывающую вход, и, перегнувшись, закинул руки вверх; он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба — и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка, он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающейся материи. Это зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов ощупывает вырванный клок, как будто это самое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..

После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо с фонарями, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч, от одного конца к другому. И уже снова он хочет,

бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона — когда огненный хриплый широкозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно громкое:

— А-га-а-а!..

И когда из мрака впереди пронесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда, он отбросил железную перекладину и спрыгнул туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом,— прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.

Значения их он не понял.

Сентябрь 1904 г.

КРАСНЫЙ СМЕХ

ОТРЫВКИ ИЗ НАЙДЕННОЙ РУКОПИСИ

Часть I

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

...безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге,— шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше,— как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза,— и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом

обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались — точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный.

И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике — на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо — остановила меня. Так же торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие,— что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приоста-

навливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

— Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведет руки, и они тотчас распадутся.

— Ты что? Ты лучше сядь,— говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза — и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены,— а у него расплылись они во весь глаз: какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его

взгляде была только смерть,— но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

— Уходи! — кричу я, отступая.— Уходи!

И как будто он ждал только слова — он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать — куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то, над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло — и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

ОТРЫВОК ВТОРОЙ

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия,— остальные подбиты,— шесть человек прислуги и один офицер — я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих,— и мы, живые, бродили — как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были — как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно,— но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие, или слушал грохот,— все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова

горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате — и я их не вижу — находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы,— я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!» — но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног — и больше ничего.

В это время было уже светло, и вдруг — капнул дождь. Дождь — как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал — плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разо-

рвалась шрапнель, и тихо стало,— так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стукают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина — точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины; с тою же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие, за ним второе — и снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода,— вероятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

— Вы боитесь? — спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх — и больше ничего.— Вы боитесь? — повторил я ласково.

Губы его дергались, силясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех — красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих

изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!

А они, отчетливо и спокойно как лунатики...

ОТРЫВОК ТРЕТИЙ

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне...

ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него,— и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно, и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся груду окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Мно-

гие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом — восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составился целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели — и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.

— Красный смех,— сказал я.

Но он не понял.

— Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навылет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспоминает об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое.

— И опять пулю в грудь? — спросил я.

— Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами,— лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

— А матери послал телеграмму? — спросил я.

Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

— Что же это такое, а? Что же это? — пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.

— Что?

— Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество — разве ей втолкуешь, что такое отечество?

— Красный смех,— ответил я.

— Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова — седые. А ты...— Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: — А ты полысел. Ты заметил?

— Тут нет зеркал.

— Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из лазарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник — печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом — как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания, но скоро умолкали, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только за самоваром, увидели друг друга — увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей, знакомые лица — и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть,— были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир — мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи, и земля под ним

была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый и непонятный.

— Где мы? — спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

— На войне,— ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

— Чего он хохочет? — возмутился кто-то.— Послушайте, перестаньте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча наседала на землю, и мы с трудом различали желтые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

— А где же «Ботик»?

«Ботик» — так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах.

— Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?

— Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:

— Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

— Он только сейчас был здесь. Это ошибка.

— Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.

— И мне! И мне!

— Лимон весь.

— Что же это, господа,— с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос.— А я только ради лимона и пришел.

Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз — и замолчал. Кто-то сказал:

— Завтра наступление.

И несколько голосов раздраженно крикнули:

— Оставьте! Какое там наступление!

— Вы же сами знаете...

— Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

— Как-то теперь дома? — неопределенно спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все — до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена — и сразу замолчали, уступая непонятному.

— Дома? — закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить.— Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны — понимаете, ванны с водой — с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то паршь, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите — дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг,— вы говорите — дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошел бы теперь на улицу — мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:

— Это черт знает что. Я пойду домой.

— Домой?

— Вы не понимаете, что такое дом!..

— Домой? Слушайте: он хочет домой!

Поднялся общий смех и жуткий крик — и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали *это*. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком весе-

лая, и видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром.

А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную, молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других — одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпою, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

ОТРЫВОК ПЯТЫЙ

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

— Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

— Пять суток...— пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно поталкивая меня в бока и ноги.

— Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые...

— Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

— Голубчик, не сердитесь,— бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову.— Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказываются. Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет — он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли,— так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов —

паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.

— Что это? — спросил я, отступая.

— Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем,— бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

— Черт вас знает! — закричал я громко.— Не могли вы взять другого...

— Тише, пожалуйста, тише! — Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

— Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы взлезть — и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами — и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:

— На седьмой версте.

— А фонари забыли?

— Нет, он не пойдет.

— Сюда давай. Осади немного. Так.

Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и когда я взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

— Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоумело поводя глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

— Хорошо бы сейчас водки хлебнуть,— сказал студент.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь,

покраснел — где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце.

— Это далеко. Верст за двадцать.

— Мне холодно,— сказал доктор, ляскнув зубами.

Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц всходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

— Много раненых? — спросил я.

Он махнул рукой.

— Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

— Настоящих?

— А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

— Перестаньте,— сказал я, отворачиваясь.

— Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное.

— Мне холодно,— сказал он и улыбнулся.

— Ну вас всех к черту! — закричал я, отходя в угол вагона.— Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылок с вьющимися волосами был молодой, и когда я глядел на него, мне почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

— Вам сколько лет? — спросил я, но он не обернулся и не ответил.

Доктор покачивался.

— Мне холодно.

— Когда я подумаю,— сказал студент, не оборачиваясь,— когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога.

— Раненый?

— Нет, убитый. Голова оторвана. Только, как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.

Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

— Послушайте! — с тихим ужасом прошептал кто-то.

Как мы не слышали раньше! Отовсюду — места нельзя было точно определить — приносился ровный, поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что это стонет сама земля или небо, озаренное невсходящим солнцем.

— Пятая верста,— сказал машинист.

— Это оттуда,— показал доктор рукой вперед.

Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:

— Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!

— Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно-красная от того тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий, неслыханный стон, не имевший видимого источника,— как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу,— ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна — эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много — слишком много для этой зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждою частицею своего существа.

— Что же это! — кричал доктор и грозил кому-то кулаком.— Вы — слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определеннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза — так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безумная радость от того, что он видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

— Ну что? — И отвернулся.

Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов.

— Ты бы сел! — крикнул доктор, но он не ответил.

Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было размозжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув

меня, он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

— Я тебе в морду дам! — крикнул он и, тряся доктора, длительно и едко прибавил циничное ругательство.— Я тебе в морду дам! Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричал:

— Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:

— Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошел к стороне покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никак не мог вспомнить, где. Шагал он твердо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше.

— А они спят,— сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспылил, точно упрек касался меня.

— Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы.

— А они спят,— повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал:

— Я вам скажу. Я вам скажу.

— Что?

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил пальцем и повторял точно законченную мысль:

— Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.

И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую руку, я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам.

— Студент-то застрелился. Кажется, еще жив,— сказал я доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал:

— А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово,— он закричал сердито и угрожающе.— Я тоже! Да! И прошу вас — из-

вольте идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подошел к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

— Перестаньте,— сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него был молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови — должно быть, хватался руками.

— Ну? — сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, стариковски сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому.

— Стойте! — крикнул я, остановившись.

Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков — это ушел поезд. Я был один среди мертвых и умирающих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое,— или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле — тонкий, безнадежный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался взад и вперед, взад и вперед...

ОТРЫВОК ШЕСТОЙ

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они, видимо, узнали нас:

они подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и еще улыбались — под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и — я твердо помню это — мы все увидели, что это неприятель, и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации.

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив — жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши,— и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и — это удивительнее всего — чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие, вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненным в этом бою, отношение было вначале несколько странное,— нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти

поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, дает мне право думать, что тут была ошибка.

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь изжелта-седые, редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

— Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно.

— Что такое?

— Да так. Неладно. В наше время было попроще.

Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

— Да, неладно,— вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма.— Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:

— Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:

— Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:

— Да. Красный смех.

Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

— Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые!

Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.

— Так что же? — так же шепотом и испуганно спросил я.

— Ничего. Как здоровые!

— Красный смех,— сказал я.

— Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.

— Вы с ума сошли, доктор!

— Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.

Он охватил руками острые старческие колени и захи-

хикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

— А это вы понимаете? — таинственно спросил он.

Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:

— А это вы можете объяснить?

— Раненые,— сказал я.— Раненые.

— Раненые,— как эхо, повторил он.— Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..

С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:

— А это... вы также... понимаете?

— Перестаньте,— испуганно зашептал я.— А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:

— И никто этого не понимает.

— Вчера опять стреляли.

— И вчера стреляли. И третьего дня стреляли,— утвердительно мотнул он головой.

— Я хочу домой! — с тоскою сказал я.— Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.

Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:

— Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!

— Слушайте,— сказал доктор, глядя в сторону.— Вчера

я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали назад — в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком...

— Я хочу домой! — кричал я, затыкая уши.

И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:

— ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся, как герои — всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле — я выйду в поле, я кликну клич — я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась

палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:

— Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов — мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха,— мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими — всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином,— какой веселый смех огласит вселенную!

— Красный смех! — закричал я, перебивая.— Спасите! Опять я слышу красный смех!

— Друзья! — продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням.— Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..

ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ

...это было безбожно, это было беззаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

ОТРЫВОК ВОСЬМОЙ

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза — даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила — она очень славная и добрая женщина.

— Неужели все целы? — недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

— Одну разбили,— сказала жена рассеяно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.

Я засмеялся.

— Чего ты? — спросил брат.

— Так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик. Потрудитесь для героя! Побездельничали без меня, теперь баста, я вас подтяну,— и я в шутку, конечно, запел: «Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...»

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылен.

— Налейте-ка мне водицы отсюда,— весело приказал я.

— Ты же сейчас пил чай.

— Ничего, ничего, налейте. А ты,— сказал я жене,— возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

— Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно не ложится спать?

— Он рад, что ты вернулся. Милый, пойди к отцу.

Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.

— Отчего он плачет? — с недоумением спросил я и оглянулся кругом.— Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною, как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:

— Мы не молчим.

И сестра повторила:

— Мы все время разговариваем.

— Я похлопочу об ужине,— сказала мать и торопливо вышла.

— Да, вы молчите,— с неожиданной уверенностью повторил я.— С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменился? Да, так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

— Сейчас я принесу,— ответила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него, и — я уже видел себя в вагоне, на вокзале — это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. А они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну

и упаду в обморок,— так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

— Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно:

— Да. Ты мало изменился. Полысел немного.

— Поблагодари и за то, что голова осталась,— равнодушно ответил я.— Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня еще по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек грязи — от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

— В нашем полку только четыре офицера осталось в живых,— угрюмо сказал я.— Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

— Хорошо, я возьму,— покорно согласился брат.— Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги — это, право...

— Конечно. Я не почтальон.

Брат внезапно остановился и спросил:

— А отчего у тебя трясется голова?

— Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!

— И руки тоже?

— Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали приготовлять постель — настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло,— а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы от смеха.

— А теперь раздень-ка меня и положи,— сказал я жене.— Как хорошо!

— Сейчас, милый.

— Поскорее!

— Сейчас, милый.

— Да что же ты?

— Сейчас, милый.

Она стояла за моею спиною, у туалета, и я тщетно

поворачивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

— Что же это! — И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.

— Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это? Кому это нужно было? Ты, мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

— Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад — перед свадьбой...

ОТРЫВОК ДЕВЯТЫЙ

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

— Сам посуди: ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике — давать сознание. Главное — сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий — как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познавши истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения,— но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись

в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны,— что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

— Красный смех,— весело сказал я, плескаясь.

— И я скажу тебе правду.— Брат доверчиво положил холодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул ее.— Я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел,— объясни мне.

— Убирайся к черту! — шутливо ответил я, плескаясь.

— Вот и ты тоже,— печально сказал брат.— Никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь, а потом покрепче, и удушу,— что это будет?

— Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.

Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:

— Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

— Надеюсь,— улыбнулся я, плескаясь.

— Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый?

— Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:

— Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого, и начнется убийство. И ты знаешь,— таинственно наклонился он к моему уху,— газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов,— у человечества один разум, и он начинает

мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лед. Я должен сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума... Уже четверть часа,— тебе пора выходить из ванны.

— Немножечко еще. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать — об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

— Го-го-го! — загрохотал я, плескаясь.

— Что с тобой? — испугался брат и побледнел.

— Так. Весело, что я дома.

Он улыбнулся мне, как ребенку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался — как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

— Куда уйти? — сказал он, пожав плечами.— Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я — как щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня с силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия. И я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают,— ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой,— это было участью всех тех, кто в безумии своем становится близок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой — как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

— Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны,— легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала

груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любуясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках.

— А теперь надо работать,— серьезно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок,— и, как лягушка, привязанная на нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевельнулся — я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном, живом, безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были еще там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевельнуться, я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком,— один, лишенный возможности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

— Это ничего,— громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего.— Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращенный рай». Я могу мыслить — это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Мильтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и, когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, бессмысленную фразу о каком-то Мильтоне — и не мог.

— «Возвращенный рай», «Возвращенный рай»,— твердил я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения. Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами — длинными часами потери сознания или бесчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, но забыл, как ее зовут,— это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:

— Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они боялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было — настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они заботятся обо мне!» — подумал я, умиленный.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное — цветы и песни. Цветы и песни...

Часть II

ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель, благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию окна весь день были завешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиро-

су за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица — лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал, до восковой прозрачности трупа или подвижника, и совершенно поседел; и начал он свою безумную работу еще сравнительно молодым, а кончил ее — стариком. Иногда он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении, с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

— Конечно, я не рассчитываю на признание современников,— гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на груду пустых листков,— но будущее, но будущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь, кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неутомимо плел бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да еще мать решались подходить к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пера, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще все, что я здесь записал о войне,

взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко вожглись в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила еще одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в деревню, к родственникам, и я один во всем доме — в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время я один, и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна,— мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного отупелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель часового на своем посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль — еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя,— мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

— Сейчас прекратите войну, или...

Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно — и разве это хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает бешенство — бешенство войны, которую я ненавижу. Мне

хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, черный...

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы скорее...

ОТРЫВОК ОДИННАДЦАТЫЙ

...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рявкнула — рявкнула, как один огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рявкнула и замолчала, тяжело дыша,— а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинною палкой. Но один шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки, и когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться,— он ждет от меня всего.

Я побежал вместе с толпою, чтобы еще раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, и еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

— Кто этот, с глазами? — спросил я у конвойного.

— Офицер. Сумасшедший. Их много таких.

— Как его зовут?

— Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, приблудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!..— Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих,

испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, легкой.

А быть может, он действительно сумасшедший? Солдат сказал: их много таких...

ОТРЫВОК ДВЕНАДЦАТЫЙ

...начинается... Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале,— пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть,— но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всех комнатах зажигать огонь,— да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете,— так все-таки остается сомнение.

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале — теперь я каждое утро хожу туда — и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно,— и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спра-

шивал: двадцать два человека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты — в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно, по этому поводу:

— Их нужно вешать без суда,— сказал один, испытующе оглядев всех и меня.— Изменников нужно вешать, да.

— Без жалости,— подтвердил другой.— Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны, и они сами плачут,— что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны...

ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать,— красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском

платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалявшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под конвоем дисциплинированных солдат, они походили на рабов древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинуясь штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиною шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперед, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такою пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не пускала,— и он шел, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли так,— чувствовались усталость и равнодушие в том, как они несли ружья, как они шагали враздробь, по-мужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

— Куда вы их ведете? — спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей.

— Отойди! — сказал солдат.— Отойди, а не то...

Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал — легкой трусцою он отбежал к решетке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще. Собирался народ. Послышался смех, крики...

ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы

людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые, крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразиться каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны и как я далек от выхода. Они спокойны, а если крикнуть — «пожар!»... И с ужасом я ощутил жуткое, страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть,— привстать, обернуться назад и крикнуть:

— Пожар! Спасайтесь, пожар!

Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии своем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и дико-весело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка,— а они не будут слышать ничего,— они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысловатым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству,— а они будут злобно бить их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство — спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой,— я выйду на сцену и скажу им со смехом:

— Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому

что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

— Тише! Вы мешаете слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

— Что такое? — спросил он недоверчиво.— Зачем так смотрите?

— Тише, умоляю вас,— прошептал я одними губами.— Вы слышите, как пахнет гарью. В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня, и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хотелось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война,— там все было спокойно, и ночные, желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны нет?» — подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:

— Громовое сражение. Огромные потери. Купите телеграмму — ночную телеграмму!

У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу, и он заперт на ключ — со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух как будто хранит еще следы разговоров, и смеха, и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера; и когда ложусь в постель...

ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю; я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом — и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала,— и в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие еще невинные дети превратились в полчище детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачною кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь — и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне.

— Я хочу к тебе,— сказал он.

— Ты убьешь меня.

— Я хочу к тебе,— сказал он и побледнел внезапно и страшно, и начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверью»,— с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень

медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошел; и долго я ничего не слыхал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех сторон; и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбиравшихся к горлу.

— Я не могу! — простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

— Успокойся! — сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый.— Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

— Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

— Да, вижу. Она смеется.

— Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался.

— Она кричит.

— Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай я лягу на тебя.

— Мне тяжело, мне страшно.

— Мы мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

— Тепло.
— Хорошо тебе?
— Я умираю.
— Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступила пятница и прошла,— а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды; и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу,— а они стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило снарядов, и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков,— но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и наступает тишина, а на земле валяются новые изуродованные трупы,— кто их убил? Ты знаешь, брат: кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту,

и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших — ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

— Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! — говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь, как прежде, и что это мировое насилие над разумом не коснется их слабого умишка.

— Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба — закон жизни,— говорят они уверенно и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо: — Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колышется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и исступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие:

— Когда же кончится эта безумная бойня!

У одних знакомых, где я не был давно, быть может, несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; но его не узнала и мать, которая его родила: если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем белый; черты лица его мало изменились,— но он молчит и слушает что-то — и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти заглушали выстрелы,— и вдруг прекратились выстрелы,— и вдруг прекратилось «ура»,— и вдруг наступила могильная тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит

наступить минутной тишине — он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные ночи,— и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто — не в военное платье,— занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных, усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали все, я подошел и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара,— и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в которых я хуже чем один,— подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоем.

— Какой вы бледный, и под глазами круги,— сказала она ласково.— Вы больны? Вам жалко своего брата?

— Мне жалко всех. И я нездоров немного.

— Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да?

— За то, что он сумасшедший, да.

Она задумалась и стала похожа на брата — только очень молоденькая.

— А мне,— она остановилась и покраснела, но не опустила глаз,— а мне позволите поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:

— Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала:

— Я не верю.

— И я также.

На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

— Ты знаешь,— сказала она,— я еду туда.

— Поезжай. Но ты не выдержишь.

— Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

— Да. А ты?

— Я буду помнить. Прощай!

— Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом и открыл кабинет брата и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услыхал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой:

«Работай, брат, работай! Твое перо не сухо — оно обмокнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми,— своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!»

...А сегодня утром я прочел, что сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идет, оно близко — оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

ОТРЫВОК СЕМНАДЦАТЫЙ

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

ОТРЫВОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к живому; мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти,— он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни,

и мать перестала верить в его смерть,— и когда прошел без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива,— не знаю, не слыхал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро — а оно плыло; он был убит — а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землей — а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером штемпелеванном конверте. И теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

«...Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей — умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь — это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир — в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага — вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали...»

«Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду,— и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клюнуть — он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?

...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками,

чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик — и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают».

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на ..., чем на офицера победоносной армии».

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал, плакал... Как не стыдно офицеру плакать!»

«Воронье кричит. Ты слышишь, друг: воронье кричит. Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз, бородка такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи,— брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти.

...Воронье кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный

сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда.

...Воронье кричит...

Нет, это правда. Несчастная земля, ведь это правда. Воронье кричит. Это не выдумка праздного писаки, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабоумные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою — приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всею силою моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклинаю вас, несчастные слабоумные звери!

ОТРЫВОК ПОСЛЕДНИЙ

...от вас мы ждем обновления жизни!

Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: «Долой войну!»

— ...Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

— ...Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разрушьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завыло; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как

живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам; мгновенное затишье — и снова рев, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжелое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топочущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав себе все ногти, взбирался на штабеля дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе с водопадом стукающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу выбрался,— а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рев и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода: его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад: я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налету, легшему на черные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам несся еще далекий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор,

пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении: это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановились в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный насторожившийся силуэт.

— Ты откуда? — спросил он.

— Оттуда.

— А куда ты бежишь?

— Домой.

— А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали мне горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мною по пустынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал,— должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые, и я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилу я нашел его, хотя он был тут же, в наружном кармане. И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и, после некоторого размышления, хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня.

«Буду так ждать смерти. Ведь все равно»,— решил я.

В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку — и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то

настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно,— подумал я.— Никому это не нужно».

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходившую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось, совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, треск чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

— Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

«Идут сюда!» — подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы, но все это не годилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок.

— Кто тут? — шепотом спросил я, но никто не ответил.

А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал голову: она была горячая, как огонь.

«Пойду лучше туда,— подумал я.— Он все-таки свой».

Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда

приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: черный, чугунный профиль, очерченный узкой красною полосой.

— Брат! — сказал я.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица — и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо, как бывает только там, где много мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрел неуловимый оттенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет такая тишина, и сказал ему об этом.

— Нет, это не от меня,— ответил он.— Посмотри в окно.

Я отдернул драпри и отшатнулся.

— Так вот что! — сказал я.

— Позови мою жену: она этого еще не видала,— приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила, и, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за мной. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо,— очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

— Их становится больше,— сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только по голосу.

— Это кажется,— сказала сестра.

— Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежавших рядами, голыми ступнями

к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

— Смотрите, им не хватает места,— сказал брат.

Мать ответила:

— Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

— Они и в детской,— сказала няня.— Я видела.

— Нужно уйти,— сказала сестра.

— Да ведь нет прохода,— отозвался брат.— Смотрите.

Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевельнулись и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

— Они нас задушат! — сказал я.— Спасемтесь в окно.

— Туда нельзя! — крикнул брат.— Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

8 ноября 1904 г.



ПРИЗРАКИ

I

Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около десяти лет, начальство, снисходя к его болезни и двадцатипятилетней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, с которой он уже не жил лет пятнадцать, обнаружила притязание на пенсию и присылала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным.

Лечебница находилась за городом и снаружи, со стороны шоссейной дороги походила на обыкновенную дачу, приткнувшуюся к опушке небольшого смешанного леса. Над среднею частью дома выступал мезонин, как во всех дачах, с очень высокою и острою крышею, напоминавшей опрокинутый дровяной топор, и с резным шпилем, на который в праздники вывешивали красный флаг для удовольствия больных. В тихие безветренные утра, ранней весной или осенью, со стороны города приносился звон церквей и мягкий гул езды, а в остальное время было тихо — тише, чем в самой деревне, где лают собаки, поют петухи и кричат дети. Тут не было ни детей, ни собак, которых заменял высокий глухой забор; кругом расстилался выгон, принадлежавший лечебнице и поэтому всегда безлюдный, и только в версте среди деревьев поднималась узкая железная труба какой-то фабрики. Она никогда не дымила, и, сама невидимая в лесу и молчаливая, фабрика казалась покинутой.

Только немногие из проезжих по шоссе знали, что за высоким плоским забором, с плотно запертыми воротами, находятся сумасшедшие, а остальные — мужики на подскакивающих пылящих телегах, редкие городские извозчики, велосипедисты, вечно куда-то торопящиеся на своих бесшумных машинах,— привыкли к глухому забору и не замечали его. Если бы все находящиеся за ним разбежались или внезапно умерли, то, вероятно, очень долго никто бы этого не заметил,— все так же спокойно проезжали бы попыливающие телеги и вечно торопящиеся велосипедисты. Буйных сумасшедших доктор Шевырев в свою больницу не принимал, и от этого там было очень тихо, как во всяком приличном доме, где живут хорошо воспитанные и сдержанные люди. Единственный звук, который раздавался в больнице непрерывно и днем и ночью в течение уже десяти лет, с самого основания больницы, был так правилен, негромок и ровен, что его не слышали и не замечали, как не замечают люди тиканья часового маятника или биения своего сердца. Это стучал в свою дверь больной, запертый в комнате: где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее; если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и снова стучал — он хотел, чтобы все двери были открыты. И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал — иначе он умер бы от бессонницы; но спящим его не видели, и стук никогда не прерывался.

И тихо было. И только изредка, большею частью в ночь, когда невидимый лес шумел от ветра, с кем-нибудь из больных делался припадок острой тоски, и он начинал кричать. Обыкновенно его очень быстро успокаивали, но случалось, что страх и тоска его были очень велики и не поддавались ни уговорам, ни лекарству, и он продолжал кричать. Тогда тревога передавалась всему населению разбуженного дома, и все больные, точно заведенные куклы, которых сразу пустили в ход, начинали беспокойно расхаживать по своим комнатам, размахивать руками и громко болтать всякий вздор. И все, даже самые тихие, стучали неистово в двери и просили их куда-то выпустить. В этих случаях фельдшер вызывал по телефону доктора из «Вавилона», загородного ресторана, где Шевырев проводил все ночи, и тот одним своим появлением успокаивал больных. Но долго еще за одинаковыми дверьми не замирала бессвязная болтовня, как в разбуженном птичнике, куда заглянул остромордый хорек.

Но это бывало редко, и ночью по шоссе почти никто не

проезжал. Да и крик, смягченный стенами и расстоянием, был похож на самый обыкновенный крик разгулявшихся людей, тем более что среди больных были такие, которые при всяком беспокойстве пели.

II

Егору Тимофеевичу отвели комнату с высоким потолком и окном прямо в лес, так что в летние дни, когда окно было открыто и прохладную комнату наполнял аромат березы и сосны, а на столе красовался кувшинчик с цветами, было действительно похоже на дачу. На бревенчатых стенах Егор Тимофеевич развесил картинки, которые привез с собою, и большой фотографический портрет сына, умершего еще ребенком от дифтерита, и тогда комната приняла совсем уютный, даже праздничный вид. А картинки были такие: девушка с гусями на лугу, ангел, благословляющий город, и мальчик-итальянец. Егор Тимофеевич был так доволен своей комнатой, что приводил всех больных смотреть ее и с доктором Шевыревым разговаривал не иначе как у себя. Если кто-нибудь — доктор или больные — отказывались идти к нему, он прибегал к хитрости: уверял, что у него есть там соловей, который прекрасно поет. Потом и он, и заманутые больные, и, видимо, сам доктор забывали о соловье и просто сидели так и разговаривали или рассматривали картинную галерею. Больным также очень нравилась комната Померанцева, и когда они начинали расхваливать свое заведение, то обязательно ссылались на нее.

И с самого начала Егор Тимофеевич знал, что он в сумасшедшем доме, но не придавал этому никакого значения, так как был уверен, что, по желанию, может делаться бесплотным и тогда может летать и ходить по всему миру. И первые дни он каждое утро летал на службу в губернское присутствие, но потом отвлекался более важными занятиями. Был он высокого роста, худощавый, с очень еще черными вихрастыми волосами, добродушно торчавшими в разные стороны, и такой же бородой. Носил очень сильные очки, и когда смеялся, то открывал десны, отчего казалось, что смеется он весь, снаружи и с изнанки, и что даже волосы его смеются. И смеялся часто. Голос у него был низкий, клокочущий бас, производивший такое впечатление, будто на нем постоянно кто-то сидит и подпрыгивает, а при сильном смехе переходил в высокий тенор.

Очень быстро он перезнакомился со всеми больными

и занял среди них видное и вполне определенное положение покровителя. Ему всегда грезилось, что он представляет собою что-то высокое, но вполне точного представления не было, и поэтому он постоянно менялся: то чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым, чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, безграничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым. Последнее случалось, когда вместо Георгия его называли Егором. Он возмущался до слез, кричал, что под него подкапываются, и писал обстоятельные жалобы в святой синод и капитул ордена Георгиевских кавалеров. Доктор Шевырев немедленно присылал формальный ответ, что жалоба Егора Тимофеевича уважена, и он совершенно успокаивался и даже слегка подшучивал над доктором и его испугом при получении казенной бумаги.

— А я сам таких бумаг писал в день по сотне,— говорил он и смеялся.— И если захочу, то и сейчас могу написать.

С этого «Георгия» и началось явно его сумасшествие, как сообщили доктору родственники больного.

Больных в лечебнице было немного: одиннадцать мужчин и три дамы. Все они одевались, как прежде дома, в обыкновенное платье, и только очень внимательный взгляд мог заметить неуловимый налет неряшливости и беспорядка, которого, при всех усилиях, не мог устранить доктор Шевырев. И волосы у них были как следует, и только одна дама, желавшая ходить с распущенными волосами, производила несколько странное впечатление, да больной Петров имел огромную дикую бороду и поповскую гриву: он боялся бритвы и ножниц и не позволял стричь себя из опасения, что его зарежут. Зимою больные сами устраивали каток, катались на коньках и на лыжах, а весною и летом занимались огородом и цветами и были похожи на самых обыкновенных здоровых людей. Во всех этих занятиях Егор Тимофеевич был первым, и только трое не принимали никакого участия ни в деле, ни в забавах: тот Петров с дикой бородою, больной, который стучит, и пожилая сорокалетняя девушка, Анфиса Андреевна. Она много лет служила экономкой у своей дальней родственницы — графини, и как-то так случилось, что для спанья ей дали очень короткую, почти детскую кровать, на которой она не могла вытянуть ног. И когда она сошла с ума, ей стало казаться, что ноги согнулись у нее навсегда и она не может на них ходить. И постоянно ее мучила мысль, что после смерти ей купят очень

короткий гроб, в котором нельзя будет протянуть ног. Была она очень скромная, тихая, с бескровным красивым лицом, какое рисуют у монахинь или святых, и когда говорила, то всегда поправляла длинными белыми пальцами разорванные кружева на груди. Денег на ее содержание выдавалось немного, и носила она старые, странные платья, давно вышедшие из моды.

В Егора Тимофеевича она верила и убедительно просила его позаботиться о гробе.

— Конечно, и доктор обещал, но кто ж их знает. Они на то и поставлены, чтобы говорить нам неправду. А вы — дело другое, вы свой человек. Да и дело-то в пустяках: длинный гроб будет стоить на три рубля дороже короткого — я уже составила расчетик. Главное, чтобы кто-нибудь позаботился. Вы обещаете?

— Непременно, сударыня, непременно. Я устрою подписку среди больных и сделаю вам склеп.

— Вот это хорошо. Склеп — это совсем хорошо. Благодарю вас, Георгий Тимофеевич.

И бескровное лицо ее слегка розовело, как молочное облако на восходе, когда коснется его первый солнечный луч. В бога Анфиса Андреевна давно не верила и на именины графа, когда в дом были приглашены иконы, совершила над одной из них страшное кощунство. Тогда и обнаружилось ее сумасшествие.

Во время прогулок, которые для всех больных были обязательны, Петров держался в стороне, так как боялся внезапного нападения, и летом держал в кармане камень, а зимою — кусок льда или сдавленного снега; в стороне от других находился и тот больной, что стучит. Быстро пройдя все отпертые двери, он останавливался у калитки и начинал стучать — неторопливо, настойчиво, с равномерными промежутками. Вначале, когда он еще только попал в больницу, все суставы его нежных и белых пальцев были покрыты струпьями и свежими ссадинами; но постепенно пальцы загрубели, а на сгибах образовались большие твердые наросты, и стук от них получался твердый, сухой, как от камня.

Каждый раз Егор Тимофеевич считал своим долгом поговорить с ним.

— Доброе утро, милостивый государь. А вы все стучите?

— Стучу,— тихо отвечал больной, переводя на Егора Тимофеевича большие, печальные и странно глубокие глаза.

— И не отворяют?

— Нет, не отворяют,— так же тихо отвечал больной.

Голос у него был бледный, тихий, как эхо, но такой же странно глубокий, как глаза.

— Дайте-ка я открою,— говорил Егор Тимофеевич и начинал дергать засов и ковырял пальцем в замочной скважине. Но дверь не поддавалась, и тогда он предлагал другое.— Вот что, милостивый государь, я придумал: вы отдохните, а я постучу.

И несколько минут он добросовестно и громко барабанил кулаком в дверь, а больной отдыхал: тихонько поглаживал пальцы и, прищурившись, удивленно-равнодушными глазами обводил небо, сад, больницу, больных. Был он высокий, красивый и все еще сильный; ветерок слегка раздувал его седеющую бороду — точно сугробы наметал на красивое, строго-печальное лицо.

Однажды к нему подкрался Петров и шепотом спросил:

— Там кто-нибудь есть? Кто там?

— Нужно, чтобы было открыто.

— Как это глупо. А если она войдет?

— Нужно, чтобы было открыто.

— Как вас зовут?

— Не знаю.

Петров недоверчиво засмеялся и, крепко сжимая в кармане ледяшку, осторожно вернулся на свое место за дерево, где он был в сравнительной безопасности от внезапного нападения.

Вообще больные охотно и много разговаривали, но после первых же слов переставали слушать друг друга и говорили только свое. И от этого беседа их никогда не утрачивала жгучего интереса. И каждый день то возле одного, то возле другого сидел доктор Шевырев и внимательно слушал, и казалось, что сам он много говорит, но на самом деле он постоянно молчал. Каждую ночь, с десяти вечера до шести часов утра, он проводил в загородном ресторане «Вавилон», и было непонятно, когда он успевает спать и так внимательно заниматься собою, чтобы быть всегда хорошо одетым, чисто выбритым и даже слегка надушенным.

III

У Егора Тимофеевича случались сильные головные боли, и ему поставили на затылок мушку. Когда ее сдирали, он кричал от боли и ругался, а потом повертел головою, засмеялся и сказал:

— Хорошо. Освежает, знаете ли. Очень хорошо. Вы неоцененный человек, Николай Николаевич!

И всегда и всем он был очень доволен. Кроме сумасшествия, у него был катар желудка, подагра и много других болезней; ему приходилось назначать диету и держать впроголодь, но он ел и не ел с одинаковым удовольствием, гордился своими болезнями, а за подагру даже благодарил доктора Шевырева и весь тот день громко покрикивал на больных, строивших снежную гору: ему смутно представлялось, что он генерал, назначенный наблюдать за постройкою грозной крепости. И всегда, что бы ни случилось, он находил, что это к лучшему. Однажды зимою в трубе загорелась сажа, и была опасность, что вспыхнет дом, и все больные и здоровые были по-своему перепуганы. Один только Егор Тимофеевич остался доволен: по его мнению, вместе с сажей должна была выгореть нечистая сила, которая ютится в трубе и по ночам воет. И когда в трубе действительно почему-то перестало выть, он написал донесение в святой синод и получил благодарственный ответ. По-прежнему он изредка летал на службу в губернское присутствие, но большею частью занимался другим: по ночам к нему приходил Николай-чудотворец, и они вместе облетали все столичные больницы и исцеляли больных.

По утрам он просыпался разбитым, с отекшими ногами, опухшим лицом и с такой сильною ломотою в шее, что несколько часов, пока разгуляется, должен был держать голову набок. И день свой он начинал получасовым мучительным кашлем, от которого вздувались вены на лбу и краснели белки глаз.

— Ну, как вы себя чувствуете сегодня? — спрашивал доктор Шевырев, присаживаясь рядом с ним на не убранную еще кровать.

Егор Тимофеевич сопел носом и тяжело носил грудью, сдерживая поднимавшийся кашель.

— Отлично. Никогда не чувствовал себя так хорошо.

Он отдувался, окончательно побеждал кашель и, весело сияя глазами и улыбкой, продолжал:

— Устал только немного. Да и сами посудите: в Андрониевскую больницу слетай, в Дегтеревскую слетай, в Шепилевскую слетай. А дела сколько! В одной Дегтеревской пятеро ребят в крупе, задыхаются мальцы, один уже свистит. Ну, дунул на него Николай — и сейчас, это, дыхание ровное, улыбнулся, пить попросил. А уже два дня ничего не пил и не ел. Так мы с Николаем даже прослезились от радости. Честное слово!

Веки Егора Тимофеевича налились слезами, но он пошутил доктору:

— Каков у вас тезка-то, а? Не вам чета. Ну-ну, не обижайтесь, доктор. Я ведь шучу. Я знаю, что вы благороднейший человек и сейчас, это, тоже лечите, конечно. И лицом вы похожи на святого Эразма. Никола — тот седенький, маленький, а вы — на святого Эразма. Тоже хороший святой.

— А вы его видели?

— Как же. Всех видел.

И он долго рассказывал, какие прекрасные и благородные лица у святых. Потом бодро прошелся по комнате, держа голову набок, точно свернутую, сделал легкое мускульное упражнение руками и остановился у окна.

— Как тает-то! Ах, хорошо! Что будем нынче делать, доктор?

— Хотите на катке лед скалывать?

— Лед скалывать! Боже мой! Ведь это же первое мое удовольствие! Лед скалывать, и сейчас, это,— помогать весне! Ах, Боже мой! Чудеснейший вы человек, Николай Николаевич.

— А вы счастливейший человек, Георгий Тимофеевич.

И большими друзьями они уходили, и уже через четверть часа Егор Тимофеевич, весь обрызганный мелкими осколками льда и снега, озабоченно вонзал кирку в мягкий, вялый лед, похожий на плохой постный сахар. Было жарко от работы, и шея как-то распрямилась, на ладонях сладко ныли свежие мозоли, и день улыбался. Он стоял тихий, немного пасмурный, но теплый, и улыбался. И отовсюду капало: с крыш, с деревьев, с забора, и от этого забор и деревья были совсем темные. Пахло блинами, великим постом, тающим снегом и лошадиным навозом.

— Ловко я работаю? — кричал Егор Тимофеевич фельдшерице, маленькой девушке в ватной шубке.

Она сидела на лавочке, зябко поджав маленькие ноги, заботливо следила за больными, и носик ее краснел от сырости.

— Очень хорошо, Георгий Тимофеевич,— отвечала она слабым голосом и ласково улыбалась.— Я всегда любуюсь вами, когда вы работаете.

Егор Тимофеевич знал, что фельдшерица влюблена в него и, хотя сам не мог отвечать на любовь, высоко ценил ее расположение и усиленно старался не скомпрометировать ее какой-нибудь неосторожностью. В его представлении она была героиней долга, бросившей аристократическую

семью, чтобы ухаживать за больными,— у фельдшерицы семьи не было, она была из подкидышей,— светлой личностью и красавицей, за которой ухаживали гвардейские офицеры. И держался он с нею особенно, кланялся очень низко, водил ее под руку к столу и посылал ей летом через сторожа цветы, но наедине оставаться с нею избегал, из опасения поставить ее в неловкое положение.

Из-за этой фельдшерицы у него часто бывали ссоры с больным Петровым, который держался о девушке совершенно противоположного мнения. Петров уверял, что, как все женщины, она развратна, лжива, не способна к истинной любви, и когда уходит, то обязательно смеется над оставшимися.

— Вы смотрите,— говорил он однажды Егору Тимофеевичу, придерживая рукой свою взлохмаченную дикую бороду.— Вот сейчас она кокетничала с вами и со мной, а теперь стоит за дверью и хохочет, говорит: «Дураки!» — и хохочет. Вот она! слышите? И рожи, наверное, делает. Я ее знаю.

— Не может быть. Я тоже ее знаю.

— Ага! Вон она. Слышите? Давайте поймаем ее.

И осторожно, на цыпочках, взявшись за руки, они крались к двери, Петров распахивал ее и торжествующе говорил:

— Ушла! Услыхала наш разговор и ушла. Они хитрые. Их никогда не поймаешь. Можно ловить всю жизнь — и не поймаешь.

По его словам, у фельдшерицы был от сторожа ребенок, и она убила его, удушила подушкою и ночью закопала в лесу; и место это, где ребенок зарыт, Петров хорошо знает. Этого Егор Тимофеевич не мог выдержать. Он отошел на шаг, протянул руку и торжественно сказал:

— Вы, Петров, совершеннейший злодей. Никогда в жизни я не подам вам руки и буду жаловаться на вас товарищескому суду.

Но товарищеский суд не мог состояться. Больные разместились полукругом, как их усадил Егор Тимофеевич, но тут дама с гордой осанкой и распущенными волосами заявила, что надо вынимать фанты, и все перепуталось. А через полчаса они опять дружески разговаривали, так как забыли о происшедшем, и говорили именно о фельдшерице, о ее красоте, которую оба они признавали. Только Егор Тимофеевич утверждал, что она прекрасна, как ангел, а Петров — что она красива, как демон. Потом Петров долго шепотом говорил о своих врагах.

У него были враги, которые поклялись погубить его. Они печатали о нем в газетах, под видом финансовых отчетов, клеветнические статьи, выпускали каталоги и афиши, гонялись за ним по всему городу на пыхтящих автомобилях и по ночам подстерегали его за всеми дверьми. Они были могущественны.

Они подкупили братьев Петрова и мать его, старушку, и та ежедневно отравляла его пищу, так что он чуть не умер с голода. Они были могущественны. Они могли входить в камни, в стены, в деревья, и случилось однажды: он проходил по лесу, а дерево, осина быстро наклонилась и протянула скользкие ветви, чтобы удушить его. Вставая утром, он не знал, будет ли он жив к вечеру; ложась спать, он не знал, будет ли он жив к утру. Они могли входить в его тело, и бывало так, что рука или нога переставала слушаться Петрова и делала не то, что́ он хочет. Они могли даже входить в его душу и часто по утрам хитро уговаривали его убить себя и давали советы: как разбить стекло и осколком его перерезать вену на левой руке около локтя. И доктор Шевырев хорошо знал об этом; третьего дня утром он сказал ему:

— Вы несчастнейший человек, Петров.

Очень приятно хоть раз услышать слово правды и сочувствия, тем более, что обыкновенно доктор Шевырев — очень эгоистичный человек, пьяница и развратник, устроивший лечебницу только для того, чтобы обирать дураков. Очень возможно, что он тоже подкуплен его матерью и ждет благоприятного момента, когда может разделаться с ним. В прошлое воскресенье Петров сам видел, что за углом стояла его мать, старушка, и пристально глядела в его окно, и когда он закричал, она торопливо скрылась, а доктор Шевырев уверял, что никого тут не было. Тогда как он сам, своими глазами, видел ее, вот тут за углом — в барашковой шапочке, сдвинутой набок, и с пристальными ужасными глазами.

Он рассказывал, и в его сдавленном голосе, в дикой взлохмаченной бороде был безнадежный ужас. Уже давно он был один, в своей комнате, но не помнил, как это случилось, и не думал об этом. Он расхаживал по комнате, бормотал, прижимал руки к голове и плакал. Потом грозил кому-то и снова плакал слезами безвыходного отчаяния и тоски. Что-то вспомнил и, оживившись, возбужденно сверкая глазами, целый час прижимался к окну и выслеживал мать. Несколько раз ему казалось, что из-за угла высовывается сдвинутая набок барашковая шапочка и старушечье бледное лицо с ужасными глазами, и он готовился

испустить всегда готовый, всегда стоящий в гортани крик,— но видение исчезало. Быстро падали за стеклом тяжелые капли тающего на крыше снега, и глянцевитые деревья тихо парились в белом, густом и теплом воздухе ранней весны. И светло было.

Возбуждение улеглось, исчезли отрывки мыслей, и оставалась только тоска. Петров лег на постель, и тоска, как живая, легла ему на грудь, впилась в сердце и замерла. И так лежали они в неразрывном безумном союзе, а за стеклом быстро падали тяжелые крупные капли, и светло было.

Со стороны катка приносился сквозь двойные рамы беспечный хохот. Это Егор Тимофеевич пускал в луже кораблики на парусах и гоготал от удовольствия.

IV

Фельдшерица Мария Астафьевна не была влюблена в Егора Тимофеевича: уже три года, с тех пор как поступила она в эту лечебницу, она безнадежно любила доктора Шевырева и не смела открыться ему. Она любила его за ум, за благородство, за мужественную красоту, за то, что от него всегда пахнет какими-то особенными аристократическими духами, за то, что он всегда молчит и, по-видимому, очень одинок и несчастен. В трех комнатах мезонина, где жил доктор, она знала каждую мелочь обстановки, каждый клочок бумажки, каждую картинку; она раскрывала все его книги, которые раскрывал он, как будто там остался еще отпечаток его задумчивого взгляда; она пересидела на всех креслах и диванах и даже раз ночью, когда доктор, по обыкновению, был в ресторане «Вавилон», осторожно прилегла на его кровать. На подушках остался след ее головы, и она испуганно хотела взбить их, чтобы уничтожить впадину, но раздумала,— и всю ночь, стыдливо кутаясь в жесткое больничное одеяло, сгорая от стыда, от счастья, от любви, целовала свою беленькую девичью подушку. На туалетном столике доктора Шевырева она давно открыла флакон с теми духами, осторожно надушила свой платок, берегла его, как драгоценность, и упивалась его запахом, как пьяница запахом вина.

Кроме трех жилых комнат, в мезонине была четвертая, совершенно пустая, с огромным итальянским окном, занимавшим почти целую стену. Все окно состояло из мелких разноцветных стекол в узорчатой сетке деревянного переплета и было сделано архитектором для красоты; и снаружи

было действительно красиво, но внутри создавалось что-то беспокойное, неопределенное, раздражающее. Каждый раз, бывая наверху, Мария Астафьевна подолгу просиживала в этой комнате, рассматривая сквозь стекла знакомый и странно необыкновенный вид. Видны были небо, забор, шоссе, большая луговина и лес — и только. Но от стекол, то красных, то желтых, то синих, голубых и зеленых, все это странно менялось и, если смотреть так: быстро переходя через все стекла,— походило на очень странную музыку. А если долго смотреть через одно какое-нибудь стекло, то менялось настроение. Особенно противно было желтое: как бы хорош и ярок ни был день, оно делало его мрачным, призрачным, зловещим, угрожающим какою-то бедою, намекающим на какое-то страшное преступление. И становилось тоскливо, и не верилось, что доктор Шевырев сделает ее своею женою. Если бы не это стекло, она давно объяснилась бы с ним; и каждый раз Мария Астафьевна давала клятву не смотреть в окно, и каждый раз смотрела, пугаясь, тоскуя, не узнавая привычного, странно изменившегося вида. И соседство этого окна с кабинетом доктора тревожило ее, как какая-то близкая, но несознаваемая опасность.

Одиночество доктора Шевырева будило в Марии Астафьевне чувство, схожее с материнским.

Она заботилась о его книгах, о его белье и ужасно жалела, что не имеет власти над кухней, и доктор Шевырев ест Бог знает какую гадость. Ревновала его к больным, к сторожу, которому он давал какие-то таинственные, интимные поручения, и уже давно хранила в комоде вместе с платком большую исписанную тетрадь, в которой заклинала доктора Шевырева отказаться от посещения «Вавилона», от шампанского и от ужасной развратной жизни, о которой она догадывается. Когда она написала «развратной», ей стало так больно, так обидно, она так возненавидела и себя и доктора Шевырева, что не могла продолжать, легла на постель вместе с тетрадью и всю ночь проплакала на тетради, испортивши слезами две страницы.

В той же тетради она смело предлагала себя доктору Шевыреву, но только в жены и только с тем условием, чтобы он оставил посещения «Вавилона» и шампанское, и доказывала, что это будет выгоднее: как жене он не будет платить ей жалованья, а стол останется все равно тот же. И кроме того, она, с его разрешения, расширит его врачебное дело, так как много занималась и занимается литературой по психиатрии и хорошо видит недостатки в теперешней постановке лечебницы. И умоляла его решить вопрос поскорее,

так как ей уже двадцать четыре года и она скоро начнет отцветать, и тогда уже будет поздно.

Два года лежала тетрадка, но Мария Астафьевна не осмелилась ее отдать и часто в отчаянии хотела поскорее умереть, чтобы дать только возможность доктору Шевыреву прочесть написанное. А он ничего не знал и каждый вечер в десять часов аккуратно уезжал в ресторан «Вавилон» и возвращался на рассвете. Каждый раз в прихожей, уезжая, он наталкивался на фельдшерицу и говорил:

— А вы еще не ложились? Спокойной ночи.

И она отвечала:

— Спокойной ночи.

В «Вавилоне» доктор Шевырев был как свой и после метрдотеля считался первым человеком. Он знал всех официантов по именам, а также всех хористов и хористок из цыганского и русского хоров, разделял все горести и радости заведения, одним своим присутствием и двумя-тремя словами улаживал недоразумения между администрацией ресторана и пьяными посетителями и выпивал за ночь три бутылки шампанского — не больше и не меньше. И так как находился не в больнице, был не доктором, а частным человеком, то позволял себе изредка улыбаться, но говорил все так же мало.

Часов до двенадцати, до часу он сидел в общем зале, за одним из бесчисленных столиков, среди целого разноцветного моря лиц, голосов, костюмов, боком к открытой сцене, где поочередно являлись певицы и певцы, иногда и жонглеры и акробаты. Стекла бокалов и рюмок звенели, голоса сливались в ровный, живой шум, пахло духами и вином, скользившие между столиков красивые, накрашенные женщины улыбались доктору Шевыреву, и все заливал ослепительный, праздничный свет электрических лампочек. Люди за столиками менялись: одни уходили, другие тотчас занимали их места, но казалось, что все это одни и те же люди — так равнял их свет электричества, живой, неперестающий гул, запах вина и духов. Так в метель толкутся снежинки перед освещенным окном, и кажется, что все это одни и те же, а это все разные, все новые, приходящие из тьмы, уходящие во тьму. И только потому чувствовалось время, что бутылка шампанского пустела, да жарко становилось, да живее, тревожнее, острее делался непрерывный гул. Он то падал до половины почти тишины, когда ясно слышалось отдельное слово, сказанное в другом конце зала, то возрастал, порывисто, судорожно, точно взбегал на изломанные ступеньки, обрывался, снова бежал — и рассыпался, как фейерверк,

яркими огоньками: красными, голубенькими, зелеными. И казалось, что в толпе прибавилось басов и женских высоких голосов, и взлетали, как брызги при столкновении волн, отдельные громкие, часто исступленные крики: заливистый смех, похожий на истерику, обрывок песни, слепое ругательство. И все чаще взлетали ругательства: нельзя было различить людей, которые бранятся, а ругательства чертили воздух, колючие, кривые, как летучие мыши, ослепшие от яркого света. Сильнее пахло духами и вином и трудно становилось дышать; опьяневший воздух точно убегал от жадно открытого рта.

В час или два приезжала какая-нибудь компания знакомых доктора Шевырева,— а в «Вавилоне» он перезнакомился почти со всем городом,— и метрдотель приглашал его к приехавшим в отдельный кабинет. Там доктора встречали радостными криками и шутками, многие целовались с ним, так как считали его своим другом, и он помогал составить меню ужина, выбирал вина, назначал очередь хорам и выбирал из них солисток и солистов. Потом усаживался на краю стола с своею бутылкою шампанского, которую всюду носили за ним, и улыбался, когда к нему обращались, отчего казалось, что он много говорит, но на самом деле он молчал.

В кабинете было прохладно, вначале даже холодно, но очень быстро он нагревался, а оттого, что он был теснее зала и стены ближе, происходившее казалось страннее и беспорядочнее. Пили, смеялись, говорили все сразу, слушая только себя, объяснялись в любви, целовались и иногда дрались. Каждый вечер люди менялись: проходили перед доктором Шевыревым артисты, писатели и художники, купцы, дворяне, чиновники и офицеры из провинции; кокотки и порядочные дамы, иногда совсем молоденькие, чистые девушки, от всего приходившие в восторг и пьяневшие от первой капли вина. Но все делали одно и то же. Входили цыгане: мужчины высокие, долгошеие, с угрюмыми, скучными лицами, и женщины — скромные, почти все в черном, усиленно равнодушные к разговорам, замечаниям и винам на столе. Потом внезапный гик, визг, завитуха гортанных диких голосов, бешенство страстей, безумие веселья, точно все перевернулось, точно открылось все. И пляска. Какой-то скелет в платье женщины бешено носится, у стола кружится, в исступлении подергивает костлявыми плечами,— и снова тишина, порядок, скромные женщины, одетые в черное, скучные лица мужчин. И только груди поднимаются выше да у той, худощавой, что танцевала, дрожат руки.

Смуглая красивая девушка поет, опустив черные ресницы. Всем хочется взглянуть в ее глаза, а она опустила их, смуглая, красивая, чужая, и поет:

Я не вправе любить и забыть не могу,
И терзаюсь душой я на каждом шагу.
Быть с тобою нельзя, а расстаться нет сил,—
Без тебя же весь мир безнадежно уныл.
О забвенье моля, проклиная недуг,
Я ищу этих жгучих и сладостных мук.
Я не смею любить и забыть не могу,
Ни порвать, ни связать эту тонкую нить...

И так просто пела она, ни на кого не глядя, смуглая, красивая, чужая, как будто рассказывала одну только правду, и все верили, что это правда. И грустно становилось, просыпалась грустная любовь к кому-то призрачному и прекрасному, и вспоминался кто-то, кого не было никогда. И все, любившие и не любившие, вздыхали и жадно глотали вино. И, глотая, чувствовали внезапно, что та прежняя трезвая жизнь была обманом и ложью, а настоящее здесь, в этих опущенных милых ресницах, в этом пожаре мыслей и чувств, в этом бокале, который хрустнул в чьих-то руках, и полилось на скатерть, как кровь, красное вино. Громко рукоплескали и требовали новых песен и нового вина.

Потом, по выбору доктора Шевырева, поет белокурая пожилая цыганка с истощенным лицом и огромными расширенными глазами — поет о соловье, о встречах в саду, о ревности и молодой любви. Она беременна шестым ребенком, и тут же стоит ее муж, высокий рябой цыган в черном сюртуке и с подвязанными зубами, и аккомпанирует ей на гитаре. О соловье, о лунной ночи, о встречах в саду, о молодой красивой любви поет она, и ей также верят, не замечая ни тяжелой беременности ее, ни истощенного старого лица.

И так до утра. Доктор Шевырев не старался запомнить ни лиц, ни фамилий своих друзей и не замечал, когда одни исчезали и на смену являлись другие. Он молчал, улыбался, когда к нему обращались, пил свое шампанское, а они кричали, плясали вместе с цыганами, хвастались и жаловались, плакали и смеялись. Большею частью было весело и нелепо, но иногда случались несчастья. Два года назад, когда пела молодая, красивая цыганка, застрелился студент, тут же, при всех. Отошел в угол, наклонился, точно собирался плюнуть, и выстрелил себе в рот, еще пахнувший вином. Один из приятелей доктора, расцеловавшись с ним, уехал из «Вавилона» и в ту же ночь в каком-то притоне был убит и ограблен.

Несколько лет назад он встречал здесь Петрова. Тогда у него была красивая подстриженная бородка; он смеялся, лил зачем-то вино в цветы и ухаживал за красивой цыганкой. И цыганки той нет. Она заболела после искусственного выкидыша и куда-то исчезла. А впрочем, быть может, никогда такой цыганки и не было, и доктор смешал с нею других — кто знает.

В пять часов доктор Шевырев кончал третью бутылку шампанского и уходил домой. Зимою в это время было еще темно, и он уезжал на извозчике, а осенью и весною, если была хорошая погода, шел пешком, так как до больницы было недалеко: пять или шесть верст. Идти нужно было сперва большим пригородным селом, а дальше по шоссе, полем и опушкой леса. Солнце только что поднималось, и глаза его были еще как будто красны от сна: и воздух, и лесок на солнечной стороне, и пыль по дороге были окрашены нежно-розовой краской. Ехали в город на базар мужики и бабы, и в их плотно одетых фигурах чувствовался еще холодок недавней ночи; пыль за телегами поднималась лениво, как сонная, и у безлюдного трактира играли щенки. Попадались люди с котомками, те загадочные люди, которые всю жизнь куда-то идут на зорях ранними утрами, а потом начиналось росистое поле и лес, влажный, прохладный, немного суровый, еще не прогретый ранним солнцем. И в лес не хотелось, и не хотелось идти в тень, а тянуло на солнце.

Так шел он, бритый, в цилиндре, задумчиво помахивал рукою в палевой перчатке и что-то насвистывал — в тон птицам, заливавшимся в лесу. А за ним в свежем утреннем воздухе далеко тянулся легкий запах духов, вина и крепких сигар.

V

Прошло лето, и настала дождливая осень. Две недели лил дождь, почти не переставая, а когда на несколько часов затихал — отовсюду поднимались дымчатые холодные туманы. Прошел раз снег большими белыми хлопьями, прилег на минуту белым разорванным ковром на зеленой еще траве и тотчас же растаял,— и стало еще мокрее, еще холоднее. В больнице уже с пяти часов зажигали огонь, а весь день стоял холодный сумрак, и деревья за окном уныло размахивали ветвями, словно стряхивали с себя последние мокрые листья. От непрерывного шума дождя по железной крыше, от сумрака и отсутствия развлечений больные беспокоились,

чаще страдали припадками и постоянно на что-нибудь жаловались. Некоторые простудились, и в том числе больной, который стучит: у него сделалось воспаление легких, и несколько дней можно было думать, что он умрет, и другой умер бы, как утверждал доктор, но его сделала непостижимо живучим, почти бессмертным его страшная воля, его безумная мечта о дверях, которые должны быть открыты: болезнь ничего не могла сделать с телом, о котором забыл сам человек. В бреду он говорил об открытой двери, умолял, просил, требовал так грозно, что сиделка боялась оставаться с ним, хотя он был одет в горячечную рубашку и был привязан к кровати. Поправлялся он очень быстро, и доктор Шевырев велел дверь в его комнату держать открытой; прикованный слабостью к постели, невольно радующийся возвращенной жизни, он забывал, что за этой дверью есть другие, закрытые, и не мог узнать этого. И весь этот день он был счастлив. Но уже на следующее утро послышался его слабый стук у соседней запертой двери.

Простудился и Егор Тимофеевич: у него был жестокий насморк, и, кроме того, он потерял голос, так что говорил сиплым, но громким шепотом. Но чувствовал он себя великолепно. За лето он вырастил сам, своими трудами, огромную тыкву и поднес ее фельдшерице; та хотела отнести ее на кухню, но Егор Тимофеевич не позволил, сам выбрал ей место на столе и часто забегал в комнату взглянуть на нее; тыква смутно напоминала ему земной шар и говорила о чем-то великом.

Кроме того, доктор Шевырев подарил ему десять открытых писем с рисунками, и Егор Тимофеевич занялся составлением каталога к своей картинной галерее и сам рисовал обложку. На обложке он прежде всего нарисовал себя в могущественном виде, как собственника галереи, и так увлекся этим, что на всех страницах тетради повторил тот же рисунок. Потом попросил у доктора самый большой лист бумаги и во всю его величину опять нарисовал себя, а сверху вдохновенно, без размышлений, сделал надпись: «многоуважаемый Георгий-победоносец». Картину повесил в столовой, у самого потолка, и те из больных, которые могли любоваться ею, хвалили Померанцева.

Но дурная погода влияла и на Егора Тимофеевича, и ночные видения его были беспокойны и воинственны. Каждую ночь на него нападала стая мокрых чертей и рыжих женщин с лицом его жены, по всем признакам — ведьм. Он долго боролся с врагами под грохот железа и, наконец, разгонял всю стаю, с визгом и стоном разлетавшуюся от его

огненного меча. Но каждый раз после битвы наутро он бывал настолько разбит, что часа два лежал в постели, пока не набирался свежих сил.

— Конечно, и мне попало,— откровенно сознавался он доктору Шевыреву.— Один, это, здоровенный черт взял бревно и сейчас, это, мне под ноги, а потом навалился на меня и давай душить. Ну, я ему сейчас, это, и показал, где раки зимуют! Обещали нынче опять прийти. Если ночью шум услышите, так не пугайтесь, а посмотреть приходите: интересно!

И долго, с новыми и интересными подробностями, рассказывал о ночном сражении.

Хуже всех чувствовал себя Петров. От постоянного сумрака, ползшего в окна, ему казалось, что уже наступает конец, и каждую минуту он ожидал чего-то ужасного. Предчувствие надвигающейся беды было так осязательно, что по целым часам он сидел неподвижно, не смея встать, не смея шевельнуться. Он знал, что пока он сидит неподвижно, этого не может быть, но стоит ему встать, шевельнуться, косо, назад себя взглянуть глазами — оно, это ужасное, сейчас же случится. А вставши и начав ходить, он не смел остановиться, так как ужас был в неподвижности, и ходил он все быстрее, поворачивался все чаще, озирался все острее, пока в изнеможении не падал на кровать. По ночам он так зарывался в подушки и одеяло, что почти задыхался, но открыться не смел, хотя всю ночь в комнате горел огонь и напротив него спала сиделка, приставленная к нему ввиду его особенного беспокойного состояния. И так же, как днем, или он лежал неподвижно, как труп, или весь непрестанно двигался мелкими частыми движениями, похожими на обыкновенную дрожь от холода. Весь ужас его сосредоточивался в матери, слабенькой старушке с бледным лицом. Он уже не думал, что ее подкупили врачи, и не приискивал никаких объяснений, он просто боялся ее и именно того момента, когда она покажет свое старушечье лицо и скажет:

— Сашенька!

Что произойдет тогда, он не знал и не смел и не мог думать. И всегда он чувствовал ее близость. Она ходила по лесу в своей барашковой, сдвинутой набок шапочке, она пряталась под столом, под кроватями, во всех темных углах. А ночью она стояла у его дверей и тихонько дергала ручку.

В воскресенье утром приезжала его мать и целый час плакала в мезонине у доктора Шевырева. Петров ее не видал, но в полночь, когда все уже давно спали, с ним сделался припадок. Доктора вызвали из «Вавилона», и, когда он

приехал, Петров значительно уже успокоился от присутствия людей и от сильной дозы морфия, но все еще дрожал всем телом и задыхался. И, задыхаясь, он бегал по комнатам и бранил всех: больницу, прислугу, сиделку, которая спит. На доктора он также накинулся.

— Что у вас за сумасшедший дом! — кричал он через плечо, на бегу, оглядываясь на него.— Что это за сумасшедший дом, в котором на ночь не затворяют дверей, так что может войти всякая... всякий, кому захочется. Я жаловаться буду! Если нет денег на лишнего сторожа, то лучше не заводить больниц, иначе это мошенничество. Да, сударь, мошенничество, грабеж. На вас полагаются как на честного человека.

— Дайте-ка пульс,— сказал доктор Шевырев.

— Нате. Только вашими пульсами вы меня не обманете.

Петров остановился и, с ненавистью глядя на бритое лицо доктора, неожиданно спросил:

— В «Вавилоне» были?

Доктор утвердительно мотнул головой.

— Ну, как там?

— Хорошо.

— Я думаю, хорошо. Еще бы не хорошо. Но только вы двери все-таки велите запирать. Вавилон — Вавилоном, а больница — больницей.— Он громко захохотал, но губы его дрожали, и смех вышел также дрожащий и напоминал, скорее, лай озябшей собаки.

— Да, я велю запирать. На этот раз простите. Небрежность прислуги.

— Вам небрежность, а для меня это черт знает чем пахнет. Ну, да ладно, на первый раз прощается. Слышали? — строго обратился он к фельдшеру и прислуге.— Сейчас же затворить все двери! — Он громко рассмеялся: — А то мы с вашим доктором моментально удерем в «Вавилон»!

Когда Петрова уложили в постель и он уснул, доктор Шевырев пошел наверх и в коридоре, у лестницы, встретил Марию Астафьевну. Она была совсем одета, и глаза ее в полусвете горели.

— Доктор!..— шепнула она, но захлебнулась словом и громко повторила: — Николай Николаевич!

— А, это вы! Отчего вы не спите? Поздно.

— Николай Николаевич!..

— Что? Нужно что-нибудь?

— Николай Николаевич...— Дыхание ее захватило; она хотела сказать многое; о своей любви, о «Вавилоне», о шам-

панском, но выговорилось другое: — Бром Поляковой давать?

— Как же, давайте. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Вы опять уедете?

Доктор Шевырев взглянул на часы: они показывали половину четвертого.

— Поздно уже, пожалуй? Не поеду.

— Благодарю вас.

Мария Астафьевна всхлипнула и убежала с нарастающим громким рыданием, такая маленькая в большом и высоком коридоре, как девочка. Доктор Шевырев посмотрел ей вслед, еще раз взглянул на часы и, покачав головою, отправился к себе наверх.

Следующий день был суровый, без дождя, но очень холодный — видимо, погода поворачивала на зиму. И как-то очень быстро подсыхало. К четырем часам, когда больных выпустили на полчаса погулять, дорожки были совершенно сухи и тверды, как камень, и опавший лист шуршал под ногами с легким отзвуком жести. Доктор, Егор Тимофеевич и Петров вначале гуляли по дорожке, причем доктор и Петров молчали, а Егор Тимофеевич забавлялся тем, что зарывал ногу в шуршащий лист, а потом глядел назад — остался след от его ноги или не остался. И болтал что-то об осени в Крыму, где он никогда не был, об охоте с гончими собаками, которых он никогда не видал, и о многом другом, бессвязном, но веселом и интересном.

— Сядем,— предложил доктор.

Они сели на скамеечку, доктор Шевырев посередине, а остальные по бокам, и как-то так, что прямо перед их глазами открылось холодное небо с бледно-серыми высокими облаками. Уже вечерело, и далеко за версту над едва видимыми верхушками деревьев носилась огромная стая галок, искавших ночлега. Они метались сплошной, но живою полосой и кричали, и, хотя их было много, в озабоченном крике их звучало одиночество осени, предчувствие долгой, холодной ночи, бесплодная жалоба. Несколько галок отделилось от стаи, и, когда они приблизились, видно стало, что четыре галки преследуют одну,— и скоро все они скрылись за лесом. Петров, несколько успокоившийся после вчерашнего припадка, напряженно и странно всматривался в галок, переводя глаза на доктора и снова на галок. Егор Тимофеевич тоже замолчал и неодобрительно вглядывался в незаметно темневшее небо и в галок.

— Хорошо теперь дома,— почему-то удивленно сказал он.— Пойти и сейчас, это, чаю выпить.

— Они сюда летят,— сказал Петров.

Он побледнел и слегка придвинулся к доктору Шевыреву.

— И то пойдемте,— ответил доктор.— Георгий Тимофеевич, вы вперед.

В этих словах Егору Тимофеевичу послышался призыв к власти. Он мужественно выпрямился и отчетливо зашагал, подражая руками движению барабанщика, бьющего в барабан, и выделывая голосом соответствующие звуки:

— Там-тара-та-там! Там-тара-та-там!

Так шел он впереди и барабанил, отчетливо отбивая шаги, а за ним, невольно в такт, шагали те двое. И Петров прижимался к доктору и все оглядывался назад — на беспокойную, растерянную стаю галок, на холодное, безнадежное, темнеющее небо.

— Там-тара-та-там! Там-тара-та-там!

Сторож издалека увидел доктора и широко распахнул двери. Первым, громко барабаня, с гордо закинутой головой, торжественно вступил Егор Тимофеевич. За ним, невольно шагая в такт, вошли те двое, и Петров обернулся в дверях, и на лице его был ужас.

К ночи поднялся сильный ветер, гремевший железными листами на крыше,— и в эту ночь умер от страха Петров.

VI

Покойника отнесли в большую холодную комнату, имевшуюся в больнице для таких случаев, обмыли и одели в черный сюртук, топорщившийся на груди. Днем приехали мать Петрова и старший брат его, очень известный писатель, поклонились праху и пошли к доктору Шевыреву в мезонин. Старушка, совсем обессилевшая от горя, едва взошла на лестницу, упала на диван, и, маленькая, вся высохшая от долгой жизни и страданий, стала похожа на черный измятый комок с белым лицом и волосами. Скупо плача последними старушечьими слезами, она долго рассказывала, как все родные любили Сашу, и каким горем поразила их неожиданная и страшная болезнь его. Во всем их роду не было сумасшедших, и Саша всегда был очень здоровый юноша, хотя несколько мнительный. И о мнительности его она говорила очень долго, и казалось, что она в чем-то оправдывается, что-то старается доказать, но не может. Доктор Шевырев односложно успокаивал ее, а писатель, высокий, мрачный, черноволосый, немного похожий на покойного брата, раздраженно прохаживался по комнате, пощипывал

бороду, посматривал в окно и всем поведением своим показывал, что рассказ матери ему не нравится. У него было свое мнение о болезни брата, очень умное, отчасти основанное на науке, отчасти ставившее болезнь Саши в зависимость с общим неудовлетворительным укладом жизни. Но теперь, когда Саша лежал мертвым, говорить об этом было как-то неловко, тем более, что пришлось бы коснуться и дурного характера покойного. Наконец он не выдержал и перебил мать:

— Мамочка! Пора ехать. Мы мешаем господину доктору.

— Сейчас, Васенька, два слова только.

И она снова плела свою бесконечную историю, в чем-то оправдывалась, что-то хотела доказать, но не могла. Сын с раздраженным любопытством вглядывался в ее качающуюся седую голову в черной кружевной наколке, вспомнил, какие нелепости говорила она дорогою, и думал, что мать его совсем выжила из ума, что внизу, запертые по своим комнатам, сидят сумасшедшие, что брат его, который умер, тоже был сумасшедшим. Все выдумывал что-то беспокойное, бредовое, мучительное, каких-то врагов. Врагов! Вот если бы ему дать его врагов, настоящих врагов, беспощадных, могущественных, неутомимых, не брезгающих клеветою и доносом,— чтó бы он сказал тогда!

— Как хотите, мама, нужно же наконец ехать.

— Сейчас, Васенька. А можно мне будет, Николай Николаевич, провести ночь около Саши? А то один он. Никто во всем нашем роду не умирал в больнице, один он, бедненький, мальчик мой бедненький!..— И она заплакала.

Доктор Шевырев любезно выразил согласие, и Петровы уехали, и дорогою старушка снова говорила нелепости, а сын ее морщился и тоскливо смотрел в осеннее темное поле.

Егора Тимофеевича, ввиду полной его безвредности, никогда не запирали, и весь этот беспокойный день он возбужденно толокся на народе, присутствовал на всех панихидах, выдавал и снова отбирал свечи, и если кто забывал погасить свою свечу, Егор Тимофеевич сам громко и деловито задувал огонь. К покойнику он чувствовал жгучий интерес, каждые полчаса забегал в комнату полюбоваться на него, поправлял покрывало и упрямо топорщившийся сюртук и чувствовал себя почти таким же важным и интересным, как сам покойник. Он был жив и хлопотал, а это было ничуть не менее интересно, загадочно и важно, чем умереть и лежать в гробу, и он это сознавал. И пока он бегал и распоряжался, в голове его звучали красивые, гордые

слова: «усопший», «в Бозе почивший», «новопреставленный», и от этих слов, и от всего, что делалось кругом, чувствовал себя необыкновенно счастливым. И только в глубине его сознания было что-то тревожное, растерянное, как будто он забыл что-то очень важное, хочет вспомнить и не может. На бегу он часто останавливался, озабоченно потирал лоб и потом приставал к Марии Астафьевне с вопросом:

— Мария Астафьевна! Что вы мне сказали сделать? Я все сделал.

Фельдшерица была еще до сих пор счастлива, что доктор Шевырев тогда ночью не поехал в «Вавилон», и ласково успокаивала больного:

— Вы все сделали, Георгий Тимофеевич. Мы очень вам благодарны — я и доктор. Понимаете: я и доктор? Я и доктор.

— Ну то-то. А то мне показалось...— И он снова убегал хлопотать.

И когда наступила ночь, Егор Тимофеевич никак не мог уснуть: ворочался, кряхтел и наконец снова оделся и пошел поглядеть на покойника. В длинном коридоре горела одна лампочка и было темновато, а в комнате, где стоял гроб, горели три толстые восковые свечи, и еще одна четвертая, тоненькая, была прилеплена к псалтырю, который читала молоденькая монашенка. Было очень светло, пахло ладаном, и от вошедшего Егора Тимофеевича по дощатым стенам побежало в разные стороны несколько прозрачных, легких теней.

— Дайте-ка, матушка, я почитаю,— сказал Егор Тимофеевич.

Молоденькая монашенка, молодость которой проходила в том, что она читала по покойникам, охотно уступила место, так как приняла Егора Тимофеевича за какое-нибудь начальство или за старшего родственника, и отошла к стороне. С дивана, при звуке шагов и разговора, поднялась закутанная от холода в платок мать Петрова. Сухая маленькая голова ее с седыми волосами слабо покачивалась, а лицо было такое доброе и такое чистое, как будто она десять раз на день промывала его во всех морщинках. Она уже давно лежала на диванчике, но не спала и все думала.

Вначале Егор Тимофеевич читал очень выразительно и хорошо, но потом стал развлекаться свечами, кисеей, венчиком на белом лбу мертвеца, начал перескакивать со строки на строку и не заметил, как подошла монашенка и тихонько отобрала книгу. Отойдя немного в сторону, склонив голову набок, он полюбовался покойником, как

художник любуется своей картиной, потом похлопал по упрямо топорщившемуся сюртуку и успокоительно сказал Петрову:

— Лежи, брат, лежи. Я скоро опять приду.

— Вы знали Сашеньку? — спросила мать Петрова, подходя.

Егор Тимофеевич обернулся.

— Да,— решительно сказал он.— Он был мой лучший друг. Друг детства.

— А я его мать. Мне очень приятно, что вы так отзываетесь о Сашеньке. Позвольте с вами побеседовать?

Егору Тимофеевичу представилось, что он — доктор Шевырев, выслушивающий жалобы больных, и, сделав внимательное, серьезное, ученое лицо, он предупредительно ответил:

— Пожалуйста. Но не хотите ли присесть, так будет удобнее...

— Нет, я так. Скажите, ведь неправда, что Сашенька был плохой человек?

— Он был великолепнейший человек,— искренно опроверг Егор Тимофеевич.— Это был лучший из людей, какого я знал. Конечно, были у него некоторые... странности, но кто из людей не имеет их?

— Вот то же и я говорю, а Васенька сердится. Вы так меня радуете, так утешаете меня. И скажите, Сашенька не жаловался вам?.. Он, бедненький, думал, видите, что я мало его любила, а я, верьте Богу, так его любила, так любила...

И, тихонько плача, она рассказала Егору Тимофеевичу всю скорбную повесть материнских страданий, когда на глазах ее погибал, неизвестно отчего, ее любимый сын и она ничем не могла помочь ему; и снова она оправдывалась в чем-то и что-то хотела доказать, но не могла. И как будто ни для нее, ни для Егора Тимофеевича, спокойно облокотившегося на край гроба, не было здесь покойника, как будто смерть не являла здесь своего страшного образа: старушка так близко к себе чувствовала смерть, что не придавала ей никакого значения и путала ее с какой-то другой жизнью, а Егор Тимофеевич не думал о ней. Но слезы старой, седой женщины трогали его, и то же прежнее беспокойство с силой овладевало им.

— Дайте-ка пульс. Так, хорошо. Не волнуйтесь, все устроится прекрасно. Я сделаю все, что возможно. Будьте совершенно спокойны.

— Вы так утешаете меня, вы так добры... Благодарю

вас.— И старушка неожиданно схватила его руку и поцеловала.

— Что вы, что вы? — сконфуженно и возмущенно крикнул Егор Тимофеевич.— Разве у мужчины целуют руку?

Он густо и наивно покраснел, как краснеют только пятидесятилетние морщинистые люди, и быстро вышел. Но в коридоре было темно, и он пошел тише, и уже через несколько шагов возле него появился Николай-чудотворец. Он был низенький, седенький старичок в татарских туфлях с загнутыми носками и с золотым ободком вокруг головы. Егор Тимофеевич шел, понурив голову, и Николай-чудотворец шел, понурив голову, и ступал неслышно, как по войлоку. И очень долго шли они, как будто коридор был бесконечен, шли и оба думали. По бокам белели запертые двери, одни безмолвные, и за ними чувствовался сон, а за другими слышалась ровная, невнятная болтовня беспокойных больных, у которых не было покоя, не было сна. И бесконечен был коридор, и бесконечно тянулись запертые двери.

За одной из них, с левой стороны, слышался негромкий, но твердый и размеренный звук, такой постоянный, что казался тишиною: это стучал больной, на днях вставший с постели и снова принявшийся за свою бесконечную работу.

— Стучит,— сказал Егор Тимофеевич, не поднимая головы.

— Стучит,— ответил Николай, не поднимая головы.

— Хорошо все.

— Хорошо,— согласился Николай.

Они шли и оба думали.

— Только отчего вот тут, в груди, под сердцем, бывает иногда так тяжело, так тяжело? Так тяжело, Никола!

— Нельзя же сидеть в сумасшедшем доме и не поскучать порою.

— Ты думаешь? — Егор Тимофеевич повернулся к Николаю. Тот ласково глядел на него, улыбался тихонько и плакал.— Отчего ты плачешь? Улыбаешься и плачешь?

— Ты сам улыбаешься и плачешь.

И снова они шли и думали.

— Стучит,— сказал Егор Тимофеевич.

— Стучит,— ответил Николай.

— Мне жалко тебя, Никола. Такой ты старенький, хворенький, в чем душа держится, а все ходишь, все ходишь, все летаешь, все беспокоишься. Вот ко мне прилетел, не позабыл.

— Я в туфлях. А в сапогах тяжело.

— Стучит,— сказал Егор Тимофеевич.— Полетим куда-

нибудь, Никола, пожалуйста. А то скучно мне очень, так скучно. И ноги болят.

— Полетим,— согласился Николай.

И они полетели.

В полутемном коридоре царила беспокойная тишина. Тянулись запертые двери, и за некоторыми слышалась невнятная, тревожная болтовня тех, кто не знал покоя и сна. В конце коридора за безмолвною дотоле дверью послышался громкий крик:

— Ку-ка-ре-ку!

Это кричал больной, который считал себя петухом. С точностью хронометра он просыпался в двенадцать, три и шесть часов, хлопал руками как крыльями, и кукарекал, будя спящих. Но никто из спящих не проснулся и не отозвался, и сам больной, считающий себя петухом, скоро заснул; и только за одной белой дверью, с левой стороны, продолжался все тот же размеренный, непрерывный стук, похожий на тишину.

Ночь убывала, а он все стучал. Уже гасли огни в «Вавилоне», а он все стучал, безумно-настойчивый — неутомимый — почти бессмертный.

11 октября 1904 г.



ГУБЕРНАТОР

I

Уже пятнадцать дней прошло со времени события, а он все думал о нем — как будто само время потеряло силу над памятью и вещами или совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять — о самом чужом, о самом далеком,— уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль: подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полном солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего — и сразу станет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнёт на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной и оттого не особенно беспокойной, хотя и надоедливой; но вскоре случилось так, что все стало напоминать событие — неожиданно, нелепо, и потому особенно больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит точно со стороны свой генеральский смех и вдруг возмутительно ясно увидит какого-нибудь убитого — хотя он тогда и не думал смеяться, да и никто не смеялся. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул, протянет ли руку к хлебу — все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален:

рабочие с пригородного завода, уже три недели бастовавшие, всею своею массою в несколько тысяч человек, с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он, как губернатор, осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающе и дерзко: кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда свитские увели его на балкон,— он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее,— рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицеймейстера. Тогда он разгневался и махнул платком.

Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить, и убитых было много — сорок семь человек; из них девять женщин и трое детей, почему-то всё девочек. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае третьей полицейской части. Конечно, не нужно было ездить; но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел, была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками, и казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему.

В длинном сарае было темно и прохладно, и убитые, под полосою серого брезента, лежали двумя правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке: вероятно, к приезду губернатора подготовились и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища, ноги, точно для счета, оставались на виду — неподвижные ноги, одни в стоптанных, рваных сапогах и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар. Дети и женщины были положены особо, в сторонке; и в этом опять-таки чувствовалось желание сделать как можно более удобным обозрение трупов и их подсчет. И было тихо — слишком тихо для такого множества людей, и вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой перегородкой возился около лошади конюх; видимо, и он не подозревал, что за стеною есть кто-нибудь, кроме мертвых, потому что говорил лошади спокойно и сердечно:

— Тпрру, дьявол! Стой, когда говорят.

Губернатор взглянул на ряды ног, уходивших в темноту, и сдержанным басом, почти шепотом сказал:

— Однако много!

Из-за спины его выдвинулся помощник пристава, очень молодой, с безусым, угреватым лицом и, козыряя, громко доложил:

— Тридцать пять мужчин, девять женщин и трое детей, ваше превосходительство.

Губернатор сердито поморщился, и помощник пристава, козырнув, вновь пропал за его спиной. Ему еще хотелось, чтобы губернатор обратил внимание на дорожку между трупов, которая была тщательно прометена и слегка присыпана песком, но губернатор не заметил, хотя внимательно смотрел вниз.

— Детей трое?

— Трое, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?

Губернатор молчал.

— Тут есть разные лица, ваше превосходительство,— почтительно настаивал помощник пристава и, приняв молчание за согласие и внезапно перейдя на громкий шепот, распорядился: — Иванов, Сидорчук, живо, за тот конец, ну-ну!

С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц, бородатых и старых, молодых и безбородых, все разных, но объединенных между собою тем страшным сходством, какое придает смерть. Ран и крови почти не видно было, они остались где-то под одеждой, и только у одного глаз, выбитый пулей, неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь. Большинство смотрело совершенно одинаковым белым взглядом; некоторые жмурились, так же одинаково, и один закрывал рукою лицо, точно от сильного света; и помощник пристава страдальчески взглянул на этого мертвеца, нарушившего порядок. Губернатор знал наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе, в ближайших к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними,— но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что придала им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно-неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости, и в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность; и так выжидающе-внимательны они были, что даже неловко было говорить в их присутствии. Если бы вдруг, сразу, окаменел город со всеми людьми, которые идут и едут, остановилось солнце, замерла листва и замерло все,— он,

вероятно, имел бы такой же странный характер незавершенного стремления, внимательного ожидания и загадочной готовности к чему-то.

— Осмелюсь спросить, прикажете заказать гробы, ваше превосходительство, или же в братскую могилу? — громко, не догадываясь, спросил помощник пристава; важность события, переполох допускали, казалось ему, некоторую почтительную фамильярность. И он был молод.

— Какую братскую могилу? — невнимательно спросил губернатор.

— Это, ваше превосходительство, роется такая большая яма...

Губернатор резко повернулся и пошел к выходу; когда он садился в коляску, он слышал еще громкий скрип ржавых петель: то запирали мертвых.

На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить, не давать совершиться, не давать окончиться тому, что уже совершилось и окончилось, он посетил в городской больнице раненых. Мертвые — те глядели на него, а от этих он не мог дождаться взгляда; и в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося. Кончено, что-то огромное кончено, и больше не за чем и некуда протягивать руки.

И вот с этого мгновения для него как будто остановилось время и наступило то, чему он не мог прибрать имени и объяснения. Это не было раскаяние,— он сознавал себя правым; это не было и жалостью, тем мягким и нежным чувством, которое исторгает слезы и одевает сердце мягким и теплым покровом. Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях; сломанными куклами казались они, и не мог он почувствовать их боли и страданий. Но он не мог не думать о них, он продолжал видеть их ясно — эти фигурки из папье-маше, эти сломанные куклы — и в этом была страшная загадка, что-то похожее на чародейство, о котором рассказывают няньки. И для всех людей со времени события прошло четыре — пять — семь дней, а для него как будто и часа одного не прошло, и он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка, в этом ощущении чего-то бесповоротно совершающегося — бесповоротно совершившегося.

И он уверен, что скоро успокоился бы и позабыл то, о чем нет смысла помнить и думать, если бы окружающие меньше обращали на него внимания. Но в их обращении, в их взглядах и жестах, в почтительно участливых речах, обращенных

точно к неизлечимо больному, звучит твердая уверенность, что он думает, не может не думать о происшедшем. Полицеймейстер через день успокоительно докладывает, что вот еще два-три раненых выздоровели и выписались из больницы; жена, Мария Петровна, каждое утро пробует губами его голову, не горячая ли,— как будто он ребенок, а убитые — зеленое, которого он перекушал. Какой вздор! А через неделю после события приехал с визитом сам преосвященный Мисаил, и после первых фраз ясно стало, что он заботится о том же, о чем и все, и хочет успокоить его христианскую совесть. Рабочих назвал злодеями, его — умиротворителем, и — хитрый! — не привел ни одного заезженного и выдохшегося текста, зная хорошо, что губернатор не особый охотник до поповского красноречия. И противен и жалок показался ему этот старик, бесцельно лгавший перед своим Богом.

Во время разговора архиерей обыкновенно подставлял собеседнику ухо; и, покраснев от гнева,— он сам чувствовал, как горячо стало его глазам,— губернатор сложил губы трубой и гулко загрохотал в наклоненное к нему бескровное, мягкое ухо, покрытое седеньким пушком:

— Злодеи-то — злодеи. А я бы, ваше преосвященство, будь я на вашем месте, отслужил бы панихиду по убиенным.

Архиерей отстранил ухо, развел над животом сухими, как гусиные лапы, руками и, склонив голову, кротко сказал:

— На всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то бы не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!

Потом он любезно преподал благословение и, шурша шелком, поплыл к выходу, и вид имел такой, будто кланяется всему, мимо чего проходит, и все благословляет. В прихожей он долго и любовно возился с глубокими, как корабли, калошами и с одеванием, поворачивал ухо то направо, то налево; а губернатору, который с отвращением, из необходимой вежливости, помогал ему облачаться, твердил с убедительной ласковостью:

— Не утруждайте себя, ваше превосходительство, не утруждайте.

Из этого опять-таки выходило, что губернатор неизлечимо больной человек, которому вредно всякое усилие.

В тот же день приехал из Петербурга в недельный отпуск сын-офицер, и хотя сам он не придавал никакого значения своему необычному приезду, был шутлив и весел, но чувствовалось, что привлекла его сюда все та же непонятная забота

о губернаторе. О событии он отозвался очень легко и передал, что в Петербурге восхищаются мужеством и твердостью Петра Ильича, но настойчиво советовал вытребовать сотню казаков и вообще принять меры.

— Какие меры? — удивился хмуро губернатор, но толку добиться не мог.

Тем более удивительны были все эти заботы, что в городе с того самого дня царило полное спокойствие. Рабочие тогда же приступили к работам; прошли спокойно и похороны, хотя полицеймейстер чего-то опасался и держал всю полицию наготове; ни из чего не видно было, чтобы и впредь могло повториться что-либо подобное событию 17 августа. Наконец из Петербурга, на свое правдивое донесение о происшедшем, он получил высокое и лестное одобрение,— казалось бы, что этим все должно закончиться и перейти в прошлое.

Но оно не переходит в прошлое. Точно вырвавшись из-под власти времени и смерти, оно неподвижно стоит в мозгу — этот труп прошедших событий, лишенный погребения. Каждый вечер он настойчиво зарывает его в могилу; проходит ночь, наступает утро — и снова перед ним, заслоняя собою мир, все собою начиная и все кончая, неподвижно стоит окаменевший, изваянный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

II

Губернатор давно закончил прием, собирается ехать к себе на дачу и ждет чиновника особых поручений Козлова, который поехал кое за какими покупками для губернаторши. Он сидит в кабинете за бумагами, но не работает и думает. Потом встает и, заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна и, слегка растопырив большие, толстые пальцы, внушительно и громко говорит:

— Но в чем же дело?

И чувствует, что, пока он думал, он был просто человек, как всякий другой, Петр Ильич, а с первым же звуком голоса, с этим жестом он сразу стал губернатором, генерал-майором, его превосходительством. Становится неприятно, мысли разбиваются и бегут; и резко, по-губернаторски, дернув левым погоном, он отходит от окна и снова меряет комнату. «Так — ходят — губернаторы»,— думает он нелепо, в такт крупным и твердым шагам, и садится опять,

стараясь не шевелиться, чтобы каким-нибудь неосторожным движением снова не вызвать в себе губернаторского. Звонит.

— Не приезжал?

— Никак нет, ваше превосходительство.

И пока лакей, почтительно изогнувшись, мягко излагает титул, он внезапно вспоминает: «Ах, да, ведь там побиты стекла, а я еще не смотрел. До сих пор еще не смотрел».

— Когда приедет, скажи, я буду в зале.

Рамы в высоких окнах делились по-старинному на восемь частей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией. В трех ближайших к балкону окнах стекла были вставлены заново, но были грязны и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев: очевидно, никому из многочисленной и ленивой челяди в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы происшедшего. И всегда так: скажешь — сделают, а не скажешь — сами никогда не пошевельнут пальцем.

— Сегодня же вымыть. Безобразие!

— Слушаю, ваше превосходительство.

Захотелось выйти на балкон, но неудобно было привлекать на себя внимание проходящих, и сквозь мутное стекло он стал разглядывать площадь, на которой тогда бесновалась толпа, трещали выстрелы и сорок семь беспокойных людей превратились в спокойные трупы. Рядом, нога к ноге, плечо к плечу — как на каком-то парадном смотру, на который глядеть снизу.

Спокойно. Перед самым окном стоял тополь с ободранною мочалившеюся корою, уже окрашенной осенью, а за ним, спокойная и сонная, лежала под солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камешки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густея в ложбинах и канаве. Безлюдная, глухая, немного наивная была площадь, но оттого ли, что он смотрел сквозь мутные и грязные стекла, все казалось скучным, бестолковым, изнывающим в чувстве тупой и безнадежной тошноты. И хотя до ночи было далеко, все это — и ободранный тополь и ровные камешки, по которым никто не ездит,— точно умоляло ночь прийти скорее и мраком своим погасить их ненужную жизнь.

— Не приезжал?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Когда приедет, проси сюда.

По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе,

а быть может, и еще раньше — так грязны и закопчены были дорогие тисненые обои; и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. Зимою, при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мутило. Вот картина: какой-то итальянский лунный пейзаж — висит он криво, и никто этого не замечает, и кажется, что всегда висел он так, и при старом губернаторе, и при том, который был еще раньше. Мебель тоже дорогая, но просиженная, потертая, пропитанная пылью,— похоже вообще на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер от удара, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собою наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был чужой, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города — семинария и окружной суд,— четыре незнакомые чиновника, два сидят и два стоят над ними — какой-то выцветший архиерей — и круглая дыра до самого переплета.

— Какая мерзость! — громко сказал губернатор и брезгливо бросил альбом.

Рассматривал карточки он стоя и, повернувшись на каблуках, дернув погоном, сердито зашагал прямыми твердыми шагами: «Так ходят губернаторы. Так ходят — губернаторы».

Так ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор, и тот, что был до него, и другие, неизвестные. Откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами, а над ними боком висел итальянский пейзаж, устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли — что-то в этом роде было при третьем до него губернаторе.

По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью — и опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый дырявый лист и, кружась, поплыл книзу — и сразу вихрем в голове закружились: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Встают ненужные подробности: как он приготовлял платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и, зажав в маленький твердый комок, держал в правой руке; потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал что. Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог, и железная дверь с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади — и нет возврата.

— Ах, это вы, Лев Андреевич! Наконец-то, я вас заждался.

— Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.

— Ну, едем, едем. Да, послушайте! — Губернатор остановился и раздраженно, сделав рот трубой, заговорил.— Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был как-то я в жандармском управлении — так ведь это что же такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.

— Денег нет.

— Вздор! Отговорки! А это,— губернатор широко обвел рукою,— вы взгляните, что же это такое. Это же мерзость.

— Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему. Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее превосходительство вполне разделяет...

Уже на ходу губернатор отрывисто бросил:

— Не стоит.

Чиновник сочувственно взглянул на его широкую спину, жилистую шею, двумя колонками подпирающую череп, и, вкладывая в голос беззаботность, сказал:

— Да, кстати. Встретил сейчас Судака, говорит, что вчера последнего раненого выписали. Самого тяжелого, почти никакой надежды не было, что поправится. Удивительно живучий народ.

Судаком в губернаторском домашнем кругу назывался полицеймейстер — за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный рост и узкую рыбью спину.

Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и солнечным теплом — как будто существовали они отдельно, и свежесть и тепло, и чувствовались также порознь. И небо было милое: нежное, далекое, неожиданное и прелестно голубое. Хорошо теперь на даче!

Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место влезавшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, согнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз, он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый, белокурый затылок и загорелую, молодую шею и заметил, что шагает он осторожно и неслышно, как босой, шагает и горбится и прячется в себя и спина его словно смотрит назад. «Какой неприятный и странный человек»,— подумал губернатор. То же подумали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди коляски на извозчика: привычным и согласным движением они

заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли и понеслись впереди губернатора. Извозчик у них был лихач, на резинах, колеса подпрыгивали, и кузов пролетки колыхался, и сидели они наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко ушли, чтобы не пылить губернатору.

— Кто эти двое? — спросил он чиновника, искоса подозрительно глядя на него, и тот равнодушно ответил:

— Агенты.

— А зачем это? — так же отрывисто спросил губернатор.

— Не знаю,— уклончиво ответил Лев Андреевич.— Судак все старается.

При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком сапог и молодцевато козырнул безусый помощник пристава, тот, что демонстрировал трупы, а когда проезжали мимо части, из раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности, и смотрели они оба не отрываясь в спину губернатора. Чиновник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взглянул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых перчатках.

Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице, где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кирпичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Один мальчишка мелькнул на заборе, в красных листьях рябины — и быстро скользнул вниз, за забор, притаившись, очевидно, у широкой щели. Летом попадались на Канатной куры и грязные поджарые поросята, привязанные к колышкам, но теперь не было и их,— очевидно, трехнедельная голодовка подобрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз, и в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.

— Послушайте,— вскрикнул губернатор, хватая чиновника за колено.— Ведь этот человек...

— Какой человек?

Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника — словно в запертом и заколоченном доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно, всем широким туловищем обернулся назад и вни-

мательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное грозою стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. Потом пустырь, остатки забора, забитый колодец, с опустившейся вокруг землею — и огромные липы за высокой полуразобранной огорожей, большой барский дом, какими-то судьбами попавший в это захолустье, давно уже не жилой, дряхлый, с закрытыми ставнями и заржавевшей от времени железной дощечкой: «Сей дом продается». Дальше опять домишки и три подряд голые, кирпичные корпуса без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами. Они еще новы; видна засохшая известь, и не заделаны углубления, на которых держались подмостки,— но уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.

Вот и выезд в поле и последний домишко — без одного деревца вокруг, без забора; весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около — ни одного человека.

— А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью. Здесь ведь, наверное, грязь невылазная.

Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось — как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме.

III

Было много веселых игр, смеха и песен — на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. На зеленых лужайках и прогалинах, под золотом и багрянцем листьев, в изумрудной прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин и мундиры военных. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк — громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под старыми, строгими деревьями, и, когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.

Полицеймейстер Судак, сильно выпивший за обедом, благосклонно глядел на всю эту веселую суматоху, остроумно козырял дамам и был счастлив. И когда из дымной темноты рядом с ним послышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять за губернаторскую талию — сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне мундира, бросил в траву только что закуренную папиросу и сказал:

— Ах, ваше превосходительство, какой волшебный праздник!

— Послушайте, Илиодор Васильевич,— перебил губернатор сдержанным басом,— зачем вы посылаете каких-то агентов? К чему это?

— Злодеи злоумышляют на вашу священную жизнь, ваше превосходительство,— с чувством сказал Судак, прижимая обе руки к мундиру.— И помимо прочего, я обязан...

Треск лопающихся бураков, смех и испуганные крики заглушили его слова; потом посыпался дождь голубых, зеленых и красных огней, выделив из дымного мрака пуговицы и погоны губернатора.

— Я знаю это, Илиодор Васильевич, то есть догадываюсь. Но не думаю, чтобы было серьезно.

— Очень даже серьезно, ваше превосходительство. Весь город трубит, даже удивительно, до чего трубит. Я уже троих в части выдержал, да не те попались.

Новый взрыв выстрелов и веселых криков прервал его речь, а когда шум улегся, губернатора уже не было.

После ужина был веселый и шумный разъезд, и заправлял им молодой помощник пристава. Все: и фейерверк, на который смотрел он из кустов, и экипажи, и люди казались ему чрезвычайно красивыми, и собственный молодой голос поражал его своею силою и звучностью. Судак был совсем пьян, острил, хохотал и даже пел марсельезу, первые слова:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!

Наконец уехали.

— Что ты все хмуришься, милый папа? — сказал офицер и с покровительственной лаской положил руку на плечо Петра Ильича.

В семье губернатора любили, а губернаторша даже немного боялась его, но почему-то с некоторого времени его считали очень старым и слегка презирали за это.

— Вздор! Я ничего,— нерешительно ответил Петр Ильич. Ему и хотелось поговорить с сыном, и боялся он этого разговора, так как давно уже разошелся с ним во взглядах. Но теперь эта именно рознь могла оказаться полезной.— Дело в том, видишь ли,— продолжал он, конфузясь,— что меня смущает этот случай, ну, с рабочими.

Он открыто взглянул на сына; тот ответил удивленным взглядом и снял с плеча руку.

— Но ведь ты же получил одобрение из Петербурга?

— Да, конечно, и я очень счастлив, но... Алеша! — С неуклюжей ласковостью пожилого и важного человека он заглянул в красивые глаза сына.— Ведь они же не турки? Они свои, русские, всё Иваны да тезки — Петры, а я по ним, как по туркам? А? Как же это?

— Они бунтовщики.

— Алеша! ведь на них кресты, а я,— он поднял палец,— по крестам!

— Насколько мне известно, ты никогда, папа, не придавал особенного значения религии. При чем тут кресты? Это хорошо для какого-нибудь приказа по полку, что ли, а...

— Конечно, конечно,— торопливо согласился губернатор,— не в крестах тут дело. А я о том, что свои. Понимаешь, Алеша, свои. Будь я немец, Август Карлович Шлиппе-Детмольд, а то ведь Петр, да еще Ильич.

Офицер становился все суше.

— Ты что-то путаешь, папа. При чем тут оказались немцы? Наконец, если хочешь, немцы тоже стреляли в немцев, французы во французов, и так далее. Отчего же русским не стрелять в русских? Как государственный деятель ты должен понимать, что в государстве прежде всего порядок, и кто бы ни нарушал его, безразлично. Нарушь его я,— и ты должен был бы стрелять в меня, как в турка.

— Это верно! — кивнул головой губернатор и заходил по комнате.— Это верно.

И остановился.

— Да ведь с голоду, Алеша! Если бы ты их видел.

— Зензивеевские мужики тоже с голоду бунтовали, а это не помешало тебе великолепно их выдрать.

— Одно дело выдрать, а другое... Этот дурак разложил их в ряд, как дичь, и я взглянул на их ноги и подумал: никогда эти ноги не будут ходить... Ты не хочешь понять меня, Алексей. Палач — тоже государственная необходимость, но быть им...

— Что ты говоришь, отец!

— Я знаю, я чувствую это: меня убьют. Я не боюсь

смерти,— губернатор закинул седую голову и строго взглянул на сына,— но знаю: меня убьют. Я все не понимал, я все думал: но в чем же дело? — Он растопырил большие толстые пальцы и быстро сжал их в кулак.— Но теперь понимаю: меня убьют. Ты не смейся, ты еще молод, но сегодня я почувствовал смерть вот тут, в голове. В голове.

— Папа, я прошу тебя, выпиши казаков, потребуй денег на охрану. Тебе дадут. Я прошу тебя, как сын, и я прошу тебя от имени России, которой нужна твоя жизнь.

— А кто же убьет меня, как не Россия? И против кого я выпишу казаков? Против России — во имя России? И разве могут спасти казаки, и агенты, и стражники человека, у которого смерть вот тут, во лбу. Ты сегодня немного выпил за ужином, Алеша, но ты трезв, и ты поймешь: я чувствую смерть. Еще там, в сарае, я почувствовал ее, но не знал, что это такое. Это вздор, что я тебе говорил о крестах и о русских, и не в этом дело. Ты видишь платок?

Он быстро вынул из кармана платок, расправил его и, как фокусник, показал Алексею Петровичу.

— Вот. Смотри!

Он быстро махнул платком вперед, так что волна душистого воздуха дошла до неподвижно сидевшего офицера.

— Вот. Вы новые, вы академики, вы ни во что не верите, а я верю в старый закон: кровь за кровь. Увидишь!

— Так выходи в отставку, уезжай куда-нибудь.

Он точно ждал этого предложения и не удивился.

— Нет. Ни за что! — твердо ответил он.— Ты сам понимаешь, что это было бы бегство. Вздор! Ни за что!

— Прости, папа, но ведь это же получается такая бессмыслица,— офицер прижал красивую голову к плечу и развел руками,— ведь это же я не знаю, что такое. Мама охает, ты толкуешь о какой-то смерти — ну из-за чего это? Как не стыдно, папа. Я всегда знал тебя за благоразумного, твердого человека, а теперь ты точно ребенок или нервная женщина. Прости, но я не понимаю этого.

Он сам не был нервен и не был похож на женщину, этот молодой, красивый офицер с розовыми, гладко выбритыми щеками и спокойными, уверенными движениями человека, который не только уважает, но даже чтит себя. Когда он бывал в народе, он чувствовал себя так, как будто он совершенно один и других людей возле него нет; и нужно было быть очень значительным человеком, особой не ниже генерала, чтобы он ощутил его присутствие и испытал то легкое стеснение, чувство самоограничения, какое обычно испытывается на людях. Он любил и умел плавать; и, купаясь летом

на Неве, в общей купальне, он так спокойно, внимательно и сосредоточенно изучал свое тело, точно никого здесь не было. Однажды в этой же купальне появился китаец, и все с любопытством рассматривали его — одни искоса, другие открыто, не стесняясь; и только он один даже не взглянул на него, так как считал себя и интереснее и важнее китайца. Все в мире для него было ясно и просто, все делилось без остатка, и он знал, что с казаками во всяком случае лучше, чем без казаков.

И в упреках его звучало искреннее негодование, смягчаемое только вежливостью да боязнью задеть стариковское самолюбие... То, что происходило с его отцом, хотя и не было для него полною неожиданностью,— он всегда знал отца за фантазера,— но возмущало его, как что-то грубое, варварское, атавистическое. Кресты, кровь за кровь, Петры да Иваны — как все это нелепо!

«Однако плохой ты губернатор, хотя тебя и похвалили»,— медленно подумал он, провожая красивыми глазами шагавшего отца.

— Так как же, папа? Ты обижаешься на меня?

— Нет,— просто ответил губернатор.— Я благодарен тебе за твое чувство, и ты хорошо сделаешь, если успокоишь мать. Я же совершенно спокоен и только высказал тебе свои соображения. По-твоему — так, по-моему — иначе, а там увидим. Однако иди спать, тебе пора.

— Мне еще не хочется. Не пройдемся ли немного по саду?

— Хорошо.

Их сразу охватила тьма, и они исчезли друг для друга — только голоса да изредка прикосновение нарушали чувство странной, всеобъемлющей пустоты. Но звезд было много, и горели они ярко, и скоро Алексей Петрович там, где деревья были реже, стал различать возле себя высокий и грузный силуэт отца. От темноты, от воздуха, от звезд он почувствовал нежность к этому темному, едва видимому, и снова повторил свои успокоительные объяснения.

— Да. Да,— отрывисто отвечал Петр Ильич, и непонятно было, соглашается он или нет.

— Как темно, однако! — сказал Алексей Петрович, останавливаясь; они вошли в глубину аллеи, и дальше ничего нельзя было разобрать в сплошном мраке.— Ты бы, папа, фонари, что ли, велел поставить!

— Незачем фонари. А вот ты скажи...

Оба они стояли неподвижно, и шороха шагов не слышно

было, и всеобъемлющая пустота царила безраздельно и властно.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Алексей Петрович.

— Говорит тебе что-нибудь эта темнота?

«Опять фантазии»,— подумал офицер и наставительно заметил:

— Она говорит, что тебе одному здесь не следует ходить За любым деревом может кто-нибудь сидеть и подстерегать!

— Подстерегать! Вот и мне она говорит то же. Вообрази, что здесь за каждым деревом сидят люди — невидимые люди — и подстерегают. Их много — сорок семь, сколько было убитых,— и они сидят, слушают, что я говорю, и подстерегают.

Офицеру стало неприятно. Он оглянулся кругом, ничего не увидел, кроме мрака, и сделал шаг, чтобы идти.

— Охота себя расстраивать! — недовольно заметил он.

— Нет, погоди! — И от легкого прикосновения пальцев офицер вздрогнул.— Вообрази, что и там, в городе, и везде, куда бы я ни пошел, меня подстерегают. Иду я, идет какой-то человек и меня подстерегает. Или сажусь я в коляску, а мимо проходит человек и кланяется — он меня подстерегает.

Тьма становилась зловещей, и голос, когда не видно было человека, звучал странно и чуждо.

— Довольно, папа, идем!

Офицер быстро, не ожидая отца, зашагал.

— Вот то-то! — с неожиданной шутливостью сказал Петр Ильич знакомым басом.— А ты не веришь мне. Я тебе говорю — вот она, во лбу.

Когда блеснул свет из окна, он показался так далек и недоступен, что офицеру захотелось побежать к нему. Впервые он нашел изъян в своей храбрости и мелькнуло что-то вроде легкого чувства уважения к отцу, который так свободно и легко обращался с темнотой. Но и страх и уважение исчезли, как только попал он в освещенные керосином комнаты, и было только досадно на отца, который не слушается голоса благоразумия и из старческого упрямства отказывается от казаков.

IV

Зимою и летом губернатор вставал в семь часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал двухчасовую пешую прогулку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил и при своих пятидесяти

шести годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади, глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковски мясистый нос с красною вдавленною полоскою от очков. Пенсне он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки.

На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Но со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел — было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно больное. И большую часть дня, когда не ездил в город, проводил в аллеях огромного, в пятнадцать десятин парка, меряя их прямыми, твердыми шагами.

Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, и иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую, длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случалось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша — и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое, всему враждебное, то веселое, приятное, нежное, ищущее ласки, позволяло догадываться о характере этой сокровенной, загадочной работы где-то в недоступных глубинах мозга. После события обычное настроение — каковы бы ни были явные мысли — оставалось неизменно печальным, сурово безнадежным; и каждый раз, очнувшись от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь. Однажды в молодости он утопал в быстрой и глубокой реке; и долго потом он сохранял в душе бесформенный образ удушающего мрака, бессилия и втягивающей в себя, засасывающей глубины. И теперь было что-то похожее.

Через два дня после отъезда сына, в солнечное, безветренное утро он также ходил по аллее и думал. С аллеи уже успели смести напавший за ночь желтый лист, и на бороздках от метлы отчетливо ложились следы больших ног, с высоким каблуком и широкой четырехугольной подошвой — вдавленные следы, точно к тяжести человека прибавилась тяжесть его мыслей и вдавливала его в землю. Минутами он останавливался, и тогда где-то над головой

в путанице освещенных солнцем ветвей слышался отчетливый рабочий стук дятла. Раз в одну из остановок аллею перебежала белка, точно красноватый комок на колесиках перекатился с одного дерева на другое.

«Убьют меня, наверное, из револьвера, теперь есть хорошие револьверы,— думал он.— А бомб в нашем городишке и делать не умеют, да и вообще бомбы для государственных деятелей, которые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют бомбой,— придумал Петр Ильич, и левый ус его приподнялся легкой насмешливой улыбкой, хотя глаза оставались по-прежнему хмуры и серьезны.— А прятаться не стану, нет, довольно уже того, что я сделал».

Он остановился и снял с тужурки паутинку.

«Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют, как негодяя. Очень жаль, но ничего не поделаешь. И говорить не стану. Зачем разжалобливать судью? Судью разжалобливать нечестно. Ему и так трудно, а тут еще перед ним будут хныкать: я честный, честный».

Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его взял, и, главное, взял так, как будто это вопрос давно уже решенный. Словно он уже крепко спал, и во сне кто-то разъяснил ему все, что нужно, про судью и убедил его; потом он проснулся, сон позабыл, объяснения позабыл, а знает только, что есть судья, вполне законный судья, облеченный огромными и грозными полномочиями. И теперь, после минутного удивления, он принял этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.

«Вот Алеша этого не понимает. По его — все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость — стрелять в голодных. Государственная необходимость — кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается».

И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух и захватил дыхание, и одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное:

— Поздно!

Он не знал, была ли это мысль, или чувство, или он вслух произнес его, как слово; оно прозвучало громко и отовсюду и удалилось быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного, разрозненного бегства, болючих столкновений — и мертвенное спокойствие, почти отдых.

Блеснули на солнце, сквозь деревья, стекла оранжереи, треугольник белой стены, как кровью окрапленный красными листьями дикого винограда; и, подчиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.

— А садовника нет?

— Нету, ваше превосходительство. В город уехал, за прививками — нынче пятница.

— Ага! Хорошо идет все?

— Слава Богу.

Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную, тяжелую влагу; и чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая на солнце огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.

— Ну как, брат Егор?

Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос; он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.

— Слышал я, Егор, будто хотят меня убить. За рабочих, знаешь, тогда...

Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки — спрятал их за спину и молчал.

— Так как же думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Да говори, чего там, наше дело стариковское.

Егор мотнул головой, рассыпав по лбу сизые курчавые волосы, поглядел на губернатора и ответил:

— Кто их знает. Пожалуй что убьют, Петр Ильич.

— А кто же убьет-то?

— Да народ! Общество — по-нашему, по-деревенскому.

— А садовник что говорит?

— Не знаю, Петр Ильич, не слыхал.

Оба вздохнули.

— Плохо, значит, дело, старик? Ты бы сел.

Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.

— А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются, чуть в меня не попали...

— От тоски это. Намедни на базаре один пьяный, мастеровой, что ли, кто его знает, плакал-плакал, а потом поднял каменюгу, да как бацнет. От тоски это, не иначе как.

— Убьют, а потом сами пожалеют,— задумчиво сказал губернатор, представляя себе лицо сына Алексея Петровича.

— Пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то: горькие слезы прольют.

Вспыхнула надежда:

— Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик!

Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглою, словно затвердел. И весь он на мгновенье показался высеченным из камня; и мягкость складок кумачовой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею и совсем как живые,— все это было словно обман со стороны безмерно талантливого художника, облекшего твердый камень видом пушистых и легких тканей.

— Кто их знает,— ответил Егор, не глядя.— Народ, стало быть, желает. Да вы не задумывайтесь, ваше превосходительство, мало ли болтают зря. Поговорят-поговорят, а там и сами забудут.

Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал; но была в его словах страшная убедительность, как в тех полуснах, что грезились губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза: «Народ желает» — очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич, и была особенно убедительной, неопровержимой; но, быть может, даже не в словах Егора была эта странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежею землею.

А солнце светило.

— Ну, прощай, Егор. Дети есть?

— Будьте здоровы, Петр Ильич.

Губернатор застегнулся наглухо, выправил плечи и достал из кармана серебряный рубль.

— На-ка, старик, купишь там себе чего-нибудь.

Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна была, казалось, скатиться, как с крыши, и поблагодарил.

«Странные эти люди,— подумал губернатор, рассекая блики и тени пронизанной солнцем аллеи и сам дробясь на светлые и темные кусочки.— Очень странные люди: у них нет обручальных колец, и никогда не поймешь,— женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца: серебряные. Или даже оловянные. Как это странно: оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в три рубля. Какая бедность. Я не посмотрел: у них в сарае тоже были, вероятно, оловянные кольца. Оловянные с тоненьким пояском посередине, теперь я помню».

Все ниже и ниже, кружась, как ястреб над замеченным кустом, и суживая круги, опускалась мысль в глубину; и солнце погасло, и исчезла аллея — стукнул дятел, лист проплыл, и исчезло все; и сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.

Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль, точно заранее намечая череп; рот открыт широко и страшно — он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше, легко, без треска, как мягкую бумагу, и обнажает грудь. Грудь белая, и половина шеи белая, а с половины к лицу она темная — как будто туловище у него общее со всеми людьми, а голова наставлена другая, откуда-то со стороны.

— Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.

Но белая обнаженная грудь слепо лезет на него.

— На, возьми! Вот она! А правду отдай. Правду отдай.

— Но где же я возьму правду? Какой ты странный.

Женщина говорит:

— Детки все перемерли. Детки все перемерли. Детки-детки-детки все перемерли.

— Оттого так и пусто у вас на улице.

— Детки-детки-детки все перемерли. Детки.

— Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок, маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, но ведь у вас оловянные кольца.

— На нас железные кольца. Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца.

На черном крыльце, в тени, горничная чистит платье Марьи Петровны; окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями, грязно.

«Куда я пришел! — удивляется губернатор.— Ведь это кухня! О чем я думал? Вот о чем: нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Еще рано, десять. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить».

И еще долго ходил он по аллеям и все думал. И в том, как он думал, был похож на человека, переходящего вброд широкую и незнакомую реку; то идет он по колено, то надолго исчезает под водою и возвращается оттуда бледный, полузадохшийся. Думал он о сыне Алексее Петровиче, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно прибегала к событию,

роясь в нем, как в неистощимом руднике. И даже странно было, о чем он мог думать раньше — до несчастья: все помимо его казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.

Зензивеевских крестьян он выпорол около пяти лет тому назад, на второй год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра; и с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына очень энергичного и распорядительного человека. Он смутно, за давностью времени, помнит, что мужики насильственно забрали у помещика какой-то хлеб, а он приехал с солдатами и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Не было ничего ни страшного, ни угрожающего — скорее что-то нелепо-веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под шутки и смех развеселившихся полицейских и солдат. Потом они вскрикивали, дико взмахивали руками и, словно слепые, тыкались в загорожи, в стены, в солдат. Один мужик, оторванный от мешка, молча, трясущимися руками шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. На версту кругом нельзя было найти ни одного камня, а он все шарил, и, по знаку исправника, полицейский презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он стал на четвереньки и так, на четвереньках, куда-то пополз. И как будто все они, и этот мужик и другие, были сделаны из дерева — так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях: чтобы повернуть мужика лицом, куда надо, его ворочали двое. И уже став как следует, он все еще не догадывался, куда надо смотреть, а когда находил, то уже не мог оторваться, и опять двое людей с усилием поворачивали его.

— Ну-ка, дядя, скидавай портки. Купаться будешь.

— Чего? — недоумевал мужик, хотя дело было ясно.

Чужая рука расстегивала единственную пуговицу, портки спадали, и мужицкая тощая задница бесстыдно выходила на свет. Пороли легко, единственно для острастки, и настроение было смешливое. Уходя, солдаты затянули лихую песню, и те, что ближе были к телегам с арестованными мужиками, подмаргивали им. Было это осенью, и тучи низко ползли над черным жнивьем. И все они ушли в город, к свету, а деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, глинистых полей с коротким и редким жнивьем.

— Детки все перемерли. Детки-детки все перемерли. Детки.

Ударили в гонг к завтраку. Быстрые веселые удары звонко разнеслись по парку. Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы — было без десяти минут двенадцать. Спрятал часы и остановился.

— Позорно! — гулко и гневно произнес он, скривив рот.— Позорно. Боюсь, что я негодяй.

После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Хмуро и рассеянно, поблескивая очками, он разбирал конверты, одни откладывая в сторону, другие обрезая ножницами и невнимательно прочитывая. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Отложив конверт, он развернул тонкий, промокший от чернил лист и прочел:

«Убийца детей».

Все белее и белее становится лицо; вот оно почти такое же белое, как волосы. И расширенный зрачок сквозь толстые выпуклые стекла видит:

«Убийца детей».

Буквы огромны, кривы и остры и страшно черны; и они колышутся на лохматой, как дерюга, бумаге:

«Убийца детей».

V

Уже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Никто еще не говорил, а все уже знали: как будто в эту ночь, когда живые тревожно спали, а убитые все в том же удивительном порядке, ногою к ноге, спокойно лежали в пожарном сарае, над городом пронесся кто-то темный и весь его осенил своими черными крыльями.

И когда люди заговорили об убийстве губернатора, одни раньше, другие — сдержанные — позже, то как о вещи уже давно и бесповоротно кем-то решенной. И одни, очень многие, говорили равнодушно, как о деле, их не касающемся, как о солнечном затмении, которое будет видимо только на другой стороне земли и интересно только жителям той стороны; другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания, и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. Мнения разделялись; но в спорах, самых непримиримых, не было особенной горячности: как будто речь шла не о собы-

тии, которое еще только может совершиться, а о факте случившемся, в котором никакие взгляды ничего изменить не могут. И у людей образованных спор вследствие этого очень быстро переходил на широкую теоретическую почву, а о самом губернаторе они забывали, как о мертвом.

В спорах выяснилось, что у губернатора больше друзей, чем врагов, и даже многие из тех, кто в теории стоял за политические убийства, для него находили извинения; и если бы произвести в городе голосование, то, вероятно, огромное большинство, руководясь различными практическими и теоретическими соображениями, высказалось бы против убийства, или казни, как называли ее некоторые. И только женщины, обычно жалостливые и боящиеся крови, в этом случае обнаруживали странную жестокость и непобедимое упрямство: почти все они стояли за смерть, и, сколько им не доказывали, как ни бились над ними, они твердо и даже как будто тупо стояли на своем. Случалось, что женщина сдавалась и признавала ненужность убийства,— а наутро, как ни в чем не бывало, точно заспав вчерашнее свое согласие, она снова твердила о том, что убить нужно.

И в общем была все та же путаница мыслей и жестокая разноголосица; и если бы кто-нибудь свежий со стороны послушал, что говорят, он никогда не понял бы, следует убивать губернатора или нет. И, удивленный, спросил бы:

— Но почему же вы думаете, что он будет убит? И кто убьет его?

И не получил бы ответа; а через некоторое время знал бы, как и все, черпая знание свое из того же неведомого источника, как и все,— что губернатор будет убит и смерть неотвратима. Ибо все, и друзья губернатора и враги, и оправдывающие его и обвиняющие,— все подчинялись одной и той же непоколебимой уверенности в его смерти. Мысли были разные, и слова были разные, а чувство было одно — огромное, властное, всепроникающее, всепобеждающее чувство, в силе своей и равнодушии к словам подобное самой смерти. Рожденное во тьме, само по себе неисследимая тьма, оно царило торжественно и грозно, и тщетно пытались люди осветить его свечами своего разума. Как будто сам древний, седой закон, смерть карающий смертью, давно уснувший, чуть ли не мертвый в глазах невидящих — открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего. И, неосмысленно лживые в своем сопротивлении, люди подчинились велению и отошли от человека, и стал он доступен всем смертям, какие есть на свете; и ото-

всюду, изо всех темных углов, из поля, из леса, из оврага, двинулись они к человеку, пошатываясь, ковыляя, тупые, покорные, даже не жадные.

Так, вероятно, в далекие, глухие времена, когда были пророки, когда меньше было мыслей и слов и молод был сам грозный закон, за смерть платящий смертью, и звери дружили с человеком, и молния протягивала ему руку — так в те далекие и странные времена становился доступен смертям преступивший: его жалила пчела, и бодал остророгий бык, и камень ждал часа падения своего, чтобы раздробить непокрытую голову; и болезнь терзала его на виду у людей, как шакал терзает падаль; и все стрелы, ломая свой полет, искали черного сердца и опущенных глаз; и реки меняли свое течение, подмывая песок у ног его, и сам владыка-океан бросал на землю свои косматые валы и ревом своим гнал его в пустыню. Тысячи смертей, тысячи могил. В мягком песке своем хоронила его пустыня и свистом ветра своего плакала и смеялась над ним; тяжкие громады гор ложились на его грудь и в вековом молчании хранили тайну великого возмездия — и само солнце, дающее жизнь всему, с беспечным смехом выжигало его мозг и ласково согревало мух в провалах несчастных глаз его. Давно это было, и молод, как юноша, был великий закон, за смерть платящий смертью, и редко в забытии смежал он свои холодные орлиные очи.

Скоро в городе смолкли и разговоры, отравленные бесплодностью. Нужно было или принимать убийство, как святой факт, на все возражения и доводы приводя, подобно женщинам, одно непоколебимое: «нельзя же убивать детей», или же безнадежно запутываться в противоречиях, колебаться, терять свою мысль, обмениваться ею с другими, как иногда пьяные обмениваются шапками, и все же ни на иоту не подвигаться с места. Говорить стало скучно, и говорить перестали, и на поверхности не осталось ничего, что напоминало бы о событии; и среди наступившего молчания и спокойствия грозовой тучей нарастало великое и страшное ожидание. И те, кто был равнодушен к событию и странным выводам из него, и те, кто радовался предстоящей казни, и те, кто глубоко возмущался ею,— все одним огромным ожиданием, напряженным и грозным, ожидали неизбежного. Умри в это время губернатор от лихорадки, от тифа, от случайно разрядившегося охотничьего ружья, никто не счел бы это случайностью и за видимой причиной нашли бы другую, невидимую, даже несознаваемую, но настоящую. И по мере того как нарастало ожидание, все больше и больше думали о Канатной.

А на Канатной было спокойно и тихо, как и в самом городе, и многочисленные сыщики тщетно доискивались признаков нового бунта или какого-нибудь преступного и страшного замысла. Как и в городе, они наткнулись на слух о предстоящем убийстве губернатора, но источника также найти не могли: говорили все, но так неопределенно, даже нелепо, что нельзя было ни о чем догадаться. Кто-то очень сильный, даже могущественный, бьющий без промаха, должен на днях убить губернатора — вот и все, что можно было понять из разговоров. Сыщик Григорьев, притворяясь пьяным, подслушал в воскресенье в пивной лавке один из таких таинственных разговоров. Два рабочих, сильно выпивших, почти пьяных, сидели за бутылкой пива и, перегибаясь друг к другу через стол, задевая бутылки неосторожными движениями, таинственно вполголоса разговаривали.

— Бомбой убьют,— говорил один, видимо, более осведомленный.

— Н-ну, бомбой? — удивлялся другой.

— Ну да, бомбой, а то как же,— он затянулся папиросой, выпустил дым прямо в глаза собеседнику и строго и положительно добавил: — На клочки разнесет.

— Говорили, что на девятый день.

— Нет,— сморщился рабочий, выражая высшую степень отрицания,— зачем на девятый день. Это суеверие, девятый день. Убьют просто утром.

— Когда?

Рабочий отгородился от залы пятью растопыренными пальцами, нагнулся, покачиваясь, вплотную к собеседнику и громким шепотом сказал:

— В то воскресенье, через неделю.

Оба, покачиваясь и странно расплываясь в глазах друг друга, таинственно помолчали. Потом первый таинственно поднял палец и погрозил.

— Понимаешь?

— Они уж маху не дадут, нет, не таковские.

— Нет,— поморщился первый.— Какой там мах! Дело чистое, четыре туза.

— Хлюст козырей,— подтвердил второй.

— Понимаешь?

— Ну да, понимаю.

— А если понимаешь, так выпьем еще? Уважаешь ты меня, Ваня?

И долго с величайшей таинственностью они шептались, переглядывались, жмурили глаза и тянулись друг к другу, роняя пустые бутылки. В ту же ночь их арестовали, но ниче-

го подозрительного не нашли, а на первом же допросе выяснилось, что оба они решительно ничего не знают и повторяли только какие-то слухи.

— Но почему же ты даже день назначил, воскресенье? — сердито говорил жандармский подполковник, производивший допрос.

— Не могу знать,— отвечал встревоженный, три дня не куривший рабочий.— Пьян был.

— Всех бы вас, ссс...— кричал подполковник, но ничего добиться не мог.

Но и трезвые были не лучше. В мастерских, на улице они открыто перекидывались замечаниями относительно губернатора, бранили его и радовались, что он скоро умрет. Но положительного не сообщали ничего, а вскоре и говорить перестали и терпеливо ждали. Иногда за работой один бросал другому:

— Вчера опять проезжал. Без солдат.

— Сам лезет.

И опять работали. А на следующее утро в другом конце слышалось:

— Вчера опять проезжал.

— Пускай поездит.

Точно отсчитывали каждый лишний день его жизни. И уже два раза было так, что внезапно, почти одновременно во всех концах Канатной и на заводе создавалась уверенность, что губернатор сейчас только убит. Кто первый приносил весть, доискаться было невозможно, но собравшись в кучку, передавали подробности убийства — улицу, час, число убийц, оружие. Находились почти очевидцы, слышавшие гул взрыва. И стояли все бледные, решительные, не выражая ни радости, ни горя, пока уже через несколько минут не приходило опровержение слуха. И тогда так же спокойно расходились, без разочарования — как будто не стоило огорчаться из-за дела, которое отложено на несколько дней — быть может, часов — быть может, минут.

Как и в городе, женщины на Канатной были самыми неумолимыми и беспощадными судьями. Они не рассуждали, не доказывали, они просто ждали — и в ожидание свое вносили весь пламень непоколебимой веры, всю тоску своей несчастной жизни, всю жестокость обнищавшей, голодной, задушенной мысли. У них в жизни был свой особенный враг, которого не знали мужчины,— печка, вечно голодная, вечно вопрошающая своей открытой пастью маленькая печка, более страшная, чем все раскаленные печи ада. С утра и до ночи, каждый день, всю жизнь она держала их в своей

власти; убивая душу, она вытравляла из головы все мысли, кроме тех, которые служат ей и нужны ей самой. Мужчины этого не знали: когда женщина утром, проснувшись, взглядывала на печь, плохо прикрытую железной заслонкой, она поражала ее воображение, как призрак, доводила ее почти до судорог отвращения и страха, тупого, животного страха. Ограбленная в мыслях своих, женщина даже не умела назвать своего врага и грабителя; оглушенная, она вновь и вновь покорно отдавала ему душу, и только смертельная, черная тоска окутывала ее непроницаемым туманом. И от этого все женщины Канатной казались злыми: они били детей, забивая их чуть не насмерть, ругались друг с другом и с мужьями; и их уста были полны упреков, жалоб и злобы.

И во время страшной трехнедельной голодовки, когда по нескольку дней не топилась печь, женщины отдыхали — странным отдыхом умирающего, у которого за несколько минут до смерти прекратились боли. Мысль, на минуту вырвавшаяся из железного круга, со всею своей страстью и силой прилепилась к призраку новой жизни — точно борьба шла не из-за лишних пяти рублей в месяц, о которых толковали мужчины, а из-за полного и радостного освобождения от всех вековых пут. И хороня детей, умиравших от истощения, и оплакивая их кровавыми слезами, темнея от горя, усталости и голода — женщины в эти тяжелые дни были кротки и дружественны, как никогда: они верили, что не может даром пройти такой ужас, что за великими страданиями идет великая награда. И когда 17 августа на площади, сверкая в солнечных лучах, к ним вышел губернатор, они приняли его за самого седого бога. А он сказал:

— Нужно стать на работу. Прежде чем вы станете на работу, я не могу с вами разговаривать.

Потом:

— Я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Становитесь на работу, и я напишу в Петербург.

Потом:

— Хозяева ваши не грабители, а честные люди, и я приказываю вам так не называть их. А если вы завтра же не станете на работу, я прикажу закрыть завод и разошлю вас.

Потом:

— Дети мрут по вашей вине. Становитесь на работу.

Потом:

— Если вы будете так вести себя и не разойдетесь, я прикажу разогнать вас силой. Становитесь на работу.

Потом хаос криков, плач детей — трескотня выстрелов, давка — и ужасное бегство, когда человек не знает, куда

бежит, падает, снова бежит, теряет детей, дом. И снова быстро, так быстро, как будто и мгновения одного не прошло — проклятая печь, тупая, ненасытная, вечно раскрывающая свою пасть. И то же, все то же, от чего они ушли навсегда и к чему вернулись — навсегда.

Быть может, именно в женской голове зародилась мысль о том, что губернатор должен быть убит. Все старые слова, которыми определяются чувства вражды человека к человеку, ненависть, гнев, презрение, не подходили к тому, что испытывали женщины. Это было новое чувство — чувство спокойного и бесповоротного осуждения; если бы топор в руке палача мог чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же — холодный, острый, блестящий и спокойный топор. Женщины ждали спокойно, не колеблясь ни на минуту, не сомневаясь, и ожиданием своим наполняли воздух, которым дышали все, которым дышал губернатор. Они были наивны. Стоило где-нибудь громко хлопнуть дверью, стоило кому-нибудь, топая ногами, пробежать по улице,— они выбегали наружу, простоволосые, почти уже удовлетворенные.

— Убит?

— Нет, так. Сенька за водкой пробежал.

И так до нового стука и нового топота ног по притихшей, омертвевшей улице. Когда проезжал губернатор, они жадно из-за занавесок глядели на него; губернатор проезжал, и они снова возвращались к печке. Их не удивило, когда губернатор, всегда ездивший со стражниками, вдруг стал ездить один, без охраны — как топор, если б он мог чувствовать, не удивился бы, увидав голую шею. Так нужно, чтоб она была голая. Из серых нитей действительности они сплетали пышную легенду. И это они, серые женщины серой жизни, разбудили старый седой закон, за смерть платящий смертью.

Горе об убитых выражалось сдержанно и глухо: оно было только частицей общего великого горя и поглощалось им бесследно — как соленая слеза соленым океаном. Но в пятницу, к концу третьей недели после убийства, внезапно сошла с ума Настасья Сазонова, у которой была убита дочь, семилетняя девочка Таня. Три недели она работала, как и все, у своей печки, ссорилась с соседками, кричала на двоих оставшихся детей и внезапно, когда никто этого не ожидал, потеряла рассудок. Еще с утра у нее стали дрожать руки, и она разбила чашку; потом словно туман нашел на нее, и она начала забывать, что хочет делать, бросалась от одной вещи к другой и бессмысленно повторяла:

— Господи! Что это я!

И наконец замолчала совсем и молча, с дикой покорностью совалась из угла в угол, перенося с места на место одну и ту же вещь, ставя ее, снова беря — бессильная и в начавшемся бреду оторваться от печки. Дети были на огороде, пускали змея, и, когда мальчишка Петька пришел домой за куском хлеба, мать его, молчаливая и дикая, засовывала в потухшую печь разные вещи: башмаки, ватную рваную кофту, Петькин картуз. Сперва мальчик засмеялся, а потом увидел лицо матери и с криком побежал на улицу.

— А-а-а-й! — бежал он и кричал, полоша улицу.

Собрались женщины и стали выть над нею, как собаки, охваченные тоской и ужасом. А она, ускоряя движения и отпихивая протянутые руки, порывисто кружилась на трех аршинах пространства, задыхалась и бормотала что-то. Понемногу резкими короткими движениями она разорвала на себе платье, и верхняя часть туловища оголилась, желтая, худая, с отвислыми, болтающимися грудями. И завыла она страшным тягучим воем, повторяя, бесконечно растягивая одни и те же слова:

— Не могу-у, го-о-лубчики, не мо-о-г-у-у-у.

И выбежала на улицу, а за нею все. И тогда, на мгновенье, вся Канатная превратилась в один сплошной бабий вой, и уже нельзя было разобрать, кто сумасшедший и кто нет. И только тогда прекратился он, когда приказчики из заводской лавки поймали сумасшедшую и веревками скрутили ей руки и ноги и облили ее несколькими ведрами воды. Она лежала на дороге, среди свежей лужи от воды, плотно прилегая голой грудью к земле и выставляя кулаки скрученных и посиневших рук. Лицо она отвернула в сторону и смотрела дико, не мигая; седоватые мокрые волосы облипали голову, делая ее странно маленькой, и вся она изредка вздрагивала. С завода прибежал муж, испуганный, не успевший отмыть закопченного лица; блуза у него была также закопченная, лоснящаяся от масла, и промасленной грязной тряпкой был завязан обожженный палец на левой руке.

— Настя! — хмуро и сурово сказал он, наклонившись.— Что это ты? Ну чего?

Она молчала, вздрагивала и смотрела дико, не мигая. Посмотрел на затекшие, побагровевшие руки, стянутые веревкой безжалостно, и развязал их, тронул пальцами голое желтое плечо. Уже ехал на извозчике городовой.

Когда толпа расходилась, двое из нее пошли не к заводу, как все, и не остались на Канатной, а медленно направились к городу. Шли они, задумавшись, в ногу, и молчали. В конце Канатной они простились.

— Какой случай! — сказал один.— Зайдешь ко мне?

— Нет,— коротко ответил второй и зашагал.

У него была молодая загорелая шея, и из-под картуза вились белокурые волосы.

VI

В губернаторском доме узнали о предстоящей смерти губернатора не раньше и не позже, чем в других местах, и отнеслись к ней со странным равнодушием. Как будто близость к живому, здоровому и крепкому человеку мешала понять, что такое смерть — его смерть; чем-то вроде временного отъезда представлялась она. В половине сентября, по настоянию полицеймейстера, убедившего Марию Петровну, что жизнь на даче становится опасной, переехали в город, и жизнь потекла обычным, много лет не меняющимся порядком. Чиновник Козлов, сам не любивший грязь и казенщину губернаторского жилища, почти самовольно приказал оклеить новыми обоями зал и гостиную и побелить потолки и заказал новую декадентскую мебель из зеленого дуба. Вообще он присвоил себе права домашнего диктатора, и все были этим довольны: и прислуга, почувствовавшая оживление, и сама Мария Петровна, ненавидевшая хозяйство и домостроительство. При всей своей огромности губернаторский дом был очень неудобен: отхожие места и ванная были чуть ли не рядом с гостиной, а кушанья из кухни лакеи должны были носить через стеклянный холодный коридор, мимо окон столовой, и часто видно было, как они ругаются и толкают друг друга под локоть. И это все хотел переделать Козлов, но приходилось отложить до будущего лета.

«Доволен будет»,— думал он про губернатора, но почему-то представлял себе не Петра Ильича, а кого-то другого; но не замечал этого, охваченный порывом реформаторства.

По-прежнему Петр Ильич представлял центр дома и его жизни, и слова: «его превосходительство желает», «его превосходительство будет сердиться» — не сходили с языка; но если бы вместо него подставить куклу, одеть ее в губернаторский мундир и заставить говорить несколько слов, никто бы не заметил подмены: такою пустотою формы, потерявшей содержание, веяло от губернатора. Когда он действительно сердился и кричал на кого-нибудь и кто-нибудь пугался, то казалось, что все это нарочно, и крики и испуг, а на самом деле ничего этого нет. И убей он кого-нибудь в это время, то и сама смерть не показалась бы

настоящей. Еще живой для себя, он уже умер для всех, и они вяло возились с мертвецом, чувствуя холод и пустоту, но не понимая, что это значит. Мысль изо дня в день убивала человека. Черпая силу во всеобщности, она становилась более могущественной, чем машины, орудия и порох; она лишала человека воли и ослепляла самый инстинкт самосохранения; она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить. Мысль убивала его. Повелительная, она вызывала из тьмы тех, кто должен нанести удар,— создавала их, как творец. И незаметно для себя люди отходили от обреченного и лишали его той невидимой, но огромной защиты, какую для жизни одного человека представляет собой жизнь всех людей.

После первого анонимного письма, где губернатор назывался «убийцею детей», прошло несколько дней без писем, а потом, точно по молчаливому уговору, они посыпались как из разорвавшегося почтового мешка, и каждое утро на столе губернатора вырастала кучка конвертов. Как выходит из чрева созревший плод, так эта убийственная повелительная мысль, дотоле слышная только по глухому биению сердца, неудержимо стремилась наружу и начинала жить своей особенной, самостоятельной жизнью. В разных концах города, из разных почтовых ящиков, разными людьми выбирались рассеянные письма, затерянные в груде других; потом они собирались в однородную кучку и одним человеком приносились к тому, кто был их единственной целью. И раньше приходилось губернатору получать анонимные письма, редко с бранью и неопределенными угрозами, большею частью с доносами и жалобами, и он никогда не читал их; но теперь чтение их стало повелительной необходимостью, такою же, как неумирающая мысль о событии и о смерти. И читать их, как и думать, нужно было одному, когда никто не мешает.

Редко днем, а чаще вечером он крепко усаживался в кресло перед столом с разбросанными бумагами и стаканом остывающего чая, расправлял плечи, надевал золотые, сильно увеличивающие очки и, внимательно оглядев конверт, обрезал его по краю. Теперь уже по одному виду он научился узнавать эти письма, ибо при всем разнообразии почерков, бумаг и марок было в них что-то общее, как у тех мертвых в сарае; и не только он, но и швейцар, принимавший личную корреспонденцию Петра Ильича, безошибочно узнавал их. Читал он внимательно, серьезно, с начала до конца каждое письмо, и если какое-нибудь слово было неразборчи-

во, то долго вглядывался и соображал, пока не разберет. Письма неинтересные или наполненные одной сплошной и неприличной бранью он рвал; также уничтожал он письма, в которых неизвестные доброжелатели предупреждали его о готовящемся убийстве; но другие он помечал номером и откладывал для какой-то смутно им чувствуемой цели.

В общем, при всем внешнем различии в языке и степени грамотности, содержание писем было утомительно однообразно: друзья предупреждали, враги грозили, и выходило что-то вроде коротких и бездоказательных «да» и «нет». К словам: «убийца», с одной стороны, и «доблестный защитник порядка» — с другой, он привык, так часто, почти неизменно повторялись они в письмах; как будто привык он и к тому, что все, и друзья и враги, одинаково верили в неизбежность смерти. И только холодно становилось и хотелось согреться, но нечем было: чай был холодный — теперь всегда почему-то ему подавался холодный чай, и холодна была высокая, казенная кафельная печка. Уже давно, с самого поселения своего в этом доме, он хотел сделать камин, но так и не устроил, а старая печь плохо прогревалась при самой усиленной топке. Безнадежно потершись спиной о холодные кафли, только внизу чуть-чуть теплевшие, он прохаживался раза два по холодному кабинету, согревал руку о руку и говорил своим великолепным, командующим басом:

— Однако как я стал зябок!

И снова садился за письма, доискиваясь в них чего-то самого важного и самого главного.

«Ваше превосходительство! Вы генерал, но и генералы смертны. Одни генералы умирают своею смертью, другие же насильственной. Вы, ваше превосходительство, умрете смертью насильственной. Имею честь остаться вашим покорнейшим слугою».

Улыбнувшись,— он тогда еще улыбался,— губернатор хотел разорвать тщательно выписанное письмо, но раздумал, пометил на широком поле номер: 43,22 сентября 190... г., и отложил.

«Г. губернатор, или, по-настоящему, турецкий паша! Вы вор и наемный убийца, и я мог бы доказать перед всем светом, что за убийство рабочих вы содрали с акционеров кругленькую сумму...»

Губернатор побагровел, скомкал письмо, сорвал с покрасневшего большого носа очки и громко произнес, точно ударил в бубен:

— Болван!

Потом, заложив руки в карман и оттопырив локти, заходил по комнате сердитыми, отбивающими такт шагами. Так — ходят — губернаторы. Так — ходят — губернаторы. Успокоившись, расправил письмо, прочел его до конца, пометил слегка дрожащей рукой номер и бережно отложил. «Пусть почитает»,— подумал он про сына.

Но в тот же вечер судьба послала ему другое письмо, подписанное «Рабочий». Впрочем, кроме этой подписи ничто не говорило о человеке мускульного труда, малообразованном и жалком, каким привык представлять их себе губернатор.

«На заводе и в городе говорят, что вы будете скоро убиты. Мне в точности неизвестно, кем это будет сделано, но не думаю, чтобы представителями какой-нибудь организации, а скорее кем-нибудь из добровольцев-граждан, глубоко возмущенных вашей зверской расправой над рабочими 17 августа. Сознаюсь откровенно, что я и некоторые мои товарищи против этого решения, не потому, конечно, чтобы мне было вас жаль,— ведь вы сами не пожалели же даже детей и женщин,— и думаю, никто во всем городе вас не пожалеет, но просто потому, что по взглядам моим я против убийства, как против войны, так против смертной казни, политических убийств и вообще всяких убийств. В борьбе за свой идеал, который состоит в «свободе, равенстве и братстве», граждане должны пользоваться такими средствами, которые не противоречат этому идеалу. Убивать же — это значит пользоваться обычным средством людей старого мира, у которых девизом служит «рабство, привилегии, вражда». Из плохого ничего хорошего выйти не может, и в борьбе, которая ведется оружием, победителем всегда будет не тот, который лучше, а тот, который хуже, то есть который жесточе, меньше жалеет и уважает человеческую личность, неразборчив в средствах, одним словом, иезуит. Хороший человек, если будет стрелять, так непременно либо промахнется, либо устроит какую-нибудь глупость, от которой попадется, потому что душа его стоит против того, что делает его рука. По этой именно причине, я думаю, так мало в известной нам истории удачных политических убийств, потому что те господа, которых хотят убить, подлецы, знающие всякие тонкости, а убивающие их — честные люди, и влопываются. Поверьте, г. губернатор, что если бы покушающиеся на вашего брата были подлецы, так они нашли бы такие лазейки и способы, которые и в голову не могут прийти людям честным, и давно бы всех поукокошили. Я и революцию, по моим взглядам, признаю только как пропаганду

идей, в том смысле, в каком были христианские мученики, потому что когда рабочие даже как будто победят, то подлецы только притворяются побежденными, а сами сейчас же и придумают какое-нибудь жульничество и облапошат своих победителей. Побеждать нужно головой, а не руками, потому что на голову подлецы слабы; по этой-то причине они и прячут книги от бедного человека и держат его во тьме невежества, что боятся за себя. Вы думаете, почему хозяева не хотят дать восьмичасового дня? Вы думаете, они и сами не знают, что при восьми часах производительность будет не меньше, чем при одиннадцати, а только дело в том, что при восьми часах рабочие станут умнее хозяев и отберут у них дела. Они ведь и умными считаются только потому, что всех задурили, а против настоящего умного человека им грош цена. Извините, что я ударился в рассуждения о таких материях, но это затем, чтобы по первым моим словам против вашего убийства вы не приняли меня за отступника от общего дела всех честных людей. Должен еще к этому добавить, что 17-го числа я и другие мои товарищи, которые разделяют мои убеждения, на площадь не ходили, потому что хорошо знали, чем это кончится, и не хотели разыгрывать из себя дураков, которые верят, что у вашего брата есть справедливость. Теперь и остальные, конечно, товарищи согласились и говорят: «Теперь уж если пойдем, так не просить, а разносить», а по-моему, и это глупость, и я говорю: зачем ходить, скоро к нам сами придут с поклоном и ласковыми словами, вот тогда мы и покажем. Милостивый государь! Извините, что я имел дерзость обратиться к вам с моим словом рабочего-самоучки, но мне все-таки удивительно, что человек образованный и не такой подлец, как другие, мог так обойтись с несчастными, доверившимися ему рабочими, чтобы стрелять в них. Может быть, вы окружите себя казаками, нагоните шпионов или уедете куда-нибудь и таким образом спасете свою жизнь, и тогда мои слова могут вам принести пользу и привести вас на путь истинного служения интересам народа. У нас на заводе говорят, что вы были подкуплены хозяевами, но я этому не верю, потому что хозяева наши не дураки и не станут даром бросать денег, а кроме того, я знаю, что вы не взяточник и не вор, как другие ваши коллеги, которым нужны деньги на арфисток и шампанское с трюфелями. Скажу даже, что вы вообще честный человек...»

Губернатор бережно положил на стол письмо, торжественно снял с носа затуманившиеся очки, торжественно и медленно протер их кончиком платка и с уважением и гордостью сказал:

— Благодарю, молодой человек.

Прошелся неторопливо по комнате и, обращаясь к холодной печке, веско добавил:

— Жизнь мою вы берите, она ваша, но моя честь...

Он не договорил и, закинув голову, несколько смешной в своей важности, вернулся к столу.

«...Скажу даже, что вы вообще честный человек — вообще честный человек — вообще честный человек — и сами не обидите и курицы, если вам не прикажут ее обидеть. Но как вы, честный человек, можете подчиняться таким приказаниям, вот в чем для меня вопрос. Милостивый государь! Народ не курица. Народ — дело святое, и если бы вы понимали, что такое народ с его страданьями, вы вышли бы на ту самую площадь, поклонились бы земно и попросили бы прощенья. Вы подумайте только: из рода в род, из поколения в поколение, от тех самых первых рабов, которые строили пирамиды по прихоти тирана-царя, ведем мы свое существование, и как есть среди вас потомственные дворяне, то есть угнетатели, так среди нас есть потомственные рабочие, потомственные рабы. И вы подумайте, что во все эти тысячи лет нас только били и угнетали, и как бы далеко ни заглянул я в прошлое моих предков, я ничего не вижу там, кроме слез, отчаяния и дикости. И все это ложилось на душу, и все это в сохранности, как единственный капитал, передавалось от отца к сыну, от матери к дочери, и вы разверните душу настоящего рабочего или мужика — ведь это же ужас! Еще не родившись, мы уже тысячекратно обижены, а когда мы вылезаем в жизнь, так сразу попадаем в какую-то нору и пьем обиду, и едим обиду, и одеваемся обидой. Вот рассказывают, что в третьем году вы пороли каких-то мужиков, понимаете ли вы, что вы сделали? Вы думаете, что вы только их зад оголили, а вы их тысячелетнюю душу рабскую оголили, вы и покойников, и будущих, еще не родившихся людей розгами хлестали. И хоть вы и генерал и превосходительство, а скажу вам грубо, недостойны губами приложиться к мужицкому заду, как к святыне, а не только что хлестать его розгами. А когда пришли к вам рабочие, вы думаете, это кто пришел? Это пришли рабы воскресшие, которые строили пирамиды, пришли со своими тысячелетними мозолями и слезами за любовью, за советом и помощью, как к образованному и гуманному человеку XX века, а вы как с ними поступили? Эх, вы! Подумать, так ваш дедушка был надсмотрщиком над этими рабами и хлестал их плеткой и вам передал эту глупую ненависть к рабочему классу. Милостивый государь! Народ просыпается! Пока он только еще во

сне ворочается, а у вашего дома подпорки уже трещат, а вы погодите, как он совсем проснется! Вам новы эти мои слова, подумайте над ними. А засим прошу прощения, что обеспокоил, и во имя «братства» желаю, чтобы вас не убили».

«Убьют!» — подумал губернатор, складывая письмо. Вспомнился на миг рабочий Егор с его сизыми завитками и утонул в чем-то бесформенном и огромном, как ночь. Мыслей не было, ни возражений, ни согласия. Он стоял у холодной печки — горела лампа на столе за зеленым матерчатым зонтиком — где-то далеко играла дочь Зизи на рояле — лаял губернаторшин мопс, которого, очевидно, дразнили — лампа горела. Лампа горела.

VII

Несколько следующих дней прошло без писем. Точно по уговору, письма прекратились сразу, и наступившее безмолвие было необычно и жутко. Во внезапности безмолвия не чувствовалось конца, что-то еще продолжалось там, в тишине — как будто в новую фазу вступила мысль и таинственно творила что-то. И быстро шли дни, как взмахи огромных крыльев: вверх взмахнет — день, вниз повеет — ночь.

Два раза в необычные часы был принят губернаторшей полицеймейстер Судак. В прихожей, подставляя руки швейцару, чтобы тот стащил с них пальто, он вполоборота энергичным шепотом бранил его, как своего городового или извозчика. И, уже раздевшись и натягивая свежую перчатку, он наклонял прилизанную голову к пушистым бакам швейцара, скалил гнилые, прокопченные табаком зубы и в самый нос совал полуодетую перчаткою руку с болтающимися плоскими пальцами. То же, хотя в меньших размерах, проделал он с лакеем. Потом принял великосветский вид и поднялся по лестнице наверх. Раньше он ни в каком случае не осмелился бы бранить прислугу губернатора, но теперь выходило как-то так, что бранить можно, даже необходимо. Вчера у самого губернаторского подъезда вечером был арестован выслеженный агентами очень подозрительный человек: утром он издалека провожал губернатора в его пешей прогулке, а потом весь день шатался у дома, заглядывал в нижние окна, прятался за деревьями и вообще вел себя крайне подозрительно. При аресте ни оружия, ни каких-либо подозрительных предметов и бумаг у него не нашли, и оказался он мещанином Ипатиковым, по профессиии скорняком; но объяснения он давал запутанные и лживые, уверял, что только раз прошел мимо дома, и вообще, видимо,

что-то скрывал. При обыске в мастерской ничего, кроме обыкновенных обрезков меха, начатого гимназического мехового пальто и других предметов мастерства, а также домашнего хозяйства, у него не нашли; ни оружия, ни бумаг — но случай оставался очень темным и неразъясненным. И никто из губернаторской прислуги — ни швейцар, ни другие — не заметили подозрительного субъекта, хотя он десятки раз прошел мимо парадного; а ночью один из агентов для опыта подергал дверь, и она оказалась незапертой, так что он походил по швейцарской, для доказательства сделал царапину на стене и незамеченный ушел. То, что дверь была не заперта, швейцар объяснил забывчивостью, но в такое время, когда все ждут преступления, подобное ротозейство было непростительно.

— Я в невозможном положении, ваше превосходительство,— жаловался губернаторше Судак, прижимая к надушенной груди белую перчатку.— От охраны их превосходительство решительно отказываются и даже не позволяют ни об чем говорить; агенты, извините за выражение, с ног сбились, ходивши за их превосходительством, и все без результатов, так как любой мерзавец из-за угла или даже через забор камнем может ушибить их превосходительство. В случае не дай Бог чего скажут: полицеймейстер виноват, полицеймейстер не уследил, а что же я могу поделать против священной воли их превосходительства? Войдите в мое положение, ваше превосходительство, прямо, извините за выражение, хоть в отставку подавать, ваше превосходительство.

Оказалось, что у Судака готов уже и план: пусть губернатор возьмет двух- или трехмесячный отпуск и уедет за границу на воды на предмет поправления здоровья; в городе все снаружи спокойно, к губернатору в Петербурге благоволят и никакой задержки не сделают.

— Иначе я ни за что не ручаюсь, ваше превосходительство,— с чувством закончил полицеймейстер.— Есть мера сил человеческих, ваше превосходительство, и со всей откровенностью говорю: иначе ни за что не ручаюсь. А пройдет два-три месяца, и все прекраснейшим манером позабудется, и тогда пожалуйте к нам, ваше превосходительство. К тому времени сюда и итальянская опера прибудет: мы будем слушать, а их превосходительство пусть себе гуляют на здоровье!

— Ну уж, какая это опера! — сказала губернаторша, но на предложение полицеймейстера согласилась, так как была очень обеспокоена.

Внизу полицеймейстер снова разнес швейцара, но на этот раз уже громко, не стесняясь:

— Я тебе покажу! Я тебе баки-то подрежу, жирная морда! Распустил баки, как тайный с-советник, сукин сын, и думает, что дверь можно не закрывать! Ты мне попляшешь! Ты...

В тот же вечер Мария Петровна попросила мужа ехать с нею и детьми за границу.

— Я прошу тебя, Pierre,— говорила она томно и закрывала глаза большими коричневыми веками, и желтая напудренная кожа обвисала на щеках, как у легавой собаки.— Ты знаешь, как у меня плохи почки, и мне положительно необходим Карлсбад.

— Но разве ты не можешь поехать с детьми, без меня?

— Ах, нет, Pierre, что ты говоришь. Без тебя я буду так беспокоиться. Я прошу тебя.

Она не сказала, отчего будет беспокоиться, да и так понятно было. К ее удивлению, Петр Ильич охотно согласился на поездку, хотя для возражений и спора, помимо даже исключительности обстоятельств, достачно было того, что просила его она. Так у них бывало.

«Это не будет трусость, нет,— думал губернатор.— Я не сам придумал эту поездку, и, может, ей действительно необходимо полечиться: желта она, как лимон. У них еще достаточно времени, чтобы меня убить, а если они ничего не сделают, то, значит, прав буду я, а не они. И тогда я выйду в отставку, и уеду совсем, и устрою хорошую оранжерею».

Но, думая так, он не верил ни в заграницу, ни в оранжерею — быть может, только поэтому он и согласился ехать. И, согласившись, тотчас же забыл об этом, как будто дело касалось кого-то другого, постороннего, непонятно медлил с написанием бумаги, назначал день, когда написать, и вспоминал о нем два дня спустя. И снова назначал, и снова настойчиво забывал. Успокоенная решением уехать, губернаторша вяло торопила его — она как-то запоздала в этот раз с своим осенним туалетом, и нужно было время, чтобы покончить с портнихами. Не была готова и Зизи.

В молчаливой пустоте, охватившей губернатора с внезапным прекращением писем, ему чувствовалось что-то неокончательное — словно намек на тихий голос, звучащий где-то вдалеке. Так чувствуется в пустой комнате, когда за стеною говорят и голосов не слышно. И когда получилось письмо — последнее запоздалое письмо,— он взял его, как будто только его и ждал, и только удивился тому, что было оно в нежно окрашенном узком конверте с изображением

незабудки на обратной стороне. И пришло оно не днем, как другие, которые опускаются в ящик вечером или ночью, а с вечерней почтой, следовательно, было опущено несколько часов тому назад. Небольшой листок был также нежно окрашен, и наверху была голубая незабудка; почерк был четкий, старательный, но к обрезу строчки часто загибались вниз, как будто писавшая не совсем верила в свое умение правильно переносить слова и предпочитала дописывать их маленькими сползающими буквочками. Иногда, еще задолго до обреза, предвидя, что слова не упишутся, она уже начинала сгибать строчку, и похоже было на снежную горку, с которой гуськом катятся на санках дети, самые маленькие спереди. Подписано было: «Гимназистка».

«Вчера мне приснились ваши похороны, и я решила писать вам, хотя это нехорошо и оскорбляет тех несчастных рабочих и девочек, которых вы убили. Но вы тоже несчастный человек, достойный сожаления, и поэтому я пишу вам это письмо. Мне приснилось, что хоронили вас не в черном гробу, как стариков и вообще пожилых людей, а в белом, как хоронят девушек, и несли ваш гроб по Московской улице городовые, но не на руках, а на головах. И за гробом шли одни только городовые, а родственников ваших не было, и вообще не было никого из публики, так что даже окна и калитки, где вас проносили, были все закрыты ставнями, как ночью. Мне сделалось так страшно, что я проснулась и стала думать, о чем теперь и напишу вам. И я подумала: вероятно, у вас и вправду нет никого, кто мог бы о вас поплакать, когда вы умрете. Те люди, которые вас окружают, черствые эгоисты и думают только о себе, и когда вас убьют, то они будут, мне кажется, даже рады, потому что сами думают о месте губернатора. Вашей жены я не знаю, но не думаю, чтобы в этой среде, заеденной тщеславием и погоней за наслаждениями, могли встретиться чуткие и хорошие женщины. Из честных же людей вас никто провожать не пойдет, потому что все возмущены вашим поступком с рабочими, а от одного человека я даже слышала, что вас хотели исключить из клуба, но только боятся правительства. Панихиды же ничего не сто́ят, потому что наш архиерей, как вы сами знаете, готов отслужить панихиду и по собаке, только бы ему хорошо заплатили за это. И когда я подумала, что, вероятно, вы сами все это хорошо знаете и без моих слов, то мне сделалось страшно жаль вас, как будто бы я знала вас лично. Видела я вас только два раза: один раз очень давно, на Московской улице, а другой раз на нашем акте, когда вы приезжали с архиереем, но вы меня, конечно, не помните.

И клянусь, что буду молиться о вас и буду плакать о вас, как будто я была ваша дочь, потому что мне очень, очень жаль вас.

P. S. Пожалуйста, сожгите это письмо. Мне очень жаль вас, очень».

Гимназисточку он полюбил. Поздно вечером, уже перед сном, он прошел через темную залу и вышел на балкон, тот самый, откуда он подал знак белым платком. Уже началось осеннее ненастье и слякоть, и ночь темнела густым осенним мраком; и в тяжести этого мрака чувствовалось, как далеко солнце — как давно оно ушло и как еще не скоро вернется. Далеко налево, у подъезда, горели два яркие фонаря с рефлекторами; белый свет их вонзался во тьму, но не разгонял ее: тут же она и стояла, спокойная, густая, тяжелая. Город, вероятно, уже спал, так как, кроме редких фонарей на улицах, не видно было ни одного освещенного окна и езды не слышно было. Под одним фонарем смутно блестело что-то — вероятно, лужа. В гимназии давно учатся, и она, вероятно, уже приготовила уроки и спит — где-то в этом черном пространстве, полном безмолвия. Оттуда шлют ему письма и угрозы, оттуда придет к нему смерть...— но там есть девочка, которая спит и которая будет о нем плакать.

Как спокойно, как темно — как тихо!

VIII

За две недели до смерти губернатора в губернаторский дом была доставлена посылка, обшитая полотном и оцененная в три рубля. Когда раскрыли ее, то оказалась она адской машиной — снарядом, начиненным порохом и устроенным так, чтобы взорваться при открытии. Но устроена она была плохо, неопытными руками какого-то любителя, только слыхавшего о существовании подобных вещей, и взорваться никаким образом не могла. И в этой наивности снаряда было что-то тупо-жестокое и устрашающее: точно слепая смерть выпускала щупальцы и шарила ими в потемках. Полицеймейстер поднял тревогу, а губернаторша настояла, чтобы Петр Ильич в тот же день отправил заявление в Петербург о болезни, сама съездила к своей портнихе и, кроме того, от себя послала сыну французское письмо, полное ужасов.

И никто не заметил, когда это случилось, в тот же день, или немного раньше, или немного позже — с губернатором

произошла странная и решительная перемена, давшая новый образ на месте знакомого и привычного человека. Все тот же он был, но стал он правдив лицом и игрою его, и от этого казалось, что лицо у него новое. Оно улыбалось там, где раньше было спокойно, хмурилось, где прежде улыбалось, было равнодушно и скучно, когда раньше выражало интерес и внимание. И так же страшно правдив стал в чувствах своих и их выражении: молчал, когда молчалось, уходил, когда хотелось уйти, спокойно отворачивался от собеседника, когда тот становился скучен. И те, кто много лет были спокойно уверены в его любви и расположении, знали все его чувства и настроения, вдруг почувствовали себя покинутыми, отброшенными куда-то в сторону и совершенно не знающими ни его чувств, ни настроений. Вдруг исчезли куда-то все улыбки, поклоны, пожатия руки и ласковые взгляды, пропали все эти мимолетные вставки в речи: «Пожалуйста — голубчик — вы сделаете большое одолжение — дорогой»,— все то, что составляло привычный и знакомый облик.— И люди были изумлены странной и даже страшной новизной явившегося. Так, вероятно, звери, привыкшие думать, что платье человека составляет самого человека, бывают поражены, увидев его голым.

Только вежливым перестал он быть, и сразу распалась связь, соединявшая его много лет с женою, детьми, окружающими,— как будто только улыбками и поклонами держалась она и исчезла вместе с поцелуями рук. Не осудил их, не возненавидел, даже чего-нибудь нового, отталкивающего в них не заметил,— они просто выпали из его души, как выпадают зубы изо рта, как вылезают волосы, как отпадает умершая кожа: безболезненно, нечувствительно, спокойно. Смертельно одинок он был, сбросивший покров вежливости и привычки, и даже не почувствовал этого — словно всегда, во все дни его долгой и разнообразной жизни одиночество было естественным, ненарушимым его состоянием, как сама жизнь.

Утром он забывал поздороваться, вечером — проститься, и когда жена подставляла свою руку, а дочь Зизи — свой гладкий лоб, он как-то не понимал, что нужно делать с рукой и гладким лбом. Когда являлись к завтраку гости, вице-губернатор с женой или Козлов, то он не поднимался к ним навстречу, не делал обрадованного лица, а спокойно продолжал есть. И, кончив еду, не спрашивал у Марии Петровны позволения встать, а просто вставал и уходил.

— Куда же ты, Pierre? Побудь с нами, нам скучно. И сейчас же будет кофе.

Он спокойно отвечал:

— Нет, лучше я пойду к себе. А кофе не хочу.

И невежливость ответа исчезала в его искренности и простоте. Отказывался смотреть новые платья Зизи, не выходил к гостям, предоставляя губернаторше выдумывать предлоги, и совершенно перестал заниматься делами и отказывался, без объяснения причин, выслушивать доклады. Но просителей раз в неделю он принимал и внимательно выслушивал каждого, с интересом, несколько даже невежливым, оглядывая его с ног до головы.

— Вы уверены, что так будет лучше? — спрашивал он, выслушав.

И, получив удивленный, но утвердительный ответ, обещал просьбу исполнить. Вероятно, он не думал в это время о пределах своей власти или имел о ней преувеличенное представление, но часто разрешал дела ему неподведомственные; и впоследствии новому губернатору пришлось долго возиться с создавшейся путаницей, тем более что много дел было непозволительно кляузного характера.

Вечерами, чтобы несколько рассеять дурное настроение мужа, Мария Петровна приходила к нему в кабинет, пробовала ему голову рукой, не горячая ли, и начинала говорить о загранице. Но он просто и невежливо удалял ее:

— Ну хорошо, ступай. Мне хочется побыть одному. У тебя же есть свои комнаты, и я к тебе не хожу.

— Как ты изменился, Pierre!

— Вздор, вздор! — говорил он своим гулким командующим басом и прижимался спиной к холодной, негреющей печке.— Пойди, пойди, да уйми своего мопса, только и слышно в доме, что его лай.

От прежних привычек у Петра Ильича остались только карты; играл он два раза в неделю в винт, по маленькой, и играл с видимым удовольствием, серьезно, деловито и, когда партнер ошибался, подвергал его громовому разносу.

— Вы о чем же, сударь, думаете? Ведь я же показывал вам буб-ны? — гулко грохотал он, выговаривая «бубны» так, точно ударял в бубен, и Мария Петровна из гостиной с улыбкой ловила слова мужа и с томной снисходительностью покачивала головой. Желтые щеки у нее обвисали, как у легавой собаки, сыпалась пудра с лица, и коричневые, большие шарообразные веки спускались из-под лба, как железный ставень в магазине, и снова поднимались. И ей и другим казалось в этот миг невозможным, чтобы кто-нибудь решился убить человека, который так играет в карты.

И все две недели, до самой смерти, он ждал. Вероятно, были в его голове другие мысли — об обычном, о житейском, о прошлом, привычные старые мысли человека, у которого давно закостенели мышцы и мозг; вероятно, думал он о рабочих и о том печальном и страшном дне — но все эти размышления, тусклые и неглубокие, проходили быстро и исчезали из сознания мгновенно, как легкая зыбь на реке, поднятая пробежавшим ветром. И снова и всегда спокойною, черною водою омута стояло бездонное, молчаливое ожидание. Казалось, что и с мыслями, как и с людьми, его соединяла только вежливость и привычки, и, когда привычка и вежливость отпали, исчезли куда-то мысли. И в голове своей он был так же одинок, как и в доме.

Он ждал. Как и всегда, он вставал в семь, обливался ледяной водой, пил молоко и в восемь уже выходил на обычную прогулку; и каждый раз, переступая порог своего дома, ожидал, что обратно его уже не перешагнет и двухчасовая прогулка превратится в бесконечное падение куда-то. Одетый в генеральское пальто с красной подкладкой, высокий, широкоплечий, воинственный, несущий седую голову немного назад, он два часа величавым призраком кружился по городу — вдоль почерневших от дождя деревянных домишек, вдоль бесконечных заборов и пустырей, мимо магазинов и лавок с продрогшими, низко кланяющимися приказчиками. Светило ли подслеповатое октябрьское солнце, моросил ли настойчивый, тоскливый дождь, он неизменно появлялся на улицах — величавый и печальный призрак с размеренными и твердыми шагами, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы. Прямо по грязи и по лужам шагал он, блестя в них красной подкладкой расстегнутого пальто, прямо пересекал улицы, не замечая ни козырявших городовых, ни экипажей и останавливая их движение; и если бы сверху проследить его ежедневный путь ожидания, то представился бы он причудливым сцеплением прямых и коротких линий, вонзающихся друг в друга, спутывающихся в колючий, болезненно изломанный клубок.

Он мало смотрел по сторонам и никогда не оглядывался назад; но едва ли впереди себя видел он что-нибудь, поглощенный бездонным черным ожиданием — много поклонов оставил он без ответа, и много испуганных глаз встретил и пропустил сквозь себя его скользящий, невидящий взор, прямой, как его шаги. И когда он был уже убит и давно похоронен и новый губернатор, молодой, вежливый, окруженный казаками, быстро и весело носился по городу в коляске,— многие вспоминали этот двухнедельный стран-

ный призрак, рожденный старым законом: седого человека в генеральском пальто, шагающего прямо по грязи, его закинутую голову и незрячий взор — и красную шелковую подкладку, остро блистающую в молчаливых лужах.

Многолюдие главных улиц с его назойливым любопытством его утомляло, и чаще углублялся он в грязные глухие переулки, с их трехоконными домишками, заборами и узкими, деревянными, скользкими мостками вместо тротуаров. Было у него во все эти дни постоянное желание: заглянуть на Канатную и пройти всю, взад и вперед, с одного конца до другого, но осуществить его он так и не решился: казалось неловко и страшно, страшнее, чем смерть. И он смутно удивлялся, как это раньше, в сентябре, он так просто и безбоязненно ездил по этой улице и даже хотел кого-нибудь встретить, чтобы поклониться.

Но на одну улицу он заглядывал ежедневно и проходил ее неторопливо, и был похож на спокойно гуляющего старого генерала, добродушного и немного чудаковатого. Эта улица вела к женской гимназии, и по утрам, в девятом часу, по ней проходило много гимназисток; и первый он почтительно и серьезно кланялся девочкам, самым маленьким из них, у которых были коротенькие по колена коричневые платьица, тоненькие ножки и огромные ранцы, и они конфузливо отвечали. Его близорукие глаза не различали лиц, и все они, и у девочек и у взрослых, стройных девушек, казались ему одинаковыми розовыми лепестками в шапочках. Пропустив последнюю, он тихонько улыбался левым усом и смотрел хитро, а за поворотом снова превращался в мертвеца, церемониальным маршем ищущего могилы.

В первые дни, по тайному приказу полицеймейстера, за ним в некотором отдалении следовали два агента, которых он не замечал, так как не оглядывался назад. Вначале они добросовестно ходили за ним, подчиняясь всем его капризным движениям, но вскоре начали отставать: казалось, глупо ходить и смотреть в спину человека, который бестолково вертится в самых опасных местах. И то они останавливались у знакомых лиц, то болтали с городовыми, то на четверть часа забегали в трактир и, случалось, на целый час теряли губернатора из виду.

— Все равно ничего не поделаешь,— говорил, оправдываясь, один, похожий на консисторского чиновника, бритый, благообразный и в высшей степени трезвый. Он торопливо прожевывал горячий пирожок и, еще не доев, левой рукой поднимал металлическую крышку с ящика, чтобы достать новый.— Если человек от старости из ума выжил и сам на

рожон лезет, то что же с ним поделаешь, скажите, пожалуйста?

— Одна форма,— сказал буфетчик.

— А Судак? — спросил второй, усатый, мрачный, похожий на пропившегося помещика, но в действительности бывший мелкий шулер-неудачник.

Он мрачно, большими собачьими глотками, глотал колбасу, селедку, все, что попадало под руку, и казалось, ест медленно, но на самом деле поглощал быстро и много. И водку он пил так же, но никогда не бывал пьян, как не бывал и сыт.

— Ну что ж Судак? Сам понимает, что мы не ангелы с небеси.

— Это как лошадь на пожаре: ее тащат, а она упирается. Так и сгорит, а не пойдет,— сказал буфетчик.

— Не ангелы мы,— вздохнув, повторил первый.

Правда, они не были похожи на ангелов, эти два приниженные человека, и не их рукам было отстранить гору, падавшую на человека.

Возвращаясь домой и перешагивая порог, губернатор не ощущал радости и даже не думал, что вот еще на один день он остался жив; он принимал это без размышлений, как будто забыв даже значение своей прогулки,— и ждал следующего дня огромным, темным ожиданием. И пустые, бездеятельные дни проходили страшно быстро, но время не подвигалось вперед: словно испортился механизм, подающий новые дни, и вместо следующего дня подавал старый, все один и тот же. И календарь на письменном столе, который он всегда переворачивал сам, чаще с вечера, точно призывая следующий день,— замер неподвижно на каком-то из старых, давно минувших дней; и, взглядывая иногда на эту застывшую черную цифру и даже не догадываясь, в чем дело, он ощущал жжение в груди, что-то вроде легкой тошноты, и быстро отводил глаза.

— Вздор! — говорил он сердито; теперь, оставаясь один, он часто вслух произносил отрывочные слова, не связанные ни с какой определенной мыслью, и особенно часто повторял два слова: «вздор!» и «позорно!».

Смерти он не боялся и представлял ее себе только с внешней стороны: вот в него выстрелят, а он упадет; потом похороны, музыка, несут ордена, и это все. Встретить ее он хотел мужественно. Не думал он совсем и о том, будет за гробом какая-нибудь жизнь и суд или нет; для него все кончалось здесь. И ел он хорошо, с обычным аппетитом, и спал крепко, без сновидений. Но однажды ночью — это

было за три дня до убийства — ему, вероятно, приснилось что-нибудь очень тяжелое, и проснулся он от собственного глухого и хриплого стона. И, услышав этот свой необыкновенный и страшный голос, встретив перед глазами тьму, почувствовал смертельный ужас и истому. Укрылся одеялом с головой, сжался в узловатый комок, подтянув костлявые колени к лицу, и, точно в одно мгновение пройдя весь обратный путь от старости к детству,— заплакал тихо и горько и стал просить мокрую, теплую, мягкую подушку:

— Пожалейте меня! Придите же ко мне кто-нибудь, придите. Пожалейте же меня! О-о-о!..

Но у него оставалось большое старое тело и гулкий грубый голос, и скоро сквозь слезы он почувствовал всего себя, всю свою странную позу, и смолк.

И долго лежал молча все в той же странной позе и широко открытыми глазами глядел в тьму под одеялом.

А наутро снова надел он генеральское пальто; и еще два дня мелькала, отражаясь в лужах, красная подкладка и крутился по улицам величавый призрак, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы.

Произошло это просто и быстро, точно картина передвинулась в панораме. На перекрестке, при выходе на маленькую грязную площадь, где по пятницам продавалось сено,— чей-то нерешительный голос окликнул губернатора.

— Ваше превосходительство?

— А?

Он остановился и повернул голову: к нему через дорогу, от глухого забора, расползаясь ногами в грязи, торопливо подходили два человека, один в высоких сапогах, другой в ботинках, без калош, но с подвернутыми брюками. Вероятно, ему было холодно от промоченных ног: лицо у него было зелено-бледное, и белокурые волосы точно отделялись от кожи. В левой руке он держал свернутый четырехугольник бумаги, а правую глубоко запустил в карман.

И сразу стало понятно все: ему — что пришла смерть, им — что он знает об этом.

— Извините! — сказал один, и лицо его быстро передернулось.

— Прошение? О чем? — так же ненужно, но точно обязанный поддерживать игру, спросил губернатор. Но руки за бумагой не протянул.

А тот, все еще держа в левой руке никого не обманывающую бумагу и не отдавая ее губернатору, правой тащил запутавшийся в подкладке револьвер, морщась от усилий.

Губернатор быстро, искоса, огляделся: грязная пустыня

площади, с втоптанными в грязь соломинками сена, глухой забор. Все равно уже поздно. Он вздохнул коротким, но страшно глубоким вздохом и выпрямился — без страха, но и без вызова; но была в чем-то, быть может в тонких морщинах на большом, старчески мясистом носу, неуловимая, тихая и покорная мольба о пощаде и тоска. Но сам он не знал о ней, не увидали ее и люди. Убит он был тремя непрерывными выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий треск.

Минуты через три прибежал городовой, за ним сыщики и народ — как будто все они где-то поблизости, за углом, ожидали конца. И труп закрыли. А еще через десять минут ехала уже лазаретная фура с красным крестом — и по всему городу стучали, как камни, перекрестные вопросы и ответы:

— Убит?

— Наповал.

— А кто? Поймали?

— Нет, убежали. Неизвестные какие-то. Трое.

И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни — порицая, другие — одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха: что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами, выступил в тумане грозный образ Закона Мстителя.

Гимназисточка плакала.

Август 1905 г.

МАРСЕЛЬЕЗА

Это было ничтожество: душа зайца и бесстыдная терпеливость рабочего скота. Когда судьба насмешливо и злобно бросила его в наши черные ряды, мы смеялись, как сумасшедшие: ведь бывают же такие смешные, такие нелепые ошибки. А он — он, конечно, плакал. Я никогда в жизни не встречал человека, у которого было бы так много слез, и они текли бы так охотно — из глаз, из носа, изо рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая в кулак. И в наших рядах я видел плачущих мужчин, но их слезы были огонь, от которого бежали дикие звери. От этих мужественных слез старело лицо и молодели глаза: как лава, исторгнутая из раскаленных недр земли, они выжигали неизгладимые следы и хоронили под собою целые города ничтожных желаний и мелких забот. А у этого, когда он поплачет, только краснел его носик да намокал платочек. Вероятно, он сушил его потом на веревочке, иначе откуда набрал бы он столько платков?

И во все дни изгнания он таскался к начальникам, ко всем начальникам, какие только были и каких он мог придумать, кланялся, плакал, клялся в своей невиновности, умолял пожалеть его молодость, давал обещания на всю жизнь не открывать рта иначе, как для просьб и славословий. И те смеялись над ним, как и мы, и называли его «Маленькая несчастная свинья», и кричали ему:

— Эй ты, маленькая свинья!

И он послушно бежал на зов: он думал каждый раз услышать весть о возвращении на родину, а они только шутили. Они знали, как и мы, что он не виновен, но его муками они думали напугать других маленьких свиней,— как будто и так не достаточно трусливы они!

Приходил он и к нам, гонимый животным страхом одиночества; но суровы и замкнуты были наши лица, и тщет-

но он искал ключа. Теряясь, он называл нас милыми товарищами и друзьями, а мы качали головой и говорили:

— Смотри! Тебя услышат.

И он позволял себе глядеть на дверь, эта маленькая свинья. Ну разве можно было сохранить серьезность! И мы смеялись отвыкшими от смеха голосами, а он, ободренный и утешенный, присаживался ближе и рассказывал и плакал о своих любимых книжечках, оставшихся на столе, о своей мамаше и братцах, о которых он не знает, живы они или уже умерли от страха и тоски.

Под конец мы его выгоняли.

Когда началась голодовка, его охватил ужас — невыразимо-комичный ужас. Ведь он очень любил покушать, бедная свинья, и он очень боялся милых товарищей, и очень боялся начальников: растерянно бродил он среди нас и часто вытирал платком лоб, на котором выступило что-то — слезы или пот. И нерешительно спросил меня:

— Вы долго будете голодать?

— Долго,— сурово ответил я.

— А потихоньку вы ничего не будете есть?

— Мамаши будут присылать нам пирожков,— серьезно согласился я.

Он недоверчиво посмотрел на меня, покачал головою и, вздохнув, ушел. А на другой день заявил, зеленый от страха, как попугай:

— Милые товарищи! Я тоже буду голодать с вами.

И был общий ответ:

— Голодай один.

И он голодал! Мы не верили, как не верите вы, мы думали, что он ест что-нибудь потихоньку, и так же думали надсмотрщики. И когда под конец голодовки он заболел голодным тифом, мы только пожали плечами: «Бедная маленькая свинья!» Но один из нас — тот, что никогда не смеялся, угрюмо сказал:

— Он наш товарищ. Пойдемте к нему.

Он бредил, и жалок, как вся его жизнь, был этот бессвязный бред. О своих любимых книжечках говорил он, о мамаше и братцах; он просил пирожков и клялся, что не виновен, и просил прощения. И родину он звал, звал милую Францию,— о, будь проклято слабое сердце человека! Он душу раздирал этим зовом: «Милая Франция!»

Мы все были в палате, когда он умирал. Сознание вернулось к нему перед смертью, и тихо он лежал, такой маленький, слабый, и тихо стояли мы, его товарищи. И все мы, все до единого, услышали, как он сказал:

— Когда я умру, пойте надо мною Марсельезу.

— Что ты говоришь! — воскликнули мы, содрогаясь от радости и закипающего гнева.

И он повторил:

— Когда я умру, пойте надо мною Марсельезу.

И впервые случилось так, что сухи были его глаза, а мы — мы плакали, плакали все до единого, и, как огонь, от которого бегут дикие звери, горели наши слезы.

Он умер, и мы пели над ним Марсельезу. Молодыми и сильными голосами пели мы великую песню свободы, и грозно вторил нам океан и на хребтах валов своих нес в милую Францию и бледный ужас, и кроваво-красную надежду. И навсегда стал он знаменем нашим — это ничтожество с телом зайца и рабочего скота и великою душою человека. На колени перед героем, товарищи и друзья!

Мы пели. На нас смотрели ружья, зловеще щелками их замки, и острые жала штыков угрожающе тянулись к нашим сердцам,— и все громче, все радостнее звучала громкая песня; в нежных руках бойцов тихо колыхался черный гроб.

Мы пели Марсельезу!

Август 1905 г.

ТАК БЫЛО

I

Стояла на площади огромная черная башня с толстыми крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. Построили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло их, и стала она наполовину тюрьмою для опасных и важных преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый городок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых крыш. Когда на западе светлело зеленоватое небо и в окнах кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная громада башни приобретала причудливые и фантастические очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обыкновенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан. И думалось о старом, давно умершем и забытом.

На башне были огромные старые часы, видимые издалека. Их сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за ним одноглазый человек, которому было удобно смотреть в лупу. От этого он сделался часовщиком и долго возился с маленькими часами, прежде чем ему отдали большие. Тут он почувствовал себя хорошо и часто без надобности, днем и ночью, заходил в комнату, где медленно двигались зубчатые колеса и рычаги и широкими, плавными взмахами рассекал воздух маятник. Достигая вершины своего качания, маятник говорил:

— Так было.

Падал, поднимался к новой вершине и добавлял:

— Так будет. Так было — так будет. Так было — так будет.

Такими словами передавал одноглазый часовщик однообразный и таинственный звук маятника; от близости

с большими часами он сделался философом, как тогда говорили.

Над древним городом, где стояла башня, и над всею страною высоко поднимался один человек, загадочный владыка города и страны, и его таинственная власть — одного над миллионами — была так же стара, как и город. Назывался он королем, и прозвище носил «Двадцатый», по числу своих одноименных предшественников, но это ничего не объясняло. Как никто не знал начала города, так не знал никто и начала этой странной власти, и, насколько хватало человеческой памяти,— в самом глубоком прошлом вырисовывался все тот же загадочный образ: одного, который повелевает миллионами. Была немая древность, над которой уже не имела власти человеческая память; но и она изредка раскрывала уста: роняла камень, маленькую плитку, исчерченную какими-то знаками, обломок колонны, кирпич из разрушенной стены — и в этих знаках уже была начерчена повесть об одном, который повелевает миллионами. Менялись титулы, имена и прозвища, но образ оставался неизменным, как будто бессмертным. По тому, что король родился и умирал, как и все, по его виду, присущему всем людям, он был человеком; но когда представляли себе ту неизмеримую громаду власти и могущества, какими он обладал, то легче становилось думать, что он бог. Тем более что и бог всегда изображался похожим на человека, и это не нарушало его совсем особой, непостижимой сущности.

Двадцатый был король. Это значило, что он мог сделать человека счастливым и несчастным; мог отнять имущество, здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч людей шли на войну, убивать и умирать; во имя его творилось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жестокое и милосердное. И его законы были не менее повелительны, чем законы самого бога; и еще тем он был велик, что бог никогда не меняет своих законов, а он мог менять свои постоянно. Далекий или близкий, он всегда стоял над жизнью: рождаясь — человек вместе с природою, городами и книгами находил короля; умирая — с природою, городами и книгами оставлял короля.

История страны, изустная и письменная, являла примеры королей великодушных, справедливых и добрых, и хотя на земле всегда существовали люди лучшие, чем они, все же казалось понятным, почему они повелевают. Но чаще случалось, что король был худшим на земле, лишенным добродетелей, жестоким, несправедливым, даже безумным,— но и тогда оставался он загадочным, одним, который повелева-

ет миллионами, и власть его возрастала вместе с преступлениями. Его все ненавидели и проклинали, а он один повелевал всеми ненавидящими и проклинающими,— и эта дикая власть становилась загадкой, и к страху человека перед человеком присоединялся мистический ужас неведомого. И от этого происходило, что мудрость, добродетель и человечность ослабляли власть и делали ее спорной, а тирания, безумие и злость укрепляли ее. И от этого происходило, что творчество и добро бывали не под силу самому могущественному из этих загадочных владык, а в разрушении и зле самый слабый из них превосходил дьявола и все адские силы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно — этот таинственный ставленник безумия, смерти и зла; и тем выше бывал трон, чем больше костей клалось в основу его.

И в других соседних странах так же сидели на тронах владыки, и власть их терялась в бесконечности времен. Бывали годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств исчезал таинственный владыка; но никогда еще не случалось, чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый в слиянии бессилия и бессмертного могущества. И загадочностью своею он очаровывал людей: во все времена встречались среди них такие, и их было много, которые любили его больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как из руки самого бога, без ропота и сожаления принимали от него и во имя его самую жестокую и позорную смерть.

Двадцатый и его предшественники редко показывались народу, и видели их немногие; но все они любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всюду украшая его и совершенствуя художественным вымыслом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица — одного и того же, простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося в память, покорявшего воображение, приобретавшего мнимое вездесущее, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу лет назад. И от этого, как ни просто бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого,

ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная смерть.

Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи: за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:

— Так было — так будет.

II

И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция — столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно,— как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый,— а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только,— и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы — огромный, взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.

Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все ближе подбирались к трону — уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.

Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из

соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:

— Да здравствует Двадцатый!

Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду, и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:

— Да здравствует Двадцатый!

Смеялись. А к вечеру — сумрачные лица и подозрительность во взорах: как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин — и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.

— Да здравствует Двадцатый!

Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, поднятые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.

— Да здравствует Двадцатый!

Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и придвинулись к толпе. Что-то заползало по стенам и уходит на крышу. За́мок молчит. Решетка вся обросла людьми, и вдруг исчезла, и стало ровно — народ движется.

— Да здравствует Двадцатый!

За окнами забегали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся взад и вперед,— похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются,— и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица темны, и может быть, это не они.

— Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!

Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних рядах:

— Это не они! Король бежал!

Но ближайшие уже кричат с радостью минувшего испуга:

— Да здравствует Двадцатый!

Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молчит и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.

— Говори, Двадцатый! Говори!

Странный жест рукою, призывающий к молчанию,— странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:

— Я рад видеть мой добрый народ.

И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад. Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя, Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.

— Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здравствует господин!

— Рабы!

Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обратно движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.

Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.

III

Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того,— и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые стены он сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползши со своих тронов, сбираются такие же могущественные владыки и приводят орды диких, одураченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в гордых чертогах народного собрания — всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.

Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати часам дня все находились в своих жилищах; и когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатились по опустевшим, безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого — ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых стен встревоженные, изумленные кошки; они не понимают — день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль

улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скрылись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдие, тишина.

И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и экипажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы,— в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники,— и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.

И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенистый прибой у скалы, светлелись отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза — все кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.

Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали в толстые стены:

— Смерть Двадцатому! Смерть!

В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:

— Смерть Двадцатому!

И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не

исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни тюрьмы, распертые изменою и предательством.

И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.

Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них. А в народном собрании царили смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некоторые улыбаются — они что-то знают.

— Убийцы!

— Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.

Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови — и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные вести о страшных раздорах — о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою, свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с запада или востока,— он приносит ропот угроз и гнева, и радостью отдается в ухе того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи,— и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими, яркими и страшными глазами — потемнел, растаял, угас, и точно

горный взъерошенный хребет опрокинулась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу! Горе свободе!

А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами, и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.

— Так было — так будет. Так было — так будет.

Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всею своею незримою массою. А когда часы поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке, режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.

— Так было — так будет. Так было — так будет.

IV

Уже была низвергнута тысячелетняя монархия. Поименного голосования не нужно было: поднялись все, кто был в народном собрании, и сверху донизу оно наполнилось стоящими, как будто выросшими людьми. Поднялся и тот больной депутат, которого принесли в кресле: поддерживаемый друзьями, он выпрямил старые, разбитые параличом ноги и встал, похожий на высокий высохший пень, поддерживаемый двумя молодыми деревцами.

— Республика принята единогласно,— говорит кто-то звонким голосом, ликование которого он напрасно старается сдержать.

Но все стоят. Проходит минута, другая; уже на площади, полной ожидающего народа, поднялся громоподобный, радостный рев,— а здесь молчание и тишина, как в церкви, и суровые, величаво-серьезные люди, застывшие в позе гордого почтения. Перед кем стоят они? Короля уже нет; нет и бога, этого короля и тирана неба,— уже давно низвергнут и он с своего небесного престола. Они стоят перед свободой. Старый депутат, у которого много лет старческою дрожью дрожала голова, теперь держит ее молодо и гордо; вот легким движением руки он отстранил друзей — он стоит один,— свобода совершила чудо! Уже давно отвыкли плакать эти люди, живущие среди бурь мятежа и крови, а теперь они плачут. Жестокие орлиные глаза спокойно, не мигая смотревшие на кровавое солнце революции, не выдержали мягкого блеска свободы — и плачут.

Молчание в зале. Гул за окнами. Вырастая в силе и обширности, он теряет остроту; ровный и могучий, он напоминает гул безбрежного океана. Теперь все эти люди свободны. Свободен умирающий, свободен рождающийся, свободен живущий. Рухнула таинственная власть одного, тысячи лет державшего в оковах миллионы, распались черные своды тюрьмы — и ясное небо над головою.

— Свобода! — шепчет кто-то тихо и нежно, как имя возлюбленной.

— Свобода! — говорит кто-то, задыхаясь от безмерной радости, весь стремление, весь вдохновение и полет.

— Свобода! — звучит железо.

— Свобода! — поют струны.

— Свобода! — грохочет многоголосый океан.

Он умер, старый депутат. Не выдержало сердце его безмерной радости и остановилось, и последним биением его было: свобода. Счастливейший из людей! В могильную таинственную сень он унесет с собою бесконечный сон о молодой свободе.

Ожидали в городе безумств, но их не было. Дыхание свободы облагородило людей, и они стали кротки, и нежны, и целомудренны в проявлениях радости, как девушки. Даже не плясали. Даже не пели почти. Только глядели друг на друга, только ласкали друг друга осторожным прикосновением рук: так приятно ласкать свободного человека и глядеть в его глаза! И никого не повесили. Нашелся безумец, который крикнул в толпе: «Да здравствует Двадцатый!» — закрутил усы и приготовился к короткой борьбе и длительной агонии в смертоносных объятиях рассвирепевшего народа. И некоторые уже нахмурились, но другие, большинство, только удивились и с любопытством начали разглядывать крикнувшего, как на пристани толпа зевак рассматривает привезенную из Бразилии обезьяну.

И отпустили его.

О Двадцатом вспомнили только поздней ночью. Кучка граждан, никак не могших расстаться с этим великим днем и решивших бродить до рассвета, случайно вспомнила о Двадцатом и направилась к башне. Черная, она почти сливалась с небом и в тот момент, когда подошли граждане, глотала какую-то звезду. Маленькая, яркая звездочка подошла близко, сверкнула — и пропала в темном пространстве. Довольно низко над землею тепло светились два маленьких оконца: то бодрствовали стражи.

Пробило два часа.

— Знает он или нет? — сказал один из пришедших,

тщетно всматриваясь в черную громаду и пытаясь разгадать ее. От стены отделился какой-то темный силуэт, и вялый, утомленный голос ответил:

— Он спит, граждане.

— Кто вы, гражданин? Вы испугали меня: вы ходите тихо, как кошка.

С разных сторон придвинулись еще несколько темных силуэтов и молча остановились перед пришедшими.

— Что же вы не отвечаете? Если вы призрак, то поскорее проваливайтесь: собрание отменило привидения.

Так же вяло неизвестный ответил:

— Мы сторожим тирана.

— Вас назначила коммуна?

— Нет. Мы сами. Нас здесь тридцать шесть человек. Было тридцать семь, но один умер. Мы сторожим тирана. Два месяца, может быть, больше, мы живем у этих стен. Мы устали.

— Нация благодарит вас. Вы знаете, что произошло сегодня?

— Да, мы слышали что-то. Мы сторожим тирана.

— Что теперь республика — свобода?

— Да. Мы сторожим тирана. Мы устали.

— Поцелуемтесь, братья!

Холодные губы вяло прикоснулись к горячим устам.

— Мы устали. Он так лукав и опасен. Мы день и ночь смотрим во все окна и двери. Я смотрю вон в то окно: вы его сейчас не найдете. Так вы говорите: свобода? Это хорошо. Но нам нужно идти на свои места. Будьте спокойны, граждане: он спит. Мы получаем сведения через каждые полчаса. Он спит.

Силуэты закачались — отодвинулись — пропали, точно ушли в стену. Черная башня стала как будто еще выше, и от левого зубца к городу протянулась такая же темная бесформенная туча. Казалось, что башня растет и протягивает руки. В сплошном мраке стены вдруг вспыхнул огонь и погас — что-то похожее на сигнал. Туча протянулась над городом и пожелтела от зарева огней; заморосил дождь. Было тихо и беспокойно.

Вправду ли он спит?

V

Прошло еще несколько дней в новых и сладостных ощущениях свободы — и снова, как черные жилы в белый мрамор, всюду протянулись темные нити недоверия и стра-

ха. С подозрительным спокойствием тиран принял весть о своем низложении,— как может быть спокоен человек, лишаемый царства, если только не задумал он чего-то страшного? И как может быть спокоен народ, если в среде его живет некто загадочный, одаренный пагубной силой очарования? Низверженный, он продолжает быть страшным; заключенный, он свободно проявляет свою дьявольскую власть, возрастающую на расстоянии. Так земля, темная вблизи, кажется яркою звездою, если смотреть на нее из глубины синего пространства. Да и вблизи — над его страданиями плачут. Видели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража, смахнувшего с глаз слезу; слышали оратора, призывавшего к милосердию. Как будто даже теперь он не счастливее тысяч людей, которые никогда не видали света и которых снова и снова хотят принести ему в жертву. Кто поручится, что завтра же страна не вернется к старому безумию и на коленях не поползет умолять его о прощении и снова не воздвигнет трона, разрушенного с таким трудом, с такою болью!

Ощетинившись от ярости и страха, многомиллионный народ прислушивается к речам народного собрания. Странные речи, пугающие слова! О его неприкосновенности говорят — о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как судят всех, что его нельзя наказывать, как наказывают всех, что его нельзя умертвить, потому что он король. Следовательно, короли еще существуют! И говорят это, клянясь в любви к народу и свободе, говорят люди испытанной честности, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глубины недр его, истерзанных беспощадною и святотатственною властью королей. Зловещая слепота!

Уже большинство склоняется на сторону низложенного: словно желтый туман, идущий от башни, ворвался в святые чертоги народного разума, и слепит ясные очи, и душит молодую свободу — молодую невесту в белых цветах, обретшую смерть в час брачного торжества. Тоска и отчаяние закрадываются в сердца, и много рук судорожно нащупывают оружие: лучше умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавианом.

Последние возгласы, полные смертельного негодования:

— Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и тридцать пять миллионов скотов!

Да, они хотят. Они молчат, потупив глаза, они устали бороться, устали желать — и в их утомлении, в их потягиваниях и зевках, в их бесцветных, но магически действующих холодных речах уже чудятся очертания трона. Отдельные

возгласы — тусклые речи — и слепое молчание единодушного предательства. Гибнет свобода, бедная невеста в белых цветах, обретшая гибель в час брачного торжества.

Но — чу! Слышен топот. Идут. Словно десятки гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-трам-трам. Идут предместья. Трам-трам-трам. Идут защищать свободу! Рам-рам-рам. Горе изменникам. Трам-трам-трам. Горе предателям!

— Народ просит разрешения пройти перед собранием.

Но разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не трогай!

Распахиваются двери: вот они, предместья! Землистые лица. Обнаженные груди. Бесконечная фантастика разноцветного тряпья, заменяющего одежду. Восторг порывистых, несдержанных движений. Зловещая стройность беспорядка; марширующий хаос. Трам-трам-трам. Глаза, горящие огнем. Пики, косы, трезубцы. Колья из ограды. Мужчины, женщины и дети. Трам-трам-трам.

— Да здравствуют представители народа! Да здравствует свобода! Смерть изменникам!

Депутаты улыбаются, хмурятся, приветливо кланяются. Голова кружится от этого пестрого бесконечного движения: как будто стремительная река пробегает в пещере. Все лица становятся похожи на одно; все крики сливаются в один сплошной однообразный гул; топот ног делается похож на стук дождя по крыше — усыпляющий, парализующий волю, внедряющийся в сознание. Гигантская крыша, гигантские капли.

— Там-там-там.

Идут час, идут два и три. По-видимому, уже наступила ночь. Чадят багрово-красные огни. Оба отверстия — и то, откуда народ вливается, и то, куда он пропадает,— черны, как две раскрытые пасти: словно черная, отливающая медью и железом лента продергивается из одной в другую. Утомленные глаза рисуют миражи. То бесконечный ремень; то огромный, распухший, волосатый червяк; тем, кто сидит над дверью, кажется, что они на мосту и они начинают плыть. Минутами ясное и необыкновенное живое сознание: так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще невиданной свободы. Свободный народ — какое счастье!

— Трам-трам-трам.

Уже восемь часов идут они, и еще не видно конца. С обеих сторон — и с той, откуда народ является, и с той, куда он пропадает,— гремит революционная песня. Слова

едва слышны; отчетливо выделяются только музыкальные такты, падения и подъемы, мгновенная тишина и грозные взрывы. К оружию, граждане! Сбирайтесь в батальоны! Идем — идем!

Идут.

Голосования не нужно. Еще раз спасена свобода.

VI

Настал великий день суда над королем. Таинственная власть, древняя, как мир, должна дать ответ народу, который она порабощала тысячи лет, миру, который она позорила, как торжествующая бессмыслица. Лишенная шутовских погремушек и золоченого трона, лишенная громких титулов и всех этих странных символов власти — обнаженная, предстанет она перед народом и даст ясный ответ: почему она была властью, что дало ей силу и право повелевать миллионами в лице одного, безнаказанно творить зло и насилие, лишать свободы, причинять смерть и поранения? Двадцатый осужден заранее совестью всего народа; пощады ему нет и не может быть,— но пусть перед казнью он откроет свою таинственную душу, пусть ознакомит людей не с делами своими,— они всем известны,— но с мыслями и чувствами царей. Мифический дракон, пожиравший девушек и в ужасе державший страну, связан цепями, притащен на городскую площадь, и сейчас увидят люди его чешуйчатую спину, его раздвоенный язык, его жестокую пасть, дышащую огнем.

Чего-то боялись. Уже с ночи по тихим улицам двигались в разные стороны войска, заливая площади, проезды, одевая весь путь короля щетиной штыков, стеною сумрачных, торжественно-строгих лиц. Над черными силуэтами зданий и церквей, острых, квадратных, странно неопределенных в предутреннем сумраке, слабо засветилось желтоватое облачное небо, холодное городское небо, старое, как дома, покрытые копотью и ржавчиной. Точно гравюра в одной из темных зал старого рыцарского замка.

Город спал в суровом ожидании великого и страшного дня, а по улицам, сдерживая грузный топот ног, тихо двигались стройные массы граждан, превращенных в солдат, с наглым грохотом, опустив подбородки к земле, проползали пушки, и у каждой мерцал красноватый огонек фитиля. Командовали отрывисто, вполголоса, почти шепотом — точно боялись разбудить кого-то, кто спит ненадежно и чутко. Боялись ли за короля, за его безопасность, или боялись

самого короля — этого не знал никто; но все знали, что нужно подготовиться, нужно вызвать и собрать всю силу, какая есть у народа.

Долго не разгорался день; желтые сплошные облака, пушистые, грязные, точно смазанные мокрой тряпкой, угрюмо висели над колокольнями; и только в тот момент, когда король выходил из башни, в голубом прорыве вспыхнуло солнце. Счастливое предзнаменование для народа, грозное предостережение тирану.

Везли его так: в узком коридоре из сплошной неразрывной линии войск двигались вооруженные отряды: один, другой, десятый — нельзя сосчитать; потом пушки: грохочут, грохочут; потом в тесных объятиях ружей, сабель и штыков еле движется темная карета. И снова пушки и отряды. И на всем многоверстном пути, и впереди кареты, и сзади, и вокруг нее — тишина. В одном месте на площади раздался неуверенный крик нескольких голосов:

— Смерть Двадцатому!

Но, не подхваченный толпою, разрозненно смолк. Так в облаве на кабана тявкают только шавки, а те, кто будет терзать и будет растерзан, молчат, накопляя ненависть и силу.

В собрании сдержанный шум и разговоры. Уже несколько часов ждут они так медленно ползущего тирана и в возбуждении расхаживают по коридорам, ежеминутно меняют места, смеются без повода, болтают оживленно о чем-то. Но многие сидят неподвижно, в позе каменных изваяний — на камень они похожи и лицами своими. Молодые лица, но старые, глубокие морщины, точно прорубленные топором; жесткие волосы; глаза, то зловеще ушедшие в глубину черепа, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъемлющие, как будто лишенные ресниц — факелы в черных нишах тюремной ограды. Нет в мире страшного, на что не могли бы бестрепетно взглянуть эти глаза; нет в мире жестокого, печального, призрачно-смутного, перед чем дрогнул бы этот взор, добела раскаленный в горниле революции. Те, кто первый начал это великое движение, давно умерли, рассеяны по земле, забыты; забыты их мысли, чаяния и мечты. Бывалый гром их речей кажется побрякушкою в руках ребенка; их великая свобода, о которой они мечтали, кажется постелькою для детей с тонким пологом от мух и яркого света дня. Маленькие, странные люди, пигмеи, подточившие гору. А эти — взращенные среди бурь и живые в бурях; любимые дети грозных дней — окровавленных голов, которые носят на пиках, как тыквы; мясистых, губчатых сердец, из которых

выжимают кровь; могучих, титанических речей, где слово острее кинжала и мысль беспощадней, чем порох. Покорные только воле державного народа, они вызвали призрак таинственной власти — и сейчас, холодные, как ученые анатомы, как судьи, как палачи, они исследуют его голубое сияние, пугающее невежд и суеверцев, разнимут его призрачные члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней казни.

Вот стихает шум за стенами, и тишина становится глубокой и черной, как ночное небо; вот громыхают, приближаясь, пушки. Смолкают. У входа легкое движение. Все сидят — они должны встретить тирана сидя. Стараются казаться равнодушными. Грузный топот распределяемых по зданию отрядов, тихое бряцание оружия. За стенами догромыхивают последние пушки. Железным кольцом облегают они здание, жерлами наружу, навстречу всему миру — западу и востоку, северу и югу.

Вошло что-то маленькое.

С верхних, отдаленных скамей — это толстенький, низенький человечек с быстрыми, но неуверенными движениями. Вблизи — это среднего роста толстяк, с большим, побагровевшим от холода носом, обвисшею кожею на щеках, маленькими тусклыми глазками — выразительная смесь добродушия, ничтожества и глупости. Он ворочает головою, не зная, кланяться ему или нет, и слегка кланяется; стоит нерешительно на раздвинутых ногах, не зная, можно ему сесть или нет. Все молчат, но сзади стоит стул, по-видимому, для него, и он садится сперва немного, потом больше, потом принимает величественную позу. По-видимому, у него насморк. Торопливо вытаскивает платок и с наслаждением сморкается в два приема, каждый раз издавая носом резкий трубный звук. Оправляется, прячет платок и величественно замирает. Он готов.

Это и был Двадцатый.

VII

Ожидали короля, а явился шут. Ожидали дракона, а пришел носатый буржуа с носовым платком. Смешно, и странно, и немного жутко. Уж не произошло ли подмены?

— Это я — король,— говорит и Двадцатый.

Да, это он: какой смешной! Вот так король! Улыбались, пожимали плечами, еле сдерживая смех, и посылали друг другу с конца в конец насмешливые улыбки и приветливые жесты, и точно спрашивали:

— Хорош?

Депутаты — те были очень серьезны, ужасно серьезны, даже бледны; вероятно, их подавляла ответственность, но народ тихо веселился. Как удалось ему пробраться в собрание? Так же, как проходит вода: он просочился — в высокие окна, в какие-то щели, чуть ли не в замочные скважины. Сотни оборванных, пестро и фантастически одетых, но чрезвычайно приветливых и вежливых незнакомцев. Тесня депутата, они спрашивают:

— Я не помешаю вам, гражданин?

Очень вежливы. Целыми темными гнездами, как птицы, они лепятся на подоконниках, загораживая свет, и что-то телеграфируют руками вниз, на площадь. По-видимому, что-то смешное.

Но депутаты были серьезны, очень серьезны, даже бледны. Как увеличительные стекла, они наводят свои выпуклые глаза на Двадцатого, смотрят долго и странно — и хмуро отворачиваются. Некоторые совсем закрыли глаза: видимо, им противно смотреть на тирана.

— Гражданин депутат! — с веселым ужасом шепчет один из приветливых незнакомцев.— Вы посмотрите, как горят глаза у тирана.

Не поднимая опущенных век:

— Да.

— Как он упился нашей кровью!

— Да.

— Однако вы не из болтливых, гражданин!

Молчание. А внизу уже бормочет что-то Двадцатый. Он не понимает, в чем можно его обвинить. Он всегда любил свой народ, и народ любил его. И теперь он любит народ, несмотря на все оскорбления, и если думают, что народу лучше республика, то пусть будет республика: он ничего против этого не имеет.

— Но зачем же тогда ты призвал других тиранов?

— Я их не звал, они сами пришли.

Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавливающие факт переговоров. Но он запирается — грубо и глупо, как первый попавшийся пройдоха, уличенный в мошенничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал только о народе. Неправда, что он жесток,— он всегда миловал, кого можно было помиловать; неправда, что он разорил государство: он тратил на себя так мало, как всякий небогатый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мотом. Он любит греческих и латинских классиков и сто-

лярное мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скромного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающими трубный звук, много можно встретить по праздникам на реке, где они целыми часами ловят рыбу. Ничтожные, смешные люди с большими носами.

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда всякий может быть королем; тогда безграничным повелителем над людьми может стать и горилла? И ей воздвигнут золоченый трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она будет устанавливать законы жизни для людей — горилла с волосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

Уже кончается короткий осенний день, и народ начинает выражать нетерпение: зачем так долго возятся с тираном? Уж не новая ли измена? В полутемной комнате, где тихо встречаются два представителя, ушедшие из собрания. Они присматриваются, узнают друг друга и молча ходят рядом, почему-то избегая прикосновений. Ходят.

— Но где же тиран? — внезапно вспыхивает один и схватывает другого за плечо.— Скажи мне, где тиран?

— Не знаю. Мне стыдно идти туда.

— Ужасные мысли! Неужели ничтожество и есть тирания? Неужели ничтожные и есть тираны?

— Не знаю. Мне стыдно.

Было тихо в маленькой комнате, но отовсюду — со стороны собрания, с площади, где толпился народ,— приносился ровный гул. Быть может, каждый говорил тихо, а вместе получался стихийный грохот, подобный грохоту далекого океана. На стенах забегали красные полосы и пятна — по-видимому, внизу, за окнами зажгли факелы. Где-то поблизости послышался грузный топот ног и тихое бряцание оружия: сменяли караулы. Кого они караулят: неужели этого?

— Его нужно выбросить из страны.

— Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.

— Но ведь это же будет новый обман.

Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смутные дымчатые тени: словно в неясном сне проходят кровавые дни прошлого и настоящего — и нет им конца. Гул на площади растет; уже чудятся отдельные вскрики.

— Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.

— И отчаяние. И стыд.

— И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!..

Здесь, перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы погибнем, я это почувствовал сегодня, но, погибая, крикнем: «Свобода! Свобода, братья!» Так крикнем, чтобы весь мир рабов содрогнулся от ужаса. Крепче жми мне руку, брат!

Было тихо, и багровые пятна вспыхивали не стенах, и дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все яростнее грохотала бездна. Словно сорвался страшный ветер — с севера и юга, с запада и востока — и поднял страхом трепещущую массу. Обрывки песен — вой,— и в хаосе звуков огромными, зубчатыми черными линиями выведенное слово:

— Смерть!.. Смерть тирану!

Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходило, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Тысячи прозрачных лет окружали их великим и грозным молчанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались, и падали, и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Минутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий ритм волны и грохот обрушивающегося прибоя.

— Смерть! Смерть тирану!

Шевельнулись.

— Что же, пойдем туда.

— Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшний день кончит борьбу с тиранией.

— Она только еще начинается. Идем!

Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреба,— и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскаленного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и общий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говорили каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь — и под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полутемная, чадная; задыхающиеся без воздуха красные язычки света. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.

На дне провала, среди двух оплывающих свеч фигурка Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается над столом и что-то невнятно бубнит — это он читает свою первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Двадцатый! Ведь ты король. Возвысь свой голос, облагородь топор и палача!

Нет. Бормочет что-то — глупец, трагически-серьезный.

VIII

На казнь короля многие смотрели с крыш; но и на крышах не хватило места для всех желающих, и некоторым так и не пришлось увидеть, как казнят королей. А высокие узкие дома, с этими странными, черными, шевелящимися волосами вместо крыш, стали как живые; и раскрытые окна у них похожи были на черные мигающие глаза. За домами торчали в небе тупые и острые колокольни, как будто обыкновенные,— но если вглядеться, то некоторые линии у них, поперечные, были слишком черны и словно шевелились. Это тоже был народ. Оттуда уже совсем ничего не видно было, но они — смотрели.

С крыш эшафот казался маленьким, как детская игрушка,— что-то вроде опрокинутой детской тачки со сломанными ручками. Отдельные люди около эшафота — единственные отдельные люди, которые были видны на всей площади, так как остальное слилось в одну неразрывную, слитную массу, похожую на своеобразный черный газон,— отдельные люди смешно напоминали муравьев, поднявшихся на задние ножки. Все казалось плоским, а они медленно и трудно взбирались на какие-то невидимые ступени и суетились. И так странно было, что рядом, на крыше, стоят большие люди с большими головами, ртом, носами.

Били барабаны.

Подплыла к эшафоту маленькая черная каретка, и долго ничего нельзя было разобрать. Потом отделилась кучка и очень медленно поднялась на невидимые ступени. Разбилась на части, расползлась, и посередине остался один маленький.

Били барабаны. Сердце замирало. Вдруг хрипло, оборванной линией замолкла барабанная дробь. Стало тихо. Одинокая фигурка подняла ручку, опустила, опять подняла. Должно быть, говорит, но ничего не слышно. Что он говорит? Что он говорит? Рванулись барабаны, затрещали, рассыпались, разорвали воздух на миллиарды дрожащих частиц, мешающих смотреть.

На эшафоте какое-то движение. Маленькая фигурка исчезла. Казнят. Трещат барабаны, и вдруг сразу, той же хриплой, рассыпающейся линией смолкают. Тихо. На том месте, где только что стоял Двадцатый, новая фигурка с протянутой рукой. А в руке что-то крохотное, светлое с одной стороны, темное — с другой, как булавочная головка, окрашенная в две краски. Это и была голова короля. Наконец-то...

...Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом короля и головою: боялись, что ярость народа не пощадит и останков тирана. А народ был страшен. Проникнутый старым рабьим страхом, он все еще не верил, что это могло случиться, что неприкосновенный, недосягаемый, могущественный владыка сложил голову под топором палача,— отчаянно и слепо ломился он к эшафоту: глаза часто обманывают, и слух часто лжет,— нужно пощупать эшафот, нужно вдохнуть запах королевской крови, по локоть омочить в ней руки. Дрались, душили, падали и визжали. Что-то мягкое, как сверток тряпья, упрямо перекатывается под ногами. Задавленный. Еще и еще. Добравшись до груды обломков, оставшихся от эшафота, дрожащими руками отламывали кусочки, отдирали ногтями, ломая их, жадно и слепо хватали целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их тяжестью. И толпа смыкалась над головою упавших, а бревно, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то течению, снова ныряло, выставляя наружу иззубренный конец, и где-то пропадало. Находили лужицу еще не всосавшейся и нерастоптанной крови и макали в нее платки, одежду; многие мазали кровью губы и ставили на лбу какие-то странные значки — кровью короля совершали помазание на новое царство свободы.

Опьянели от дикой радости. Без пения, без слов, кружились, задыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу окровавленные тряпки, разливались по городу, неся с собою крики, гул и неудержимый, странный хохот. Пробовали петь, но песня была слишком медленна, слишком плавна и ритмична, и снова переходили к хохоту и крику. Ходили благодарить собрание за освобождение отечества от тирана, но по дороге увлеклись преследованием какого-то изменника, крикнувшего: «Король умер,— да здравствует король! Да здравствует Двадцать Первый!» И разбежались. Кого-то повесили.

Многие из тех, кто продолжал тайно любить короля, не выдержали мысли, что он казнен, и сошли с ума; многие, даже трусы, убили себя. До последней минуты они чего-то ждали, на что-то надеялись и верили в успех своих молитв; а когда казнь совершилась, они впали в отчаяние и одни угрюмо и тускло, другие яростно, с богохульством, пронизали себя ножами. Были такие, что в дикой жажде мученичества выбегали на улицу, навстречу несущейся лавине народа, и бешено кричали: «Да здравствует Двадцать Первый!» — и погибали.

Кончался день, и подступала к городу ночь — суровая и правдивая ночь, ибо нет у нее глаз на видимое. В городе было еще светло от огней, а река под мостом была черна, как растворенная сажа; и только там, на повороте, где за широкой тупой башней умирал бледный и холодный закат, тускло блестела она холодными отсветами полированного металла. На мосту стояли двое и, облокотившись на камень, смотрели в загадочную и темную глубину.

— Ты веришь, что сегодня наступила свобода? — спросил один, спросил тихо, потому что в городе еще горели огни, а река под мостом чернела.

— Посмотри, вон плывет труп,— сказал другой, сказал тихо, потому что труп был близко и смотрел вверх синим пятном широкого лица.

— Их много теперь плывет по реке. Они плывут в море.

— Я не верю в ихнюю свободу. Они слишком радуются смерти Ничтожного.

Из города, где горели еще огни, принесся гул голосов, смеха и песен. Там еще было весело.

— Нужно убить власть,— сказал первый.

— Нужно убить рабов. Власти нет — есть только рабство. Вон еще труп и еще. Как их много! Откуда они выплывают? Они так внезапно появляются под мостом.

— Но ведь они любят свободу.

— Нет, они только боятся бича. Когда они полюбят свободу, они станут свободны.

— Пойдем отсюда. Меня тошнит от вида трупов.

И они повернулись, чтобы идти, и тут — когда в городе еще горели огни, а река была черна, как разведенная сажа, они увидели нечто тяжелое и смутное, рожденное тьмою и светом. Со стороны, противоположной закату, где река терялась в черных берегах и густая тьма копошилась, как живая, подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое. Поднялось и остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз, оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протягивало их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило и дышало. Было страшно.

— Это туман над рекою,— сказал один.

— Нет, это облако,— сказал другой.

Это было и облако и туман.

— Оно как будто смотрит!

Оно смотрело.

— Оно как будто слышит!

Оно слышало.

— Оно идет сюда!

Нет, оно стояло неподвижно. Оно стояло неподвижно, огромное, бесформенное, слепое, и на странных выпуклостях его краснели отблески городских огней, а внизу у его ног терялась в черных берегах черная река, и тьма копошилась, как живая. Угрюмо покачиваясь, плыли туда трупы и пропадали в темноте, и новые безмолвно приходили на их место и, покачиваясь, уходили — бесчисленные, тихие, думающие о чем-то своем, таком же черном и холодном, как уносящая их вода.

А на высокой башне, откуда рано утром увезли короля, крепко спал под маятником одноглазый часовщик. В этот день он был доволен тишиною башни и даже пел,— одноглазый пел! — и до самой темноты любовно прохаживался между колесами и рычагами. Потрогал канаты, посидел на лесенке, болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так как делал вид, что сердится на него. А потом искоса взглянул и рассмеялся,— и хохотом ответил обрадованный маятник. Качался, улыбался широко своею медною рожею и хохотал:

— Так было — так будет!

— Ну-ну? — поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.

— Так было — так будет!

А когда наступила темнота, одноглазый тут же лег спать и крепко заснул; но маятник не спал и всю ночь носился над его головою, навевая странные сны.

Октябрь 1905 г.

ХРИСТИАНЕ

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы,— они так и назывались «судебные драмы»,— и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и особенно там, где изо дня в день разыгрываются «судебные драмы». Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то бренчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики,— слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любуется. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликивает свидетелей:

— Ефимов! Как ваше имя, отчество?
— Ефим Петрович Ефимов.
— Согласны принять присягу?
— Согласен.
— Отойдите к стороне. Карасев!
— Андрей Егорыч... Согласен.
— Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами

догадливо отходят к стороне; других вопрос застает врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

— Согласны принять присягу? Отойдите...

— Нет.

Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко — голос был женский,— но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел в список.

— Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? — повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

— Нет.

Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпку и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

— Да вы православная?

— Православная.

— Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие

впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

— Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите,— вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

— Нет.

— Не сектантка?

— Нет.

— Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично,— понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать,— понимаете? Теперь согласны?

— Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

— Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

— Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

— Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

— Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт каким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь электричество...» — думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:

— С сумочкой...

Тот молча кивает головой.

— Ну так что же, что проститутка? — говорит председатель и слово «проститутка» произносит так же привычно,

как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва».— Ведь вы же христианка?

— Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбался, и спрашивает его согласия. Та же улыбка и кивок головы.

— Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка,— вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

— Теперь вы хватили... Разбойник — а потом товарищ прокурора!.. И потом, торгует,— кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

— Так вот,— говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена,— свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

— Нет.

— Нет? Почему же?

— Как же я такая пойду в церковь?

— Но у исповеди и у святого причастия бываете?

— Нет.

Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее радостно шепчет для всеобщего сведения:

— Вот так загвоздила!

— Ну, а богу-то вы молитесь, конечно?

— Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

— Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких... Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

— Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

— Проститутка!..— быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»

— Вы согласны принять присягу?

— Согласна.

— Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

— Согласна! — густым контральто, почти басом отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

— Ну вот видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же?

Караулова молчит.

— Не согласны?

— Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

— Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы, не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

— Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

— Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...

— Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

— Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

— Все мы, сударыня, грешны перед господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на применение воли божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает господь болезни и потерю имущества; вы же, в гордыне вашей...

— Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

— ...предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной церковью. Вы знаете символ веры?

— Нет.

— Но вы веруете в господа нашего Иисуса Христа?

— Как же, верую.

— Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

— Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа...— подтверждает председатель.

— Нет! — решительно отвечает Караулова.— Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианкой, я не была бы такая. Я и богу-то не молюсь.

— Это правда...— подтвердила свидетельница Пустошкина.— Она никогда не молится. К нам в дом — дом у нас хороший, пятнадцатирублевый — икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.

— Господь наш Иисус Христос,— продолжал священник, взглянув на председателя,— простил блудницу, когда она покаялась...

— Так она покаялась; а я разве каялась?

— Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

— Нет. Разве когда старая буду или помирать начну, тогда покаюсь,— да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покаялась. Нет уж, дело конченное.

— Какое уже тогда покаяние! — басом подтвердила

внимательно слушавшая Кравченко.— Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там, хвать, и покаялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевельнулась.

«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом,— подумал защитник,— у этой грудь, как кузнечные мехи. С тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

— Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналоя, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого бородка за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

— Вот так загвоздила! — громко шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову, поспешно крутил усики и что-то соображал.

Суд совещался.

— Ну что же делать? Ведь это же идиотка! — гневно говорил председатель.— Ее люди в царство небесное тащат, а она...

— По моему мнению,— сказал член суда,— нужно бы освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

— Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделывает!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

— Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

— Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

— Обвиняемая,— виноват, свидетельница,— как вас зовут?

— Груша.

— Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...

— Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.

— Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?

— Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

— Но вы же...

Председатель перебил:

— Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей. Вы поглядите!

— Тогда я ничего не имею...

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд на обвиняемого и защитника.

Караулова ждала. Получалось что-то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на зал и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.

— Тише там! — крикнул председатель.— Господин пристав! Если кто будет разговаривать, то удалите его из зала.

Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:

— Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?

— Восемь лет.

— А до того чем занимались?

— В горничных служила.

— А кто обольстил? Сынок или хозяин?

— Хозяин.

— А много дал?

— Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в рядах.

— Стоило из-за этого идти!

— Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

— Дети были?

— Один был.

— Куда девала?

— В воспитательном помер.

— А больна была?

— Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

— И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

— Бывают старички и больше дают! — вступилась за подругу Пустошкина.— Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

— Свидетельница, молчите,— вас не спрашивают! — строго остановил председатель.— Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

— Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло...— тонким, почти детским голоском сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы.— Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: «Не христианка я»; а завтра воровать по этой же причине пойдешь, либо кого из гостей сонным зельем опоишь,— вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены; а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуть на свете не живи.

— Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

— Вот попадется такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь.

— Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают...— вступилась Пустошкина.— Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти,— спасибо, застрял. «Я, говорит, воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое поганое дело ишли», а сам-то пьян-распьянехонек. А по-моему...

— Молчите, свидетельница!

— Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

— Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, господин прокурор?

— Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по уста-

новленному обряду, то вы христианка, как это и значится, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

— Сейчас заговорит о паспорте...— шепнул председатель и перебил прокурора: — Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

— Нет.

— Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!» Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!» — «Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от господа дан».— «А бороду где выщипали?» — «Где бы ни выщипали, а выщипали...» Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

— Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! — возмущается член суда.— Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

— Да вы-то что? Что ж, я нарочно, по-вашему? — покраснел председатель.— Вы поглядите на эту, на толстую, на Кравченко,— ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче,— мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание:

— Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с богом...

— Виноват...— перебил председатель.— Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

— Нет.

— Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический». Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

— Лик Христов — вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот — вот эмбрион всех сфинксов...

— Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

— Проще я не могу...— грустно сказал заседатель.— Мистическое требует особого языка... Одним словом,— нужна близость к богу.

— Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к богу — и больше ничего.

— Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

— Намедни,— басом сказала Кравченко,— гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик,— свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.

— Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

— Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

— Это зачем еще?

— Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.

— Нет,— сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

— Нет, примете!

— Нет.

— Посмотрим...

— Посмотрите...

— Довольно, довольно!..— сердито крикнул председатель.— А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят,— как самовар, заблестят».— «Ну, это вы слишком!» — «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» — «Бороду-то где выщипали?» — «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи».

— Тише там! — крикнул председатель.— Господин судебный пристав! Примите меры!

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

— Как хотите, а нужно кончить! — говорит член суда.— Получается скандал.

— Пожалуй, что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

— Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

— Так и вам нужно? — с безнадежной иронией покачал головой председатель.— Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям.

— Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии...— начинает он медленно.

— Господин защитник! — строго перебивает председатель.— Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

— Слушаю-с.

Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид

не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, чтó из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

— Господа судьи и господа присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не отведет глаз.

— Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны,— ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

— Господин защитник, что же это такое! — возмущается председатель.— Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

— Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

Не обращая внимания на прокурора, защитник снова кланяется суду:

— Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!

Какой-то большой и красивый образ смутно и притягательно блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

— Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это,

господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

— Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.

— Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию — в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

— Нет! — перебила Караулова.— Неправда это. И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному,

натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

— За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги — все за это, за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое — на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь,— жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал,— выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться — разденусь; прикажете на крест наплевать — наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

— А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки донышками кверху, а за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она,— Караулова показала на плачущую Кравченко,— за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит. А я смеялась,— ведь и правда, очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Молиться»,— а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то что мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь,— хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать,— родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил,— а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил,— а он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям — отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начал говорить и о моем детстве и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие иметь». Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она; но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господа судьи, зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такою меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

— Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

— Ну, а вы-то,— с горечью обратился председатель к Пустошкиной и Кравченко,— вы-то согласны принять присягу?

— Мы-то согласны...— ответила Кравченко, плача.— А она нет!

— Господин председатель! — поднялся прокурор, строгий и величественный.— Ввиду того что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

— Ну, какое там кощунство! — ответила Караулова.— Просто пьяны были. Да и не помню я,— разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

Пристав громко говорит:

— Прошу встать!

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

— Поднимите руки!

Все подняли руки.

— Повторяйте за мною,— говорит он одним голосом и другим продолжает: — Обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко.

— Обещаюсь и клянусь...

— Перед всемогущим богом и святым его Евангелием...

— Перед всемогущим богом... и святым... его... Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

— Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

— Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

— Ну что же нам с вами делать? — разводит руками председатель.— Ну, правду-то, понимаете, правду говорить будете?

— Скажу, что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.

— ...Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. Тринадцатого марта прошедшего года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: двадцать первого декабря, седьмого января, двадцать пятого того же января и первого февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

1905



ЕЛЕАЗАР

I

Когда Елеазар вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властию смерти, и живым возвратился в свое жилище, в нем долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самое имя его. Радуясь светлой радостью о возвращенном к жизни, друзья и близкие ласкали его непрестанно и в заботах о пище и питье и о новой одежде утоляли жадное внимание свое. И одели его пышно в яркие цвета надежды и смеха, и когда он, подобно жениху в брачном одеянии, снова сидел среди них за столом, и снова ел, и снова пил, они плакали от умиления и звали соседей, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Приходили соседи и радовались умиленно; приходили незнакомые люди из дальних городов и селений и в бурных восклицаниях выражали свое поклонение чуду — точно пчелы гудели над домом Марии и Марфы.

И то, что появилось нового в лице Елеазара и движениях его, объясняли естественно, как следы тяжелой болезни и пережитых потрясений. Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсем; и то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елеазара, было как неоконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елеазара, под его глазами и во впадинах щек лежала густая землистая синева; так же землисто-сини были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева становилась багровой и темной. Кое-где на губах и на теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле, и на этих местах оставались тонкие, красноватые трещинки, блестящие, точно покрытые прозрачной слюдой. И тучен он стал. Раздутое в могиле тело сохранило эти чудовищные размеры, эти

страшные выпуклости, за которыми чувствуется зловонная влага разложения. Но трупный, тяжелый запах, которым были пропитаны погребальные одежды Елеазара и, казалось, самое тело его, вскоре исчез совершенно, а через некоторое время смягчилась синева рук и лица и загладились красноватые трещинки кожи, хотя совсем они никогда не исчезли. С таким лицом предстал он людям во второй своей жизни; но оно казалось естественным тем, кто видел его погребенным.

Кроме лица, изменился как будто нрав Елеазара, но и это никого не удивило и не обратило на себя должного внимания. До смерти своей Елеазар был постоянно весел и беззаботен, любил смех и безобидную шутку. За эту приятную и ровную веселость, лишенную злобы и мрака, так и возлюбил его Учитель. Теперь же он был серьезен и молчалив; сам не шутил и на чужую шутку не отвечал смехом; и те слова, которые он изредка произносил, были самые простые, обыкновенные и необходимые слова, столь же лишенные содержания и глубины, как те звуки, которыми животное выражает боль и удовольствие, жажду и голод. Такие слова всю жизнь может говорить человек, и никто никогда не узнает, чем болела и радовалась его глубокая душа.

Так с лицом трупа, над которым три дня властвовала во мраке смерть,— в пышных брачных одеждах, сверкающих желтым золотом и кровавым пурпуром, тяжелый и молчаливый, уже до ужаса другой и особенный, но еще не признанный никем,— сидел он за столом пиршества среди друзей и близких. Широкими волнами, то нежными, то бурливо-звонкими, ходило вокруг него ликование; и теплые взгляды любви тянулись к его лицу, еще сохранившему холод могилы; и горячая рука друга ласкала его синюю, тяжелую руку. И музыка играла. Призвали музыкантов, и они весело играли: тимпан и свирель, цитра и гусли. Точно пчелы гудели — точно цикады трещали — точно птицы пели над счастливым домом Марии и Марфы.

II

Кто-то неосторожный приподнял покрывало. Кто-то неосторожным одним дуновением брошенного слова разрушил светлые чары и в безобразной наготе открыл истину. Еще мысль не стала ясной в голове его, когда уста, улыбаясь, спросили:

— Отчего ты не расскажешь нам, Елеазар, что было там?

И все замолчали, пораженные вопросом. Как будто сейчас только догадались они, что три дня был мертв Елеазар, и с любопытством смотрели, ожидая ответа. Но Елеазар молчал.

— Ты не хочешь нам рассказать,— удивился вопрошавший.— Разве так страшно там?

И опять мысль его шла позади слова; если бы она шла впереди, не предложил бы он вопроса, от которого в то же мгновение нестерпимым страхом сжалось его собственное сердце. И всем стало беспокойно, и уже с тоскою ожидали они слов Елеазара, а он молчал холодно и строго, и глаза его были опущены долу. И тут снова, как бы впервые заметили и страшную синеву лица, и отвратительную тучность; на столе, словно позабытая Елеазаром, лежала сине-багровая рука его,— и все взоры неподвижно и безвольно приковались к ней, точно от нее ждали желанного ответа. А музыканты еще играли; но вот и до них дошло молчание, и как вода заливает разбросанный уголь, так и оно погасило веселые звуки. Умолкла свирель; умолкли и звонкий тимпан, и журчащие гусли; и точно струна оборвалась, точно сама песнь умерла — дрожащим, оборванным звуком откликнулась цитра. И стало тихо.

— Ты не хочешь? — повторил вопрошавший, бессильный удержать свой болтливый язык. Было тихо, и неподвижно лежала сине-багровая рука. Вот она слегка шевельнулась, и все вздохнули облегченно и подняли глаза: прямо на них, все охватывая одним взором, тяжело и страшно смотрел воскресший Елеазар.

Это было на третий день после того, как Елеазар вышел из могилы. С тех пор многие испытали губительную силу его взора, но ни те, кто был ею сломлен навсегда, ни те, кто в самых первоисточниках жизни столь же таинственной, как и смерть, нашел волю к сопротивлению,— никогда не могли объяснить ужасного, что недвижимо лежало в глубине черных зрачков его. Смотрел Елеазар спокойно и просто, без желания что-либо скрыть, но и без намерения что-либо сказать — даже холодно смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому. И многие беззаботные люди сталкивались с ним близко и не замечали его, а потом с удивлением и страхом узнавали, кто был этот тучный, спокойный, задевший их краем своих пышных и ярких одежд. Не переставало светить солнце, когда он смотрел, не переставал звучать фонтан, и таким же безоблачно-синим оставалось

родное небо, но человек, подпавший под его загадочный взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба. Иногда человек плакал горько; иногда в отчаянии рвал волосы на голове и безумно звал других людей на помощь, но чаще случалось так, что равнодушно и спокойно он начинал умирать, и умирал долгими годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, вялый и скучный, как дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почве. И первые, те, кто кричал и безумствовал, иногда возвращались к жизни, а вторые — никогда.

— Так ты не хочешь рассказать нам, Елеазар, что видел ты там? — в третий раз повторил вопрошавший. Но теперь голос его был равнодушен и тускл, и мертвая, серая скука тупо смотрела из глаз. И все лица покрыла, как пыль, та же мертвая серая скука, и с тупым удивлением гости озирали друг друга и не понимали, зачем собрались они сюда и сидят за богатым столом. Перестали говорить. Равнодушно думали, что надо, вероятно, идти домой, но не могли преодолеть вязкой и ленивой скуки, обессиливавшей мышцы, и продолжали сидеть, все оторванные друг от друга, как тусклые огоньки, разбросанные по ночному полю.

Но музыкантам платили за то, чтобы они играли, и снова взялись они за инструменты, и снова полились и запрыгали заученно веселые, заученно печальные звуки. Все та же привычная гармония развертывалась в них, но удивленно внимали гости: они не знали, зачем это нужно и почему это хорошо, когда люди дергают за струны, надувая щеки, свистят в тонкие дудки и производят странный, разноголосый шум.

— Как они плохо играют! — сказал кто-то.

Музыканты обиделись и ушли. За ними, один по одному, ушли гости, ибо наступила уже ночь. И когда со всех сторон их охватила спокойная тьма, и уже легче становилось дышать,— вдруг перед каждым из них в грозном сиянии встал образ Елеазара: синее лицо мертвеца, одежды жениха, пышные и яркие, и холодный взгляд, в глубине которого неподвижно застыло ужасное. Точно превращенные в камень, стояли они в разных концах, и тьма их окружала, и во тьме все ярче разгоралось ужасное видение, сверхъестественный образ того, кто три дня находился под загадочной властью смерти. Три дня он был мертв: трижды всходило и заходило солнце, а он был мертв; дети играли, журчала по камням вода, горячая пыль вздымалась на проезжей дороге,— а он был мертв. И теперь он снова среди людей —

касается их — смотрит на них — смотрит на них! — и сквозь черные кружки его зрачков, как сквозь темные стекла, смотрит на людей само непостижимое Там.

III

Никто не заботился об Елеазаре, не осталось у него близких и друзей, и великая пустыня, обнимавшая святой город, приблизилась к самому порогу жилища его. И в дом его вошла, и на ложе его раскинулась, как жена, и огни погасила. Никто не заботился об Елеазаре. Одна за другою ушли сестры его — Мария и Марфа,— долго не хотела покидать его Марфа, ибо не знала, кто будет его кормить, и жалеть его, плакала и молилась. Но в одну ночь, когда ветер носился в пустыне и со свистом сгибались кипарисы над кровлей, она тихо оделась и тихо ушла. Вероятно, слышал Елеазар, как хлопнула дверь, как, не запертая плотно, она хлопалась о косяки под порывами ветра,— но не поднялся он, не вышел, не посмотрел. И всю ночь до утра свистели над его головою кипарисы, и жалобно постукивала дверь, впуская в жилище холодную, жадно рыскающую пустыню. Как прокаженного, избегали его все, и, как прокаженному, хотели на шею ему надеть колокольчик, чтобы избегать во время встречи. Но кто-то, побледнев, сказал, что будет очень страшно, если ночью под окнами послышится звон Елеазарова колокольца,— и все, бледнея, согласились с ним.

И так как и сам он не заботился о себе, то, быть может, умер бы он от голода, если бы соседи, чего-то боясь, не ставили ему пищу. Приносили ее дети; они не боялись Елеазара, но и не смеялись над ним, как с невинной жестокостью смеются они над несчастными. Были равнодушны к нему, и таким же равнодушием платил Елеазар: не было у него желания приласкать черную головку и заглянуть в наивные, сияющие глазки. Отданный во власть времени и пустыне, разрушался его дом, и давно разбежались по соседям голодные, блеющие козы. И обветшали брачные одежды его. Как надел он их в тот счастливый день, когда играли музыканты, так и носил, не меняя, точно не видел разницы между новым и старым, между рваным и крепким. Яркие цвета выгорели и поблекли; злые городские собаки и острый терн пустыни в лохмотья превратили нежную ткань.

Днем, когда беспощадное солнце становилось убийцей всего живого и даже скорпионы забивались под камни и там

корчились от безумного желания жалить, он неподвижно сидел под лучами, подняв кверху синее лицо и косматую, дикую бороду.

Когда с ним еще говорили, его спросили однажды:

— Бедный Елеазар! Тебе приятно сидеть и смотреть на солнце?

И он ответил:

— Да, приятно.

Так, вероятно, силен был холод трехдневной могилы, так глубока тьма ее, что не было на земле ни такого жара, ни такого света, который мог бы согреть Елеазара и осветить мрак его очей,— подумали вопрошавшие и со вздохом отошли.

А когда багрово-красный, расплющенный шар опускался к земле, Елеазар уходил в пустыню и шел прямо на солнце, как будто стремился настигнуть его. Всегда прямо на солнце шел он, и те, кто пытались проследить путь его и узнать, что делает он ночью в пустыне, неизгладимо запечатлели в памяти черный силуэт высокого, тучного человека на красном фоне огромного сжатого диска. Ночь прогнала их страхами своими, и так не узнали они, что делает в пустыне Елеазар, но образ черного на красном выжегся в мозгу и не уходил. Как зверь, засоривший глаза, яростно трет лапами морду, так глупо терли и они глаза свои, но то, что давал Елеазар, было неизгладимо и забывалось, быть может, только со смертью.

Но были люди, жившие далеко, которые никогда не видали Елеазара и только слыхали о нем. С дерзновенным любопытством, которое сильнее страха и питается страхом, с затаенной насмешкой в душе, они приходили к сидящему под солнцем и вступали в беседу. В это время вид Елеазара уже изменился к лучшему и не был так страшен; и в первую минуту они щелкали пальцами и неодобрительно думали о глупости жителей святого города. А когда короткий разговор кончался и они уходили домой, они имели такой вид, что жители святого города сразу узнавали их и говорили:

— Вот еще идет безумец, на которого посмотрел Елеазар,— и с сожалением цмокали и поднимали руки.

Приходили, бряцая оружием, храбрые воины, не знавшие страха; приходили со смехом и песнями счастливые юноши; и озабоченные дельцы, позвякивая деньгами, забегали на минуту; и надменные служители храма ставили свои посохи у дверей Елеазара,— и никто не возвращался, каким приходил. Одна и та же страшная тень опускалась на души и новый вид давала старому знакомому миру.

Так передавали чувства свои те, которые еще имели охоту говорить.

Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны — подобны светлым теням во мраке ночи становились они;

ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным черным покровом одевала землю, как мать, обнимала ее;

во все тела проникала она, в железо и камень, и одиноки становились частицы тела, потерявшие связь; и в глубину частиц проникала она, и одиноки становились частицы частиц;

ибо та великая пустота, что объемлет мироздание, не наполнялась видимым, ни солнцем, ни луною, ни звездами, а царила безбрежно, всюду проникая, все отъединяя: тело от тела, частицы от частиц;

в пустоте расстилали свои корни деревья и сами были пусты; в пустоте, грозя призрачным падением, высились храмы, дворцы и дома, и сами были пусты; и в пустоте двигался беспокойно человек, и сам был пуст и легок, как тень;

ибо не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи с онцом ее: еще только строилось здание, и строители еще стучали молотками, а уж виделись развалины его и пустота на месте развалин; еще только рождался человек, а над головою его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и уже пустота становилась на месте человека и погребальных свечей;

и, объятый пустотою и мраком, безнадежно трепетал человек перед ужасом бесконечного.

Так говорили те, кто еще имел охоту говорить. Но, вероятно, еще больше могли бы сказать те, которые не хотели говорить и молча умирали.

IV

В это время жил в Риме один знаменитый скульптор. Из глины, мрамора и бронзы он создавал тела богов и людей, и такова была их божественная красота, что люди называли ее бессмертною. Но сам он был недоволен и утверждал, что есть еще нечто, поистине красивейшее, чего не может он закрепить ни в мраморе, ни в бронзе. «Еще лунного сияния не собрал я,— говорил он,— еще солнечным светом не упился я — и нет в моем мраморе души, нет жизни в моей

красивой бронзе». И когда в лунные ночи он медленно брел по дороге, пересекая черные тени кипарисов, мелькая белым хитоном под луною, встречные дружески смеялись и говорили:

— Не лунный ли свет идешь ты собирать, Аврелий! Почему не взял ты с собою корзин?

И так, смеясь, он показывал на свои глаза:

— Вот мои корзины, куда собираю я свет луны и сияние солнца.

И это была правда: светилась луна в его глазах, и солнце сверкало в них. Но не мог он перевести их в мрамор, и в этом было светлое страдание его жизни.

Происходил он из древнего рода патрициев, имел добрую жену и детей и ни в чем не терпел недостатка.

Когда дошел до него темный слух об Елеазаре, он посоветовался с женою и друзьями и предпринял далекое путешествие в Иудею, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Было ему немного скучно в эти дни, и надеялся он дорогою обострить утомленное внимание свое. То, что рассказывали ему о воскресшем, не пугало его: он много размышлял о смерти, не любил ее, но не любил и тех, кто смешивает ее с жизнью. По эту сторону — прекрасная жизнь, по ту сторону — загадочная смерть, размышлял он, и ничего лучшего не может придумать человек, как живя радоваться жизни и красоте живого. И имел он даже некоторое тщеславное желание: убедить Елеазара в истине своего взгляда и вернуть к жизни его душу, как было возвращено его тело. Тем более легко это казалось, что слухи о воскресшем, пугливые и странные, не передавали всей правды о нем и только смутно предостерегали против чего-то ужасного.

Уже поднимался Елеазар с камня, чтобы идти вслед за уходящим в пустыню солнцем, когда приблизился к нему богатый римлянин, сопровождаемый вооруженным рабом, и звонко окликнул его:

— Елеазар!

И увидел Елеазар прекрасное гордое лицо, осиянное славой, и светлые одежды, и драгоценные камни, сверкающие под солнцем. Красноватые лучи придавали голове и лицу сходство с тускло блистающей бронзой — и это увидел Елеазар. Послушно сел он на свое место и утомленно опустил глаза.

— Да, ты некрасив, мой бедный Елеазар,— говорил спокойно римлянин, играя золотою цепью,— ты даже страшен, мой бедный друг; и смерть не была ленивой в тот день,

когда ты так неосторожно попал в ее руки. Но ты толст, как бочка, а толстые люди не бывают злы, говорил великий Цезарь, и я не понимаю, почему так боятся тебя люди. Ты позволишь мне переночевать у тебя? Уже поздно, а у меня нет приюта.

Еще никто не просил Елеазара провести у него ночь.

— У меня нет ложа,— сказал он.

— Я немного воин и могу спать сидя,— ответил римлянин.— Мы зажжем огонь...

— У меня нет огня.

— Тогда в темноте, как два друга, мы поведем беседу. Я думаю, у тебя найдется немного вина...

— У меня нет вина.

Римлянин засмеялся.

— Теперь я понимаю, почему так мрачен ты и не любишь своей второй жизни. Нет вина! Ну что же, останемся и так: ведь есть речи, которые кружат голову не хуже фалернского.

Движением руки он отпустил раба, и они остались вдвоем. И снова заговорил скульптор, но будто вместе с уходящим солнцем уходила жизнь из его слов, и становились они бледные и пустые, будто шатались они на нетвердых ногах, будто скользили и падали они, упившись вином тоски и отчаяния. И черные провалы между ними появились — как далекие намеки на великую пустоту и великий мрак.

— Теперь я твой гость, и ты не обидишь меня, Елеазар! — говорил он.— Гостеприимство обязательно даже для тех, кто три дня был мертв. Ведь три дня, говорили мне, ты пробыл в могиле. Там холодно, должно быть... и оттуда ты вынес эту скверную привычку обходиться без огня и вина. А я люблю огонь, здесь так быстро темнеет... У тебя очень интересные линии бровей и лба: точно занесенные пеплом развалины каких-то дворцов после землетрясения. Но почему ты в такой странной и некрасивой одежде? Я видел женихов в вашей стране, и они носят такое платье — такое смешное платье — такое страшное платье... Но разве ты жених?

Уже скрылось солнце, черная гигантская тень побежала с востока — точно босые, огромные ноги зашуршали по песку, и дуновение быстрого бега обвеяло холодом спину.

— В темноте ты кажешься еще больше, Елеазар, ты точно растолстел за эти минуты. Уже не кормишься ли ты тьмою?.. А я бы хотел огня — хоть маленький огонь, хоть маленький огонь. И мне холодно немного, у вас такие варварски холодные ночи... Если бы не было так темно, я сказал

бы, что ты смотришь на меня, Елеазар. Да, кажется, ты смотришь... Ведь ты смотришь на меня, я чувствую,— ну вот ты улыбнулся.

Ночь пришла, и тяжелой чернотою налился воздух.

— Вот будет хорошо, когда завтра снова взойдет солнце... Ведь ты знаешь, что я великий скульптор — так зовут меня друзья. Я творю, да, это называется творить... но для этого нужен день. Холодному мрамору я даю жизнь, я плавлю на огне звенящую бронзу, на ярком, горячем огне... Зачем ты тронул меня рукой!

— Пойдем,— сказал Елеазар.— Ты мой гость.

И они пошли в дом. И долгая ночь легла на землю.

Раб не дождался господина и пришел за ним, когда уже высоко стояло солнце. И увидел: прямо под палящими лучами его сидели рядом Елеазар и его господин, смотрели вверх и молчали. Заплакал раб и громко закричал:

— Господин, что с тобою? Господин!

В тот же день он уехал в Рим. Всю дорогу Аврелий был задумчив и молчал, внимательно оглядывал все — людей, корабль и море, и точно старался что запомнить. В море застигла их сильная буря, и во все время ее Аврелий находился на палубе и жадно вглядывался в надвигающиеся и падавшие валы. Дома испугались страшной перемене, которая произошла со скульптором, но он успокоил домашних, многозначительно сказав:

— Я нашел.

И в той же грязной одежде, которую не менял он всю дорогу, он взялся за работу, и мрамор покорно зазвенел под гулкими ударами молотка. Долго и жадно работал он, никого не впуская, и наконец в одно утро сказал, что произведение готово, и повелел созвать друзей, строгих ценителей и знатоков искусства. И, ожидая их, оделся пышно в яркие праздничные одежды, сверкавшие желтым золотом, красневшие пурпуром виссона.

— Вот что я создал,— сказал он задумчиво.

Взглянули друзья его, и тень глубокой скорби покрыла их лица. Это было нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый, неведомый образ. На тоненькой, кривой веточке, или уродливом подобии ее, криво и странно лежала слепая, безобразная, раскоряченная груда чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя. И случайно, под одним из дико кричащих выступов, замети-

ли дивно изваянную бабочку, с прозрачными крылышками, точно трепетавшими от бессильного желания лететь.

— Зачем эта дивная бабочка, Аврелий? — нерешительно спросил кто-то.

— Не знаю,— ответил скульптор.

Но нужно было сказать правду, и один из друзей, тот, что больше любил Аврелия, твердо сказал:

— Это безобразно, мой бедный друг. Это надо уничтожить. Дай молоток.

И двумя ударами он разрушил чудовищную груду, оставив только дивно изваянную бабочку.

С тех пор Аврелий больше ничего не создал. С глубоким равнодушием он смотрел на мрамор и на бронзу и на свои прежние божественные создания, на которых почила бессмертная красота. Думая вдохнуть в него старый жар к работе, разбудить его омертвевшую душу, его водили смотреть чужие прекрасные произведения,— но все так же равнодушен оставался он, и улыбка не согревала его сомкнутых уст. И только, когда много и долго ему говорили о красоте, он возражал утомленно и вяло:

— Но ведь все это ложь.

А днем, когда светило солнце, он выходил в свой богатый, искусно устроенный сад и, найдя место, где не было тени, отдавал непокрытую голову и тусклые очи свои сверканию и зною. Порхали красные и белые бабочки; в мраморный водоем сбегала, плескаясь, вода из искривленных уст блаженно-пьяного сатира, а он сидел неподвижно — как бледное отражение того, кто в глубокой дали, у самых врат каменной пустыни, так же неподвижно сидел под огненным солнцем.

V

И вот призвал к себе Елеазара сам великий, божественный Август.

Одели Елеазара пышно, в торжественные брачные одежды — как будто время узаконило их и до самой своей смерти он должен был оставаться женихом неведомой невесты. Похоже было на то, как будто на старый, гниющий, уже начавший разваливаться гроб навели новую позолоту и привесили новые, веселые кисти. И торжественно повезли его, все нарядные и яркие, как будто и вправду двигался свадебный поезд, и передовые громко трубили в трубы, чтобы давали дорогу посланцам императора. Но пустынны были пути Елеазара: вся родная страна уже проклинала ненави-

стное имя чудесно воскресшего, и разбегался народ при одной вести о страшном приближении его. Одиноко трубили медные трубы, и только пустыня отвечала протяжным эхом своим.

Потом повезли его морем. И это был самый нарядный и самый печальный корабль, который отражался когда-либо в лазурных волнах Серединного моря. Много людей на нем находилось, но, как гробница, был он безмолвен и тих, и словно плакала безнадежная вода, огибая крутой, красиво изогнутый нос. Одиноко сидел там Елеазар, подставляя непокрытую голову солнцу, слушал журчание струй и молчал, а вдали смутной толпою тоскующих теней бессильно и вяло лежали, сидели моряки и посланцы. Если бы в это время ударил гром, ветер рванул красные паруса, корабль, вероятно, погиб бы, так как ни у кого из бывших на нем не было ни сил, ни охоты бороться за жизнь. С последним усилием некоторые подходили к борту и жадно вглядывались в голубую, прозрачную бездну: не мелькнет ли в волнах розовым плечом наяда, не промчится ль, взбивая копытами брызги, безумно-веселый и пьяный кентавр. Но пустынно было море, и морская бездна была нема и пустынна.

Равнодушно ступил Елеазар на улицы Вечного города. Словно все богатство его, все величие зданий, возведенных гигантами, весь блеск, и красота, и музыка утонченной жизни были лишь отзвуком ветра в пустыне, отблеском мертвых зыбучих песков. Мчались колесницы, двигались толпы сильных, красивых, надменных людей, строителей Вечного города и гордых участников жизни его; звучала песня — смеялись фонтаны и женщины своим жемчужным смехом — философствовали пьяные — с улыбкой слушали их трезвые — и подковы стучали, подковы стучали о камень настилок. И, охваченный со всех сторон веселым шумом, холодным пятном безмолвия двигался среди города тучный, тяжелый человек и сеял на пути своем досаду, гнев и смутную, сосущую тоску. «Кто смеет быть печальным в Риме?» — негодовали граждане и хмурились, а через два дня уже весь быстроязычный Рим знал о чудесно воскресшем и пугливо сторонился от него.

Но были и здесь многие смелые люди, желавшие испытать силу свою, и на их неосмысленный зов послушно приходил Елеазар. Занятый делами государства, император медлил с приемом, и целых семь дней ходил по людям чудесно воскресший.

Вот пришел Елеазар к веселому пьянице, и пьяница смехом красных губ встретил его.

— Пей, Елеазар, пей! — кричал он.— Вот посмеется Август, когда увидит тебя пьяным!

И смеялись обнаженные, пьяные женщины, и лепестки роз ложились на синие руки Елеазара. Но взглянул пьяница в глаза его — и навсегда кончилась его радость. На всю жизнь остался он пьяным; уже не пил ничего, но оставался пьяным,— но, вместо радостных грез, что дает вино, страшные сны осенили несчастную голову его. Страшные сны стали единственной пищей его пораженного духа. Страшные сны и днем и ночью держали его в чаду своих чудовищных созданий, и сама смерть не была страшнее того, чем явили себя ее свирепые предтечи.

Вот пришел Елеазар к юноше и девушке, которые любили друг друга и были прекрасны в своей любви. Гордо и крепко обнимая рукою свою возлюбленную, юноша сказал с тихим сожалением:

— Взгляни на нас, Елеазар, и порадуйся с нами. Разве есть что-нибудь сильнее любви?

И взглянул Елеазар. И всю жизнь продолжали они любить друг друга, но печальной и сумрачной стала их любовь, как те надмогильные кипарисы, что корни свои питают тлением гробниц и остротою черных вершин своих тщетно ищут неба в тихий вечерний час. Бросаемые неведомою силою жизни в объятия друг друга, поцелуи они смешивали со слезами, наслаждение — с болью, и дважды рабами чувствовали себя: покорными рабами требовательной жизни и безответными слугами грозно молчащего Ничто. Вечно соединяемые, вечно разъединяемые, они вспыхивали, как искры, и, как искры, гасли в безграничной темноте.

Вот пришел Елеазар к гордому мудрецу, и мудрец сказал ему:

— Я уже знаю все, что ты можешь сказать ужасного, Елеазар. Чем еще ты можешь ужаснуть меня?

Но немного прошло времени, и уже почувствовал мудрец, что знание ужасного — не есть еще ужасное, и что видение смерти — не есть еще смерть. И почувствовал он, что мудрость и глупость одинаково равны перед лицом Бесконечного, ибо не знает их Бесконечное. И исчезла грань между ведением и неведением, между правдой и ложью, между верхом и низом, и в пустоте повисла его бесформенная мысль. Тогда схватил он себя за седую голову и закричал исступленно:

— Я не могу думать! Я не могу думать!

Так погибало под равнодушным взором чудесно воскресшего все, что служит к утверждению жизни, смысла

и радостей ее. И стали говорить, что опасно пускать его к императору, что лучше убить его и, схоронив тайно, сказать, что скрылся он неизвестно куда. Уже мечи точились и преданные благу народа юноши самоотверженно готовили себя в убийцы, когда Август потребовал, чтобы наутро явился к нему Елеазар, и тем расстроил жестокие планы.

Если нельзя было совсем устранить Елеазара, то желали хоть немного смягчить то тяжелое впечатление, какое производило лицо его. И с этой целью собрали искусных художников, цирюльников и артистов, и всю ночь трудились над головою Елеазара. Подстригли бороду, завили ее и придали ей опрятный и красивый вид. Неприятна была мертвецкая синева его рук и лица, и красками удалили ее: набелили руки и нарумянили щеки. Отвратительны были морщины страданий, которые бороздили старое лицо, и их замазали, закрасили, загладили совсем, а по чистому фону тонкими кисточками искусно провели морщины добродушного смеха и приятной, беззлобной веселости.

Равнодушно подчинялся Елеазар всему, что делали с ним, и вскоре превратился в естественно-толстого, красивого старика, спокойного и добродушного деда многочисленных внуков. Еще не сошла с уст его улыбка, с какой рассказывал он смешные сказки, еще таилась в углу глаз стариковская тихая нежность — таким казался он. Но брачной одежды снять они не посмели, но глаз его они изменить не могли — темных и страшных стекол, сквозь которые смотрело на людей само непостижимое Там.

VI

Не тронуло Елеазара великолепие императорских чертогов. Как будто не видел он разницы между своим развалившимся домом, к которому подошла пустыня, и каменным, крепким, красивым дворцом,— так равнодушно смотрел и не смотрел он, проходя. И твердый мрамор полов под его ногами становился подобным зыбучему песку пустыни, и множество прекрасно одетых надменных людей становилось подобно пустоте воздуха под взорами его. В лицо его не глядели, когда он проходил, опасаясь подвергнуться страшному влиянию его глаз; но, когда по звуку тяжелых шагов догадывались, что он миновал стоящих,— поднимали головы и с боязливым любопытством рассматривали фигуру тучного, высокого, слегка согбенного старика, медленно углублявшегося в самое сердце императорского дворца. Если бы сама

смерть проходила, не более пугались бы ее люди, ибо до сих пор было так, что смерть знал только мертвый, а живой знал только жизнь — и не было моста между ними. А этот, необыкновенный, знал смерть, и было загадочно и страшно проклятое знание его. «Убьет он нашего великого, божественного Августа»,— думали со страхом люди и посылали бессильные проклятия вслед Елеазару, медленно и равнодушно входившему все дальше и дальше, все глубже и глубже.

Уже знал и Цезарь о том, кто такой Елеазар, и приготовился к встрече. Но был он мужественный человек, чувствовал огромную, непобедимую силу свою и в роковом поединке с чудесно воскресшим не пожелал опереться на слабую помощь людей. Один на один, лицом к лицу сошелся он с Елеазаром.

— Не поднимай на меня взоров твоих, Елеазар,— приказал он вошедшему.— Слыхал я, что голова твоя подобна голове Медузы и превращает в камень каждого, на кого ты взглянешь. А я хочу рассмотреть тебя и поговорить с тобою, прежде чем превращусь в камень,— добавил он с царственной шутливостью, не лишенной страха.

Подойдя близко, он внимательно рассмотрел лицо Елеазара и его странную праздничную одежду. И был обманут искусной подделкой, хотя взор имел острый и зоркий.

— Так. На вид ты не страшен, почтенный старичок. Но тем хуже для людей, когда страшное принимает такой почтенный и приятный вид. Теперь поговорим.

Август сел и, допрашивая взором столько же, как и словами, начал беседу:

— Почему ты не приветствовал меня, когда входил?

Елеазар равнодушно ответил:

— Я не знал, что это нужно.

— Ты христианин?

— Нет.

Август одобрительно кивнул головой.

— Это хорошо. Я не люблю христиан. Они трясут дерево жизни, не дав ему покрыться плодами, и по ветру рассеивают его благоуханный цвет. Но кто же ты?

С некоторым усилием Елеазар ответил:

— Я был мертвым.

— Я слыхал об этом. Но кто же ты теперь?

Елеазар медлил с ответом и наконец повторил равнодушно и тускло:

— Я был мертвым.

— Послушай меня, неведомый,— сказал император,

раздельно и строго говоря то, о чем уже думал он раньше,— мое царство — царство живых, мой народ — народ живых, а не мертвых. И ты лишний здесь. Я не знаю, кто ты, я не знаю, что ты видел там,— но если ты лжешь, я ненавижу ложь твою, но если ты говоришь правду — я ненавижу твою правду. В моей груди я чувствую трепет жизни; в моих руках я чувствую мощь — и гордые мысли мои, как орлы, облетают пространство. А там, за моей спиною, под охраной моей власти, под сенью мною созданных законов живут, и трудятся, и радуются люди. Ты слышишь эту дивную гармонию жизни? Ты слышишь этот воинственный клич, который бросают люди в лицо грядущему, зовя его на бой?

Август молитвенно простер руки и торжественно воскликнул:

— Будь благословенна, великая, божественная жизнь!

Но Елеазар молчал, и с увеличенной строгостью продолжал император:

— Ты лишний здесь. Ты, жалкий остаток, не доеденный смертью, внушаешь людям тоску и отвращение к жизни; ты, как гусеница на полях, объедаешь тучный колос радости и извергаешь слизь отчаяния и скорби. Твоя правда подобна ржавому мечу в руках ночного убийцы,— и, как убийцу, я предам тебя казни. Но раньше я хочу взглянуть в твои глаза. Быть может, только трусы боятся их, а в храбром они будят жажду борьбы и победы: тогда не казни, а награды достоин ты... Взгляни же на меня, Елеазар.

И в первое мгновение показалось божественному Августу, что друг смотрит на него,— так мягок, так нежночарующ был взор Елеазара. Не ужас, а тихий покой обещал он, и нежной любовницей, сострадательною сестрою, матерью казалось Бесконечное. Но все крепче становились нежные объятия его, и уже дыхание перехватывал алчный до поцелуев рот, и уже сквозь мягкую ткань тела проступало железо костей, сомкнувшихся железным кругом,— и чьи-то тупые, холодные когти коснулись сердца и вяло погрузились в него.

— Мне больно,— сказал божественный Август, бледнея.— Но смотри, Елеазар, смотри!

Точно медленно расходились какие-то тяжелые, извека закрытые врата, и в растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужас Бесконечного. Вот двумя тенями вошли необъятная пустота и необъятный мрак и погасили солнце, у ног отняли землю, и кровлю отняли у головы. И перестало болеть леденеющее сердце.

— Смотри, смотри, Елеазар! — приказал Август, шатаясь.

Остановилось время, и страшно сблизилось начало всякой вещи с концом ее. Только что воздвигнутый, уже разрушился трон Августа, и пустота уже была на месте трона и Августа. Бесшумно разрушился Рим, и новый город стал на месте его и был поглощен пустотою. Как призрачные великаны, быстро падали и исчезали в пустоте города, государства и страны, и равнодушно глотала их, не насыщаясь, черная утроба Бесконечного.

— Остановись,— приказал император. Уже равнодушие звучало в голосе его, и бессильно обвисали руки, и в тщетной борьбе с надвигающимся мраком загорались и гасли его орлиные глаза.

— Убил ты меня, Елеазар,— сказал он тускло и вяло.

И эти слова безнадежности спасли его. Он вспомнил о народе, щитом которого он призван быть, и острой, спасительной болью пронизалось его омертвевшее сердце. «Обреченные на гибель»,— с тоской подумал он. «Светлые тени во мраке Бесконечного»,— с ужасом подумал он. «Хрупкие сосуды с живой, волнующей кровью, с сердцем, знающим скорбь и великую радость»,— с нежностью подумал он.

И так, размышляя и чувствуя, склоняя весы то на сторону жизни, то на сторону смерти, он медленно вернулся к жизни, чтобы в страданиях и радости ее найти защиту против мрака пустоты и ужаса бесконечного.

— Нет, не убил ты меня, Елеазар,— сказал он твердо,— но я убью тебя. Ступай!

В тот вечер с особенной радостью вкушал пищу и питие божественный Август. Но минутами застывала в воздухе поднятая рука и тусклый блеск заменял яркое сияние его орлиных глаз — то ужас ледяной волною пробегал у ног его. Побежденный, но не убитый, холодно ожидающий своего часа, он черною тенью на всю жизнь стал у изголовья его, владея ночами и послушно уступая светлые дни скорбям и радостям жизни.

На другой день по приказу императора каленым железом выжгли Елеазару глаза и на родину отправили его. Умертвить его не решился божественный Август.

Вернулся Елеазар в пустыню, и приняла его пустыня свистящим дыханием ветра и зноем раскаленного солнца. Снова сидел он на камне, подняв кверху лохматую, дикую бороду, и две черные ямы на месте выжженных глаз тупо

и страшно смотрели на небо. Вдали беспокойно шумел и двигался святой город, а вблизи было безлюдно и немо: никто не приближался к месту, где доживал дни свои чудесно воскресший, и уже соседи давно покинули дома свои. Загнанное каленым железом в глубину черепа, проклятое знание его таилось там точно в засаде; точно из засады впивалось оно тысячью невидимых глаз в человека,— и уже никто не смел взглянуть на Елеазара.

А вечером, когда, краснея и ширясь, солнце клонилось к закату, за ним медленно двигался слепой Елеазар. Натыкался на камни и падал, тучный и слабый, тяжело поднимался и снова шел; и на красном пологе зари его черное туловище и распростертые руки давали чудовищное подобие креста.

Случилось, пошел он однажды и больше не вернулся. Так, видимо, закончилась вторая жизнь Елеазара, три дня пробывшего под загадочной властию смерти и чудесно воскресшего.

Август 1906 г.

ИУДА ИСКАРИОТ

I

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота — человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно,— говорили они, отплевываясь,— он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота»,— говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно, и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору — любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда — дурной человек и не хочет бог потомства от Иуды.

Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался

около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги,— а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Но не послушал их советов Иисус; не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами,— слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев,— все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белою теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову — как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха; и часто

слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искариота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою — рядом с собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел — и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а родятся от несоответствия поступков его с заветами предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.

Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:

— Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.

Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал.

— Подожди! — сказал он другу.

Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень,

оторванный от горы, двинулся к Иуде Искариоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:

— Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:

— Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадаются еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбарям господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога — только одною половиною.

И громко захохотал, довольный своею шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная грудь, и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие,— и раз! — обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об осьминоге,— и один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появлялись восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза — остановился — решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то; Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся — Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица,— оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:

— Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкою и неторопливою и не

шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими — как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда.

II

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожею на смешную, а иногда и страшную сказку.

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей

совести. И Иуда поверил ему,— а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил,— а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой — она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал: собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше.

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветою, другие же шутливо спрашивали:

— Ну, а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов; про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

— Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

— Ну, а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Кариота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

— Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искариота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав.

— А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? — наклонившись, спросил он громким шепотом.— Только не шути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

— А ты что думаешь?

Петр испуганно и радостно прошептал:

— Я думаю, что он — сын бога живого.

— Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел!

— Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда.

С той же странной злобою Искариот бросил отрывисто и резко:

— Люблю.

После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающимся глазом.

Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями:

— Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которою тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств — с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов — с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, прони-

зывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою:

— Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

— Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом? — с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

— Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне: дерево, стену, осла?

И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа — они оба спали теперь вместе на кровле:

— Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

— А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда, во время странствований Иисуса по Иудее, путники приближались к какому-нибудь селению, Искариот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

— Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

— Иуда прав, господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

— Так вот как! — вскричал Петр, раздувая ноздри.— Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам, и...

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо,— на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему,— и даже упорнее, чем прежде,— искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда,— казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы — как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков.

— Фома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, как у серны? — спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

— Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны.

— Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал, и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла.

Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда из Кариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда,— потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с каменьями руки.

— Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного,— говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его,— но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему; и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

— Ты хочешь видеть глупцов? — сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади.— Посмотри: вот идут они по

дороге, кучкой, как стадо баранов, и подымают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

— Почему ты называешь себя прекрасным? — удивился Фома.

— Потому что я красив,— убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми каменьями.

— Но ты солгал! — сказал Фома.

— Ну да, солгал,— согласился спокойно Искариот.— Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

— Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой — дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искариота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому — словно белое облако нашло и закрыло дорогу и Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

— Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус и правда? Так, так, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку — и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

— Ты еще, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому

камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни — словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали — тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх — к светлому побледневшему небу. Наступила ночь с своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.

III

Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями, и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но, видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую, голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой

руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик.

Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок — и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всесокрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край,— плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, округло летел вниз, на дно невидимой пропасти.

— Ну-ка, еще один! — кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

— Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре,— это, по-видимому, так весело? — спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

— У меня грудь болит, и меня не звали.

— А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота — два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

— Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он

легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижнно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом.

— Нет, ты еще брось! — сказал Петр обиженно.

И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень,— Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз,— Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, бледнея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением,— Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень — и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал:

— Господи! я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить.

И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

— Он сказал: а кто поможет Искариоту?

Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

— Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные,— даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

— Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус,— но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною

кучкою шли впереди, а Иуда — Иуда-победитель — Иуда сильный — один плелся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом,— и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся — и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искариот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывал одну на другую и снова поднимал... И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова.

Так стоял он, загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое

и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк — резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул:

— Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни!

Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

— Смотрящий кротко — помилован будет, а встречающийся в воротах — стеснит других.

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него — глаза, руки и ноги — точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих — и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

— Ты плачешь, Иуда?

— Нет. Отойди, Фома.

— Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом.

— Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

— Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте:

— Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу — я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни — я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, сме-

лого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда.

— Ты что-то странное говоришь, Иуда!

— Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою,— ведь это я, это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слыхал об этом?

Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще сильнее затосковал Иуда; он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

— Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на поругание, невесту свою — на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!

IV

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся.

— Учитель, смотри! Вот он — шутник! Вот он — вор! Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор! Негодяй! Если ты позволишь, я сам...

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетенный вид раскаявшегося преступника.

— Так вот как! — сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою,— но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которою слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные глаза его краснели как бы от недавних слез.

— Учитель сказал... Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

— И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его — так сказал учитель... Стыдно нам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие,— после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

— Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя?

— Отчего же? Целуй! — согласился Иуда.

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

— А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

— Немножко.

— Пойду к нему и все расскажу. Ведь я и на него рассердился,— мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь.

— А что же ты, Фома? — строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

— Я еще не знаю. Мне нужно подумать.

И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал Петр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший:

— Ну как, Фома? Как идет дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому, стал считать деньги.

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги... Двадцать четыре... А потом опять скажут, что украл Иуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Фома решительно подошел к нему — уже к вечеру это было — и сказал:

— Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

— Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один...

— Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно, брат.

— И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

— Ты, кажется, смеешься надо мною, брат?

— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его? Ведь это он сказал — «свое»,— а не ты. Это он поцеловал меня — вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

— Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя?

— Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдет учитель из дому, и опять украдет нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

— Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли.

— А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу — ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовешь меня: брат. А как ты назовешь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжелый, звенящий ящик, продолжал:

— Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

— Я рад, что тебе весело,— сказал Фома.— Но очень жаль, что в твоей веселости так много зла.

— Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве

не приятно быть крюком, на который вывешивает для просушки: Иоанн — свою отсыревшую добродетель, Фома — свой ум, поеденный молью?

— Мне кажется, что лучше мне уйти.

— Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома,— я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

— Блуднице? — удивился Фома.— А об этом ты сказал учителю?

— Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блуднице. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела...

— Ты это знаешь наверное? — смутился Фома.

— Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею...

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуде:

— По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда.

И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде — так прост, мягок и в то же время серьезен был Искариот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде,— точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывал свои руки и ноги и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей счел возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

— Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей; и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения. И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступни-

ку в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

— Как ты думаешь, Иуда,— сказал он однажды снисходительно,— кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в его небесном царствии?

Иуда подумал и ответил:

— Я полагаю, что ты.

— А Петр думает, что он,— усмехнулся Иоанн.

— Нет. Петр всех ангелов разгонит своим криком,— ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса,— но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом. Не так ли?

— Да, я не оставлю Иисуса,— согласился Иоанн.

И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол, за дом.

— Так как же ты думаешь? — тревожно спрашивал он.— Ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду.

— Конечно, ты,— без колебания ответил Искариот; и Петр с негодованием воскликнул:

— Я ему говорил!

— Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

— Конечно!

— Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобою? Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом? Ты не оставишь его одного? Разве не тебя назвал он — камень?

Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

— Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе,— Петр угрожающе поднял руку,— не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь!

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он сказал:

— Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Матфею же, который страдал некоторым излишеством

в пище и питье и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона:

— Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный, смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в странные бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу,— являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искариота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзывчивым молчанием.

— Опять задумался, Иуда? — кричал Петр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиных дум, отгоняя их куда-то в темный угол.— О чем ты думаешь?

— О многом,— с покойной улыбкой отвечал Искариот. И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую груду, из которой вдруг высовывались руки и ноги Иуды и слышался его шутливый голос.

Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в царствии небесном. В присутствии учителя Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бранились несдержанно, Петр — весь красный от гнева, рокочущий; Иоанн — бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал; взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся,— каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искариот. И, уже

предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал:

— Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса — он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

— Да,— подтвердил снисходительно Иоанн,— скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

— Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искариот повторил торжественно и строго:

— Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные дерзкой выходкой, ученики молчали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

— Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

V

Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших, тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона.

— А кто он, этот Назарей? — пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательно взглянул на него Анна и лениво сказал:

— Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?

— Нет, он опасный человек,— горячо возразил Иуда,— он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобрительно кивнул головою.

— Но у него, кажется, много учеников?

— Да, много.

— И они, вероятно, очень любят его?

— Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

— Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло:

— Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

— Разве они такие дурные? — холодно спросил Анна.

— А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами, а ты только казни́!

— Но ведь они же любят его? Ты сам сказал.

— Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна проницательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились,— это значило, что Анна улыбается.

— Ты обижен ими? Я это вижу.

— Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария,— как будто Иуда не самый честный человек в Израиле!

И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ,— но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уж давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слыхал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падет,— еще сильнее разрастется ересь и в гибких

кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искариот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий и в четвертый раз пришел к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который и днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее.

— Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна,— сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

— Я довольно силен, чтобы ничего не бояться,— надменно ответил Анна, и Искариот раболепно поклонился, простирая руки.— Чего ты хочешь?

— Я хочу предать вам Назарея.

— Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

— Ступай.

— Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?

— Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда — точно и сам подсчитывал волоски в реденькой седой бородке первосвященника.

— Ну? Ты опять здесь? — надменно бросил, точно плюнул на голову, раздраженный Анна.

— Я хочу предать вам Назарея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искариот смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

— Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

— А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

— Вы все шайка мошенников. Тридцать сребреников — вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда — проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.

— За Иисуса? Тридцать сребреников? — закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну.— За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать сребреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать сребреников?

Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

— Ты слышишь? Тридцать серебреников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

— Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.

— А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

— Если ты...— пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды; но тот беззастенчиво перебивал его:

— А то, что он красив и молод,— как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?

— Если ты...— старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

— Тридцать серебреников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? — вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

— За все! За все! — задыхался Анна.

— А сами вы сколько наживете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

— Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:

— Но если ты так... Зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди...

— Мы другого... Мы другого... Вон!

— Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

— Теперь так много фальшивых денег,— спокойно пояснил Иуда.

— Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм,— сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

— Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку,— но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебреников.

Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся — и выполз бесшумно.

— Господи! — сказал он.— Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами

и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.

———

...Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она,— он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности — теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь,— и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству; и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках — первый раз в жизни — маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали; и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко,

красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

— Как он рассказывает! Ты слышишь?

— Слышу, конечно.

— Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!

VI

Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

— Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.

Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление — пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а беско-

нечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:

— Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?

— Но если они захотят умертвить его?

— Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.

— А если посмеют? Тогда что?

Иоанн говорил пренебрежительно:

— Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

— Но вы его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

— А ты его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

— Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?

Фома рассудительно ответил:

— Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча,— что можно сделать двумя мечами?

— Можно еще достать. Их можно отнять у воинов,— нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:

— Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.

— Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали,— и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

— Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?

— Но ведь нет же чужого!

— Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики

припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз прокляли ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

— Разве это люди? — горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз.— Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!

— Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях,— возражала Мария.

— Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? — удивлялся Иуда.— Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

— Он так тяжел, я не подниму его,— улыбнулась Мария.

— Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?

— Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

— И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

— Ты же просил не говорить.

— Нет, не надо, конечно, не надо,— вздохнул Иуда.— Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?

— Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?

— Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать сребреников — это большие деньги? Или нет, небольшие?

— Я думаю, что небольшие.

— Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была

блудницей? Пять серебреников или десять? Ты была дорогая?

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

— Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

— Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

— Ведь это грех.

— Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его,— чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам — он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом; она — молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебреников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!

И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:

— Не сын ли это божий с нами?

И сами кричали торжествующе:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!

В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот; задумывался и вновь слушал и смотрел; потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:

— Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою — песок только? Тогда что?

— Про кого ты говоришь? — осведомился Фома.

— Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

— Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая головою, Иуда повторил, как эхо:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

— Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет... Фома, глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом.

— Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда!

— Это возможно,— убежденно сказал Искариот.— И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели; пробовал сумрачный Петр подаренный ему Иудою меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его.

— Ты знаешь, кто его предаст? — спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

— Да, знаю,— ответил Иуда, суровый и решительный.— Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду?

...Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами

мерялось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле — первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

— Ты знаешь, куда иду я, господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, черные тени.

— Ты молчишь, господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

— Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

— Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя — меньше? Повели мне остаться!.. Но ты молчишь, ты все молчишь? Господи, господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжеле гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

— Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла — так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела — и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса — точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попáдали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра — он клялся, что никогда не оставит учителя своего.

— Господи! — говорил он с тоскою и гневом.— Господи! С тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

— Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня.

VII

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его; тогда он сказал внезапно:

— Кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному: «И к злодеям причтен».

Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил:

— Господи! вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

— Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих — и пугались ученики звука шагов своих; на белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени — и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно-неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей; уродливые тени скал и деревьев, преграждавшие дорогу, беспокоили их пестротою своею, и движением казалась их ночная неподвижность. Но, по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе; и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он.

В саду, в начале его, они остановились. Бóльшая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше, в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшей еще от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собрав-

шихся к празднику в город, и Петр, громкою зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не более десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

— Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте,— сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней и света.

— Куда он? — сказал Иоанн, приподнявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил:

— Не знаю.

И, еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании.

— Симон, ты спишь?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

— Так ли и одного часа не могли вы бодрствовать со мною?

«Ах, господи, если бы ты знал, как мне хочется спать»,— подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он это громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных:

— Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час — вот предается сын человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнем факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

— Что это? Что это за люди с факелами?

Бледный Фома, со сбившимся на сторону прямым усом, зябко ляскал зубами и говорил Петру:

— По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный, тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса.

Нашел его, на миг остановился взором на его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

— Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слыхали?

Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные, потемневшие глаза.

— Радуйся, равви! — сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искариот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предплечья,— и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

— Иуда,— сказал Иисус и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду настороживишхся теней, что была душой Искариота,— но в бездонную глубину ее не мог проникнуть.— Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?

И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда из Кариота, а внутри его все стенало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов:

«Да! Целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест — и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь».

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватали его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность принимая за сопротивление, свой страх — за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, тесни-

лись ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая — и даже самим себе; и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Петр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей,— но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь видимо лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак,— и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луною.

Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

— Иоанн, это ты?

— А, это ты, Петр? — ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя.— Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?

Петр остановился и с отвращением произнес:

— Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли

они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр:

— Нет, я не знаю его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил:

— Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

— Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников; и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий,— тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искариот бормотал жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой, сонно жадной злобы, и хлесткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей,— это били Иисуса.

Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искариот проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивленно натыкаясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене карауль-

ни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплеванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тюк, с одного конца на другой; и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряженного смотрения, действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твердым о твердое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную, странную игру — иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату; тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся — точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его, и хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо:

— Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно!..

Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорезе черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаще спутавшихся волос. Вот чья-то рука впилась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплеванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами; вот чья-то широкая спина с толстой, голой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это — самый лучший человек? — это так просто, так ясно. Что там те-

перь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те — выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом...

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют еще сильнее, еще больнее бьют. А костры догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

— Что такое день? — спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

— Что такое солнце? — спрашивает Иуда.

VIII

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

— Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

— Иуда Предатель... Иуда Предатель!

Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости — одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким; когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место; и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

— Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был — как муха, привязанная на нитку: жужжа летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами

они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью — точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

— Я здесь, сынок, здесь! — пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: «Осанна!» — и с каждым шагом количество их как будто возрастало.

«Так, так! — быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного.— Все кончено. Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут и...»

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их; другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, в громких и исступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой, грязной уличке, между двух стен, Иуда нагнал его.

— Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

— Отойди от меня, сатана.

Искариот нетерпеливо махнул рукою.

— Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать.

Опустив руки, Фома удивленно спросил:

— Но разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

— Другое, другое,— торопливо сказал Иуда.— Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут...

— Что ты! Что ты,— решительно отмахнулся руками

Фома,— разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и служителей храма. И потом суда еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймет, что Иисус невинен, и не повелит немедля освободить его.

— Ты тоже так думаешь? — задумчиво спросил Иуда.— Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

— Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит...

— Ну! — торопил Искариот.

— ...то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

— Перед настоящим! Есть еще настоящий! — засмеялся Иуда.

— И все наши прокляли тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить...

Недослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по уличке, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их.

Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшемся в лоб; у края возвышения стоял он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ — так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

«Так. Все кончено. Сейчас они поймут»,— подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова — так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

— Вы привели ко мне человека этого, как развращающе-

го народ; и вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его...

Иуда закрыл глаза. Ждет.

И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

— Смерть ему! Распни его! Распни его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов:

— Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь еще римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

— Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки — зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки — и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу:

— Неповинен я в крови праведника этого. Смотрите вы!

Еще скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягко распластывается у ног Пилата, и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку — присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз — видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно непохожие друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горячий:

— Ты мудрый!.. Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистине сатанинскою радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И, лежа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный:

— Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет

Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин — распущенные волосы, красные глаза, искривленные уста,— всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу:

— Я с тобою,— шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

— Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фому — но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки.

...Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударилось железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары,— слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его...

Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога — неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны — и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут — вот оборвутся они сейчас... Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест — и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искариота,— он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своем предать все

разрушению и смерти и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой и шумный, но уже призрачный под холодною рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искариот ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно. Иисус еще жив. Вон смотрит он зовущими, тоскующими глазами...

Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг — они поймут? Вдруг всею своею грозною массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на землю. Нет, лучше, лежа на земле и ляская зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла,— то безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

— Что такое слезы? — спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, проклинает, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде,— но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, болтающим, как на базаре; оно принадлежит солнцу; оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит «Осанна!» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: «Осанна, осанна!» — как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны... Молчи! Молчи!

Вдруг громкий, оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли?

Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось... Нет, еще вздох, еще на земле Иисус. И еще? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искариота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: «Осанна, Осанна!» — и моря крови и слез прольют к подножию ее — они найдут только позорный крест и мертвого Иисуса.

Спокойно и холодно Искариот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идет он неторопливо; теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

— Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери земли. Дотоле, пока не придем мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть.

Что он — безумен или издевается, этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю. Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами; смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами; смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить,— и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идет он спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади; покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

IX

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрионом Иуда из Кариота — Предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской — богатые и знат-

ные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху свое птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали: как будто не человек вошел, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться: они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придется, то и до вечера он будет кланяться.

Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

— Что надо тебе?

Иуда еще раз поклонился и громко сказал:

— Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назарея.

— Так что же? Ты получил свое. Ступай! — приказал Анна, но Иуда как будто не слыхал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

— Сколько ему дали?

— Тридцать серебреников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

— Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота, Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.

Каиафа сказал:

— Выгони этого пса. Что он лает?

— Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню,— равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

— Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? — крикнул Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

— А вы знаете... вы знаете... кто был он — тот, которого вчера вы осудили и распяли?

— Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их глаза,— и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа — они лишатся ее; у них была жизнь — они потеряют жизнь; у них был свет перед очами — вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

— Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.

Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:

— И это все, что ты хотел сказать?

— Кажется, вы не поняли меня,— говорит Иуда с достоинством, бледнея.— Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:

— Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

— Что! — кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством.— А кто вы, умные! Иуда обманул вас — вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебреников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона,— зачем ты не дал одним серебреником, одним оболом больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки!

— Вон! — закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду:

— Теперь все?

— Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям: звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили

Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

— Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! — насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.

— Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искариот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

— Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям.

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжал его: это Иуда горстью бросал серебреники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с мест, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которою долго шарила в мешке его дрожащая рука, плюнул гневно и вышел.

— Так, так! — бормотал он, быстро проходя по уличкам и пугая детей.— Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее — знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал:

— Уходи отсюда! Предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

— Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.

Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

— Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас — и вот уже трусливые предатели пред вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искариота, и покорно ответил Фома:

— Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.

— Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты — камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

— Что же могли мы сделать, посуди сам,— развел руками Фома.

— Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! — склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: — Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? мой сын утопает!» — а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

— Я обнажил меч, но он сам сказал — не надо.

— Не надо? И ты послушался? — засмеялся Искариот.— Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!

— Кто не повинуется ему, тот идет в геенну огненную.

— Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Геенна огненная — что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел — зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь!

— Молчи! — крикнул Иоанн, поднимаясь.— Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!

— Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь,

любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хохочут и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на нее — как я!

Иуда гневно плюнул на землю.

— Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! — настаивал Иоанн.

— Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так — целовать крест обещает вам Иуда!

— Иуда, не оскорбляй! — прорычал Петр, багровея.— Как могли бы мы убить всех врагов его? Их так много!

— И ты, Петр! — с гневом воскликнул Иоанн.— Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель. Ты полон лжи! Учитель не велел убивать.

— Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови — умереть, умереть! Пусть бы сам Отец его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил:

— Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

— Я спал,— кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать.— Спал и ел.

Фома решительно и твердо сказал:

— Это все неверно, Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?

— А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды.

Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою,— скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые!

— Будь сам проклят, сатана! — крикнул Иоанн, и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и все другие ученики. Только Петр молчал.

— Я иду к нему! — сказал Иуда, простирая вверх властную руку.— Кто за Искариотом к Иисусу?

— Я! Я с тобою! — крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

— Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!

Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

— Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти!

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть, и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом дышала в его спину гора.

— Ты еще, проклятая! — говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головою, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

— Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрывал глаза, бормоча:

— Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад на землю, Иисус?

Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбранил его, то начал петь мягко и тихо,— улетал куда-то ветер и прощался.

— Хорошо, хорошо! А они собаки! — ответил ему Иуда, делая петлю. И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то повесил он ее над обрывом,— если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса:

— Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус.

И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота, Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне — точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди, и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все — добрые и злые — одинаково предадут проклятию позорную память его; и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей — Иуда из Кариота, Предатель.

24 февраля 1907 г.
Капри



ТЬМА

I

Обычно происходило так, что во всех его делах ему сопутствовала удача; но в эти три последние дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Как человек, вся недолгая жизнь которого была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, он знал эти внезапные перемены счастья и умел считаться с ними — ставкою в игре была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его к вниманию, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету.

Приходилось изворачиваться и теперь. Какая-то случайность, одна из тех маленьких случайностей, которых нельзя предусмотреть, навела на его следы полицию, и вот теперь, уже двое суток, за ним, известным террористом, бомбометателем, непрерывно охотились сыщики, настойчиво загоняя его в тесный замкнутый круг. Одна за другою были отрезаны от него конспиративные квартиры, где он мог бы укрыться; оставались еще свободными некоторые улицы, бульвары и рестораны, но страшная усталость от двухсуточной бессонницы и крайней напряженности внимания представляла новую опасность: он мог заснуть где-нибудь на бульварной скамейке, или даже на извозчике, и самым нелепым образом, как пьяный, попасть в участок. Это было во вторник. В четверг же, через один только день, предстояло совершение очень крупного террористического акта. Подготовкою к убийству в течение продолжительного времени была занята вся их небольшая организация, и «честь» бросить последнюю решительную бомбу была предоставлена именно ему. Необходимо было продержаться во что бы то ни стало.

И вот тогда, октябрьским вечером, стоя на перекрестке двух людных улиц, он решил поехать в этот дом терпимости

в — ом переулке. Он уже и раньше прибег бы к этому не совсем, впрочем, надежному средству, если бы не некоторое осложняющее обстоятельство: в свои двадцать шесть лет он был девственником, совсем не знал женщин как таковых, и никогда не бывал в публичных домах. Когда-то в свое время ему пришлось выдержать тяжелую и трудную борьбу с бунтующей плотью, но постепенно воздержание перешло в привычку, и выработалось спокойное, совершенно безразличное отношение к женщине. И теперь, поставленный в необходимость так близко столкнуться с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, быть может, увидеть ее голою — он предчувствовал целый ряд своеобразных и чрезвычайно неприятных неловкостей. В крайнем случае, если это окажется необходимым, он решил сойтись с проституткой, так как теперь, когда плоть уже давно не бунтовала и предстоял такой важный и огромный шаг,— девственность и борьба за нее теряли свою цену. Но во всяком случае это было неприятно, как бывает иногда неприятна какая-нибудь противная мелочь, через которую необходимо перейти. Однажды, при совершении важного террористического акта, при котором он находился в качестве запасного метальщика, он видел убитую лошадь с изорванным задом и выпавшими внутренностями; и эта грязная, отвратительная, ненужно-необходимая мелочь дала тогда ощущение в своем роде даже более неприятное, чем смерть товарища от брошенной бомбы. И насколько спокойно, бестрепетно и даже радостно представлял он себе четверг, когда и ему придется, вероятно, умереть,— настолько предстоявшая ночь с проституткой, с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, казалась ему нелепой, полной чего-то бестолкового, воплощением маленького, сумбурного, грязноватого хаоса.

Но другого выбора не было. И он уже шатался от усталости.

II

Было еще совсем рано, когда он приехал, около десяти часов, но большая белая зала с золочеными стульями и зеркалами была готова к принятию гостей, и все огни горели. Возле фортепиано с поднятой крышкой сидел тапер, молодой, очень приличный человек в черном сюртуке,— дом был из дорогих,— курил, осторожно сбрасывая пепел с папиросы, чтобы не запачкать платье, и перебирал ноты; и в

углу, ближнем к полутемной гостиной, на трех стульях подряд, сидели три девушки и о чем-то тихо разговаривали.

Когда он вошел с хозяйкой, две девушки встали, а третья осталась сидеть; и те, которые встали, были сильно декольтированы, а на сидевшей было глухое черное платье. И те две смотрели на него прямо, с равнодушным и усталым вызовом, а эта отвернулась, и профиль у нее был простой и спокойный, как у всякой порядочной девушки, которая задумалась. Это она, по-видимому, что-то рассказывала подругам, а те ее слушали, и теперь она продолжала думать о рассказанном, молча рассказывала дальше. И потому, что она молчала и думала, и потому, что она не смотрела на него, и потому, что у нее только одной был вид порядочной женщины,— он выбрал ее. Он никогда раньше не бывал в домах терпимости и не знал, что в каждом хорошо поставленном доме есть одна, даже две такие женщины: одеты они бывают в черное, как монахини или молодые вдовы, лица у них бледные, без румян и даже строгие; и задача их — давать иллюзию порядочности тем, кто ее ищет. Но, когда они уходят в спальню с мужчинами и там напиваются, они становятся как и все, иногда даже хуже: часто скандалят и колотят посуду, иногда пляшут, раздевшись голыми, и так голыми выскакивают в зал, а иногда даже бьют слишком назойливых мужчин. Это как раз те женщины, в которых влюбляются пьяные студенты и уговаривают начать новую, честную жизнь.

Но он этого не знал. И когда она поднялась нехотя и хмуро, с неудовольствием взглянула на него подведенными глазами и как-то особенно резко мелькнула бледным, матово-бледным лицом,— он еще раз подумал: «какая она порядочная, однако!» — и почувствовал облегчение. Но, продолжая то вечное и необходимое притворство, которое двоило его жизнь и делало ее похожею на сцену, он качнулся как-то очень фатовски на ногах, с носков на каблуки, щелкнул пальцами и сказал девушке развязным голосом опытного развратника:

— Ну как, моя цыпочка? Пойдем к тебе? а? Где тут твое гнездышко?

— Сейчас? — удивилась девушка и подняла брови.

Он засмеялся игриво, открыв ровные, сплошные, крепкие зубы, густо покраснел и ответил:

— Конечно. Чего же нам терять драгоценное время?

— Тут музыка будет. Танцевать будем.

— Но что такое танцы, моя прелесть? Пустое верчение,

ловля самого себя за хвост. А музыку, я думаю, и оттуда слышно?

Она посмотрела на него и улыбнулась:

— Немного слышно.

Он начинал ей нравиться. У него было широкое, скуластое лицо, сплошь выбритое; щеки и узкая полоска над твердыми, четко обрисованными губами слегка синели, как это бывает у очень черноволосых бреющихся людей. Были красивы и темные глаза, хотя во взгляде их было что-то слишком неподвижное, и ворочались они в своих орбитах медленно и тяжело, точно каждый раз проходили очень большое расстояние. Но, хотя и бритый и очень развязный, на актера он не был похож, а скорее на обрусевшего иностранца, на англичанина.

— Ты не немец? — спросила девушка.

— Немножко. Скорее англичанин. Ты любишь англичан?

— А как хорошо говоришь по-русски. Совсем незаметно.

Он вспомнил свой английский паспорт, тот коверканный язык, которым говорил все последнее время, и то, что теперь забыл притвориться как следует, и снова покраснел. И, уже нахмурившись несколько, с сухой деловитостью, в которой чувствовалось утомление, взял девушку под локоть и быстро повел.

— Я русский, русский. Ну, куда идти? Показывай. Сюда?

В большом, до полу, зеркале резко и четко отразилась их пара: она, в черном, бледная и на расстоянии очень красивая, и он, высокий, широкоплечий, также в черном и также бледный. Особенно бледен казался под верхним светом электрической люстры его упрямый лоб и твердые выпуклости щек; а вместо глаз и у него и у девушки были черные, несколько таинственные, но красивые провалы. И так необычна была их черная, строгая пара среди белых стен, в широкой, золоченой раме зеркала, что он в изумлении остановился и подумал: как жених и невеста. Впрочем, от бессонницы, вероятно, и от усталости соображал он плохо, и мысли были неожиданные, нелепые; потому что в следующую минуту, взглянув на черную, строгую, траурную пару, подумал: как на похоронах. Но и то и другое было одинаково неприятно.

По-видимому, и девушке передалось его чувство: также молча, с удивлением она разглядывала его и себя, себя и его; попробовала прищурить глаза, но зеркало не ответило на это легкое движение и все также тяжело и упорно продолжало

вычерчивать черную застывшую пару. И показалось ли это девушке красивым, или напомнило что-нибудь свое, немного грустное,— она улыбнулась тихо и слегка пожала его твердо согнутую руку.

— Какая парочка! — сказала она задумчиво, и почему-то сразу стали заметнее ее большие черно-лучистые ресницы с тонко изогнутыми концами.

Но он не ответил и решительно пошел дальше, увлекая девушку, четко постукивавшую по паркету высокими французскими каблуками. Был коридор, как всегда, темные, неглубокие комнатки с открытыми дверями, и в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почерком: «Люба»,— они вошли.

— Ну, вот что, Люба,— сказал он, оглядываясь и привычным жестом потирая руки одна о другую, как будто старательно мыл их в холодной воде,— надобно вина и еще чего там? Фруктов, что ли.

— Фрукты у нас дороги.

— Это ничего. А вино вы пьете?

Он забылся и сказал ей «вы», и хотя заметил это, но поправляться не стал: было что-то в недавнем ее пожатии, после чего не хотелось говорить «ты», любезничать и притворяться. И это чувство также как будто передалось ей: она пристально взглянула на него и, помедлив, ответила с нерешительностью в голосе, но не в смысле произносимых слов:

— Да, пью. Погодите, я сейчас. Фруктов я велю принести только две груши и два яблока. Вам хватит?

И она говорила теперь «вы», и в тоне, каким произносила это слово, звучала все та же нерешительность, легкое колебание, вопрос. Но он не обратил на это внимания и, оставшись один, принялся за быстрый и всесторонний осмотр комнаты. Попробовал, как запирается дверь,— она запиралась хорошо, крючком и на ключ; подошел к окну, раскрыл обе рамы — высоко, на третьем этаже, и выходит во двор. Сморщил нос и покачал головою. Потом сделал опыт над светом: две лампочки, и когда гаснет вверху одна, зажигается другая у кровати с красным колпачком — как в приличных отелях.

Но кровать!..

Поднял высоко плечи — и оскалился, делая вид, что смеется, но не смеясь, с той потребностью двигать и играть лицом, какая бывает у людей скрытных и почему-либо таящихся, когда они остаются наконец одни.

Но кровать!

Обошел ее, потрогал ватное стеганое, откинутое одеяло

и с внезапным желанием созорничать, радуясь предстоящему сну, по-мальчишески скривил голову, выпятил вперед губы и вытаращил глаза, выражая этим высшую степень изумления. Но тотчас же сделался серьезен, сел и утомленно стал поджидать Любу. Хотел думать о четверге, о том, что он сейчас в доме терпимости, уже в доме терпимости, но мысли не слушались, щетинились, кололи друг друга. Это начинал раздражаться обиженный сон: такой мягкий там, на улице, теперь он не гладил ласково по лицу волосатой шерстистой ладонью, а крутил ноги, руки, растягивал тело, точно хотел разорвать его. Вдруг начал зевать, истово, до слез. Вынул браунинг, три запасные обоймы с патронами, и со злостью подул в ствол, как в ключ — все было в порядке, и нестерпимо хотелось спать.

Когда принесли вино и фрукты и пришла запоздавшая почему-то Люба, он запер дверь — сперва только на один крючок, и сказал:

— Ну вот что... вы пейте, Люба. Пожалуйста.

— А вы? — удивилась девушка и искоса, быстро взглянула на него.

— Я потом. Я, видите ли, я две ночи кутил и не спал совсем, и теперь...— Он страшно зевнул, выворачивая челюсти.

— Ну?

— Я скоро. Я один только часок... Я скоро. Вы пейте, пожалуйста, не стесняйтесь. И фрукты кушайте. Отчего вы так мало взяли?

— А в зал мне можно пойти? Там скоро музыка будет.

Это было неудобно. О нем, о странном посетителе, который улегся спать, начнут говорить, догадываться,— это было неудобно. И, легко сдержав зевоту, которая уже сводила челюсти, попросил сдержанно и серьезно:

— Нет, Люба, я попрошу вас остаться здесь. Я, видите ли, очень не люблю спать в комнате один. Конечно, это прихоть, но вы извините меня...

— Нет, отчего же. Раз вы деньги заплатили...

— Да, да,— покраснел он в третий раз.— Конечно. Но не в этом дело. И... Если вы хотите... Вы тоже можете лечь. Я оставлю вам место. Только, пожалуйста, вы уже лягте к стене. Вам это ничего?

— Нет, я спать не хочу... Я так посижу.

— Почитайте что-нибудь.

— Здесь книг нету.

— Хотите сегодняшнюю газету? У меня есть, вот. Тут есть кое-что интересное.

— Нет, не хочу.

— Ну, как хотите, вам виднее. А я, если позволите...

И он запер дверь двойным поворотом ключа и ключ положил в карман. И не заметил странного взгляда, каким девушка провожала его. И вообще весь этот вежливый, пристойный разговор, такой дикий в несчастном месте, где самый воздух мутно густел от винных испарений и ругательств,— казался ему совершенно естественным, и простым, и вполне убедительным. Все с тою же вежливостью, точно где-нибудь на лодке, при катанье с барышнями, он слегка раздвинул борты сюртука и спросил:

— Вы мне позволите снять сюртук?

Девушка слегка нахмурилась.

— Пожалуйста. Ведь вы...— Но не договорила — что.

— И жилетку? Очень узкая.

Девушка не ответила и незаметно пожала плечами.

— Вот здесь бумажник, деньги. Будьте добры, спрячьте их у себя.

— Вы лучше бы отдали в контору. У нас все отдают в контору.

— Зачем это? — Но взглянул на девушку и смущенно отвел глаза.— Ах, да, да. Ну, пустяки какие.

— А вы знаете, сколько здесь у вас денег? А то некоторые не знают, а потом...

— Знаю, знаю. И охота вам...

И лег, вежливо оставив одно место у стены. И восхищенный сон, широко улыбнувшись, приложился шерстистой щекою своею к его щеке — одной, другою — обнял мягко, пощекотал колени и блаженно затих, положив мягкую, пушистую голову на его грудь. Он засмеялся.

— Чего вы смеетесь? — неохотно улыбнулась девушка.

— Так. Хорошо очень. Какие у вас мягкие подушки! Теперь можно и поговорить немного. Отчего вы не пьете?

— А мне можно снять кофточку? Вы позволите? А то сидеть-то долго придется.— В ее голосе звучала легкая усмешка. Но, встретив его доверчивые глаза и предупредительное: «Конечно, пожалуйста!» — серьезно и просто пояснила:

— У меня корсет очень тугой. На теле потом рубцы остаются.

— Конечно, конечно, пожалуйста.

Он слегка отвернулся и опять покраснел. И оттого ли, что бессонница так путала мысли его, оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен — и это «можно» пока-

залось ему естественным в доме, где было все позволено и никто ни у кого не просил разрешения.

Слышно было, как хрустел шелк и потрескивали расстегиваемые кнопки. Потом вопрос:

— Вы не писатель?

— Что? Писатель? Нет, я не писатель. А что? Вы любите писателей?

— Нет. Не люблю.

— Отчего же? Они люди...— он сладко и продолжительно зевнул,— ничего себе.

— А как вас зовут?

Молчание и сонный ответ:

— Зовите меня И... нет, Петром. Петр.

И еще вопрос:

— А кто же вы? Кто вы такой?

Спрашивала девушка тихо, но сторожко и твердо, и было такое впечатление от ее голоса, будто она сразу, вся, придвинулась к лежащему. Но он уже не слышал ее, он засыпал. Вспыхнула на мгновение угасающая мысль и в одной картине, где время и пространство слились в одну пеструю груду теней, мрака и света, движения и покоя, людей и бесконечных улиц и бесконечно вертящихся колес, вычертила все эти два дня и две ночи бешеной погони. И вдруг все это затихло, потускнело, провалилось — и в мягком полусвете, в глубочайшей тишине представился один из залов картинной галереи, где вчера он на целых два часа нашел покой от сыщиков. Будто сидит он на красном бархатном, необыкновенно мягком диване и смотрит неподвижно на какую-то большую черную картину; и такой покой идет от этой старой, потрескавшейся картины, и так отдыхают глаза, и так мягко становится мыслям, что на несколько минут, уже засыпающий, он начал противиться сну, смутно испугался его, как неизвестного беспокойства.

Но заиграла музыка в зале, запрыгали толкачиками коротенькие, частые звуки с голыми безволосыми головками, и он подумал: «теперь можно спать» — и сразу крепко уснул. Торжествующе взвизгнул милый, мохнатый сон, обнял горячо — и в глубоком молчании, затаив дыхание, они понеслись в прозрачную, тающую глубину.

Так спал он и час и два, навзничь, в той вежливой позе, какую принял перед сном; и правая рука его была в кармане, где ключ и револьвер. А она, девушка с обнаженными руками и шеей, сидела напротив, курила, пила неторопливо коньяк и глядела на него неподвижно; иногда, чтобы лучше разглядеть, она вытягивала тонкую, гибкую шею, и вместе

с этим движением у концов губ ее вырастали две глубокие, напряженные складки. Верхнюю лампочку он забыл погасить, и при сильном свете ее был ни молодой ни старый, ни чужой ни близкий, а весь какой-то неизвестный: неизвестные щеки, неизвестный нос, загнутый клювом, как у птицы, неизвестное ровное, крепкое, сильное дыхание. Густые черные волосы на голове были острижены коротко, по-солдатски; и на левом виске, ближе к глазу, был небольшой побелевший шрам от какого-то старого ушиба. Креста на шее у него не было.

Музыка в зале то замирала, то вновь разражалась звуками клавиш и скрипки, пением и топотом танцующих ног, а она все сидела, курила папиросы и разглядывала спящего. Внимательно, вытянув шею, рассмотрела его левую руку, лежавшую на груди: очень широкая в ладони, с крупными пальцами — на груди она производила впечатление тяжести, чего-то давящего больно; и осторожным движением девушка сняла ее и положила вдоль туловища на кровати. Потом встала быстро и шумно, и с силою, точно желая сломать рожок, погасила верхний свет и зажгла нижний, под красным колпачком.

Но он и в этот раз не пошевелился, и все тем же неизвестным, пугающим своей неподвижностью и покоем осталось его порозовевшее лицо. И, отвернувшись, охватив колена голыми, нежно розовеющими руками, девушка закинула голову и неподвижно уставилась в потолок черными провалами немигающих глаз. И в зубах ее, стиснутая крепко, застыла недокуренная потухшая папироса.

III

Что-то произошло неожиданное и грозное. Что-то большое и важное случилось, пока он спал,— он понял это сразу, еще не проснувшись как следует, при первых же звуках незнакомого, хриплого голоса, понял тем изощренным чутьем опасности, которое у него и его товарищей составляло как бы особое, новое чувство. Быстро спустил ноги и сел, и уже крепко сжал рукою револьвер, пока глаза остро и зорко обыскивали розовый туман. И когда увидел ее, все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами, подумал: выдала! Посмотрел пристальнее, передохнул глубоко и поправился: еще не выдала, но выдаст.

Плохо!

Вздохнул еще и коротко спросил:

— Ну? Что?

Но она молчала. Улыбалась торжествующе и зло, смотрела на него и молчала — будто уже считала его своим и, не торопясь, никуда не спеша, хотела насладиться своею властью.

— Ты что сказала сейчас? — повторил он, нахмурившись.

— Что я сказала? Вставай, я сказала, вот что. Будет. Поспал. Будет. Пора и честь знать. Тут не ночлежка, миленький!

— Зажги лампочку! — приказал он.

— Не зажгу.

Зажег сам. И увидел под белым светом бесконечно злые, черные, подведенные глаза и рот, сжатый ненавистью и презрением. И голые руки увидел. И всю ее, чуждую, решительную, на что-то бесповоротно готовую. Отвратительной показалась ему эта проститутка.

— Что с тобою — ты пьяна? — спросил он серьезно и беспокойно и протянул руку к своему высокому крахмальному воротничку. Но она предупредила его движение, схватила воротничок и, не глядя, бросила куда-то в угол, за комод.

— Не дам!

— Это еще что? — сдержанно крикнул он и стиснул ее руку твердым, крепким, круглым, как железное кольцо, пожатием, и тонкая рука бессильно распростерла пальцы.

— Пусти, больно! — сказала девушка, и он сжал слабее, но руки не выпустил.

— Ты смотри!

— А что, миленький? Застрелить меня хочешь, да? Это что у тебя в кармане,— револьвер? Что же, застрели, застрели, посмотрю я, как это ты меня застрелишь. Как же, скажите, пожалуйста, пришел к женщине, а сам спать лег. Пей, говорит, а я спать буду. Стриженый, бритый, так никто, думает, не узнает. А в полицию хочешь? В полицию, миленький, хочешь?

Она засмеялась громко и весело — и действительно он с ужасом увидел это: на ее лице была дикая, отчаянная радость. Точно она сходила с ума. И от мысли, что все погибло так нелепо, что придется совершить это глупое, жестокое и ненужное убийство и все-таки, вероятно, погибнуть — стало еще ужаснее. Совсем белый, но все еще с виду спокойный, все еще решительный, он смотрел на нее, следил за каждым движением и словом и соображал.

— Ну? Что же молчишь? Язык от страху отнялся?

Взять эту гибкую змеиную шею и сдавить; крикнуть она, конечно, не успеет. И не жалко: правда, теперь, когда рукою он удерживает ее на месте, она ворочает головой совершенно по-змеиному. Не жалко, но там, внизу?

— А ты знаешь, Люба, кто я?

— Знаю. Ты,— она твердо и несколько торжественно, по слогам, произнесла: — ты революционер. Вот кто.

— А откуда это известно?

Она улыбнулась насмешливо.

— Не в лесу живем.

— Ну, допустим...

— То-то допустим. Да руку-то не держи. Над женщиной все вы умеете силу показывать. Пусти!

Он отпустил руку и сел, глядя на девушку с тяжелой и упорной задумчивостью. В скулах у него что-то двигалось, бегал беспокойно какой-то шарик, но все лицо было спокойно, серьезно и немного печально. И опять он, с этой задумчивостью своей и печалью, стал неизвестный и, должно быть, очень хороший.

— Ну, что уставился! — грубо крикнула девушка и неожиданно для себя самой прибавила циничное ругательство.

Он поднял удивленно брови, но глаз не отвел, и заговорил спокойно и несколько глухо и чуждо, будто с очень большого расстояния.

— Вот что, Люба. Конечно, ты можешь предать меня, и не одна ты можешь это сделать, а всякий в этом доме, почти каждый человек с улицы. Крикнет: держи, хватай! — и сейчас же соберутся десятки, сотни и постараются схватить, даже убить. А за что? Только за то, что никому я не сделал плохого, только за то, что всю мою жизнь я отдал этим же людям. Ты понимаешь, что это значит: отдал всю жизнь?

— Нет, не понимаю,— резко ответила девушка. Но слушала внимательно.

— И одни сделают это по глупости, другие по злобе. Потому что, Люба, не выносит плохой хорошего, не любят злые добрых...

— А за что их любить?

— Не подумай, Люба, что я так, нарочно, хвалю себя. Но посмотри: что такое моя жизнь, вся моя жизнь? С четырнадцати лет я треплюсь по тюрьмам. Из гимназии выгнали, из дому выгнали — родители выгнали. Раз чуть не застрелили меня, чудом спасся. И вот, как подумаешь, что всю жизнь

так, всю жизнь только для других — и ничего для себя. Ничего.

— А отчего же это ты такой хороший? — спросила девушка насмешливо; но он серьезно ответил:

— Не знаю. Родился, должно быть, такой.

— А я вот плохая родилась. А ведь тем же местом на свет шла, как и ты,— головою! Поди ж ты!

Но он как будто не слыхал. С тем же взглядом внутрь себя, в свое прошлое, которое теперь в словах его вставало перед ним самим так неожиданно и просто героичным, он продолжал:

— Ты подумай: мне двадцать шесть лет, на висках у меня уже седина, а я до сих пор...— он запнулся немного, но окончил твердо и даже с надменностью: — я до сих пор не знаю женщин. Понимаешь, совсем. И тебя я первую вижу вот так. И скажу правду, мне немного стыдно смотреть на твои голые руки.

Снова отчаянно заиграла музыка, и от топота ног в зале задрожал слегка пол. И кто-то, пьяный, отчаянно гикал, как будто гнал табун разъярившихся коней. А в их комнате было тихо, и слабо колыхался в розовом тумане табачный дым и таял.

— Так вот, Люба, какая моя жизнь! — И он задумчиво и строго опустил глаза, покоренный воспоминаниями о жизни, такой чистой и мучительно прекрасной.

А она молчала. Потом встала и накинула на голые плечи платок. Но, встретив его удивленный и словно благодарный взгляд, усмехнулась и резко сдернула платок, и так сделала рубашку, что одна, прозрачно-розовая и нежная грудь, обнажилась совсем. Он отвернулся и слегка пожал плечами.

— Пей! — сказала девушка.— Будет ломаться.

— Я не пью совсем.

— Не пьешь? А я вот пью! — И она опять нехорошо засмеялась.

— Вот если папиросочки у тебя есть, я возьму.

— У меня плохие.

— А мне все равно.

И когда брал папиросу, заметил с радостью, что рубашку Люба поправила,— явилась надежда, что все еще уладится. Курил он плохо, не затягиваясь, и папиросу держал, как женщина, между двумя напряженно выпрямленными пальцами.

— Ты и курить-то не умеешь! — сказала девушка гневно и грубо вырвала папироску из его рук.— Брось.

— Вот ты опять сердишься...

— Да, сержусь.

— А за что, Люба? Ты подумай: ведь я, правда, две ночи не спал, как волк бегал по городу. Ну и выдашь ты меня, ну и заберут меня — тебе какая от этого радость? Так ведь я, Люба, живой-то еще и не сдамся...

Он замолчал.

— Стрелять будешь?

— Да. Стрелять буду.

Музыка оборвалась, но тот дикий, обезумевший от вина, продолжал еще гикать; видимо, кто-то, шутя или серьезно, зажимал ему рот рукою, и сквозь пальцы звук прорывался еще более отчаянным и страшным. В комнатке пахло духами, не то душистым, дешевым мылом, и запах был густой, влажный, развратный; и на одной стене, неприкрытые, висели смято и плоско какие-то юбки и кофточки. И так все это было противно, и так странно было подумать, что это — тоже жизнь и такой жизнью люди могут жить всегда, что он с недоумением пожал плечами и еще раз медленно оглянулся.

— Как тут у вас...— сказал он раздумчиво и остановился глазами на Любе.

— Ну? — спросила она коротко.

И, взглянув на нее, как она стояла, он понял, что ее надо пожалеть; и как только понял, тотчас же искренно пожалел.

— Бедная ты, Люба.

— Ну?

— Дай руку.

И, несколько подчеркивая свое отношение к девушке как к человеку, взял ее руку и почтительно приложил к губам.

— Это ты мне?

— Да, Люба, тебе.

И совсем тихо, точно благодаря его, девушка произнесла:

— Вон! Вон отсюда, болван!

Он понял не сразу:

— Что?

— Уходи! Вон отсюда. Вон.

Молча, крупными шагами, она прошла комнату, достала из угла белый воротничок и бросила его с таким выражением гадливости, точно была это самая грязная, загаженная тряпка. И так же молча, с видом высокомерия, не удостаивая девушки даже взглядом, он начал спокойно и медленно пристегивать воротничок; но уже в следующую секунду, взвизгнув дико, Люба с силою ударила его по бритой щеке. Воротничок покатился по полу, и сам он пошатнулся, но

устоял на ногах. И, страшно бледный, почти синий, но все также молча, с тем же видом высокомерия и горделивого недоумения, остановился на Любе своими тяжелыми, неподвижными глазами. Она дышала часто и смотрела на него с ужасом.

— Ну?! — выдохнула она.

Он смотрел на нее и молчал. И, совершенно безумная от этой надменной безответственности, ужасаясь, теряя соображение, как перед каменной глухой стеною, девушка схватила его за плечи и с силою посадила на кровать. Наклонилась близко, к самому лицу, к самым глазам.

— Ну что же ты молчишь! Что же ты со мной делаешь, подлец, подлец же ты. Руку поцеловал! Хвастаться сюда пришел! Красоту свою показывать! Да что же ты со мною делаешь, да несчастная же я!

Она трясла его за плечи, и ее тонкие пальцы, сжимаясь и разжимаясь бессознательно, как у кошки, царапали его тело сквозь рубашку.

— Женщин не знал, подлец, да? И это мне смеешь говорить, мне, которую все мужчины... все... Где же у тебя совесть, что же ты со мной делаешь! Живой не дамся, да! А я вот мертвая — понимаешь, подлец, мертвая я. А я вот наплюю в твое лицо... На... живой! На, подлец, на! Иди теперь, иди!

С гневом, которого больше не мог сдерживать, он отшвырнул ее от себя, и затылком она ударилась о стену. По-видимому, он уже плохо соображал, потому что следующим таким же быстрым и решительным движением он выхватил револьвер — точно улыбнулся чей-то черный, беззубый, провалившийся рот. Но девушка не видела ни его оплеванного, мокрого, искаженного бешеным гневом лица, ни черного револьвера. Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз. И тотчас же беззвучно зарыдала.

Выходило все не то, чего он ждал; получалась бессмыслица, нелепость, вылезал своей мятой рожей дикий, пьяный, истерический хаос. Передернув плечами, он спрятал ненужный револьвер и принялся ходить по комнате. Девушка плакала. Прошелся еще и еще — девушка плакала. Остановился над нею, руки в карман, и стал глядеть. Лежала ничком женщина и рыдала безумно, в отчаянной, нестерпимой муке, как могут только рыдать люди над потерянной жизнью, над чем-то большим жизни, потерянным навсегда. Заострившиеся голые лопатки то сходились почти вместе,

точно снизу под грудь ей подкладывали огонь, горячие уголья; то раздвигались медленно, словно она уходила куда-то, к груди прижимала свою тоску и горе свое. А музыка опять играла, и теперь играла она мазурку, и слышно было, как щелкают чьи-то шпоры. Должно быть, приехали офицеры.

Таких слез он еще не видал и смутился. Вынул зачем-то руки из кармана и тихо сказал:

— Люба!

Плакала Люба.

— Люба, о чем ты, Люба!

Девушка ответила что-то, но так тихо, что он не расслыхал. Сел возле на кровать, наклонил стриженую крупную голову и положил руку на плечи — и безумным трепетом ответила рука на дрожь этих жалких, голых женских плеч.

— Я не слышу, что ты говоришь... Люба!

И далекое, глухое, налитое слезами:

— Подожди уходить... Там... приехали офицеры. Они тебя... могут... О, Господи, что же это такое!

Она быстро села на кровать и замерла, всплеснув руками, неподвижно, с ужасом глядя в пространство расширенными глазами. Это был страшный взгляд, и продолжался он одно мгновение. И опять девушка лежала ничком и плакала. А там ритмично щелкали шпоры, и, видимо, чем-то возбужденный или напуганный тапер старательно отбивал такты стремительной мазурки.

— Выпей воды, Любочка!.. Ну выпей, выпей. Пожалуйста...— шептал он, наклонившись.

Но ухо было закрыто волосами, и, боясь, что она не слышит, он осторожно отвел эти черные, слегка вьющиеся пряди, сожженные завивкой, и открыл маленькую, красную, пылавшую раковинку.

— Выпей, пожалуйста, я прошу тебя.

— Нет, не хочу. Не надо. Пройдет и так.

Она действительно успокаивалась. Прекратились рыдания — одно, другое глухое, длительное всхлипывание, и плечи перестали дрожать и стали неподвижны и задумчивы глубоко. И он тихонько гладил ее, от шеи к кружеву рубашки, и опять.

— Тебе лучше, Люба?.. Любочка?

Она не ответила, вздохнула протяжно и, повернувшись, быстро и коротко взглянула на него. Потом спустила ноги и села рядом, еще раз взглянула и прядями волос своих вытерла ему лицо, глаза. Еще раз вздохнула и мягким простым движением положила голову на плечо, а он также

просто обнял ее и тихонько прижал к себе. И то, что пальцы его прикасались к ее голому плечу, теперь не смущало его; и так долго сидели они и молчали, и неподвижно смотрели перед собою их потемневшие, сразу окружившиеся глаза. Вздыхали.

Вдруг в коридоре зазвучали голоса, шаги; зазвенели шпоры, мягко и деликатно, как это бывает только у молоденьких офицеров, и все это приближалось — и остановилось у их двери. Он быстро встал,— а в дверь уже стучал кто-то, сперва пальцами, потом кулаком, и чей-то женский голос глухо кричал:

— Любка, отвори!

IV

Он смотрел на нее и ждал.

— Дай платок! — сказала она не глядя и протянула руку. Вытерла крепко лицо, громко высморкалась, бросила ему на колени платок и пошла к двери. Он смотрел и ждал. На ходу Люба закрыла электричество, и сразу стало так темно, что он услыхал свое дыхание, несколько затрудненное. И почему-то снова сел на слабо скрипнувшую кровать.

— Ну, что там? Чего надо? — спросила Люба сквозь дверь, не отпирая, и голос у нее был немного недовольный, но спокойный.

Сразу, перебивая друг друга, зазвенело несколько женских голосов. И так же сразу они оборвались, и мужской голос, как-то странно почтительный, настойчиво стал просить.

— Нет, не пойду.

Опять зазвенели голоса, и опять, обрезая их, как ножницы обрезают развившуюся шелковую нить, заговорил мужской голос, убедительный, молодой, за которым чувствовались белые, крепкие зубы и усы, и шпоры звякнули отчетливо, точно говоривший кланялся. И странно: Люба засмеялась.

— Нет, нет, не пойду... Да, хорошо, очень хорошо... Ну и пусть зовут Любовь, а я все-таки не пойду.

Еще раз стук в дверь, смех, ругательство, щелканье шпор, и все отодвинулось от двери и погасло где-то в конце коридора. В темноте, нащупав рукою его колено, Люба села возле, но головы на плечо класть не стала. И коротко пояснила:

— Офицеры бал устраивают. Всех сзывают. Будут котильон танцевать.

— Люба,— попросил он ласково,— зажги, пожалуйста, огонь. Не сердись.

Молча она встала и повернула рожок. И уже не рядом с ним села, а по-прежнему на стул против кровати. И лицо у нее было хмурое, неприветливое, но вежливое — как у хозяйки, которая должна выждать неприятный, затянувшийся визит.

— Вы не сердитесь на меня, Люба?

— Нет. За что же?

— Я удивился сейчас, как вы весело смеялись. Как это вы можете?

Она усмехнулась, не глядя.

— Весело, вот и смеюсь. А вам нельзя сейчас уходить. Нужно подождать, пока разойдутся офицеры. Они скоро.

— Хорошо, подожду. Спасибо вам, Люба.

Она опять усмехнулась.

— Это за что же? Какой вы вежливый.

— Вам это нравится?

— Не особенно. Вы кто по рождению?

— Отец — доктор, военный врач. Дед был мужик. Мы из старообрядцев.

Люба с некоторым интересом взглянула на него.

— Вот как! А креста на шее нет.

— Креста? — усмехнулся он.— Мы крест на спине несем.

Девушка нахмурилась слегка.

— Вы спать хотели. Вы бы лучше легли, чем так время проводить.

— Нет, я не лягу. Я не хочу теперь спать.

— Как хотите.

Было долгое и неловкое молчание. Люба смотрела вниз и сосредоточенно вертела на пальце колечко; он обводил глазами комнату, каждый раз старательно минуя взглядом девушку, и остановился на недопитой маленькой рюмке с коньяком. И вдруг с необыкновенной ясностью, почти осязательностью, ему представилось, что все это уже было: и эта желтенькая рюмка, и именно с коньяком, и девушка, внимательно оборачивающая кольцо, и он сам — не этот, а какой-то другой, несколько иной, несколько особенный. И как раз только что кончилась музыка, как и теперь, и было тихое позвякивание шпор. Будто он жил уже когда-то,— но не в этом доме, а в месте, очень похожем на это, и как-то действовал, и даже был очень важным в этом смысле лицом, вокруг которого что-то происходило. Странное чувство было так сильно, что он испуганно тряхнул головою; и быстро оно

исчезло, но не совсем: остался легкий, несглаживающийся след потревоженных воспоминаний о том, чего не было. И затем не раз в течение этой необыкновенной ночи он ловил себя на том, что, глядя на какую-нибудь вещь или лицо, старательно припоминал их, вызывал их из глубокой тьмы прошедшего или даже совсем не бывшего.

Если бы не знать наверное, он сказал бы, что уже был здесь однажды,— так минутами начинало все это казаться знакомым и привычным. И это было неприятно, так как слегка отчуждало его от себя и от своих и странно приближало к публичному дому с его дикой, отвратительной жизнью.

Молчать становилось тяжело. Спросил:

— Отчего вы не пьете?

Она вздрогнула:

— Что?

— Вы бы выпили, Люба. Отчего вы не пьете?

— Одна я не хочу.

— К сожалению, я не пью.

— А я одна не хочу.

— Я лучше грушу съем.

— Ешьте. Для того и брали.

— А вы грушу не хотите?

Девушка не ответила и отвернулась. Но поймала на своих голых и прозрачно-розовых плечах его взгляд и накинула на них серый вязаный платок.

— Холодно что-то,— сказала она отрывисто.

— Да, холодновато,— согласился он, хотя в маленькой комнатке было жарко. И опять стояло долгое и напряженное молчание. Из зала донеслись громкие, призывные звуки ритурнеля.

— Танцуют,— сказал он.

— Танцуют,— ответила она.

— За что вы, Люба, так рассердились на меня... и ударили меня?

— Так нужно было, вот и ударила. Не убила ведь, чего же спрашивать? — Она нехорошо засмеялась.

Девушка сказала: «так нужно». Смотрела на него прямо своими черными, окружившимися глазами, улыбалась бледно и решительно и говорила: «так нужно». И на подбородке у нее была ямочка. Трудно было поверить, что это ее голова — вот эта злая, бледная голова — минуту назад лежала на его плече. И ее он ласкал.

— Так вот как! — сказал он мрачно. Прошелся несколько раз по комнате, на шаг не доходя до девушки, и, когда сел

на прежнее место — лицо у него было чужое, суровое и несколько надменное. Молчал, смотрел, подняв брови на потолок, на котором играло светлое с розовыми краями пятно. Что-то ползало, маленькое и черное, должно быть, ожившая от тепла, запоздалая, осенняя муха. Проснулась она среди ночи и ничего, наверно, не понимает и умрет скоро. Вздохнул.

Девушка громко рассмеялась.

— Что вас радует? — холодно взглянул он и отвернулся.

— Да так. А ведь вы действительно похожи на писателя. Вы не обижаетесь? Он тоже сперва пожалеет, а потом начинает сердиться, отчего я не молюсь на него, как на икону. Такой обидчивый. Будь бы он Богом, ни одной лампадки бы не простил...— Она засмеялась.

— А откуда вы знаете писателей? Ведь вы ничего не читаете.

— Бывает один,— коротко ответила Люба.

Он задумался, устремив на девушку неподвижный, тяжелый, как-то слишком спокойно разглядывающий взор. Как человек, проведший жизнь в мятеже, он и в девушке смутно почувствовал бунтарскую душу, и это волновало его и заставляло искать и догадываться: почему именно на него обрушился ее гнев? И то, что она имела дело с писателями и, вероятно, разговаривала с ними, и то, что она могла держать себя иногда так спокойно и с достоинством, и говорить так зло,— невольно поднимало ее и ее удару придавало характер чего-то значительно более серьезного и важного, чем простая истерическая вспышка полупьяной и полуголой проститутки. И, только рассерженный, но нисколько не оскорбленный вначале,— теперь, когда прошло уже столько времени, он вдруг минутами начинал оскорбляться — и не только умом.

— За что вы ударили меня, Люба? Когда человека бьют по лицу, то должны сказать ему, за что? — повторил он прежний вопрос хмуро и настойчиво. Упрямство и твердость камня были в его выдавшихся скулах, тяжелом лбу, давившем глаза.

— Не знаю,— ответила Люба так же упрямо, но избегая его взгляда.

Не хотела отвечать. Он передернул плечами и снова с упорством принялся разглядывать девушку и соображать. Его мысль в обычное время была туга и медленна; но, потревоженная однажды, она начинала работать с силою и неуклонностью почти механическими, становилась чем-то вроде гидравлического пресса, который, опускаясь медлен-

но, дробит камни, выгибает железные балки, давит людей, если они попадут под него — равнодушно, медленно и неотвратимо. Не оглядываясь ни направо, ни налево, равнодушный к софизмам, полуответам и намекам, он двигал свою мысль тяжело, даже жестоко — пока не распылится она или не дойдет до того крайнего, логического предела, за которым пустота и тайна. Своей мысли от себя он не отделял, мыслил как-то весь, всем телом, и каждый логический вывод тотчас становился для него и действенным,— как это бывает только у очень здоровых, непосредственных людей, не сделавших еще из своей мысли игрушку.

И теперь, взбудораженный, выбитый из колеи, похожий на большой паровоз, который среди черной ночи сошел с рельсов и продолжает каким-то чудом прыгать по кочкам и буграм — он искал дороги, во что бы то ни стало хотел найти ее. Но девушка молчала и, видимо, вовсе не хотела разговаривать.

— Люба! Давайте поговорим спокойно. Надо же...

— Я не хочу говорить спокойно.

Опять!

— Слушайте, Люба. Вы меня ударили, и так я этого не оставлю.

Девушка усмехнулась.

— Да? Что же вы со мной сделаете? К мировому пойдете?

— Нет. Но я буду ходить к вам, пока вы мне не объясните.

— Милости просим! Хозяйке доход.

— Приду завтра. Приду...

И вдруг, почти одновременно с мыслью, что ни завтра, ни послезавтра ему прийти нельзя,— явилась догадка, даже уверенность, почему девушка поступила так. Он даже повеселел.

— Ах, так вот как! Это вы за то ударили меня, что я пожалел вас, оскорбил своею жалостью? Да, глупо вышло... Правда, я этого не хотел, но, быть может, это действительно оскорбляет. Конечно, раз вы такой же человек, как и я...

— Такой же? — Она усмехнулась.

— Ну, будет. Давайте руку, помиримся.

Люба опять слегка побледнела.

— Вы хотите, чтобы я опять вам по роже дала?

— Да ведь руку, по-товарищески! По-товарищески! — искренно, даже басом почему-то, воскликнул он.

Но Люба встала и, уже отойдя несколько, произнесла:

— Знаете что... Либо вы дурак, либо вас действительно мало били!

Потом взглянула на него и громко расхохоталась:

— Ну, ей-Богу же, мой писатель! Совершеннейший писатель! Да как же вас не бить, голубчик вы мой!

По-видимому, слово «писатель» было для нее бранным, и вкладывала она в него свой особенный, определенный смысл. И уже с совершенным, с полным презрением, не считаясь с ним, как с вещью, как с безнадежным идиотом или пьяным, свободно прошлась по комнате и кинула вскользь:

— А что, я тебя больно ударила? Чего ты хнычешь все?

Он не ответил.

— Писатель мой говорит, что я больно дерусь. Но, может, у него лицо поблагороднее, а по твоей мужицкой харе сколько ни хлопай, не почувствуешь? Ах, много народу я по морде била, а никого мне так не жалко, как писательчика моего. Бей, говорит, бей,— так мне и надо. Пьяный, слюнявый, бить-то даже противно. Такая сволочь. А об твою рожу я даже руку ушибла. На — целуй ушибленное.

Она ткнула руку к его губам и снова быстро заходила. Возбуждение ее росло, и казалось минутами, будто она задыхается в чем-то горячем: потирала себе грудь, дышала широко открытым ртом и бессознательно хваталась за оконные драпри. И уже два раза на ходу налила и выпила коньяку. Во второй раз он заметил ей угрюмо-вопросительно:

— Вы же не хотели пить одна́?

— Характеру нет, голубчик,— ответила она просто.— Да и отравлена я, не попью некоторое время, удушье делается. От этого и подохну.

И вдруг, точно теперь только заметив его, удивленно вскинула глаза и захохотала.

— А, это ты! Тут еще, не ушел. Посиди, посиди! — С диким выражением глаз она сдернула вязаный платок, и снова зарозовели ее плечи и тонкие, нежные руки.

— И чего-то я закуталась? Тут и так жарко, а я... Это я его берегла, как же, нужно... Послушайте, вы бы сняли штаны. Тут таковские, тут можно без штанов. Может быть, у вас грязные кальсоны, так я вам дам свои. Ничего, что с разрезом? Послушайте, наденьте! Ну, миленький, ну, голубчик, ну, что вам стоит...

Она хохотала и, захлебываясь от хохота, просила его, протягивала руки. Потом быстро соскользнула на пол, стала на колени и, ловя его руки, умоляла:

— Ну, голубчик, ну, миленький, я вам ручки расцелую!..

Он отодвинулся и с угрюмой тоскою сказал:

— За что вы меня, Люба? Что я вам сделал? Я так хорошо к вам отношусь... За что вы меня, за что? Разве я обидел вас? Ну, если обидел, простите. Ведь я совсем в этом, во всех этих делах... несведущ.

Передернув презрительно голыми плечами, Люба гибко поднялась с колен и села. Дышала она трудно.

— Значит, не наденете? А жалко, я бы посмотрела.

Он начал говорить что-то, запнулся и продолжал нерешительно, растягивая слова:

— Послушайте, Люба... Конечно, я... все это пустяки. И если вы уже так хотите, то... можно потушить огонь. Потушите огонь, Люба.

— Что? — удивилась девушка и широко открыла глаза.

— Я хочу сказать,— заторопился он,— что вы женщина, и я... Конечно, я был неправ... Вы не думайте, что это жалость, Люба, нет, вовсе нет... Я и сам... Потушите огонь, Люба.

Смущенно улыбнувшись, он протянул к ней руки с неуклюжей ласковостью человека, который никогда не имел дела с женщинами. И увидел: сцепив напряженно пальцы, она поднесла их к подбородку и точно вся превратилась в одно огромное, задержанное в поднятой груди дыхание. И глаза у нее стали огромные, и смотрели они с ужасом, с тоской, с невыносимым презрением.

— Что вы, Люба? — отшатнулся он.

И с холодным ужасом, почти тихо, она произнесла, не разжимая пальцев:

— Ах, негодяй! Боже мой, какой же ты негодяй!

И, багрово-красный от стыда, отвергнутый, оскорбленный тем, что сам оскорбил, он топнул ногою и бросил в широко открытые глаза, в их безбрежный ужас и тоску, короткие, грубые слова:

— Проститутка! Дрянь! Молчи!

Но она тихо качала головою и повторяла:

— Боже мой! Боже мой, какой же ты негодяй!

— Молчи, дрянь! Ты пьяна. Ты с ума сошла. Ты думаешь, мне нужно твое поганое тело. Ты думаешь, для такой я себя берег, как ты. Дрянь, бить тебя надо! — Он размахнулся рукою, чтобы дать пощечину, но не ударил.

— Боже мой! Боже мой!

— И их еще жалеют! Истреблять их надо, эту мерзость, эту мерзость. И тех, кто с вами, всю эту сволочь... И это обо

мне, обо мне ты смела подумать! — Он крепко сжал ее руки и бросил ее на стул.

— Хороший! Да? Хороший? — хохотала она в восторге, будто обрадовалась безмерно.

— Да, хороший! Честный всю жизнь! Чистый! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?

— Хороший! — упивалась она восторгом.

— Да, хороший. Послезавтра я пойду на смерть для людей, а ты — а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги: берите вашу падаль. Зови!

Люба медленно встала. И когда он, бурно взволнованный, гордый, с широко раздувающимися ноздрями, взглянул на нее, то встретил такой же гордый и еще более презрительный взгляд. Даже жалость как будто светилась в надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого престола и оттуда с холодным и строгим вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое. Уже не смеялась она, и волнения не было заметно, и глаз невольно искал ступенек, на которых стоит она,— так сверху вниз умела глядеть эта женщина.

— Ты что? — спросил он, отступая, все еще яростный, но уже поддающийся влиянию спокойного, надменного взгляда.

И строго, с зловещей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной справедливости — она спросила:

— Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я — плохая?

— Что? — не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая у самых ног его раскрыла свой черный зев.

— Я давно тебя ждала.

— Ты меня ждала?

— Да. Хорошего ждала. Пять лет ждала, может, больше. Все они, какие приходили, жаловались, что подлецы они. Да подлецы они и есть. Мой писатель говорил сперва, что хороший, а потом сознался, что тоже подлец. Таких мне не нужно.

— Чего же тебе нужно?

— Тебя мне нужно, миленький. Тебя. Да, как раз такой.— Она внимательно и спокойно оглядела его с ног до головы и утвердительно кивнула бледной головой.— Да. Спасибо, что пришел.

Ему, ничего не боявшемуся, вдруг стало страшно.

— Чего же тебе надо? — повторил он, отступая.

— Надо было хорошего ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слюнтяев и бить не стоит, руки только марать. Ну вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила!

Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала свою правую руку. Он дико смотрел на нее, и мысли его, такие медленные, теперь бежали с отчаянной быстротою; и уже приближалось, словно черная туча, то ужасное и непоправимое, как смерть.

— Ты что сказала... Что ты сказала?

— Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал?

— Не знал,— пробормотал он, вдруг глубоко задумавшись и даже как будто забывши про нее. Сел.

— Ну вот, узнай.

Говорила она спокойно, и только по тому, как ходила под рубашкой грудь, заметно было глубокое волнение, сдушенный тысячеголосый крик.

— Ну, узнал?

— Что? — очнулся он.

— Узнал, говорю?

— Погоди!

— Погожу, миленький. Пять лет ждала, а теперь пять минуток да не погодить!

Она опустилась на стул и, точно в предчувствии какой-то необыкновенной радости, заломила голые руки и закрыла глаза:

— Ах, миленький, миленький ты мой!..

— Ты сказала: стыдно быть хорошим?

— Да, миленький, стыдно.

— Так ведь это!..— Он в страхе остановился.

— То-то и есть. Испугался? Ничего, ничего. Это сначала только страшно.

— А потом?

— Вот останешься со мною и узнаешь, что потом.

Он не понял.

— Как останусь?

Удивилась, в свою очередь, девушка:

— Да разве теперь, после этого, тебе можно куда-нибудь идти? Смотри, миленький, не обманывай. Ведь не подлец же и ты, как другие. А хороший — так останешься, никуда не пойдешь. Недаром же я тебя ждала.

— Ты с ума сошла! — сказал он резко.

Она строго поглядела на него и даже погрозила пальцем.

— Нехорошо. Не говори так. Раз пришла к тебе правда, поклонись ей низко, а не говори: ты с ума сошла. Это мой писатель говорит: ты с ума сошла! — так на то он и подлец. А ты будь честный.

— А вдруг не останусь? — мрачно усмехнулся он побелевшими искривленными губами.

— Останешься! — сказала она с уверенностью.— Куда тебе идти теперь? Тебе некуда идти. Ты честный. У подлеца дорог много, а у честного одна. Это я еще тогда поняла, как ты мне руку поцеловал. Дурак, думаю, а честный. Ты не обижаешься, что я дураком тебя сочла? Да ты сам виноват. Зачем ты невинность свою мне предлагал? Думал: дам ей невинность мою, она и отступится. Ах, дурачок, дурачок! Сперва я даже обиделась: что же это, думаю, даже за человека не считает; а потом вижу, что и это тоже от хорошести от твоей. И так ты рассчитывал: отдам ей невинность и оттого, что отдам, стану я еще невиннее, и получится у меня вроде как бы неразменный рубль. Я его нищему, а он ко мне назад. Я его нищему, а он ко мне назад. Нет, миленький, этот номер не пройдет.

— Не пройдет?

— Не-е-т, миленький,— протянула она.— Не на дуру напал. Я купцов-то этих достаточно насмотрелась: награбит миллионы, а потом даст целковый на церковь да и думает, что прав. Нет, миленький, ты мне всю церковь построй. Ты мне самое дорогое дай, что у тебя есть, а то невинность! Может, и невинность-то только потому и отдаешь, что самому не нужна стала, заплесневела. Невеста у тебя есть?

— Нет.

— А будь невеста и жди она тебя завтра с цветами, да с поцелуями, да с любовью — отдал бы невинность или нет?

— Не знаю,— сказал он задумчиво.

— Вот то-то и есть. Сказал бы: лучше жизнь мою возьми, а честь мою оставь! Что подешевле, то и отдаешь. Нет, ты мне самое дорогое отдай, такое, без чего сам не можешь жить, вот!

— Да зачем я отдам? Зачем?

— Как зачем? Да все затем же, чтобы стыдно не было.

— Люба,— воскликнул он в удивлении.— Послушай, да ведь ты сама...

— Хорошая, хочешь сказать? Слыхала и это. От писательчика моего не раз слыхала. Только это, миленький, неправда. Самая я настоящая девка. Вот останешься, узнаешь.

— Да не останусь же я! — крикнул он сквозь зубы.

— Не кричи, миленький. Криком против правды ничего не сделаешь. Правда, как смерть — придет, так принимай, какая ни на есть. С правдой тяжело, миленький, встретиться, по себе знаю,— и шепотом, глядя ему прямо в глаза, добавила: — Бог-то ведь тоже хороший!

— Ну?

— Больше ничего... Сам понимай, а я ничего говорить не стану. Только вот уже пять лет, как в церкви не была. Вот она, правда-то!

Правда, какая правда? Что это еще за новый, неизвестный ужас, которого не знал он ни перед лицом смерти, ни перед лицом самой жизни? Правда!

Скуластый, крепкоголовый, знающий только «да» и «нет», он сидел, опершись головою о руки, и медленно переводил глаза, будто с одного края жизни до другого края ее. И распадалась жизнь, как плохо склеенный запертый ящичек, попавший под осенний дождь, и в жалких обломках ее нельзя было узнать недавнего прекрасного целого, чистого хранилища души его. Он вспоминал милых, родных людей, с которыми он жил всю жизнь и работал в дивном единении радости и горя,— и они казались чужими, и жизнь их непонятной, и работа их бессмысленной. Точно вдруг взял кто-то его душу мощными руками и переломил ее, как палку о жесткое колено, и далеко разбросил концы. Только несколько часов он здесь, только несколько часов он оттуда,— а кажется, будто всю жизнь он здесь, против этой полуголой женщины, слушает далекую музыку и треньканье шпор, и не уходил никуда. И не знает, вверху он или внизу,— знает только, что он против, мучительно против всего того, что только что, еще сегодня днем, составляло его жизнь и его душу. Стыдно быть хорошим.

Вспомнил книги, по которым учился жить, и улыбнулся горько. Книги! Вот она книга — сидит с голыми руками, с закрытыми глазами, с выражением блаженства на бледном, измученном лице и ждет терпеливо. Стыдно быть хорошим... И вдруг с тоскою, с ужасом, с невыносимой болью он почувствовал, что та жизнь кончена для него навсегда,— что уже не может он быть хорошим. Только этим и жив, что хороший, только этому и радовался, только это и противоставлял и жизни и смерти,— и этого нет, и нет ничего. Тьма. И останется ли он здесь, и вернется ли он назад, к своим — у него уже нет своих. Зачем пришел он в этот проклятый дом! Остался бы лучше на улице, отдался бы в руки сыщикам, пошел бы в тюрьму — что такое тюрьма,

в которой еще можно, еще не стыдно быть хорошим! А теперь — и в тюрьму поздно.

— Ты плачешь? — спросила девушка беспокойно.

— Нет! — ответил он резко.— Я никогда не плачу.

— И не надо, миленький. Это мы, женщины, можем плакать, а вам нельзя. Если и вы заплачете, кто же тогда ответит Богу?

Да, своя; вот эта — своя.

— Люба,— воскликнул он с тоскою,— что же делать! Что же делать!

— Оставайся со мною. Со мною оставайся — ты ведь мой теперь.

— А они?

Девушка нахмурилась:

— Какие еще они?

— Да люди, люди же! — воскликнул он в бешенстве,— люди, для которых работал! Ведь не для себя же в самом деле, не для собственного утешения нес я все это — к убийству готовился!

— Ты мне о людях не говори! — строго сказала девушка, и губы ее задрожали.— Ты мне лучше о людях не говори — опять драться буду! Слышишь!

— Да что ты? — удивился он.

— Что я — собака? И все мы — собаки? Миленький, поостерегись! Попрятался за людей, и будет. Не прячься от правды, миленький, от нее никуда не спрячешься! А если любишь людей, жалеешь нашу горькую братию — так вот, бери меня. А я, миленький мой,— тебя возьму!

V

Сидела, заломив руки, вся в блаженной истоме, вся счастливая безумно — будто помешанная. Покачивала головою и, не открывая блаженно грезящих глаз, говорила медленно, почти пела:

— Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем,— ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой. За всю жизнь наплачуся! Остался со мною, не ушел. Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: вот он, мой суженый, вот он, мой миленький. И не знаю я, кто ты, брат ли ты мой, или жених, а весь родной, весь близкий, весь желанненький...

Вспомнил и он эту черную, немую траурную пару в золотой раме зеркала и свое тогдашнее ощущение: как на

похоронах,— и вдруг стало так невыносимо больно, таким диким кошмаром показалось все, что он, в тоске, даже скрипнул зубами. И, идя мыслью дальше, назад, вспомнил милый револьвер в кармане — двухдневную погоню — плоскую дверь без ручки, и как он искал звонка, и как вышел опухший лакей, еще не успевший натянуть фрака, в одной ситцевой грязной рубашке, и как он вошел с хозяйкой в белый зал и увидел этих трех чужих.

И все свободнее ему становилось — и наконец ясно стало, что он такой же, как и был, и совершенно свободен, совершенно свободен и может идти куда хочет.

Он строго обвел глазами незнакомую комнату и сурово, с убежденностью человека, который очнулся на миг от тяжелого хмеля и видит себя в чуждой обстановке, осудил все увиденное:

— Что это! Какая бессмыслица! Какой нелепый сон!

. . . .

Но музыка играла. Но женщина сидела, заломив руки, смеялась, бессильная говорить, изнемогающая под бременем безумного, невиданного счастья. Но это не был сон.

. . . .

— Что же это? Так это — правда?

— Правда, миленький! Неразлучные мы с тобою.

Это — правда. Правда — вот эти плоские мятые юбки, висящие на стене в своем голом безобразии. Правда — вот эта кровать, на которой тысячи пьяных мужчин бились в корчах гнусного сладострастья. Правда — вот эта душистая, старая, влажная вонь, которая липнет к лицу и от которой противно жить. Правда — эта музыка и шпоры. Правда — она, эта женщина с бледным, измученным лицом и жалко-счастливою улыбкой.

Опять он положил на руки тяжелую голову, смотрел исподлобья взглядом волка, которого не то убивают, не то он сам хочет убить, и думал бессвязно: «Так вот она, правда... Это значит: и завтра и послезавтра не пойду, и все узнают, почему я не пошел, остался с девкою, запил, и назовут меня предателем, трусом, негодяем. Некоторые заступятся, будут догадываться... нет, лучше не надеяться на это, лучше так. Кончено так кончено. В темноту так в темноту. А что дальше? Не знаю, темно. Вероятно, ужас какой-нибудь,— ведь я еще не умею по-ихнему. Как странно: нужно учиться быть

плохим. У кого же? У нее?.. Нет, она не годится, она сама ничего не знает, ну да я сумею. Плохим нужно быть по-настоящему, так, чтобы... Ох, что-то большое я разрушу!.. А потом? А потом, когда-нибудь, приду к ней, или в кабак, или на каторгу, и скажу: теперь мне не стыдно, теперь я ни в чем не виноват перед вами, теперь я сам такой же, как вы, грязный, падший, несчастный. Или выйду на площадь, падший, и скажу: смотрите, какой я! Все у меня было: и ум, и честь, и достоинство, и даже — страшно подумать — бессмертие; и все это я бросил под ноги проститутке, от всего отказался только потому, что она плохая... Что они скажут? Разинут рты, удивятся, скажут — «дурак»! Конечно, дурак. Разве я виноват, что я хороший? Пусть и она, пусть и все стараются быть хорошими... Раздай имение неимущим. Но ведь это имение и это Христос, в которого я не верю. Или еще: кто душу свою положит — не жизнь, а душу — вот как я хочу. Но разве сам Христос грешил с грешниками, прелюбодействовал, пьянствовал? Нет, Он только прощал их, любил даже. Ну, и я ее люблю, прощаю, жалею,— зачем же самому? Да, но ведь она в церковь не ходит. И я тоже. Это не Христос, это другое, это страшнее».

— Страшно, Люба!

— Страшно, миленький. Страшно человеку встретиться с правдой.

«Она опять о правде. Но отчего страшно? Чего я боюсь? Чего я могу бояться — когда я так хочу? Конечно, бояться нечего. Разве там на площади, перед этими разинутыми ртами, я не буду выше их всех? Голый, грязный, оборванный — у меня тогда будет ужасное лицо — сам отдавший все — разве я не буду грозным глашатаем вечной справедливости, которой должен подчиниться и сам Бог — иначе он не Бог!»

— Нет страшного, Люба!

— Нет, миленький, есть. Не боишься, и хорошо, но его не зови. Не надо.

«Так вот как я кончил. Не этого я ожидал. Не этого я ожидал для моей молодой, красивой жизни. Боже мой, но ведь это безумие, я с ума сошел! Еще не поздно! Еще не поздно. Еще можно уйти!»

— Миленький ты мой! — бормотала женщина, заломив руки.

Он хмуро взглянул на нее. В блаженно закрытых глазах ее, в блуждающей, счастливой, бессмысленной улыбке была неутолимая жажда, ненасытимый голод. Точно уже сожрала она что-то огромное и сожрет еще. Взглянул хмуро на тон-

кие, нежные руки, на темные впадины в подмышках и неторопливо встал. И с последним усилием спасти что-то драгоценное — жизнь или рассудок, или старую добрую правду — неторопливо и серьезно начал одеваться. Не может найти галстука.

— Послушай, ты не видала моего галстука?

— Ты куда? — оглянулась женщина.

Руки ее упали с головы, и вся она потянулась вперед, к нему.

— Ухожу.

— Уходишь? — протяжно повторила она.— Уходишь? Куда?

Он усмехнулся угрюмо.

— Разве мне некуда идти. К товарищам иду.

— К хорошим? Ты обманул меня?

— Да, к хорошим,— опять усмехнулся. Наконец он оделся; провел ладонями по бокам:

— Давай бумажник.

Подала.

— А часы?

Подала. Они лежали тут же, на столике.

— Прощай.

— Испугался?

Вопрос был спокойный, простой. Он взглянул: стояла высокая, стройная женщина, с тонкими, почти детскими руками, улыбалась бледно, побелевшими губами, и спрашивала:

— Испугался?

Как она менялась странно: то сильная, даже страшная, то вот как теперь, печальная, и больше на девушку похожа, чем на женщину. Но это ведь все равно. Сделал шаг к двери.

— А я думала, что ты останешься.

— Что?

— А я думала, что останешься. Со мною.

— Зачем?

— Ключ у тебя, в кармане. Да так: чтобы мне лучше было.

Уже щелкнул замок.

— Ну что же. Ступай. Ступай к своим хорошим, а я...

...И вот тогда, в эту последнюю минуту, когда оставалось открыть дверь и за нею вновь найти товарищей, прекрасную жизнь и героическую смерть,— он совершил дикий непонятный поступок, погубивший его жизнь. Было ли то безумие, которое овладевает иногда так внезапно самыми сильными и спокойными умами, или действительно — под

визг пьяной скрипки, в стенах публичного дома, под дикими чарами подведенных глаз проститутки — он открыл какую-то последнюю ужасную правду жизни, свою правду, которой не могли и не могут понять другие люди. Но было ли безумием или здоровьем ума, было ли ложью или правдой новое понимание его,— он принял его твердо и бесповоротно, с тою безусловностью факта, которая всю прежнюю жизнь его вытянула в одну прямую огненную линию, оперила ее, как стрелу.

Провел медленно, очень медленно руками по щетинистому твердому черепу и, даже не закрыв двери,— просто пошел и сел на кровати. Широкоскулый, бледный, похожий с виду на иностранца, на англичанина.

— Что ты? Забыл что-нибудь? — удивилась женщина: так теперь не ожидала она того, что случилось.

— Нет.

— Что же ты? Почему ты не уходишь?

И спокойно, с выражением камня, на котором жизнь тяжелой рукою своею высекла новую страшную, последнюю заповедь, он сказал:

— Я не хочу быть хорошим.

Она ждала, не смея верить,— вдруг ужаснувшаяся тому, чего искала и жаждала так долго. Стала на колени. И, слегка улыбнувшись, уже по-новому, по-страшному возвышаясь над ней, он положил руку ей на голову и повторил:

— Я не хочу быть хорошим.

И радостно засуетилась женщина. Она раздевала его как ребенка, расшнуровывала ботинки, путаясь в узлах, гладила его по голове, по коленам, и не смеялась даже — так полно было ее сердце. Вдруг взглянула на его лицо и испугалась:

— Какой ты бледный! Пей, пей скорее. Тебе трудно, Петечка?

— Меня зовут Алексей.

— Все равно. Хочешь, я налью тебе в стакан? Только смотри, не обожгись, с непривычки трудно из стакана.

И, раскрыв рот, смотрела, пока он пил медленными, слегка неуверенными глотками. Закашлялся.

— Это ничего, ничего. Ты хорошо будешь пить, это сразу видно. Молодец же ты у меня! До чего же я рада!

Завизжав, она вспрыгнула на него и стала душить короткими, крепкими поцелуями, на которые он не успевал отвечать. Смешно: чужая, а так целует! Крепко сжал ее руками, вдруг лишив ее возможности двигаться, и некоторое время молча, сам не двигаясь, держал так, точно испытывал

силу покоя, силу женщины — силу свою. И женщина покорно и радостно немела в его руках.

— Ну, ладно! — сказал он и вздохнул незаметно.

И вновь металась женщина, горя в дикой радости своей, как в огне. И так наполнила своими движениями комнатку, как будто не одна, а несколько таких полубезумных женщин говорило, двигалось, ходило, целовало. Поила его коньяком и пила сама. Вдруг спохватилась и даже всплеснула руками.

— А револьвер! А револьвер-то мы и забыли! Давай, давай скорее, нужно его отнести в контору.

— Зачем?

— Ну его, боюсь я этих вещей. А вдруг выстрелит?

Он усмехнулся и повторил:

— А вдруг выстрелит? Да. А вдруг выстрелит!

Вынул револьвер и несколько медленно, точно меряя рукою тяжесть спокойного, послушного оружия, передал его девушке. Достал и обоймы.

— Неси.

И когда остался один, без револьвера, который носил столько лет, с полуоткрытой дверью, в которую неслись издали чужие, незнакомые голоса и тихое позвякивание шпор,— почувствовал он всю громаду бремени, которое взвалил на плечи свои. Тихо прошелся по комнате и, обратясь лицом в сторону, где должны были находиться те, произнес:

— Ну?

И застыл, сложив руки на груди, обратив глаза в сторону, где должны были находиться те. И было в этом коротеньком слове много: и последнее прощание, и глухой вызов, и бесповоротная, злая решимость бороться со всеми, даже со своими, и немного, совсем немного тихой жалобы.

Все также стоял он, когда прибежала Люба и с порога взволнованно заговорила:

— Миленький, ты не рассердишься? Не сердись, я подруг сюда позвала. Так, некоторых. Ничего? Понимаешь: очень мне захотелось им тебя показать, суженого моего, миленького моего. Ничего? Они славные, их нынче никто не взял, и они одни там. А офицеры по комнатам разошлись. А один офицерик видел твой револьвер и похвалил: очень хороший, говорит. Ничего? Миленький, ничего? — душила его девушка короткими, быстрыми, крепкими поцелуями.

А те уже входили, повизгивая, жеманясь, и чинно садились рядом, одна возле другой. Их было пять или шесть самых некрасивых или старых, накрашенных, с подведенными глазами, с волосами, навесом начесанными на лоб.

Некоторые делали вид, что стыдятся, и хихикали, другие спокойно и просто ожидали коньяку и глядели на него серьезно, протягивали руку и здоровались, входя. По-видимому, они уже ложились спать, потому что все были в легких капотах, а одна, чрезвычайно толстая, ленивая и равнодушная, пришла даже в одной юбке, с голыми, невероятно толстыми руками и жирною, словно распухшею грудью. Эта толстая и еще одна со злым, птичьим, старым лицом, на котором белила лежали, как грязная штукатурка на стене, были совершенно пьяны, остальные же сильно навеселе. И все это полуголое, откровенное, хихикающее окружило его, и сразу нестерпимо запахло телом, портером, все теми же влажными, мыльными духами. Прибежал с коньяком и портером потный лакей в обтянутом кургузом фраке, и все девицы хором встретили его:

— Маркуша! Милай Маркуша! Маркуша!

По-видимому, это было в обычае — встречать его такими возгласами, потому что даже и толстая, пьяная, лениво прогудела:

— Маркуша!

И все это было необыкновенно. Пили, чокались, говорили все сразу и о чем-то своем. Злая, с птичьим лицом, раздраженно и крикливо рассказывала о госте, который брал ее на время и с которым у нее что-то вышло. Часто ввертывали уличные ругательства, но произносили их не равнодушно, как мужчины, а всегда с особенной едкостью, с некоторым вызовом; все вещи называли своими именами.

На него вначале обращали внимания мало, да и сам он упорно молчал и выглядывал. Счастливая Люба сидела очень тихо рядом с ним на постели, обнимая его рукою за шею, сама пила немного, но ему постоянно подливала. И часто в самое ухо шептала:

— Миленький!

Пил он много, но не хмелел, а что-то другое происходило в нем, что производит нередко в людях таинственный и сильный алкоголь. Будто — пока он пил и молчал — внутри его происходила огромная, разрушительная работа, быстрая и глухая. Как будто все, что он узнал в течение жизни, полюбил и передумал, разговоры с товарищами, книги, опасная и завлекательная работа — бесшумно сгорало, уничтожалось бесследно, но сам он от этого не разрушался, а как-то странно креп и твердел. Словно с каждой выпитой рюмкой он возвращался к какому-то первоначалу своему — к деду, к прадеду, к тем стихийным, первобытным бунтарям, для которых бунт был религией и религия — бунтом. Как линю-

чая краска под горячей водой — смывалась и блекла книжная чуждая мудрость, а на место ее вставало свое собственное, дикое и темное, как голос самой черной земли. И диким простором, безграничностью дремучих лесов, безбрежностью полей веяло от этой последней темной мудрости его; в ней слышался смятенный крик колоколов, в ней виделось кровавое зарево пожаров, и звон железных кандалов, и исступленная молитва, и сатанинский хохот тысяч исполинских глоток — и черный купол неба над непокрытой головою.

Так сидел он, широкоскулый, бледный, вдруг такой родной, такой близкий всем этим несчастным, галдевшим вкруг него. И в опустошенной, выжженной душе и в разрушенном мире белым огнем расплавленной стали сверкала и светилась ярко одна его раскаленная воля. Еще слепая, еще бесцельная, она уже выгибалась жадно; и в чувстве безграничного могущества, способности все создать и все разрушить, спокойно железнело его тело.

Вдруг он стукнул кулаком по столу:

— Любка! Пей!

И когда она, светлая и улыбающаяся, покорно налила рюмки, он поднял свою и произнес:

— За нашу братию!

— Ты за тех? — шепнула Люба.

— Нет, за этих. За нашу братию! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью. За тех, кто умирает от сифилиса...

Девицы рассмеялись, но толстая лениво попрекнула:

— Ну это, голубчик, уже слишком.

— Молчи! — сказала Люба, бледнея.— Он мой суженый!

— ...За всех слепых от рождения. Зрячие! выколем себе глаза, ибо стыдно,— он стукнул кулаком по столику.— Ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо,— это уже не рай, девицы, а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!

Он слегка покачнулся и выпил. Говорил он несколько туго, но твердо, отчетливо, с паузами, выговаривая каждое слово. Никто не понял этой дикой речи, но всем он понравился — понравился он сам, бледный и как-то по-особенному злой. Вдруг быстро заговорила Люба, протягивая руки:

— Он мой суженый. Он останется со мною. Он был

честный, у него есть товарищи, а теперь он останется со мною.

— Поступай к нам, на место Маркуши,— лениво сказала толстая.

— Молчи, Манька, я морду тебе побью! Он останется со мною. Он был честный.

— Мы все были честные,— сказала злая, старая.

И другие подхватили:

— Я до четырех лет была честная... Я и сейчас честная, ей-Богу!

Люба чуть не плакала.

— Молчите, дряни вы этакие. У вас честность отняли, а он сам отдал. Взял и отдал: на мою честность! Не хочу я честности! Вы все тут... а он еще невинненький...

Она всхлипнула — и все разразилось хохотом. Хохотали, как могут хохотать только пьяные, со всею безудержностью их чувств; хохотали, как можно только хохотать в маленькой комнатке, где воздух уже насытился звуками, уже не принимает их и гулко выбрасывает назад, оглушая. Плакали от смеха, валились друг на друга, стонали; тоненьким голоском кудахтала толстая и бессильно падала со стула; наконец, глядя на них, залился хохотом он сам. Точно весь сатанинский мир собрался сюда, чтобы хохотом проводить в могилу маленькую, невинненькую честность,— и хохотала тихо сама умершая честность. Не смеялась только Люба. Дрожа от возмущения, она ломала руки, кричала что-то и наконец бросилась бить кулаками толстую, и та еле-еле бессильно отводила ее голыми, круглыми, как бревна, руками.

— Будет,— кричал он, но они не слыхали. Наконец понемногу стихли.

— Будет! — еще раз крикнул он.— Стойте. Я вам еще штучку покажу.

— Оставь их! — говорила Люба, вытирая кулаком слезы.— Их всех надо выгнать!

— Испугалась? — повернул он лицо, еще дрожащее от хохота.— Честности захотелось? Глупая,— тебе все время только ее и хочется! Оставь меня!

И, не обращая больше на нее внимания, он обернулся к тем, встал, высоко поднял руки:

— Слушайте. Погодите. Я сейчас вам покажу. Смотрите сюда, на мои руки.

И, настроенные весело и любопытно, они смотрели на его руки и послушно, как дети, ждали, разинув рты.

— Вот,— он потряс руками,— я держу в руках мою жизнь. Видите?

— Видим! Дальше!

— Она была прекрасна, моя жизнь. Она была чиста и прелестна, моя жизнь. Она была, знаете, как те красивые вазы из фарфора. И вот глядите: я бросаю ее!

Он опустил руки почти со стоном, и все глаза обратились на землю, как будто там действительно лежало что-то хрупкое и нежное, разбитое на куски — прекрасная человеческая жизнь.

— Топчите же ее, девки! Топчите, чтобы кусочка не осталось! — топнул он ногой.

И как дети, которые радуются новой шалости, они все с визгом и хохотом вскочили и начали топтать то место, где невидимо лежала разбитая нежная фарфоровая ваза — прекрасная человеческая жизнь. И постепенно овладела ими ярость. Смолк хохот и визг. Только тяжелое дыхание, густой сап и топот ног, яростный, беспощадный, неукротимый.

Как оскорбленная царица, через плечо, глядела на него Люба яростными глазами и вдруг, точно поняв, точно обезумев,— с радостным стоном бросилась в середину толкущихся женщин и быстро затопала ногами. Если бы не серьезность пьяных лиц, если бы не яростность потускневших глаз, не злоба искаженных, искривленных ртов, можно было бы подумать, что это новый особенный танец без музыки и без ритма.

И сцепив пальцами твердый, щетинистый череп — спокойно и угрюмо смотрел он.

Говорили в темноте два голоса.

Голос Любы, близкий, внимательный, чуткий, с легкими нотками особенного страха, каким бывает всегда голос женщины в темноте,— и его, твердый, спокойный, далекий. Слова он выговаривал слишком твердо, слишком отчетливо — и только в этом чувствовался еще не совсем прошедший хмель.

— У тебя глаза открыты? — спрашивала женщина.

— Открыты.

— Ты думаешь о чем-нибудь?

— Думаю.

Молчание и темнота, и снова внимательный, сторожкий женский голос:

— Расскажи мне еще о твоих товарищах. Ты можешь?

— Отчего же? Они были...

Он говорил «были»,— как живые говорят о мертвых, или как мертвый мог бы говорить о живом. И рассказывал спокойно, почти равнодушно, с похоронными отзвуками меди в ровно текущем голосе, как старик, который рассказывает детям героическую сказку о давно минувших годах. И в темноте беспредельно раздвинувшей границы комнаты, вставала перед зачарованными глазами Любы крохотная горсточка людей, страшно молодых, лишенных матери и отца, безнадежно враждебных и тому миру, с которым борются, и тому — за который борются они. Ушедшие мечтою в далекое будущее, к людям-братьям, которые еще не родились, свою короткую жизнь они проходят бледными, окровавленными тенями, призраками, которыми люди пугают друг друга. И безумно коротка их жизнь: каждого из них ждет виселица, или каторга, или сумасшествие; больше нечего ждать,— каторга, виселица, сумасшествие. И есть среди них женщины...

Люба охнула и приподнялась на локтях:

— Женщины! Что ты говоришь, миленький!

— Молоденькие, нежные девушки, почти подростки,— мужественно и смело идут они по стопам мужчин и гибнут...

— Гибнут. Господи!

Люба всхлипнула и прижалась к его плечу.

— Что, растрогалась?

— Ничего, миленький, я так. Рассказывай! Рассказывай!

И он рассказывал дальше. И удивительное дело: лед превращался в огонь, в похоронных отзвуках его прощальной речи для девушки с открытыми горящими глазами вдруг зазвучал благовест новой, радостной, могучей жизни. Слезы быстро накипали на ее глазах и сохли, словно на огне; взволнованная мятежно, она жадно слушала, и каждое тяжелое слово, как молот по горячему железу, ковало в ней новую звонкую душу. Равномерно опускался молот, и все звончее становилась душа,— и вдруг в душном смраде комнаты громко прозвучал новый, незнакомый голос — голос человека:

— Милый! Ведь я тоже женщина!

— Чего же ты хочешь?

— Ведь я тоже могу пойти к ним!

Он молчал. И вдруг в молчании своем, в том, что он был их товарищем, жил вместе с ними — показался ей таким особенным и важным, что даже неловко стало лежать с ним, так просто, рядом и обнимать его. Отодвинулась немного

и руку положила легко, так, чтобы прикосновение чувствовалось как можно меньше. И, забывая свою ненависть к хорошим, все слезы свои и проклятия, долгие годы ненарушимого одиночества в вертепе, покоренная красотою и самоотречением ихней жизни — взволновалась до краски в лице, почти до слез, от страшной мысли, что те могут ее не принять.

— Милый! А они примут меня? Господи, что это такое? Как ты думаешь, как ты думаешь, они примут меня, они не побрезгуют? Они не скажут: тебе нельзя, ты грязная, ты собою торговала? Ну, скажи!

Молчание и ответ, несущий радость:

— Примут. Очего же?

— Миленький ты мой! Какие же они...

— Хорошие,— добавил мужской голос, словно поставил тупую, круглую точку. И радостно, с трогательным доверием девушка повторила:

— Да. Хорошие.

И так светла была ее улыбка, что, казалось, улыбнулась сама темнота, и какие-то звездочки забегали — голубенькие, маленькие точечки. Приходила к женщине новая правда, но не страх, а радость несла с собою.

И робкий просящий голос:

— Так пойдем к ним, милый! Ты отведешь меня, не постыдишься, что привел такую? Ведь они поймут, как ты сюда попал. На самом деле — за человеком гонятся, куда ему деваться. Тут не только что,— тут в помойную яму полезешь. И я... и я... я уже постараюсь. Что же ты молчишь?

Угрюмое молчание, в котором слышно биение двух сердец — одно частое, торопливое, тревожное — и твердые, редкие, странно редкие удары другого.

— Тебе стыдно привести такую?

Угрюмое, длительное молчание и ответ, от которого повеяло холодом и непреклонностью жесткого камня:

— Я не пойду. Я не хочу быть хорошим.

Молчание.

— Они господа,— как-то странно и одиноко прозвучал его голос.

— Кто? — глухо спросила девушка.

— Те, прежние.

И опять длительное молчание — точно откуда-то сверху сорвалась птица и падает, бесшумно крутясь в воздухе мягкими крыльями, и никак не может достичь земли, чтобы разбиться о нее и лечь спокойно. В темноте он почувствовал, как Люба молча и осторожно, стараясь как можно меньше

касаться, перебралась через него и стала возиться с чем-то.

— Ты что?

— Я не хочу лежать так. Хочу одеться.

Должно быть, оделась и села, потому что легонько скрипнул стул. И стало так тихо, как будто в комнате не было никого. И долго было тихо; и спокойный, серьезный голос сказал:

— Там, Люба, на столе остался, кажется, еще коньяк. Выпей рюмочку и ложись.

VI

Уже совсем рассветало, и в доме было тихо, как во всяком доме,— когда явилась полиция. После долгих сомнений и колебаний, боязни скандала и ответственности,— в полицейский участок был послан Маркуша с подробным и точным докладом о странном посетителе и даже с его револьвером и запасными обоймами. И там сразу догадались, кто это. Уже три дня полиция бредила им и чувствовала его тут, возле; и последние следы его терялись как раз в — ном переулке. Даже предположен был на одно время обход всех публичных домов в участке, но кто-то отыскал новый ложный путь, и туда направились поиски, и про дом забыли.

Затрещал тревожно телефон, и уже через полчаса в октябрьском холодке, сдирая подошвами иней, по пустым улицам двигалась молча огромная толпа городовых и сыщиков. Впереди, всем телом чувствуя свою зловещую выброшенность вперед, шел участковый пристав, очень высокий пожилой человек в широком, как мешок, форменном пальто. Он зевал, закрывая красноватый, отвислый нос в седеющих усах, и думал с холодной тоскою, что надо было подождать солдат, что бессмысленно идти на такого человека без солдат, с одними сонными, неуклюжими городовыми, не умеющими стрелять. И уже несколько раз мысленно назвал себя «жертвою долга» и каждый раз при этом продолжительно и тяжело зевал.

Это был всегда слегка пьяный старый пристав, развращенный публичными домами, которые находились в его участке и платили ему большие деньги за свое существование; и умирать ему вовсе не хотелось. Когда его подняли нынче с постели, он долго перекладывал свой револьвер из одной потной ладони в другую и, хотя времени было мало, зачем-то велел почистить сюртук, точно собирался на смотр. Еще накануне в участке, среди своих, вели разговор о нем,

о котором бредила эти дни вся полиция, и пристав с цинизмом старого, пьяного своего человека называл его героем, а себя старой полицейской шлюхою. И когда помощники хохотали, серьезно уверял, что такие герои нужны хотя бы для того, чтобы их вешать:

— Вешаешь — и ему приятно, и тебе приятно. Ему потому, что идет прямо в царствие небесное, а мне, как удостоверение, что есть еще храбрые люди, не перевелись. Чего зубы скалите,— верно-с!

Правда, он и сам смеялся при этом, так как давно позабыл, где в его словах правда, а где ложь, то, что табачным дымом обволакивало всю его беспутную, пьяную жизнь. Но сегодня — в октябрьском утре, идя по холодным улицам,— он ясно почувствовал, что вчерашнее — ложь и что «он» просто негодяй; и было стыдно вчерашних мальчишеских слов.

— Герой! Как же! Господи, да если он,— изнывал пристав в молитве,— да если он, мерзавец, пошевельнется, убью как собаку. Господи!

И опять думал, отчего ему, приставу, уже старому, уже подагрику, так хочется жить? И вдруг догадался: это оттого, что на улицах иней. Обернулся назад и свирепо крикнул:

— В ногу! Идут, как бараны... с... с...

А под пальто поддувало, а сюртук был широк, и все тело болталось в одежде, как желток в болтне — точно вдруг сразу похудел он. Ладони же рук, несмотря на холод, были потные.

Дом окружили так, будто не одного спящего человека собирались взять, а сидела там целая рота неприятелей; и потихоньку, на цыпочках, пробрались по темному коридору к той страшной двери. Был отчаянный стук, крик, трусливые угрозы застрелить сквозь дверь; и когда, почти сбивая с ног полуголую Любу, ворвались дружной лавой в маленькую комнату и наполнили ее сапогами, шинелями, ружьями, то увидели: он сидел на кровати в одной рубашке, спустив на пол голые, волосатые ноги, сидел и молчал. И не было ни бомбы, ни другого страшного. Была только обыкновенная комната проститутки, грязная и противная при утреннем свете, смятая широкая кровать, разбросанное платье, загаженный и залитый портером стол; и на кровати сидел бритый, скуластый мужчина с заспанным, припухшим лицом и волосатыми ногами, и молчал.

— Руки вверх! — крикнул из-за спины пристав и крепче зажал в потной ладони револьвер.

Но он рук не поднял и не ответил.

— Обыскать! — крикнул пристав.

— Да ничего же нету! Да я же револьвер отнесла! Господи! — кричала Люба, ляская от страха зубами.

И она была в одной только смятой рубашке, и среди одетых в шинели людей оба они, полуголый мужчина и такая же женщина, вызывали стыд, отвращение, брезгливую жалость. Обыскали его одежду, обшарили кровать, заглянули в углы, в комод и не нашли ничего.

— Да я же револьвер отнесла! — твердила бессмысленно Люба.

— Молчать, Любка! — крикнул пристав.

Он хорошо знал девушку, раза два или три ночевал с нею и теперь верил ей; но так неожиданен был этот счастливый исход, что хотелось от радости кричать, распоряжаться, показывать власть.

— Как фамилия?

— Не скажу. И вообще на вопросы отвечать не буду.

— Конечно-с, конечно! — иронически ответил пристав, но несколько оробел.

Потом взглянул на его голые, волосатые ноги, на всю эту мерзость — на девушку, дрожавшую в углу, и вдруг усомнился.

— Да тот ли это? — отвел он сыщика в сторону.— Что-то как будто?..

Сыщик, пристально вглядывавшийся в его лицо, утвердительно мотнул головой.

— Тот. Бороду только сбрил. По скулам узнать можно.

— Скулы разбойничьи, это верно...

— Да и на глаза гляньте. Я его по глазам из тысячи узнаю.

— Глаза, да... Покажи-ка карточку.

Он долго разглядывал матовую без ретуши карточку того,— и был он на ней очень красивый, как-то особенно чистый молодой человек с большой русской окладистой бородою. Взгляд был, пожалуй, тот же, но не угрюмый, а очень спокойный и ясный. Скул только не было заметно.

— Видишь: скул не видать.

— Да под бородою же. А ежели прощупать глазом...

— Так-то оно так, но только... Запой, что ли, у него бывает?

Высокий, худой сыщик с желтым лицом и реденькой бородкой, сам запойный пьяница, покровительственно улыбнулся:

— У них запоя не бывает-с.

— Сам знаю, что не бывает. Но только... Послушайте,—

подошел пристав,— это вы участвовали в убийстве?..— Он назвал почтительно очень важную и известную фамилию.

Но тот молчал и улыбался. И слегка покачивал одной волосатой ногой с кривыми, испорченными обувью пальцами.

— Вас спрашивают!..

— Да оставьте. Он не будет же отвечать. Подождем ротмистра и прокурора. Те заставят разговориться!

Пристав засмеялся, но на душе у него становилось почему-то все хуже и хуже. Когда лазили под кровать, разлили что-то, и теперь в непроветренной комнатке очень дурно пахло. «Мерзость какая! — подумал пристав, хотя в отношении чистоты был человек нетребовательный, и с отвращением взглянул на голую качающуюся ногу.— Еще ногой качает!» Обернулся: молодой, белобрысый, с совсем белыми ресницами городовой глядел на Любу и ухмылялся, держа ружье обеими руками, как ночной сторож в деревне палку.

— Эй, Любка! — крикнул пристав,— ты что же это, сучья дочь, сразу не донесла, кто у тебя?

— Да я же...

Пристав ловко дважды ударил ее по щеке, по одной, по другой.

— Вот тебе! Вот тебе! Я вам тут покажу!

У того поднялись брови и перестала качаться нога.

— Вам не нравится это, молодой человек? — Пристав все более и более презирал его.— Что же поделаешь! Вы эту харю целовали, а мы на этой харе...

И засмеялся, и улыбнулись конфузливо городовые. И что было всего удивительнее: засмеялась сама побитая Люба. Глядела приятно на старого пристава, точно радуясь его шутливости, его веселому характеру, и смеялась. На него, с тех пор, как пришла полиция, она ни разу не взглянула, предавая его наивно и откровенно; и он видел это, и молчал, и улыбался странной усмешкой, похожей на то, как если бы улыбнулся в лесу серый, вросший в землю заплесневший камень. А у дверей уже толпились полуодетые женщины: были среди них и те, что сидели вчера с ними. Но смотрели они равнодушно, с тупым любопытством, как будто в первый раз встречали его; и видно было, что из вчерашнего они ничего не запомнили. Скоро их прогнали.

Рассвело совсем, и в комнате стало еще отвратительнее и гаже. Показались два офицера, не выспавшиеся, с помятыми физиономиями, но уже одетые, чистые, и вошли в комнату.

— Нельзя, господа, ей-Богу, нельзя,— лениво говорил пристав и злобно смотрел на него.

Подходили, осматривали его с головы до голых ног с кривыми пальцами, оглядывали Любу и, не стесняясь, обменивались замечаниями.

— Однако хорош! — сказал молоденький офицерик, тот, что сзывал всех на котильон. У него, действительно, были прекрасные белые зубы, пушистые усы и нежные глаза с большими девичьими ресницами. На арестованного офицерик смотрел с брезгливой жалостью и морщился так, будто сейчас готов был заплакать. На левом мизинце у того была мозоль, и было почему-то отвратительно и страшно смотреть на этот желтоватый маленький бугорок. И ноги были грязноваты.— Как же это вы, сударь, ай-ай-ай! — качал головой офицер и мучительно морщился.

— Так-то-с, господин анархист. Не хуже нас грешных с девочками. Плоть-то и у вас, стало быть, немощна? — засмеялся другой, постарше.

— Зачем вы револьвер свой отдали? Вы бы могли хоть стрелять. Ну, я понимаю, ну, вы попали сюда, это может быть со всяким, но зачем же вы отдали револьвер? Ведь это нехорошо перед товарищами! — горячо говорил молоденький и объяснял старшему офицеру: — Знаете, Кнорре, у него был браунинг с тремя обоймами, представьте! Ах, как это нелепо.

И, улыбаясь насмешливо, с высоты своей новой, неведомой миру и страшной правды, глядел он на молоденького, взволнованного офицерика и равнодушно покачивал ногою. И то, что он был почти голый, и то, что у него волосатые, грязноватые ноги с испорченными кривыми пальцами — не стыдило его. И если бы таким же вывести его на самую людную площадь в городе и посадить перед глазами женщин, мужчин и детей, он также равнодушно покачивал бы волосатой ногой и улыбался насмешливо.

— Да разве они понимают, что такое товарищество! — сказал пристав, свирепо косясь на качающуюся ногу, и лениво убеждал офицеров: — Нельзя разговаривать, господа, ей-Богу, нельзя. Сами знаете, инструкции.

Но свободно входили новые офицеры, осматривали, переговаривались. Один, очевидно, знакомый, поздоровался с приставом за руку. И Люба уже кокетничала с офицерами.

— Представьте, браунинг, три обоймы, и он, дурак, сам его отдал,— рассказывал молоденький.— Не понимаю!

— Ты, Миша, никогда этого не поймешь.

— Да ведь не трусы же они!

— Ты, Миша, идеалист, у тебя еще молоко на губах не обсохло.

— Самсон и Далила! — сказал иронически невысокий, гнусавый офицер с маленьким полупровалившимся носиком и высоко зачесанными редкими усами.

— Не Далила, а просто она его удавила.

Засмеялись.

Пристав, улыбавшийся приятно и потиравший книзу свой красноватый, отвислый нос, вдруг подошел к нему, стал так, чтобы загородить его от офицеров своим туловищем в широком свисавшем сюртуке,— и заговорил сдушенным шепотом, бешено ворочая глазами:

— Стыдно-с!.. Штаны бы надели-с!.. Офицеры-с!.. Стыдно-с... Герой тоже... С девкою связался, со стервой... Что товарищи твои скажут, а?.. У-х, ска-а-тина...

Напряженно вытянув голую шею, слушала его Люба. И так стояли они друг возле друга — три правды, три разные правды жизни: старый взяточник и пьяница, жаждавший героев, распутная женщина, в душу которой были уже заброшены семена подвига и самоотречения,— и он. После слов пристава он несколько побледнел и даже как будто хотел что-то сказать, но вместо того улыбнулся и вновь спокойно закачал волосатой ногой.

Разошлись понемногу офицеры, городовые привыкли к обстановке, к двум полуголым людям, и стояли сонно, с тем отсутствием видимой мысли, какая делает похожими лица всех сторожей. И, положив руки на стол, задумался пристав глубоко и печально о том, что заснуть сегодня уже не придется, что надо идти в участок и принимать дела. И еще о чем-то, еще более печальном и скучном.

— Можно мне одеться? — спросила Люба.

— Нет.

— Мне холодно.

— Ничего, посидишь и так.

Пристав не глядел на нее. И, перегнувшись, вытянув тонкую шею, она что-то шепнула тому, нежно, одними губами. Он поднял вопросительно брови, и она повторила:

— Миленький! Миленький мой!..

Он кивнул головою и улыбнулся ласково. И то, что он улыбнулся ей ласково и, значит, ничего не забыл; и то, что он, такой гордый и хороший, был раздет и всеми презираем, и его грязные ноги — вдруг наполнили ее чувством нестерпимой любви и бешеного, слепого гнева. Взвизгнув, она бросилась на колени, на мокрый пол, и схватила руками холодные волосатые ноги.

— Оденься, миленький! — крикнула она исступленно.— Оденься!

— Любка, оставь! — оттаскивал ее пристав.— Не стоит он этого!

Девушка вскочила на ноги.

— Молчи, старый подлец! Он лучше вас всех!

— Он скотина!

— Это ты скотина!

— Что? — вдруг рассвирепел пристав.— Эй, Федосеенко, возьми ее. Да ружье-то поставь, болван!

— Миленький! да зачем же ты револьвер отдал,— вопила девушка, отбиваясь от городового.— Да зачем же ты бомбу не принес... Мы бы их... мы бы их... всех...

— Рот ей зажми!

Задыхаясь, уже молча, боролась отчаянно женщина и старалась укусить хватавшие ее жесткие пальцы. И растерянно, не зная, как бороться с женщинами, хватая ее то за волосы, то за обнажившуюся грудь, валил ее на пол белобрысый городовой и отчаянно сопел. А в коридоре уже слышались многочисленные громкие, развязные голоса и звенели шпоры жандарма. И что-то говорил сладкий, задушевный, поющий баритон, точно приближался это оперный певец, точно теперь только начиналась серьезная, настоящая опера.

Пристав оправил сюртук.

ИЗ РАССКАЗА, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОКОНЧЕН

Измученный жуткой неопределенностью дня, я заснул одетый на постели, когда жена разбудила меня. В руке у нее колыхалась свеча, и среди ночи она показалась мне яркою, как солнце. А за свечою колыхался бледный подбородок и неподвижно темнели огромные, незнакомые глаза.

— Ты знаешь,— сказала она,— ты знаешь: на нашей улице строят баррикады.

Было тихо, и мы смотрели друг на друга прямо в незнакомые глаза, и я чувствовал, как бледнеет мое лицо. Жизнь ушла куда-то — и снова вернулась с громким биением сердца. Было тихо, и пламя свечи колыхалось, и было оно маленькое, неяркое, но острое, как кривой меч.

— Ты боишься? — спросил я.

Бледный подбородок дрогнул, но глаза остались неподвижны и смотрели на меня не моргая, и только теперь я увидел, какие это незнакомые, какие это страшные глаза. Уже десять лет я смотрел в них и знал их лучше, чем свои, а теперь в них было новое, чего я не умею назвать. Гордость — назвал бы я это, но там было другое, новое, совсем новое. Я взял руку: холодная, она ответила мне крепким пожатием, и в нем было новое, чего я не знал. Так еще ни разу не пожимала она моей руки.

— Давно? — спросил я.

— Уже с час. И брат уже ушел. Он, вероятно, боялся, что ты не отпустишь его, и ушел потихоньку. Но я видела.

Значит, это — правда: оно пришло. Я встал и почему-то долго умывался, как утром, когда шел на работу, и жена светила мне. Потом мы потушили свечу и подошли к окну на улицу. Была весна, был май, и в открытое окно ворвался такой воздух, какого никогда еще не было в старом огромном городе. Уже несколько дней стояли без работы фабрики и железные дороги, и свободный от угольного дыма воздух

пропитался запахом поля и цветущих садов, быть может, росы. Я не знаю, что это пахнет так хорошо в весенние ночи, когда далеко-далеко уйдешь за город. И ни одного фонаря, и ни одного экипажа, и ни одного городского звука над бесконечной каменной поверхностью,— если закрыть глаза, то, правда, можно подумать, что это деревня. Лает собака! — вот! Я еще ни разу не слыхал, как лает в городе собака, и засмеялся от счастья.

— Послушай,— собака!..

Жена обняла меня и сказала:

— Они там на углу.

Мы перегнулись через подоконник и там в прозрачной темной глубине увидели какое-то движение. Не людей, а движение. Что-то ломали, что-то строили. Кто-то двигался, неуловимый, как тень. Вдруг застучало что-то: топор или молоток. Так звонко, весело — как в лесу, как на реке, когда чинят лодку или строят плотину. И, в предчувствии веселой, стройной работы, я крепко обнял жену, а она смотрела поверх домов, поверх крыш на молодой остророгий месяц, уже клонившийся к закату. Такой молоденький, такой смешной — как девушка, которая мечтает и боится сказать кому-нибудь о своих мечтах, и светит только для себя.

— Когда он станет полным...

— Не надо! Не надо,— перебила меня жена с непонятным мне испугом.— Не надо говорить о том, что будет. Зачем? Оно боится слов. Пойдем сюда.

В комнате было темно, и мы долго молчали, не видя друг друга, но думая об одном. И когда я заговорил, мне показалось, что это сказал кто-то другой: я не боялся, а у этого голос был хриплый, точно он задыхался от жажды.

— Так как же?..

— А они?

— Ты будешь с ними, для них довольно матери. И я не могу.

— А я могу?

Я знаю, она не тронулась с места, но я почувствовал ясно: она уходит, она далеко — она далеко. И так холодно стало, и я протянул руки, но она отстранила их.

— В сто лет раз бывает у людей праздник, и ты хочешь меня лишить его. За что? — сказала она.

— Но тебя могут убить. И дети наши погибнут.

— Жизнь будет милостива к ним. Но даже если и погибнут они...

И это говорила она, жена моя, женщина, с которой я жил

десять лет! Еще вчера она не знала ничего другого, кроме детей, и полна была страха за них; еще вчера она с ужасом ловила грозные признаки грядущего,— что сталось с нею? Вчера,— но ведь я тоже забыл обо всем, что было вчера.

— Ты хочешь идти со мной?

— Не сердись! — Она думала, что я сержусь.— Не сердись! Сегодня, когда они там застучали и ты еще спал, я поняла, вдруг поняла, что муж, дети, все это — так, все это — пока. Я люблю тебя, очень,— она нашла мою руку и пожала ее тем же новым, незнакомым мне пожатием,— но ты слышишь, они стучат? Они стучат, и как будто падают, падают какие-то стены — и так просторно, так широко, так вольно! Сейчас ночь, а мне кажется, что сияет солнце. Мне тридцать лет, и я уже старая, а мне кажется, что мне семнадцать лет, и я люблю кого-то первою любовью — такой огромною, такой безграничной любовью!

— Какая ночь! — сказал я.— Точно нет города. Правда, и я забыл, сколько мне лет.

— Они стучат, и это — как музыка, как пение, о котором я мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безумной любовью, от которой хочется и плакать, и смеяться, и петь. Так просторно, так широко — не отнимай у меня счастья, дай мне умереть с теми, кто работает там и так смело зовет будущее, и в гробах будит погибшее прошлое.

— Времени нет.

— Ты говоришь?

— Времени нет. Кто ты? Я тебя не знал. Ты человек?

Она засмеялась так звонко, как будто ей было семнадцать лет.

— Да. Ведь и я этого не знала. И ты тоже человек? Как это странно и красиво: человек.

Давно уже было то, о чем я пишу, и те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись,— те не поверят мне: в те дни не было времени. Солнце всходило и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было. И много другого чудесного и великого произошло в те дни, и не поверят мне те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись.

— Нужно идти,— сказал я.

— Погоди, я покормлю тебя. Ведь ты сегодня ничего не ел. И ты видишь, как я благоразумна: я пойду завтра. Отдам детей и найду тебя.

— Товарищ,— сказал я.

— Да, товарищ.

В открытые окна лился воздух полей и тишина, и изредка

звонкий, веселый стук топора, а я сидел за столом и смотрел и слушал, и так загадочно ново было все, что хотелось смеяться. Я смотрел на стены, и они казались мне прозрачными. Точно всю вечность обнимая одним взглядом, я видел, как разрушатся они, и только один я был всегда и всегда буду. Все пройдет — а я буду. И все казалось мне странным и смешным — таким ненастоящим: и стол, и кушанье, и все, что вне меня. Прозрачным и легким, существующим только нарочно, только пока.

— Почему же ты не ешь? — спросила жена.

Я улыбнулся:

— Хлеб — это так странно.

Она взглянула на хлеб, на черствый, сухой кусок хлеба, и почему-то лицо ее сделалось грустным. Все продолжая глядеть на него, она тихо поправляла руками передник, и голова ее немного, совсем немного повернулась в ту сторону, где спали дети.

— Тебе жаль их? — спросил я.

Она покачала головой, не отводя глаз от хлеба.

— Нет. Но я подумала о том, что было в жизни,— раньше было. Как это непонятно! И все,— она, удивляясь, как проснувшаяся после долгого сна, обвела глазами комнату,— и все так непонятно. Здесь мы жили.

— Ты была моей женой.

— А там наши дети.

— Здесь за стеною умер твой отец.

— Да. Умер. Умер, не проснувшись.

Заплакала, чего-то испугавшись во сне, самая маленькая. И так странен показался этот простой детский крик, настойчиво требовавший своего — среди этих призрачных стен, когда там, внизу, строили баррикады.

Она плакала и требовала своего — ласки, каких-то смешных слов и обещаний, которые ее успокаивают. И быстро успокоилась.

— Ну, иди! — шепотом сказала жена.

— Мне бы хотелось поцеловать их.

— Боюсь, разбудишь.

— Нет, ничего.

Оказалось, старший не спал, слышал все и все понимал. Ему было всего девять лет, но он все понял — таким глубоким и строгим взглядом встретил он меня.

— Ты возьмешь ружье? — спросил он задумчиво и серьезно.

— Да, возьму.

— Оно под печкой?

— А ты откуда знаешь? Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня помнить?

Он вскочил на постели в своей коротенькой рубашонке, весь горячий со сна, и крепко обнял мою шею. И руки у него были горячие и такие мягкие и нежные. Я поднял волоса у него на затылке и поцеловал горячую тонкую шейку.

— Тебя убьют? — прошептал он в самое ухо.

— Нет. Я вернусь.

Но почему он не плакал? Он плакал иногда, если я просто уходил из дому,— разве и его коснулось это? Кто знает — так много чудесного произошло в те великие дни!

Я взглянул на стены, на хлеб, на свечу, пламя которой все колыхалось, и взял жену за руку.

— Ну, до свидания.

— Да — до свидания.

И только, и я ушел. На лестнице было темно и пахло какой-то старой грязью; и, охваченный со всех сторон камнями и тьмою, ощупью находя ступеньки, я почувствовал новое, неведомое и радостное, куда я иду,— огромным радостным, всенаполняющим чувством.

1907 г.

ВЕЛИКАН

— ...Вот пришел великан, большой, большой великан. Такой большой, большой. Вот пришел он, пришел. Такой смешной великан. Руки у него толстые, огромные, и пальцы растопырены, и ноги тоже огромные, толстые, как деревья, такие толстые. Вот пришел он... и упал! Понимаешь, взял и упал! Зацепился ногой за ступеньку и упал! Такой глупый великан, такой смешной — зацепился и упал! Рот раскрыл — и лежит себе, и лежит себе, такой смешной, как трубочист. Ты зачем пришел сюда, великан? Ступай, ступай отсюда, великан! Додик такой милый, такой славный, славный; он так тихонько прижался к своей маме, к ее сердцу — к ее сердцу — такой милый, такой славный. У него такие хорошие глазки, милые глазки, ясные, чистые, и все так его любят. И носик у него такой хороший, и губки, и он не шалит. Это прежде он шалил — бегал — кричал — ездил на лошадке. Ты знаешь, великан, у Додика есть лошадка, хорошая лошадка, большая с хвостом, и Додик садится на нее и ездит, далеко-далеко на речку ездит, в лес ездит. А в речке рыбки, ты знаешь, великан, какие бывают рыбки? Нет, ты не знаешь, великан, ты глупый, а Додик знает: такие маленькие, хорошенькие рыбки. Солнышко светит в воду, а они играют, такие маленькие, хорошенькие, такие быстрые. Да, глупый великан, а ты не знаешь.

— Какой смешной великан! Пришел и упал! Вот смешной! Шел по лестнице — раз-раз, зацепился за порожек и упал. Такой глупый великан! А ты не ходи к нам, великан, тебя никто не звал, глупый великан. Это прежде Додик шалил и бегал — а теперь он такой славный, такой милый, и мама так нежно-нежно его любит. Так любит — больше всех любит, больше себя, больше жизни. Он ее солнышко, он ее счастье, он ее радость. Вот теперь он маленький, совсем маленький, и жизнь его маленькая, а потом он вырастет большой, как великан, у него будет большая борода и усы

большие, большие, и жизнь у него будет большая, светлая, прекрасная. Он будет добрый, и умный, и сильный, как великан, такой сильный, такой умный, и все будут его любить, и все будут смотреть на него и радоваться. Будет в его жизни горе, у всех людей есть горе, но будут и большие, светлые как солнце радости. Вот войдет он в мир красивый и умный, и небо голубое будет сиять над его головой, и птицы будут петь ему свои песенки, и вода будет ласково журчать. И он взглянет и скажет: «Как хорошо на свете, как хорошо на свете...»

— Вот... Вот... Вот... Этого не может быть. Я крепко, я нежно, нежно держу тебя, мой мальчик. Тебе не страшно, что тут так темно? Посмотри, вон в окнах свет. Это фонарь на улице, стоит себе и светит, такой смешной. И сюда посветил немного, такой милый фонарь. Сказал себе: «Дай и туда посвечу немножко, а то у них так темно — так темно». Такой длинный смешной фонарь. И завтра будет светить — завтра. Боже мой, завтра!

— Да, да, да. Великан. Конечно, конечно. Такой большой, большой великан. Больше фонаря, больше колокольни, и такой смешной пришел и упал! Ах, глупый великан, как же ты не заметил ступеньки! «Я вверх смотрел, мне внизу не видно,— говорит великан басом, понимаешь, таким толстым, толстым голосом.— Я вверх смотрел!» — А ты вниз лучше смотри, глупый великан, тогда и будешь видеть. Вот Додик мой милый, милый и такой умный, он вырастет еще больше, чем ты. И так будет шагать — прямо через город, прямо через леса и горы. Он такой будет сильный и смелый, он ничего не будет бояться — ничего. Подошел к речке — и перешагнул. Все смотрят, рты разинули, такие смешные,— а он взял и перешагнул. И жизнь у него будет такая большая, и светлая, и прекрасная, и солнышко будет сиять, милое родное солнышко. Выйдет себе утречком и светит, такое милое... Боже мой!

— Вот... Вот пришел великан — и упал. Такой смешной — смешной — смешной же!

Так глубокою ночью говорила мать над умирающим ребенком. Носила его по темной комнате и говорила, и фонарь светил в окно,— а в соседней комнате слушал ее слова отец и плакал.



ПЬЕСЫ

К ЗВЕЗДАМ

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Терновский Сергей Николаевич, русский ученый, уехавший за границу. Директор обсерватории. Знаменит; член многих академий и ученых обществ. Пятьдесят шесть лет, но на вид кажется моложе. Движения плавные, спокойные и очень точные; так же сдержан и точен в жестикуляции — ничего лишнего. Вежлив, внимателен, но от всего этого отдает холодом.

Терновская Инна Александровна, жена его, тех же почти лет.

Дети Терновских:
- Николай, 27 лет.
- Анна, 25 лет. Красива и суха, одета не к лицу.
- Петя, 18 лет. Бледный, изящный, хрупкий; черные вьющиеся волосы; белый отложной воротник.

Верховцев Валентин Алексеевич, муж Анны. Лет 30. Рыжий. Самоуверен, повелителен, насмешлив. Иногда груб. Инженер.

Маруся, невеста Николая, 20 лет. Красивая.

Ассистенты Терновского:
- Поллак. Сухой, высокий, с большим лысым черепом, корректный. 32 года. Механичен. Курит сигары.
- Лунц Иосиф Абрамович. Еврей, 28 лет. Привычка обращаться с точными инструментами придает движениям сдержанность и точность; но при волнении Лунц не выдерживает и жестикулирует со страстностью южанина-семита.
- Житов Василий Васильевич. Неопределенного возраста. Велик, волосат, медведеобразен. Всегда сидит. Своеобразно красив.

Трейч, рабочий, 30 лет. Черный, худощавый, очень красивый, сильно изогнутые брови; дальнозорок. Прост, серьезен, несловоохотлив.

Шмидт. Молод. Маленького роста; мелкие, но правильные черты лица; одет тщательно; говорит тонким голосом. Имеет вид незначительный.

Минна, служанка.

Франц, слуга.

Старуха.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Обсерватория в горах. Поздний вечер. Сцена представляет две комнаты; первая — нечто вроде столовой, большая, с белыми толстыми стенами; у окон, за которыми мечется во тьме что-то белое, очень широкие подоконники; огромный камин, в котором горят поленья. Убранство простое, строгое, отсутствие мягкой мебели и занавесок. Несколько гравюр: портреты астрономов, волхвы, приведенные звездою ко Христу. Лестница вверх, в библиотеку и кабинет Терновского. Задняя комната — обширный рабочий кабинет, в общем похожий на первую комнату, но без камина. Несколько столов. Фотографии звезд и лунной поверхности, некоторые простейшие инструменты. Сидит за работой ассистент Терновского — Поллак. В передней комнате Инна Александровна и Житов разговаривают; Петя читает; Лунц ходит взад и вперед. У очага кухарка немка готовит кофе. За окнами свист и вой горной вьюги. Потрескивают дрова в камине. Равномерно звонит колокол, сзывая заблудившихся.

Инна Александровна. Звонит, звонит, а все без толку. За четыре дня хоть бы кто пришел. Сидишь, сидишь, да и подумаешь: уж живы ли там люди-то?

Петя *(отрываясь)*. А кому прийти? Кто пойдет сюда?

Инна Александровна. Ну, мало ли кто! Снизу может кто прийти...

Петя. Не до того им, чтобы по горам лазить.

Житов. Да, положение затруднительное. Дороги нет — как в осажденном городе, ни оттуда, ни отсюда.

Инна Александровна. Денька через два и есть нечего будет.

Житов. Так посидим.

Инна Александровна. Вам-то хорошо говорить, Василий Васильевич,— вы, как медведь, своим жиром неделю сыты будете,— а что́ мне с Сергеем Николаевичем делать?

Житов. А вы ему запас сделайте, мы и так обойдемся. Лунц, а Лунц, вы бы сели!

Лунц не отвечает, ходит.

Инна Александровна. Ну и сторонка! Постойте, словно постучал кто. Постойте-ка! *(Прислушивается.)* Нет, показалось. Какая метель, у нас такой не бывает.

Житов. Бывает... в степи.

Инна Александровна. В степи не жила... не знаю. Как бьет в окна!

Петя. Ты напрасно ждешь, мама,— никто не придет.

Инна Александровна. А может?.. *(Пауза.)* Газеты старые почитать, что ли... да уж читаны-перечитаны. Иосиф Абрамыч, вы ничего новенького не слыхали?

Лунц *(останавливаясь)*. Откуда же я могу услышать?

Как вы странно спрашиваете. Ведь это же невозможно, ей-богу. Откуда я могу услышать, сами посудите. Странно!

Инна Александровна. Ну-ну, я — так, не сердитесь. Душа кровью обливается, как подумаешь, что́ там делается! Господи!

Житов. Дерутся.

Инна Александровна. Дерутся! Вам-то легко говорить, Василий Васильевич, у вас там никого своих нету, а у меня ведь дети! И ничего-то не знаешь, как в лесу... да какое — в лесу! В лесу хоть птица пролетит, заяц пробежит, а тут...

Лунц *(на ходу)*. Может быть, там уже полная победа. Может быть, там уже новый мир — на развалинах старого.

Житов. Не думаю. Непохоже было.

Петя. Почему это не думаете? Вы читали, что министерство подало в отставку, что весь город в баррикадах, что пролетариат уже овладел ратушей? А за пять дней, что́ могло произойти!

Житов. Ну, может быть, не знаю. Лунц, вы бы сели. По моему расчету, вы за эти дни верст двести сделали.

Лунц. Отстаньте! Я вам не мешаю, и вы мне не мешайте. Как это некультурно: врываться в чужую жизнь. Я же не говорю вам: Житов, не дремлите по целым часам, вы уже проспали вечность. Я не говорю!

Петя подходит к Лунцу и тихо разговаривает с ним о чем-то. Ходят рядом, изредка обмениваясь словами.

Инна Александровна *(тихо Житову)*. Экий недотрога! Ну что же, Василий Васильевич, выпьем кофейку, что ли, с горя...

Житов. Я бы чаю выпил.

Инна Александровна. Сказал! Я бы и сама, батюшка, чайку бы выпила, да где его возьмешь. С малиновым вареньем бы — хорошо.

Житов. А я так — вприкуску.

Инна Александровна. Да что уж! Вы вот что скажите, Василий Васильевич,— ко всему я тут привыкла, ну ко всему — и к горам этим и к безлюдью, а вот березку позабыть не могу. Как подумаю, как вспомню — так часа два плачу, как угорелая. У нас в имении усадьба на горке стояла, а вокруг березовая роща — какая роща! После дождя такой, бывало, подымется запах, что... что... *(Утирает глаза.)*

Житов. А вы бы взяли, да и съездили в Россию месяца на два.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А с кем же я его оставлю? Он тоже меня сколько раз уговаривал,— да разве это можно! Ну вдруг заболеет? — года у меня с ним не маленькие.

Ж и т о в. Я останусь.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Нет, нет, и не говорите. Нету березки и не надо,— ведь я к слову сказала. Нет, нет. Тут тоже хорошо. Вот весна идет...

Ж и т о в. А если б его в Сибирь услали? Поехали б?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А почему ж не поехать? И в Сибири люди живут. Эка!

Ж и т о в. Вы славная, Инна Александровна.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(нежно)*. А ты глупый,— разве старухам такие вещи говорят? А и вправду, Василий Васильевич, отчего бы вам не жениться? Жили бы вы тут да поживали, как мы вот с Сергеем Николаевичем.

Ж и т о в. Нет, куда мне... Человек я непоседливый.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(смеясь)*. То-то, похоже.

Ж и т о в. Нет, верно. Нынче здесь, а завтра там. Я и астрономию скоро брошу. Я вот в Австралии еще не был.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А туда зачем?

Ж и т о в. Да так. Посмотреть, как люди живут.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да ведь у вас, Василий Васильевич, и денег-то нет. Это тому хорошо путешествовать, у кого есть деньги.

Ж и т о в. Да я не путешествовать, я так. Поступлю на железную дорогу или на завод.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Из астрономов-то?

Ж и т о в. Что же, этому легко научиться. Я механику знаю. Мне немного надо, я человек неизбалованный.

Пауза. Свист вьюги сильнее.

П е т я. Мама, а папа где? работает?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да... просил не мешать ему.

П е т я *(пожимая плечами)*. Как он может работать в такое время! Не понимаю.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А так и может. Что же, лучше, если он вот так метаться будет? Вон Поллак тоже работает.

П е т я. Ну, Поллак... Про него я уж не говорю. Поллак. *(Тихо говорит с Лунцем.)*

Ж и т о в. Поллак человек талантливый, он через пять лет знаменитостью будет. Энергичный человек.

Инна Александровна смеется.

Чего вы смеетесь, разве не правда?

Инна Александровна. Да нет, я не тому. Очень он чудак,— иной раз и нехорошо, а не удержишься... Он на какой-то инструмент похож,— какой у вас есть инструмент вроде него?

Житов. Не знаю.

Инна Александровна. Астролябия, кажется.

Житов. Не знаю. А как вот можете вы смеяться, удивляюсь я.

Инна Александровна *(вздыхает)*. Без смеха нельзя, только смехом иногда и спасаешься. Вот тоже расскажу я вам. Ехали мы тогда из России с детьми, со скарбом... дела были плохие, на билеты денег хватило, да и все тут. И как это случилось, до сих пор понять не могу — потеряла я билеты. Никогда ничего не теряла, а тут...

Житов. Где же это, в России?

Инна Александровна. Если бы в России, а то за границей уже. Сидим мы на какой-то австрийской станции... дети, чемоданы, подушки... взглянула я на эти подушки, да как захохочу! Ей-Богу! Сейчас смешно вспомнить.

Житов. А скажите, Инна Александровна, я до сих пор толком не разберусь: за что Сергей Николаевич выслан из России?

Инна Александровна. Да его не выслали, сам уехал. Поссорился с начальством. Бумагу какую-то скверную заставляли его подписать, а он не стал, а потом министру дерзостей наговорил. Ну и уехали, а тут предложили ему эту обсерваторию,— вот двенадцать лет на камнях и живем.

Житов. Значит, он может вернуться, если захочет?

Инна Александровна. Да зачем? В России, вы знаете, таких обсерваторий нет.

Житов. А березка-то!

Инна Александровна. Ну вот, пустяки какие! Постойте, кто-то стучит.

Вой метели.

Житов. Нет. Показалось.

Инна Александровна. А все-таки... Минна, голубушка, сходите узнайте, будто приехал кто. Этот колокол всю душу вымотает. Все кажется, словно идет кто или едет. Слышите?

Вой метели, звук колокола.

Ж и т о в. Эти мартовские бури всегда самые свирепые. Внизу весна, а у нас зима настоящая. Миндаль уже отцвел, пожалуй.

М и н н а. Никого нет.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Что там делается! Что там делается! Главное, я за Коленьку боюсь. Ведь он такой, он ни на что не смотрит: ружья не ружья, пушки не пушки. Господи! Я и подумать об этом не могу! Хоть бы весточка какая, а то четыре дня — как в могиле.

Ж и т о в. Ну, обойдется, скоро все узнаете. Барометр поднимается.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А главное, будь бы за свое дело дрался. А то и люди чужие и страна чужая,— ну какое ему дело!

П е т я *(горячо)*. Николай — рыцарь. Он за всех угнетенных, кто бы они ни были. Все люди одинаковы, и чья бы страна ни была, все равно.

Л у н ц. Чужие! Страна, государство — не понимаю я этого. Что значит — чужие, государство? Вот это разделение и создает рабов, потому что когда в одном доме грабят, то в другом сидят спокойно, в одном доме убивают, то в другом говорят: это нас не касается. Свои! Чужие! Я вот еврей, у меня своей страны нет — так, значит, я всем чужой? Нет, я всем свой, да... *(Ходит.)* Да!

П е т я. Конечно. Это узость — разбивать землю на какие-то участки.

Л у н ц *(ходит)*. Да. Только и слышишь — свои, чужие! Негры, жиды!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну, вы опять на свое повернули. Как не стыдно! Разве я что-нибудь говорю? Разве я говорю, что Коленька плохо делает? Сама ж я посылала: поезжай, голубчик, поскорее, а то здесь еще больше ты измучишься. Господи, Коля-то да нехорошо,— я о том, что сердце у меня изболелось. Ведь я неделю в такой муке живу, в такой муке... Вы ночь-то спите, а я глаз не смыкаю, все слушаю, слушаю: вьюга да колокол, колокол да вьюга. Плачет, хоронит кого-то... нет, не увижу я Колюшки!

Вьюга, колокол.

П е т я *(ласково)*. Ну, успокойся, мамочка, все обойдется. Он не один там,— почему непременно с ним что-нибудь случится? Успокойся.

Ж и т о в. Не говоря уже о том, что с ним Маруся и Анна Сергеевна с мужем. Все-таки поберегут. Да и так, вы знаете,

как его любят все,— у него теперь свита, как у генерала, даром пропасть не дадут.

Инна Александровна. Знаю, знаю, да что поделаешь! Но только про Марусю вы мне не говорите. Анна — женщина благоразумная, а Маруся — та сама вперед полезет. Знаю ее.

Петя. А ты чего, мама, хотела бы? Чтоб Маруся пряталась?

Инна Александровна. Опять... Да деритесь себе сколько хотите, разве я что говорю? Только не успокаивайте меня: сама знаю, что знаю, не маленькая. Как помоложе была, сама с волками дралась. Вот что!

Житов. С волками? Вот вы какая, не ожидал. Как же это вы так?

Инна Александровна. Да пустяки. Раз ночью зимой ехала одна на лошади, на меня и напали. Отстрелялась. А меня они и дразнят до сих пор.

Житов. А вы и стрелять умеете?

Инна Александровна. Чему, Василий Васильевич, при такой жизни не научишься. Я с Сергеем Николаевичем в Туркестан ездила на экспедицию, так полторы тысячи верст верхом сделала, по-мужски. Мало ли бывало! Тонула раз, два раза горела... *(Тихо.)* Только скажу вам, Василий Васильевич,— нет ничего страшнее в мире, как болезнь детей. Раз, тоже в экспедиции, у Колюшки жаба открылась, но показалось нам сначала, что это дифтерит. Что это было! Ни доктора, ни лекарств, до ближнего жилья верст пятьдесят, а то и больше. Выбежала я из палатки да как брякнулась о землю... вспомнить страшно. Ведь у меня двое детей умерло, вы знаете. Один на седьмом году, Сереженька, другой еще грудным. Анюта раз при смерти была, да что вспоминать... Тяжелая наша материнская доля, Василий Васильевич... Благодарение еще богу, что дети хорошие вышли.

Житов. Да, Николай Сергеевич у вас удивительный человек.

Инна Александровна. Коля-то! Сколько я перевидала людей, а такой души еще не встречала. Вот говорила я — чужое дело, сразу видно, что эгоистка... а Коля: если увидит он, что лев разоряет муравьиную кучу, так он один с голыми руками на льва пойдет. Вот он какой! Что-то там делается! Что-то делается!..

Житов. Если бы мне не так хотелось в Австралию...

Поллак *(входит)*. У вас не найдется, уважаемая Инна Александровна, чашки черного кофе?

Инна Александровна. Как же не найдется? Найдется! Минна! *(Идет.)*

Житов. Ну, как дела, коллега?

Поллак. Хорошо. А вы что же ничего не делаете?

Житов. Погода... Какая тут работа! Да и события такие...

Поллак. А не русская лень?

Житов. Может быть, и лень. Кто знает?

Поллак. Нехорошо, дорогой товарищ. Лунц, вы произвели вычисления, которые поручил вам Сергей Николаевич?

Лунц *(резко)*. Нет.

Поллак. Напрасно.

Лунц. Напрасно, не напрасно, это вас не касается. Вы такой же ассистент, как и я, и не имеете права делать мне замечания. Да.

Поллак *(отворачивается, пожимая плечами)*. Скажите, Житов, чтобы кофе мне подали туда.

Житов. Ладно. А над чем сейчас работает Сергей Николаевич? Я как-то отошел от дела за это время.

Поллак. О, у него такая работа! Я сам могу много работать, но я удивляюсь настойчивости Сергея Николаевича, силе его мозга. Трение, это возмутительное трение, отсутствует в нем, как в наших инструментах. И работает он с правильностью часового механизма: я убежден, что в его вычислениях за тридцать лет нельзя найти ни одной ошибки.

Лунц *(прислушиваясь)*. Он не только работник, он — талант.

Поллак. Совершенно верно. У него числа и цифры — живые и движутся, как солдаты.

Лунц. Вы все сводите к дисциплине. Какая юнкерская поэзия!

Поллак. Без дисциплины нет победы, дорогой Лунц.

Житов. Верно!

Лунц. Я о нем думаю лучше, чем вы. Я думаю, что он видит вечность, видит, как мы вот эти стены. Да!

Поллак. Я не возражаю. У вас нет сведений, кончилась эта революция или нет?

Житов. Какие тут сведения! Слышите, что на дворе делается?

Поллак. Я упустил это обстоятельство из виду.

Петя. По последним газетам...

Поллак. Нет, нет. Вы мне скажите, когда все это кончится. Я не хочу входить в подробности.

Инна Александровна *(входит)*. Нет никого. Выходила сама посмотреть — пустыня.

Поллак. Так я попрошу вас, уважаемая Инна Александровна, дать мне кофе туда.

Инна Александровна. Хорошо, хорошо, работайте. Сейчас работа — это прямо счастье.

Поллак уходит во вторую комнату.

Петя. А я думаю, что бывают минуты, когда работать над чем-нибудь нечестно.

Инна Александровна. Петя, Петя!

Петя. Я не могу! Отчего вы не пускаете меня туда? Я тут с ума схожу, в этой дыре!

Инна Александровна. Петечка, голубчик, ведь тебе восемнадцати лет еще нету.

Петя. Николай в девятнадцать лет в тюрьме уже сидел!

Инна Александровна. Ну что же тут хорошего?

Петя. Он работал!

Инна Александровна. Ах, господи, ну поговори с отцом... как он скажет, так и будет.

Петя. Он говорит: ступай.

Житов. За чем же дело стало?

Петя. Я не знаю, я не могу. Там такая великая борьба, а я... Я не могу, я не могу! *(Уходит.)*

Лунц. Петя опять нервничает. Вы, Инна Александровна, занялись бы им. *(Идет вслед за Петей.)*

Инна Александровна. Ну что же я поделаю? Боже мой, Боже мой!

Житов. Ничего, пройдет.

Инна Александровна. Нежный он такой, совсем как девочка... ну куда ему! И что с ним в эти дни сделалось! А тут еще этот Лунц: нужно бы успокоить, а он...

Житов. Ну, у Лунца у самого, того и гляди, истерика сделается.

Инна Александровна. Вижу уж. Спасибо вы, Василий Васильевич, еще спокойны, а то хоть ложись в гроб да умирай.

Житов. Ну, я-то что. Я всегда спокоен, у меня уж характер такой. Иной раз и рад бы поволноваться, да не выходит.

Инна Александровна. Хороший характер.

Житов. Не знаю. Удобный, конечно, характер. Жаль

вот только, что газет нету: люблю почитать, как люди там волнуются.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А вы знаете, что у Лунца четыре года назад, когда он тут, за границей, еще студентом был, родителей убили? Во время еврейского погрома...

Ж и т о в. Знаю, слыхал.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Он сам об этом никогда не говорит, не выносит. Несчастный молодой человек... я иногда на него без слез смотреть не могу. Опять стучит?

Ж и т о в. Нет.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. В третьем году в такую погоду разносчик к нам попал. Чуть живой. А оттаял — сейчас же торговать начал.

Ж и т о в. Вот и я разносчиком в Австралию пойду.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да ведь вы английского не знаете.

Ж и т о в. Немного знаю. В Калифорнии научился.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну, а я все-таки газеты почитаю. Ни о чем другом думать не могу. И вы бы почитали что-нибудь, Василий Васильевич.

Ж и т о в. Не хочется. Я у камина посижу.

Инна Александровна надевает очки и разбирает газеты; Житов садится у камина. Поллак работает. Вьюга, колокола.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Что-то мой Сергей Николаевич? Я уж его два дня не видала: и пьет и ест там. И входить не велел.

Ж и т о в. М-да.

Пауза.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(читает)*. Какие ужасы! Что это такое пулеметы, Василий Васильевич?

Ж и т о в. Это такая пушка особенная.

Пауза. М и н н а приносит Поллаку кофе.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Взяла бы я сама пулемет, да их бы...

Ж и т о в. М-да. Штука серьезная.

Пауза.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Как воет! Читать нельзя. А мне вас жалко будет, Василий Васильевич, если вы в Австралию уедете. Не ездите, а?

Ж и т о в. Невозможно. Непоседливый я человек. Мне

бы, Инна Александровна, хотелось всю землю кругом ощупать — какая она. Из Австралии я в Индию поеду, я еще тигров на свободе не видал.

Инна Александровна. А зачем они вам понадобились?

Житов. Не знаю. Я, Инна Александровна, смотреть люблю. Как все это вообще. У нас в деревне бугор был, так я, мальчишкой еще, по целым дням сидел, смотрел все. Я и астрономией-то занялся, чтобы смотреть, а вычислять не люблю: не все ли равно, двадцать миллионов миль или тридцать. И разговаривать я тоже не люблю.

Инна Александровна. Ну-ну, не буду. Смотрите себе.

Пауза. Вьюга. Колокол.

Житов *(не оборачиваясь)*. А вы и в Канаду с Сергеем Николаевичем поедете? На затмение?

Инна Александровна. А? В Канаду? Поеду. Как же он без меня?

Житов. Тяжело будет. Далеко.

Инна Александровна. Пустяки. Только бы тут все обошлось. Господи, господи, подумать страшно!

Молчание. Вьюга. Колокол.

Василий Васильевич!

Житов. Что?

Инна Александровна. Вы слышите?

Житов. Нет.

Инна Александровна. Опять что-то показалось.

Пауза.

Василий Васильевич, вы слышите?

Житов. Ну?

Инна Александровна. Выстрел был.

Житов. Откуда тут выстрел? Просто — галлюцинация слуха.

Инна Александровна. А я так ясно слышала.

Пауза. Далекий выстрел.

Житов. Эге! Стреляют!

Инна Александровна *(бежит)*. Минна, Минна! Франц!

Житов медленно поднимается. Второй выстрел, ближе. Быстро проходят Петя и Лунц.

П е т я. Что это?

Л у н ц. Не знаю. Идем!

Житов слушает у окна. Поллак поворачивает голову, смотрит на пустую комнату и снова работает. Где-то хлопает дверь; собачий лай.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(входит)*. Послала людей с Вулканом. Вероятно, кто-нибудь заблудился.

Ж и т о в. А колокол?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ветер оттуда. Вы слышали, как ясны выстрелы?

П о л л а к *(входит)*. Я ничем не могу быть полезен?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Пока нет. Нужно приготовить горячего.

Хлопает снова дверь. Слышен говор. В сопровождении всех входят закутанные и запорошенные снегом А н н а и Т р е й ч и вносят В е р х о в ц е в а.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(на пороге)*. Что это? Анна?

А н н а *(снимая платок)*. Мама, поскорее чего-нибудь горячего. Мы чуть живы. Я боюсь, что Валентин отморозил себе что-нибудь. Скорее! *(В полуобморочном состоянии падает на стул.)*

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(быстро подходит к принесенному)*. Валентин! Что такое?

Т р е й ч. Он ранен.

В е р х о в ц е в *(слабо)*. Не... беспокойтесь, теща, неважно... ноги...

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А это кто?

Т р е й ч. Друг.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(осматривает с диким ужасом вокруг)*. А Коля?

Пауза. Петя со слезами бросается к Инне Александровне.

П е т я. Мамочка, мамочка! Это ничего, ты не пугайся, это ничего.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(слегка отстраняя его, более спокойно)*. А Коля где?

А н н а *(приходя в себя и начиная хлопотать около раненого)*. Ах, мама! Да ничего особенного, он в тюрьме.

Л у н ц. Значит? Постойте, погодите, я ничего не понимаю. Значит?

Инна Александровна. В тюрьме! В какой тюрьме?

Анна. Ну, господи, как этого не понять. Мы бежали, вот и все... и хотим укрыться здесь.

Поллак. Революция кончилась?

Лунц. Но я не понимаю. Неужели?..

Трейч. Да. Мы разбиты.

Пауза.

Анна. Мама, да распорядись же относительно горячего! Воды, коньяку... Вата у вас есть?

Инна Александровна. Сейчас все будет. Минна! *(Идет.)* В тюрьме!..

Житов. А нужно бы позвать Сергея Николаевича.

Инна Александровна. Я пошлю за ним.

Поллак. Расскажите, пожалуйста, как это случилось... господин...

Трейч. Трейч.

Верховцев *(слабо)*. Без Трейча... я бы подох. Анна, да не суетись ты так, я чувствую себя... великолепно.

Анна. Как мы дошли, я не понимаю! Это такой ужас. Мы сегодня с восьми часов в горах. Целый день. Нас чуть не схватили на границе.

Лунц. Я не могу поверить...

Петя. Валя, что у тебя? Тебе больно?

Верховцев. Ноги ободраны... осколком и... голова... немного. Вздор.

Лунц. В вас посылали бомбы?

Верховцев. Буржуа... защищался... недурно.

Анна. Валентин, тебе нельзя говорить. Какой это был ужас, какой это был ужас! Бомбы рвали на клочки, убитых тысячи — десятки тысяч. У ратуши я видела гору трупов.

Инна Александровна *(подходит)*. А Коля? Расскажите мне про Колю.

Анна. В сущности, неизвестно, где он.

Инна Александровна. Что? Ты же сказала...

Петя. И Маруси нет! Вы что-то скрываете. А вот вы говорили, Лунц...

Лунц. Петя, Петя! Да разве я думал! Я не могу поверить...

Анна. Очень нужно скрывать.

Т р е й ч. Успокойтесь, госпожа Терновская. Я убежден, что Николай жив.

А н н а. Вон Трейч расскажет. Он был рядом с Колей на баррикаде.

Т р е й ч. В последний момент, когда баррикада была почти в руках войск, Николая ранили. Он стоял рядом со мной, и я видел, как он упал.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Господи! Опасно? Может быть, убит? Да говорите же!

Т р е й ч. Не думаю, чтобы опасно.

Ф р а н ц *(входит)*. Господин профессор приказали сказать, что сейчас придут.

А н н а. Конечно, чего торопиться!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну-ну! Да говорите же!

Т р е й ч. Кажется, пулевая или картечная рана в плечо. Вначале он был в сознании, но потом впал в беспамятство. Я донес его до переулка, но здесь встретился отряд драгун. Долго я бороться не мог, тем более что я подвергал его опасности расстрела; и я оставил тело им, а сам вернулся к нашим. Теперь, вероятно, он в тюрьме.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(плачет)*. Колюшка, Колюшка! А мы-то сидим и ничего не знаем. Чуяло мое сердце, чуяло. Ну, не опасно, он, скажите? А?

Т р е й ч. Не думаю.

П е т я. А Маруся? Отчего вы ничего не скажете про Марусю? Она убита?

А н н а. Да нет! Валя, хочешь воды с коньяком?

Т р е й ч. Мы видели ее на одну минуту. Она осталась, чтобы разыскать товарища Николая!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ах, Маруська! Молодец, ей-Богу! Так и надо, так и надо. Вот скажите, какая девушка! Как вас,— Трейч... хотите коньяку? На вас лица нет. Выпейте, голубчик. Я бы вас поцеловала, да знаю, что ваш брат этого не любит.

Т р е й ч. Сочту за особенную честь.

Целуются.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ах, ты, Маруська, Маруська! И этот тоже... Минна! *(Выходит.)*

Л у н ц *(почти в безумии)*. Значит, напрасно?

П о л л а к. По-видимому.

Л у н ц. Значит, напрасно вся эта кровь, эти тысячи жертв, эта беспримерная борьба, эта... эта... Проклятье!

Зачем я был здесь? Зачем я не лег там, с моими братьями?

В е р х о в ц е в. Как же... вы хотите, чтобы... буржуа... сразу отдал... свое владычество над землей? Буржуа... не дурак. И лечь еще успеете.

Т р е й ч. Борьба не кончена.

П о л л а к. Вы рабочий, господин Трейч?

Т р е й ч. Рабочий. Кстати: я не сказал госпоже Терновской, так как не хотел тревожить ее напрасно, что Николай, может быть, расстрелян.

П е т я. Расстрелян!

Т р е й ч. Уже по дороге сюда я слыхал, что они расстреливают всех пленных без суда... и раненых также.

П е т я *(вздрагивает и закрывает лицо руками)*. Какой ужас!

Л у н ц. Звери! Они всегда питались человеческой кровью. Они сыты ею по горло.

В е р х о в ц е в. Да... они никогда не были... вегетарианцами.

Л у н ц. Как можете вы шутить.

А н н а. Валя, ведь тебе же нельзя говорить.

В е р х о в ц е в. Это ободранные... ноги приводят меня в такое... настроение. Я замолчу, Анна, я устал. Мне только... интересно взглянуть... на физиономию звездочета.

Т р е й ч. Тише.

Входит И н н а А л е к с а н д р о в н а.

Они борются, и мы, конечно, не можем предписывать им правил борьбы.

Ж и т о в. А вот и Сергей Николаевич.

На верху лестницы показывается С е р г е й Н и к о л а е в и ч и на ходу бросает:

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Что это? Где Николай?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Не пугайся, отец. Он ранен, в тюрьме.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч *(останавливаясь, сверху.)* Разве там еще убивают? Разве там еще есть тюрьмы?

В е р х о в ц е в *(злобно)*. С неба... свалился.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Весеннее ясное утро в горах; небо безоблачно; все залито солнцем. Справа, в глубине, угол здания обсерватории с уходящей вверх башней; середина — двор, по которому проложены асфальтовые дорожки, как в монастырях; двор неровный, опускается вниз, к задней стороне сцены, где низкий каменный забор и ворота. За ним цепь гор, но не выше той, на которой расположена обсерватория. Слева и ближе к авансцене угол дома с каменной верандой над обрывом. Полное отсутствие растительности. Со времени первого действия прошло три недели. Верховцев в кресле на колесах; его возит взад и вперед Анна. Житов сидит у стены — греется на солнце. Все одеты по-весеннему, кроме Житова, который в одном пиджаке.

Житов *(сидит)*. А то дали бы мне, Анна Сергеевна, я бы повозил.

Анна. Нет, уж сидите, никого не люблю утруждать. Тебе хорошо, Валя?

Верховцев. Хорошо, только за каким чертом вертимся мы здесь, как крысы в крысоловке. Поставь меня рядом с Житовым, я тоже хочу запастись энергией от солнца. Так, хорошо. Приятно!

Анна. Отчего вы не работаете, Житов?

Житов. Погода такая. Я, как взыграет весеннее солнце, так уж не могу в комнатах сидеть. Вот погреюсь, погреюсь, да и...

Верховцев. Житов, а вы не турок?

Житов. Нет.

Верховцев. А как вам бы шло: сесть этак да на пупок смотреть, или как там...

Житов. Нет, я не турок.

Верховцев. А я вас понимаю: приятно на солнышке. Жалко Николу: ему этого удовольствия не получить. Я знаю эту Штернбергскую тюрьму: в нее не только солнце не заглядывает, в ней и неба-то не видно. Я в ней только месяц просидел, так и то в какой-то сплошной компресс превратился от сырости. Мерзость!

Анна. Хорошо, что хоть жив. Я была убеждена, что его расстреляли.

Верховцев. Погоди, за этим еще дело не станет. Нужно бы разбудить Маруську, узнать все поскорее.

Житов. Она поздно приехала.

Верховцев. Слыхал. Весь дом пением разбудила. Я даже удивился, кто может петь в этом мавзолее. Подумал, уж не Поллак ли новую звезду открыл.

Житов. Раз поет, значит, все хорошо.

Анна. Я не понимаю этого: петь, когда все спят.

Инна Александровна *(показывается на веранде)*. А Лунц не приходил?

Анна. Нет.

Инна Александровна. Господи, что же это! Его Сергей Николаевич спрашивает,— ну что я скажу? Разбрелись все, как овцы, один Поллак работает. А Марусечка-то вчера — запела! Как я услышала — дух захватило... Ну, думаю...

Верховцев. Разбудите-ка ее, теща.

Инна Александровна. Ни-ни. И не думай. Пусть хоть до вечера спит.

Верховцев. Ну, Шмидта этого.

Инна Александровна. И Шмидта не стану будить. Человек с дороги, такую радость привез, а я ему поспать не дам! Вот вы этого Лунца пришлите, когда вернется. *(Идет и у двери останавливается.)* Солнышко-то греет, Василий Васильевич! Как у нас. Я нынче утром в ящик земли насыпала да редиску посеяла. Пусть растет, кое-кому пригодится! *(Уходит.)*

Верховцев. Энергичная старушка. Редиска, хм!

Пауза.

Анна. Вы думаете о чем-нибудь, Житов, когда вот так уставитесь?

Житов. Нет. Зачем думать? Я так смотрю.

Верховцев. Врете вы. Как можно не думать,— ну, если не думаете, так вспоминаете что-нибудь.

Житов. У меня воспоминаний не бывает. А впрочем... хорошо в Нью-Йорке было: жил я в гостинице на самой шумной ихней улице, и балкон у меня был...

Верховцев. Ну?

Житов. Так вот: хорошо очень было. Сидишь и смотришь: как это они там ходят, ездят. Воздушная дорога. Интересно.

Анна. У американцев высокая культура.

Житов. Нет, я не об этом. А так, интересно очень. *(Пауза.)* А, правда, где Лунц?

Анна. Вчера еще с вечера с Трейчем ушел в горы.

Верховцев. На исследования?

Житов. Исследования?

Верховцев. Трейч всегда что-нибудь исследует. Он уже, наверное, исследовал ваш храм Урании и решил, что он может быть превосходным складом для оружия. Теперь он исследует горы: вероятно, ищет места для оружейного завода.

Анна. Трейч — фантазер.

Верховцев. Ну, не совсем. В его фантазиях есть

странная черта. При всем иногда явном безумии они как-то осуществляются. Вообще любопытный малый. Говорит немного, а пропагандировать никто так не умеет, как он. Выражаясь вашим астрономическим языком,— он луну заставит разгореться, как солнце. Откуда его Николай вытащил, не знаю.

Петя *(входит)*. Добрый день.

Верховцев. Что это ты, Петушок, такой хмурый?

Петя. Так.

Анна. Ты знаешь? Николай в тюрьме.

Петя. Знаю, мне мама говорила.

Анна. Я не понимаю; отчего ты киснешь. Точно уксуса напился — противно смотреть.

Петя. И не смотри.

Житов. Петя, поедемте со мной в Австралию.

Петя. Зачем?

Анна. Ты, как маленькие дети, все — зачем, зачем. Его вчера в горы зовут, а он: «зачем?». А зачем ты ешь?

Петя. Не знаю. Отстань от меня, Анна.

Верховцев. Не могу сказать, чтобы ты был чрезмерно вежлив, мой друг. А вот и наши!

Показываются забрызганные грязью Трейч и Лунц.

Лунц, вас звездочет спрашивал. Держитесь, влетит вам теперь.

Лунц. А ну его к... Виноват, Анна Сергеевна.

Анна. Можете. Я не из нежных дочерей и присоединяюсь к вашему пожеланию.

Петя. Как это пóшло!

Верховцев. Ну, как погуляли, Трейч? Нашли что-нибудь?

Трейч. Местность хорошая.

Анна. А вы знаете, что Маруся ночью приехала?

Трейч *(делая шаг вперед)*. Ну?! Николай? Николай?

Верховцев. Расстрелян. Повешен. Колесован.

Анна. Да нет — жив, жив!

За окном музыка и пение Маруси.

Маруся. «Сижу за решеткой в темнице сырой — вскормленный на воле орел молодой...».

Трейч. Он в тюрьме? Спасен?

Маруся. «Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном...».

Верховцев *(поет)*. «Клюет — и бросает, и смот-

рит в окно, как будто со мною задумал одно.— Зовет меня взглядом и криком своим — и вымолвить хочет: давай улетим».

М а р у с я *(выходит, страстно)*. «Мы вольные птицы! Пора, брат, пора — туда, где за тучей белеет гора,— туда, где синеют морские края,— туда, где гуляют — лишь ветер да я!»

Т р е й ч. Маруся!

А н н а. Какой неуместный концерт!

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(идет сзади, утирая глаза)*. Орлятки вы мои...

В е р х о в ц е в. Вы, теща, произносите совершенно так же, как: цыплятки вы мои...

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да и цыплятки: вон ты как ощипан, хоть сейчас в суп.

М а р у с я. Анна, здравствуйте! *(Трейчу.)* Вам — поцелуй!

Т р е й ч *(быстро закрывает рукой глаза и тотчас отнимает руку)*. Я счастлив.

М а р у с я. И всем, и всем. Тебе, инвалид, тоже.

В е р х о в ц е в. Да ты видела его?

М а р у с я. Давай улетим!

Л у н ц. Это даже нехорошо. Все так хотят знать...

М а р у с я. И видела, и все... Да... вот этот господин... это Шмидт, позвольте представить. Это удивительный господин. Пока он так, служит в банке, но со временем окажет массу услуг для революции. Он страшно похож на шпиона, и он так помог мне... Кланяйтесь, Шмидт.

Ш м и д т. Я очень рад. Добрый день.

М а р у с я. Петя, милый мальчик, отчего ты такой грустный?

В е р х о в ц е в. Это, Маруся, выражаясь скромно,— свинство.

М а р у с я. Ну-ну, калека, не сердись. Разве можно сегодня сердиться? Ну, он в Штернбергской тюрьме...

Г о л о с а. Знаем.

— Знаем.

М а р у с я. Ну — и хотели его расстрелять.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Господи, Колю-то?!

М а р у с я. Успокойтесь, мамочка, ничего этого не будет. А я — графиня Мориц. Родовитая ужасно, но только родовые поместья мои там. *(Обводит рукой по воздуху.)* А они злы, но страшно глупы.

В е р х о в ц е в. Да, есть-таки.

М а р у с я. Труднее всего было узнать, где он. Они

скрывают имена захваченных, чтобы иметь возможность тихонько без суда — расправиться с ними. Но тут помог мне Шмидт. Шмидт, кланяйтесь.

Входит Сергей Николаевич. Он в потертом пальто и маленькой меховой шапочке; приветствуют его почтительно, но холодно.

Инна Александровна. Отец, ты послушай, что Маруся рассказывает. Они его расстрелять хотели!

Маруся. Так вот. Долго рассказывать. Одним словом, я грозила, умоляла, ссылаясь на общественное мнение Европы, на ученый авторитет его отца,— и расправа отложена. И я была в тюрьме...

Верховцев. Ну, как он?

Маруся *(затуманиваясь)*. Он... немного грустен, но это пройдет, конечно.

Инна Александровна. А рана?

Маруся. Это пустяки. Уже зарубцевалась, он ведь такой крепкий. Но что это за камера: это подвал, погреб, болото — я не знаю, как назвать.

Верховцев. Знаю, сиживал.

Маруся. Но я подняла такой шум, что его обещали перевести в лучшую. Вам, Сергей Николаевич, он крепко жмет руку, желает успеха в работе и вообще очень интересуется, как у вас...

Анна. В таком положении — и думать о пустяках.

Сергей Николаевич. Милый мальчик! Я очень благодарен ему.

Анна. Как великодушно!

Лунц. Но как же вы-то сами? Как вас не схватили?

Маруся. Меня и схватили солдаты — в тот день. Но я так плакала, я так безумно рыдала о больной бабушке, которая ждет меня из магазина, что меня отпустили. Один, правда, слегка ударил прикладом...

Лунц. Какая гнусность!

Маруся. А у меня под юбкой знамя было. Наше знамя.

Верховцев. Оно цело?

Маруся. Я приколола его английскими булавками — но какое оно тяжелое! Я привезла его сюда. В этот раз оно заменяло Шмидту фуфайку. Вообще, если бы Шмидт не был такого маленького роста...

Верховцев. Он был бы большого. Отчего ты не принесла его сюда? Взглянул бы... Наше знамя! Черт возьми, а?

М а р у с я. Нет, я разверну его, когда мы снова пойдем в битву. Трейч, вы знаете, кто предал нас?

Т р е й ч. Знаю.

Ш м и д т. Изменников и предателей нужно карать смертью.

Маруся смеется. Трейч слегка улыбается.

В е р х о в ц е в. Какой вы, однако, кровожадный, господин Шмидт.

Ш м и д т. Можно убивать электричеством, тогда без крови.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну, а Колюшка-то!

М а р у с я. Николай? Ну слушайте. Здесь нет никого? Прислуга у вас? Ну хорошо. Так вот — бежать.

Т р е й ч. Я поеду с вами.

М а р у с я. Нет, Трейч, Коля велел вам оставаться здесь. Вы знаете, как вас ищут.

Т р е й ч. Это не имеет значения.

М а р у с я. Да и не нужно: я уже все устроила, все готово, а вы здесь, Трейч, на границе, займетесь кое-чем. Нужны только деньги — много денег; вместе с Колей бегут один солдат и смотритель. И, конечно, он приедет сюда — это само собой. И я сегодня же еду,— нельзя терять ни минуты.

В е р х о в ц е в. Ловко, Маруся!

М а р у с я. Голубчик, я так счастлива!

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(смотрит на Сергея Николаевича)*. Деньги?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч *(смотрит на Инну Александровну)*. А у нас есть деньги? Инна, ты заведуешь этим делом.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(смущенно)*. Только те три тысячи...

М а р у с я. Нужно пять.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да и те... *(Смотрит на Сергея Николаевича, тот молча кивает головой; радостно.)* Ну, вот три тысячи и есть. Слава Богу!

Ж и т о в *(конфузясь)*. Можно собрать. Вот у меня есть двести рублей.

Л у н ц. Поллак — богатый человек, очень богатый.

А н н а. Неприятно к нему обращаться. Он такой сухарь.

В е р х о в ц е в. Пустое. Вот таких и нужно обдирать! Петя, позови-ка сюда Поллака... скажи — важно, а то не пойдет.

Маруся. Ну вот, главное сделано, деньги есть. *(Поет.)* «Зовет меня взглядом и криком своим — и вымолвить хочет: давай улетим!» Трейч, мне надо с вами поговорить. Какой вы грязный! Где вы были?

Уходят.

Лунц. Какая девушка! Это — солнце! Это вихрь огненных сил! Это Юдифь!

Анна. Да, слишком много огня. Революция не нуждается в ваших вихрях и взрывах — это, если хотите знать, ремесло, в которое нужно вносить терпение, настойчивость и спокойствие. А эти вихри...

Лунц. И для революции нужен талант.

Анна. Не знаю. Люди уж очень злоупотребляют этим словом — талант. На канате хорошо ломается — талант. На звезды всю жизнь смотрит...

Верховцев. Да. А как у вас, уважаемый звездочет, обстоят дела на небе?

Сергей Николаевич. Хорошо. А у вас на земле?

Верховцев. Довольно скверно, как видите. На земле всегда скверно, уважаемый звездочет, всегда кто-нибудь кого-нибудь душит; кто-то плачет, кто-то кого-то предает... Ноги вот болят. Нам далеко до гармонии небесных сфер.

Сергей Николаевич. Там не всегда гармония. Там также бывают катастрофы.

Верховцев. Очень жаль... значит, и на небо надежда потеряна. А вы о чем задумались, господин... господин... Шмидт?

Шмидт. Я думаю, что всякий человек должен быть сильным.

Верховцев. Ого! А вы сильны?

Шмидт. К сожалению, нет. Природа при рождении лишила меня некоторых свойств, которые составляют силу. Я очень боюсь крови и...

Верховцев. И пауков? Кстати: вы платье готовое покупаете или на заказ?

Поллак *(подходит)*. Чем могу служить? Добрый день, господа!

Верховцев. Вот что, Поллак: нужны две тысячи... не скажу, чтобы взаймы, потому что едва ли вам их кто отдаст...

Поллак. А для какой надобности, смею спросить?

Верховцев. Надо устроить бегство Николая Сергеевича. Можете дать?

Поллак. С удовольствием.

Верховцев. Он...

Поллак. Нет, нет, прошу без подробностей. Уважаемый Сергей Николаевич, могу я сегодня воспользоваться вашим рефрактором?

Сергей Николаевич. Пожалуйста. Сегодня у меня праздник.

Поллак уходит, кланяясь.

Верховцев. Вот это ученый. Хорош, Сергей Николаевич?

Сергей Николаевич. Он очень способный.

Анна *(вообще)*. А для чего существует астрономия?

Верховцев. Для календарей, должно быть.

Маруся и Трейч подходят.

Маруся. Так вы сделаете это, Трейч... На вас нападают, Сергей Николаевич? Анна так ненавидит астрономию, как будто это ее личный враг.

Сергей Николаевич. Я уже привык к этому, Маруся.

Анна. У меня нет личных врагов, вы это хорошо знаете. А астрономию я не люблю потому, что не понимаю, как люди могут столько времени глазеть на небо, когда на земле все устроено так плохо.

Житов. Астрономия — торжество разума.

Анна. По-моему, разум больше бы торжествовал, если бы на земле не было голодных.

Маруся. Какие горы! Какое солнце! Как вы можете говорить, спорить, когда так светит солнце!

Лунц. Вы как будто против науки, Анна Сергеевна!

Анна. Не против науки, а против ученых, которые науку делают предлогом, чтобы уклониться от общественных обязанностей.

Шмидт. Человек должен говорить: «я хочу», обязанность — это рабство.

Инна Александровна. Не люблю я этих разговоров, и охота людям себе кровь портить. Василий Васильевич... да подымитесь же! Вот что *(отводит его к веранде)*: вы денег-то своих не давайте. Хватит. Поллак — очень великодушный молодой человек и, в случае чего... *(Смеется.)* А все-таки — астролябия.

Житов. Как же теперь ваша экспедиция в Канаду, Инна Александровна? Деньги-то?

Инна Александровна. Ну, достану! Год еще

впереди. Я ловка денег доставать. А вы вот что, Василий Васильевич, прошу вас, как друга: нападать они будут на моего старика,— рады, что он молчит,— так вы уж постойте за него, хорошо?

Житов. Хорошо.

Инна Александровна. А я пойду. Нужно Колюшке белье приготовить, так хлопот много... *(Уходит.)*

Сергей Николаевич *(продолжает)*. Я очень люблю хорошие разговоры. Во всех речах я вижу искорки света, и это так красиво, как Млечный Путь. Очень жаль, что люди большею частью говорят о пустяках.

Анна. Красивыми словами люди часто отделываются от работы.

Верховцев. Вот вы очень спокойный человек, Сергей Николаевич, вы даже неспособны, кажется, обижаться,— а случалось ли вам когда-нибудь плакать? Я, конечно, беру не тот счастливый возраст, когда вы путешествовали без штанов, а вот теперь?..

Сергей Николаевич. О да! Я очень слезлив.

Верховцев. Вот как!

Сергей Николаевич. Когда я увидел комету Биелу, предсказанную Галлеем, я заплакал.

Верховцев. Причина уважительная, хотя для меня и не совсем понятная. А вы ее понимаете, господа?

Лунц. Да, конечно. Ведь Галлей мог ошибаться.

Верховцев. Что же, тогда нужно было бы рвать волосы от отчаяния?

Маруся. Вы преувеличиваете, Валентин.

Анна. А когда сына чуть не расстреляли, он остался совершенно спокоен.

Сергей Николаевич. В мире каждую секунду умирает по человеку, а во всей вселенной, вероятно, каждую секунду разрушается целый мир. Как же я могу плакать и приходить в отчаяние из-за смерти одного человека?

Верховцев. Так. Шмидт, не правда ли, это очень сильно, как раз по-вашему? Так что, если Николаю не удастся бежать, и его...

Сергей Николаевич. Конечно, это будет очень грустно, но...

Маруся. Не шутите так, Сергей Николаевич. Мне больно, когда я слышу такие шутки.

Сергей Николаевич. Да я и не шучу, милая Маруся. Вообще я никогда не умел шутить, хотя очень люблю, когда шутят другие, например Валентин.

Верховцев. Благодарю вас.

Ж и т о в. Это правда, Сергей Николаевич никогда не шутит.

М а р у с я *(затуманиваясь)*. Тем хуже.

В е р х о в ц е в. Что значит — заткнуть уши астрономической ватой! Хорошо, спокойно. Пусть весь мир взвоет, как собака...

Л у н ц. Когда молодой Будда увидел голодную тигрицу, он отдал ей себя, да. Он не сказал: я бог, я занят важными делами, а ты только голодный зверь,— он отдал ей себя!

С е р г е й   Н и к о л а е в и ч. Вы видите надпись *(показывая на фронтон обсерватории):* Haec domus Uraniae est. Curae procul este profanae. Temnitur hic humilis tellus. Hinc ITUR AD ASTRO. Это значит: это храм Урании. Прочь, суетные заботы! Попирается здесь низменная земля — отсюда идут к звездам.

В е р х о в ц е в. Да. Но что вы разумеете под суетными заботами, уважаемый звездочет? Вот у меня ноги содраны до кости осколком... это тоже, по-вашему, суетная забота?

А н н а. Конечно.

С е р г е й   Н и к о л а е в и ч. Да. Смерть, несправедливость, несчастья, все черные тени земли — вот суетные заботы.

В е р х о в ц е в. Значит, явись завтра новый Наполеон, новый деспот, и зажми весь мир в железном кулаке — это тоже будет суетная забота?

С е р г е й   Н и к о л а е в и ч. Да... Я так думаю.

В е р х о в ц е в *(обводит всех взглядом и грубо смеется)*. Так вот оно что!

А н н а. Это возмутительно! Это какие-то боги, которые предоставляют людям страдать, как им угодно, а сами...

М а р у с я. Трейч, почему вы ничего не возразите?

Т р е й ч. Я слушаю.

В е р х о в ц е в. Так может говорить только тот, кто живет на содержании у правительства и в полной безопасности сидит на своей крыше.

С е р г е й   Н и к о л а е в и ч *(слегка краснея)*. Не всегда в безопасности, Валентин. Галилей умер в темнице. Джордано Бруно погиб на костре. Путь к звездам всегда орошен кровью.

В е р х о в ц е в. Мало ли что было... Христиан тоже преследовали, а это не помешало им, в свою очередь, поджаривать на углях невинных астрономов.

А н н а. У отца даже свои мощи есть, и он держит их за железными дверьми.

С е р г е й   Н и к о л а е в и ч. Анна! Это нехорошо.

Верховцев. Это еще что за чепуха?

Анна. Кусок кирпича от какой-то развалины,— обсерватория развалилась,— да клочки подлинной рукописи.

Маруся. Анна! Как это неприятно! Коля не позволил бы себе так говорить...

Анна. Николай слишком деликатен. Это его недостаток.

Подходит Петя и, незамеченный, молча становится у стены.

Верховцев *(раздраженно)*. Оттого-то нас и бьют на каждом шагу...

Маруся. Не надо! Не надо! Трейч, да что же вы!..

Трейч *(сдержанно)*. Надо идти вперед. Здесь говорили о поражениях, но их нет. Я знаю только победы. Земля — это воск в руках человека. Надо мять, давить — творить новые формы... Но надо идти вперед. Если встретится стена — ее надо разрушить. Если встретится гора — ее надо срыть. Если встретится пропасть — ее надо перелететь. Если нет крыльев — их надо сделать!

Верховцев. Хорошо, Трейч! Надо сделать!

Маруся. Я уже чувствую крылья!

Трейч *(сдержанно)*. Но надо идти вперед. Если земля будет расступаться под ногами, нужно скрепить ее — железом. Если она начнет распадаться на части, нужно слить ее — огнем. Если небо станет валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его — так! *(Отбрасывает.)*

Верховцев. У-ах! Так!

Некоторые невольно повторяют позу Трейча — Атланта, поддерживающего мир.

Трейч. Но надо идти вперед, пока светит солнце.

Лунц. Оно погаснет, Трейч!

Трейч. Тогда нужно зажечь новое.

Верховцев. Да, да. Говорите!

Трейч. И пока оно будет гореть, всегда и вечно,— надо идти вперед. Товарищи, солнце ведь тоже рабочий!

Верховцев. Вот это — астрономия! Ах, черт!

Лунц. Вперед, всегда и вечно.

Верховцев. Вперед! Ах, черт!

Все в возбуждении разбиваются на группы.

Лунц *(волнуясь)*. Господа, я прошу... это нельзя так оставить. А убитые! Нет, господа, не только те, кто муже-

ственно боролся и погиб за свободу, а вот эти... жертвы. Ведь их миллиарды, ведь они же не виноваты... А их убили!

Молчание.

Маруся *(звонко кричит)*. Клянусь перед вами, горы! Клянусь перед тобою, солнце: я освобожу Николая!.. У этих гор есть эхо?

Лунц. Здесь нет. Но если бы было, оно ответило бы, как в сказке: да!

Анна *(Житову)*. Как это сентиментально. Я не понимаю Валентина...

Житов. Нет, ничего. Знаете, я погожу ехать в Австралию: мне тоже захотелось повидать Николая Сергеевича.

Маруся *(глядя в небо)*. Как хочется лететь!

Верховцев. Вот это — астрономия. Ну, как, звездочет, нравятся вам такие астрономы?

Сергей Николаевич. Да. Нравятся. Его фамилия, кажется, Трейч?

Верховцев. Он такой же Трейч, как я — Бисмарк. Сам черт не знает, как его зовут по-настоящему.

Лунц *(перебегая от одной группы к другой)*. Я счастлив, я так счастлив. Вы знаете... мои родители — они убиты. И сестра. Я не хотел, я никогда не хотел говорить об этом... Зачем говорить? — думал я. Пусть останется глубоко-глубоко в душе и пусть я один только знаю. А теперь... Вы знаете, как они были убиты? Трейч, вы понимаете меня? Я никогда не хотел...

Петя *(Житову)*. Зачем все это?

Житов. Нет, приятно.

Петя. Зачем, когда все это умрет, и вы, и я, и горы. Зачем?

Все разбились на группы. Сергей Николаевич стоит один.

Верховцев *(Марусе, в восторге)*. Повесить мало Трейча. Ну и откопал Николай. Ну, Маруська, ведь убежит, а?

Маруся *(затуманиваясь)*. Я другого боюсь...

Верховцев. Чего еще?

Маруся. Но — не стоит говорить. Пустое.

Верховцев. Да в чем дело? О чем ты задумалась?

Маруся *(не отвечает; потом неожиданно смеется и поет)*. Давай улетим!

Инна Александровна *(высовывается в окно)*. Орлятки! Обедать!

В е р х о в ц е в. Цып-цып-цып!

М а р у с я. Будем пить шампанское! Мамочка, есть?

Г о л о с а. Да, да. Шампанское.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Шампанского нет, а киршвассер есть.

Смех, восклицания.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч *(отводит Марусю).* Ну, Маруся, я пойду к себе. Я не хочу вам мешать.

М а р у с я *(холодно).* Нет, отчего же. Сегодня так весело.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Да. И я хотел устроить себе маленький праздник ради вашего приезда, но — не вышло.

М а р у с я. Пообедайте с нами.

Л у н ц *(кричит).* Нужно притащить Поллака. Он порядочный человек, он очень хороший человек. Я иду за ним.

Г о л о с а. Поллака!

— Поллака!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Нет, обедайте без меня.

М а р у с я. Как жаль! Инна Александровна будет очень огорчена.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Скажите ей, что я работаю. Перед отъездом вы зайдете ко мне, Маруся? *(Никем не замеченный, уходит.)*

М а р у с я. Шмидт, где вы? Вы будете моим кавалером. Нам еще с вами столько дела. Господа, не правда ли, как он похож на шпиона?

А н н а. Маруся становится неприлична.

М а р у с я. Вы знаете: мне нужно было переночевать у него, а он говорит: нельзя,— я живу в тихом немецком семействе и дал обещание не водить к себе женщин и собак.

Ш м и д т. И чтоб никто не ночевал. И у меня стоит диван, обитый новым шелком, и они каждый вечер смотрят, не лежит ли на нем какой-нибудь человек. Ужасные люди!

В е р х о в ц е в. А вы бы уехали, Шмидт, какого черта!

Ш м и д т. Нельзя. Они берут плату вперед.

А н н а. А вы бы не давали!

Ш м и д т. Нельзя, они...

Л у н ц *(ведет Поллака, кричит).* Вот он! Насилу оторвал. Присосался к рефрактору, как пиявка!

П о л л а к. Господа, это насилие. У меня там не кончено...

М а р у с я. Поллак, милый Поллак! Сегодня так весело!

И вы такой хороший человек, такой милый, вас так любят все.

П о л л а к. Это очень приятно слышать, но я не знаю, отчего вам так весело? Революция кончилась не в вашу пользу.

В е р х о в ц е в. Мы придумали новый план. Мы...

П о л л а к *(отмахивается рукой)*. Да, да. Я верю, я верю вам.

М а р у с я. Мы выпьем за астрономию. Да здравствует орбита!

П о л л а к. Я не могу, к сожалению, принимать алкоголя: он причиняет мне головную боль и тошноту.

В е р х о в ц е в. Лучший напиток для Поллака — машинное масло. Поллак, вы будете пить масло?

М а р у с я. Нет. Мы киршвассеру выпьем. Самого чистого киршвассеру!

Л у н ц. Идем, товарищ. Вы хороший, честный человек.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(высовываясь)*. Да идите же! Что же это, не дозовешься!

М а р у с я. Сейчас, мамочка, сейчас. Вот Поллак упирается. Что же, господа, неужели мы так и пойдем? Житов, вы умеете петь?

Ж и т о в. Подтягивать могу.

Л у н ц. Марсельезу!

М а р у с я. Нет, нет. Марсельезу, как и знамя, нужно беречь для боя.

Т р е й ч. Я согласен. Есть песни, которые можно петь только в храме.

В е р х о в ц е в. Повеселей что-нибудь! Эх, как греет солнце!

А н н а. Валя, не раскрывай ног.

М а р у с я *(запевает)*. Небо так ясно,— солнце прекрасно,— солнце зовет...

Все, кроме Пети, подхватывают.

В веселой работе — чужды заботе,— братья, вперед.
Слава веселому солнцу! Солнце — рабочий земли!
Слава веселому солнцу! Солнце — рабочий земли!

В е р х о в ц е в. Да поживей, Аня! Ты везешь меня, как покойника.

В с е *(поют. Поллак серьезно и сдержанно дирижирует)*.
Грозы и бури — ясной лазури — не победят.
Под бури покровом, в мраке грозовом — молньи горят!

Слава могучему солнцу! Солнце — властитель земли!..

Последние слова песни повторяются за углом дома. Петя остается один и угрюмо смотрит вслед ушедшим.

Все *(за сценой)*. Слава могучему солнцу! Солнце — властитель земли!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Большая темная комната, нечто вроде гостиной. Мебели мало, ничего мягкого, два книжных шкапа, пианино. Задняя стена: дверь и два большие итальянские окна выходят на веранду. Окна и дверь открыты, и видно темное, почти черное небо, усеянное необыкновенно яркими мигающими звездами. В углу у стены, ближе к авансцене, стол, на нем под темным абажуром лампа. За столом Инна Александровна читает газеты. Анна что-то шьет. Лунц ходит взад и вперед. У одного из шкапов Верховцев на костылях, достает книгу. Глубокая тишина, какая бывает только в горах. Молчание продолжается некоторое время после открытия занавеса.

Верховцев *(бормочет)*. А, черт!

Инна Александровна. Валя, ты читал, что президент отказал Кассовскому в помиловании?

Верховцев. Читал.

Инна Александровна. Что же это такое, а?

Верховцев. Расстреляют.

Инна Александровна. Докуда же это будет, господи? Неужели и так мало жертв?

Верховцев *(несет книгу под мышкой, роняет)*. А, чтоб тебя черт... Анна, подними.

Анна *(медленно встает)*. Сейчас.

Лунц молча поднимает книгу, кладет на стол и продолжает ходить.

Верховцев *(неловко садится, перелистывает книгу; Анне)*. Неужели тебе не надоест ковырять?

Анна. Нужно же что-нибудь делать.

Верховцев. Читала бы.

Анна не отвечает. Молчание.

Верховцев. Нет, не могу. Какая дьявольская тишина, как в гробу! Еще неделя такая, и я брошусь в пропасть, запью, побью Поллака.

Лунц *(нервно)*. Ужасная тишина! Точно осуществился

сон Байрона: солнце погасло, все уже умерло на земле, и мы — последние люди. Ужасная тишина!

Верховцев. Житов, вы что там делаете?

Житов *(с веранды)*. Смотрю.

Верховцев *(презрительно)*. «Смотрю»!

Молчание.

Не могу я без работы!

Анна. Что же поделаешь, надо терпеть.

Верховцев. Терпи ты, если хочешь, а я... Черт! *(Читает.)*

Инна Александровна *(сидит, задумавшись)*. Сереженьке теперь было бы двадцать один год уж... Красивый он был мальчик, на Колю похож был... Анюта, ты его помнишь?

Анна. Нет.

Инна Александровна. А я так помню... Ты, Анюта, била его, ты злая была маленькая. И как скрутило быстро — в три дня. Воспаление слепой кишки — у такого-то крошки! Как стали резать ему животик, так, поверите ли, Иосиф Абрамович...

Верховцев. Да ну вас, ей-Богу! Весь вечер сегодня все о покойниках. Ну, умер и умер, и хорошо сделал, что умер. Житов, идите сюда разговаривать!

Житов. Сейчас.

Лунц. Какая тоска!

Верховцев. А что Маруся-то пишет, Инна Александровна?

Инна Александровна *(со вздохом)*. Пишет много, да толку не добьешься. Обещает через неделю, а там опять что-нибудь задержало, а там опять через неделю. Вот и во вчерашнем письме то же...

Верховцев. Знаю, знаю, я думал, нет ли чего нового.

Инна Александровна. Уж не заболел ли Колюшка?

Верховцев. Так и заболел уж! Скажите еще: умер.

Лунц. Она тогда мертвого его украдет и привезет.

Инна Александровна. Да что вы? Что вы говорите-то, подумайте!

Житов *(входит)*. Ну, о чем говорить?

Верховцев. Садитесь. Вы что там делаете?

Житов. На звезды смотрел. Какие они сегодня красивые и беспокойные.

Входит Петя. Вообще в течение действия он несколько раз проходит сцену.

Л у н ц. А я сегодня не могу смотреть на звезды. Я не знаю, куда бы от них ушел, я спрятался бы в подвал, но и там я буду их чувствовать. Понимаете: как будто нет расстояний. Как будто все эти громады, живые и мертвые, столпились над землей и приближаются к ней, и что-то такое в них есть... Я не знаю. *(Ходит, продолжая жестикулировать.)*

Ж и т о в. Атмосфера тут очень чистая. Вот в Калифорнии...

В е р х о в ц е в. А вы были в Калифорнии?

Ж и т о в. Был. Вот в Калифорнии, на обсерватории Лика, так, правда, иногда жутко смотреть.

П е т я. Мама, откуда у вас в кухне эта старуха?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Какая? А, эта-то? Пришла, я и велела ее приютить. Снизу она, из долины. Нищенка, что ли, глухая, у нее не поймешь.

П е т я. Как же она взошла на гору? Как она могла?

В е р х о в ц е в. Вам бы тут, теща, богадельню устроить.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А что ты думаешь? Может быть, и устрою, если Сергей Николаевич согласится. Ты почитал бы...

П е т я *(настойчиво)*. Мама, как она взошла?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да не знаю, голубчик. Ты почитал бы, что Марусечка о голодных детках пишет: мамочка, хлебца хочу,— ну и пошла мать за хлебом, и уж как она его там достала — и говорить не стоит... Пришла, а девочка-то уже мертвая.

А н н а. Благотворительностью ничего не сделаешь.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Что же, так пусть и умирают?

П е т я. Пусть умирают. Иосиф, вы что-то грустны сегодня?

Л у н ц. Да, Петя, у меня очень тяжелые мысли. Это такая ночь, я не знаю, какая это ночь. Это ночь призраков. Вы смотрели сегодня на звезды?

П е т я. А мне вот весело! *(Бренчит что-то дикое на рояле.)*

В е р х о в ц е в. Оставь!

П е т я *(играет и поет)*. Как мне весело!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да ну, Петечка, оставь же!

Петя громко захлопывает крышку рояля и выходит на веранду. Молчание.

Л у н ц. А Трейч скоро вернется?

В е р х о в ц е в. Не вышло... значит, сегодня или завтра. Житов, что вы все молчите?

Ж и т о в. Так. Не хочется говорить что-то.

Л у н ц. У меня такие тяжелые мысли! Такие тяжелые мысли! Так можно убить себя.

В е р х о в ц е в. Пустое. Среди астрономов нет самоубийц.

Л у н ц. Я плохой астроном. Очень, очень плохой.

А н н а. Тем и лучше, вот и займитесь чем-нибудь дельным.

Л у н ц. Я сегодня боюсь звезд. Я думаю: какие они огромные, какие они равнодушные и как им нет никакого дела до меня, и я становлюсь такой маленький, такой жалкий — как, знаете, цыпленок, который во время еврейского погрома спрятался куда-нибудь, сидит и ничего не понимает.

П е т я входит.

В е р х о в ц е в. Звезды — и еврейский погром... Странная комбинация.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(предостерегающе кивает головой Верховцеву)*. Это оттого, Иосиф Абрамович, что у всех нас нервы развинтились. Ведь подумать только: уже полтора месяца, как уехала Маруся, а ничего нет. Я сама, на что ко всему привычный человек, а и то вздрагивать начала.

Л у н ц. Летает пух, звенят стекла, а он сидит — и что он думает?

В е р х о в ц е в. Ничего не думает. Думает, что снег идет.

Л у н ц. Меня пугает бесконечность. Какая бесконечность? Зачем бесконечность? Вот я смотрю на звезды: одна, десять, миллион — и все нет конца. Боже мой, кому же я жаловаться буду?

В е р х о в ц е в. А зачем жаловаться?

Л у н ц. Вот я, маленький еврей... *(Ходит, продолжая жестикулировать.)*

П о л л а к *(входит)*. Добрый вечер. Я могу, господа, посидеть с вами? Я не помешаю?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Конечно, нет. Пожалуйста.

П о л л а к. Магнитная стрелка очень колеблется, Лунц. Завтра нужно наблюдать солнце.

Лунц что-то бормочет.

Вам я уж не говорю, Житов,— вы, по-видимому, окончательно бросили занятия. Вы уезжаете?

Ж и т о в. Да. Послезавтра.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Что это? Ведь вы же,

Василий Васильевич, хотели подождать Колюшку? Как же это вы так? сразу?

Житов. Да нет уже. Надо ехать. Засиделся.

Верховцев. Вот будет тощища, как вы уедете. Пошлите вы к черту эту Зеландию.

Житов. Нет, надо.

Анна. А вы что же не работаете, господин Поллак?

Поллак. Сегодня я мечтаю, уважаемая Анна Сергеевна. Сегодня мне исполнилось тридцать два года, и именно в эту минуту. Я родился вечером, в десять часов тридцать семь минут. Вычитая разницу во времени, получается *(смотрит на часы)* как раз десять часов шестнадцать минут.

Верховцев. Поздравляю.

Поллак. Благодарю вас. И я сегодня немного мечтаю. В мои тридцать два года я уже сделал довольно много для науки, и мое имя... Впрочем, я не буду входить в подробности. И я уже имею право устраивать личную жизнь.

Верховцев. Да неужели вы женитесь? Вот так штука!

Поллак. Да, вы угадали. Я женюсь.

Инна Александровна. И хорошо делаете, голубчик. Только бы жена попалась хорошая.

Поллак. Моя невеста в этом году оканчивает курс в университете, и скоро, уважаемая Инна Александровна, ваше уютное жилище перестанет считать меня своим членом.

Инна Александровна. Вот какой тихоня! И както вы ни разу не проговорились.

Петя *(резко)*. Я тоже женюсь. У меня тоже есть невеста. Красавица!

Поллак. Да? Вы шутите?

Инна Александровна. Петя!

Петя хохочет и уходит на веранду.

Анна. Что это с ним? Как распустился!

Инна Александровна. И не знаю. С того дня, как вы приехали, прямо узнать нельзя. Иосиф Абрамович, вы ближе с Петей, не знаете, что с ним такое? Беспокоюсь я.

Лунц. С Петей? Он хороший мальчик, честный мальчик. И у него тоже тяжелые мысли.

Поллак. Итак, продолжайте, господа... Я сегодня немного нервно настроен и с удовольствием послушаю вашу беседу.

Лунц *(бормочет)*. Звезды, звезды...

П о л л а к. Что вы хотите рассказать нам о звездах, дорогой Лунц?

Л у н ц. Вот и тогда они светили где-то над тучами, когда мы сидели, и ждали, и думали, что там уже полная победа, и теперь они светят... Можно с ума сойти...

В е р х о в ц е в. Работать, работать надо, а тут сидишь как на цепи, в этом чертовом гробу. Эх! *(Ковыляет по комнате к окну, смотрит некоторое время и возвращается обратно.)* Кажется, Трейч вернулся.

П о л л а к. Мне очень нравится господин Трейч. Это очень серьезный человек.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Значит, опять ничего?

В е р х о в ц е в *(грубо)*. А вы чего ждали? Ведь вам уже писали, что ничего.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Господи, господи! Колюшка мой, Колюшка! Не дождусь я тебя, голубчика, чует мое сердце. *(Тихо плачет.)*

Т р е й ч *(входит, здоровается со всеми и усаживается)*. Добрый вечер!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Устали, голубчик. Поесть не хотите?

Т р е й ч. Благодарю вас, я кушал дорогой.

В е р х о в ц е в. Что нового?

Т р е й ч. Много арестов. О том, что Занько повешен, вы, конечно, знаете?

Г о л о с а. Разве?

— Занько?

— Нет. Когда же это?

В е р х о в ц е в. Бедный малый! Ну, как он?..

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Такой молодой!.. Ведь это он был здесь с Колюшкой в прошлом году? Такой черненький, с усиками.

А н н а. Да, он.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Руку мне поцеловал... Такой молодой... Мать у него есть?

А н н а. Ах, мама!.. Не знаете, Трейч, не проговорился он?

Т р е й ч. Он храбро встретил смерть, хотя с ним поступили подло. Он просил, чтобы при казни присутствовал его защитник: у него нет родных, и он имел на это право. Ему обещали и обманули его, и в последнюю минуту он видел только лица палачей и звезды. Его казнили вечером.

Л у н ц. Звезды, звезды!

Молчание.

Т р е й ч. В Тернахе солдаты убили около двухсот рабочих. Много женщин и детей. В Штернбергском округе голод. Утверждают, что были случаи поедания трупов.

В е р х о в ц е в. Вы черный вестник, Трейч.

Т р е й ч. В Польше начались еврейские погромы.

Л у н ц. Что? Опять?

П о л л а к. Какое варварство! Какие глупые люди!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну, может быть, еще только слухи. Много говорят...

В е р х о в ц е в. Ну, а наши? А наши?

Т р е й ч *(пожимает плечами)*. Завтра я иду туда.

А н н а. Ну, и вас повесят. Больше ничего. Нужно выждать.

В е р х о в ц е в. И я с вами! К черту!

А н н а. Куда же ты с такими ногами пойдешь? Одумайся, Валентин, ты не ребенок.

В е р х о в ц е в. А!..

Т р е й ч. А как ваши ноги, Валентин?

Верховцев машет рукой.

А н н а. Плохо.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А про Колюшку — ничего?

Т р е й ч. В назначенный час на месте никого не было, и я понял, что дело отложено. Я сам теряюсь в догадках. Завтра я иду туда.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Бог вам в помощь, голубчик. Благословляю вас, как сына.

Трейч целует у нее руку.

П о л л а к *(Житову)*. Скажите пожалуйста — рабочий, а как воспитан. Я удивлен.

Ж и т о в. М-да.

П о л л а к. И мне очень нравится, что он рассказывает так ясно и коротко.

Л у н ц *(кричит)*. Вы слышали?

А н н а. Что с вами? Как вы кричите! Испугали...

Л у н ц. Опять! Опять убивают отцов и матерей, опять рвут детей на части. О, я почувствовал это, я понял это сегодня, когда взглянул на эти проклятые звезды!

П о л л а к. Дорогой Лунц, успокойтесь.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Зачем вы сказали это, Трейч!

Т р е й ч. Это ничего.

Л у н ц. Нет, я не успокоюсь, я не хочу успокаиваться!

Я довольно был спокоен. Я был спокоен, когда убили мать, и отца, и сестру. Я был спокоен, когда там, на баррикадах, убивали моих братьев. О, я долго был спокоен! Я и теперь спокоен. Разве я не спокоен? Трейч!.. Значит, все... напрасно?

Трейч. Нет. Мы победим.

Лунц. Трейч, я любил науку. Поллак, я любил науку. Когда еще был маленький, такой маленький, что меня били все мальчики на улице, я уже тогда любил науку. Меня били, а я думал: вот я вырасту и стану знаменитым ученым, и буду честью моей семьи — моего дорогого отца, который отдавал мне последние гроши, моей дорогой мамы, которая плакала надо мной... О, как я любил науку!

Поллак. Мне очень жаль вас, Лунц. Я уважаю вас.

Лунц. Когда я не ел, когда я не пил, когда я, как собака, бродил по улицам, ища корки хлеба,— я думал о науке. И тогда, когда убили моего отца, и мать, и сестру, я плакал, рвал волосы и думал о науке. Вот как я любил науку! А теперь... *(Тихо.)* Я ненавижу науку. *(Кричит.)* Не надо науки! Долой науку!

Поллак. Лунц, Лунц, как мне жаль...

Анна. Лунц, возьмите себя в руки. Нельзя же так, ведь это истерия.

Лунц. Ага, истерия! Пусть истерия, и я спокоен, и вы напрасно думаете, что я не спокоен. Я не хочу науки. Я уйду отсюда. Я уйду отсюда. Вы слышите?

Трейч. Пойдемте со мной.

Лунц. Да, я пойду с вами. Я не хочу науки. Проклятые звезды. Опять, опять! Ведь я слышу, как они там кричат! Вы не слышите, а я слышу! И я вижу — всех, всех, кого жгли, убивали, рвали на части. Били за то, что среди нас родился Христос, что среди нас были пророки и Маркс. Я вижу их. Они смотрят на меня в окно, холодные, истерзанные трупы, они стоят над моей головой, когда я сплю, они спрашивают меня: и ты будешь заниматься наукой, Лунц? Нет! Нет!

Инна Александровна. Голубчик ты мой, помоги тебе Бог.

Лунц. Да, Бог. Я еврей, и я зову еврейского Бога! Боже отмщений, господи Боже отмщений! Яви себя! Восстань! Судия земли, воздай возмездие гордым! Боже отмщений! Господи Боже отмщений! Яви себя!

Верховцев. Месть палачам!

Лунц молча грозит кулаком и выходит.

Трейч, каков?

П о л л а к. Какой несчастный юноша! Это так тяжело, если человек любит науку и ему нельзя ей служить. Мне было так весело, а когда он говорил, я заплакал, уважаемая Инна Александровна.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. И не говорите. Сердце у меня разрывается. Когда этому конец будет, господи! Проживешь, а светлых дней так и не увидишь. Жизнь!

Ж и т о в. Да, тяжело.

Трейч отводит Верховцева в сторону и, предостерегающе показав на Инну Александровну, шепчет ему что-то. При первых словах Верховцев отдергивает голову и громко говорит.

В е р х о в ц е в. Не может быть! Нико...

Т р е й ч. Тсс!

Шепчутся.

П о л л а к. Нужно уповать на Бога, уважаемая Инна Александровна, но не Бога отмщения, о котором говорил этот несчастный юноша, а Бога милосердия и любви.

Ж и т о в. Да, боги бывают разные, какой кому нужен.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ах, дети, дети! Горе с вами великое!

Входит С е р г е й Н и к о л а е в и ч, здоровается.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. И вы здесь, Поллак?

П о л л а к. Сегодня день моего рождения, уважаемый Сергей Николаевич.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Поздравляю вас. *(Жмет руку.)*

П о л л а к. И сегодня я имел честь объявить собравшимся господам о моей помолвке с девицей Фанни Эрстрем.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Так вот вы какой счастливец!

П о л л а к. Да. Теперь у меня будет спутник, уважаемый Сергей Николаевич. *(Хохочет.)*

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Еще раз поздравляю. А скажите, относительно Николая нет ничего нового?

Т р е й ч. По-видимому, бегство отложено.

В е р х о в ц е в. А что на земле делается, почтенный звездочет, если б вы слыхали!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. А что? Опять какие-нибудь несчастья?

В е р х о в ц е в. Да — суетные заботы. *(Склонив голову*

набок.) Вот смотрю я так на вас и думаю: есть у вас хоть какие-нибудь друзья, или вы так — один и один?

Сергей Николаевич *(показывает на Инну Александровну).* Вот мой друг.

Инна Александровна. Не конфузь меня, Сергей Николаевич. Разве тебе такой друг нужен?

Верховцев. Ну, положим. А еще?

Сергей Николаевич. Есть и еще. Но, представьте, я их никогда не видал. Один живет в Южной Африке, у него обсерватория, другой — в Бразилии, а третий — не знаю где.

Верховцев. Пропал?

Сергей Николаевич. Он умер лет полтораста назад. А еще один есть, того я совсем не знаю, хотя очень люблю — так этот еще не родился. Он должен родиться приблизительно через семьсот пятьдесят лет, и я уже поручил ему проверить кое-какие мои наблюдения.

Верховцев. И уверены, что он сделает?

Сергей Николаевич. Да.

Верховцев. Странная коллекция. Вам бы ее в какой-нибудь музей пожертвовать! Не правда ли, Трейч?

Трейч. Мне нравятся друзья господина Терновского.

Быстро входит Петя и оглядывается.

Петя. А Лунц где? Все тут? Хорошо. А Лунц?

Инна Александровна. Он у себя, Петя, пойди к нему, поговори, он так взволнован сегодня.

Петя. Пожалуйста, господа, посидите здесь. Я хочу устроить маленькое празднество, сегодня такой день.

Поллак. Уж не фейерверк ли? О, хитрый Петя. Но это уж слишком, хотя, конечно, день такой...

Петя. Я сейчас. *(Уходит.)*

Сергей Николаевич *(прохаживается медленно).* Вы не знаете, Поллак, каков барометр сегодня?

Поллак. Довольно низко, уважаемый Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич. Это чувствуется.

Поллак. В связи с колебанием стрелки надо думать, что в южных широтах — циклон.

Сергей Николаевич. Да. Беспокойно.

Анна *(Инне Александровне).* Наверное, Петя задумал какую-нибудь гадость. Напрасно вы поощряете его, мама.

Инна Александровна. Что же я с ним поделаю? Ты сама видишь, что с ним...

В е р х о в ц е в *(идет с Трейчем к столу)*. Какая тут у вас дьявольская тишина: точно в могиле.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Разве? А мне здесь внизу кажется несколько шумно.

Т р е й ч *(Верховцеву)*. Да, вот еще: если я не вернусь, вы скажете ей, что...

В е р х о в ц е в. Понимаю! Фу, духота какая!

А н н а. А по мне, скорее холодно.

В е р х о в ц е в. Духота, холодно — все один черт. Если я тут поживу еще неделю...

П о л л а к. А не устроить ли нам, господа, более или менее правильную беседу, в которой все могли бы принимать участие? Председателем мы изберем...

Л у н ц *(входит)*. Меня звали? Вы звали меня, Сергей Николаевич?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Нет.

Л у н ц. Что же Петя сказал мне? *(Хочет уйти.)*

П о л л а к. Посидите с нами, дорогой Лунц. Теперь, когда вы несколько успокоились, я хочу сказать вам, что я не согласен с вами относительно науки.

Л у н ц. Ах, оставьте! Сергей Николаевич, я должен вам сказать: я оставляю обсерваторию.

Голос Пети за дверью: «Пажи! Шире дорогу герцогине!»

П о л л а к *(смеется)*. Ах, это Петя! Какой забавный мальчик! Слушайте, слушайте!

Распахиваются двери. Входят П е т я и с т а р у х а. Она перегнулась пополам, под прямым почти углом, и еле идет — ужасный образ нищеты, старости и горя. Петя, взяв ее за руку, выступает торжественно, как в опере. У дверей улыбающиеся физиономии М и н н ы, Ф р а н ц а и еще кого-то из прислуги.

П е т я. Позвольте представить, господа, вот моя невеста — прелестная Эллен.

В е р х о в ц е в *(грубо смеется)*. Вот дурак!

А н н а. Я говорила!

П о л л а к *(встает)*. Это насмешка! Я не позволю насмехаться над моей невестой!

П е т я *(громко)*. Прелестная Эллен, поклонитесь собранию!

Старуха кланяется.

П о л л а к. Я протестую! Это оскорбление!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Он шутит, Петечка, нехорошо, не нужно шутить над старым человеком.

Л у н ц. Нет, это не шутка! Я понимаю. О, я понимаю!

П е т я. Так. Теперь поговорим, прелестная Эллен. Вам сколько лет?

Старуха молчит и трясет головой.

Вы сказали, семнадцать? Вам семнадцать лет, очаровательная девица. Герцог, ваш отец, и герцогиня, ваша мать, согласны на наш брак?

Старуха молчит и трясет головой.

П о л л а к. Глубокоуважаемый Сергей Николаевич! Меня оскорбляют в вашем доме...

Л у н ц *(бешено)*. Да что вы лезете? Кому вы нужны с вашей идиотской невестой.

П о л л а к. Господин Лунц, вы ответите!

Л у н ц. Звезды, проклятые звезды!

П е т я. Как я счастлив, прелестная Эллен! Вы слышите запах роз? Вы слышите, как заливается в саду соловей? — Это о нашей любви поет он, прелестная Эллен.

Л у н ц. Проклятые звезды!

П е т я. Ваш благоухающий ротик, прелестная Эллен...

Л у н ц. Да, да...

П е т я. ...ваши жемчужные зубки...

Л у н ц. Да, да!

П е т я. ...ваши нежные щечки — я влюблен в вас безумно, прелестная Эллен! Зачем так скромно потупили вы очаровательные глазки ваши?

Л у н ц. Позор! И вам не стыдно, Поллак? Наука! А это вы видите? Это моя мать, это моя мать...

П о л л а к. Я не понимаю...

П е т я. Выпрямьте ваш стройный стан и гордо объявите себя моей женой, очаровательная Эллен! В ваших объятиях найдет вечный покой мое беспокойное сердце!

Старуха трясет головой.

А н н а. Их всех надо в сумасшедший дом.

В е р х о в ц е в *(с испугом)*. Анна, молчи!

П о л л а к. Это такое...

Л у н ц. Молчи, буржуй, а не то... Это моя мать. *(К старухе.)* Старая женщина! *(Отталкивает Петю.)* Послушайте меня, старая женщина, вот стою я перед вами на коленях, маленький еврей. Вы — моя мать, и дайте же, дайте, я поцелую вашу руку...

П е т я *(кричит)*. Это моя невеста!

Л у н ц. Это моя мать, оставьте ее...

А н н а. Дайте воды!

Л у н ц. Старая женщина! Простите меня: я любил науку, глупый еврей... жид!..

В е р х о в ц е в *(Трейчу)*. Нужно что-нибудь сделать!

Т р е й ч. Ничего.

Л у н ц. Я люблю только вас, милая, старая женщина. Возьмите мою голову и сердце мое возьмите. Проклятые звезды! Проклятые звезды!

Т р е й ч. Вы идете со мной, Лунц.

П е т я *(кричит)*. Это моя невеста!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Господи! Петюшка! С ним дурно!

А н н а. Воды!

Л у н ц. Я иду с вами. И клянусь Богом...

В е р х о в ц е в. Да замолчите вы!

Петя бьется в припадке. Все, кроме Трейча, бросаются к нему; Сергей Николаевич делает шаг, но останавливается и глядит на Лунца.

Л у н ц *(стоя на коленях)*. Старая женщина! Вы видите, я плачу, старая женщина, я — маленький еврей, который любил науку. Вы — моя мать, вы — мать моя, и, клянусь перед Богом, всю жизнь мою я отдам вам, моя милая, моя старая женщина. Я плачу... Проклятые звезды!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В правом углу сцены купол обсерватории в разрезе, одной третью своей уходящий за кулисы. Вокруг купола галерейка с чугунной прозрачной решеткой. Низ сцены — часть какой-то крыши, примыкающей к главному зданию обсерватории, и еле намеченные контуры гор. Все же остальное — одно огромное пространство ночного неба. Созвездия. Внутри купола очень темно; налево смутно уходят очертания огромного рефрактора; два стола, на них лампы с темными, непрозрачными колпаками. Створы купола раскрыты, и в них проглядывает звездное небо. Лестница вниз также в разрезе. Тишина, тихий стук метронома. С е р г е й Н и к о л а е в и ч, П е т я и П о л л а к.

П о л л а к. Итак, уважаемый Сергей Николаевич, вы будете любезны наблюдать за камерой. Я ухожу, необходимо окончить таблицы.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Работайте, работайте! До свиданья!

Поллак *(обращаясь к Пете)*. Ну, как мы себя чувствуем сегодня, юный жрец богини Урании?

Петя. Хорошо. Благодарю вас.

Поллак. И мы уже больше не будем насмехаться над бедным Поллаком, которому так хочется жениться?

Петя. Честное слово, я не хотел...

Поллак. Я знаю, знаю...

Сергей Николаевич. Он уже тогда был нездоров.

Поллак. Я шучу, уважаемый Сергей Николаевич. Вообще я должен с удивлением отметить, что открыл в себе огромные запасы юмора. Когда сегодня Франц разлил молоко, я сказал ему: Франц, вы оставляете за собой млечный путь,— и он очень смеялся. *(Хохочет.)* Но я не буду входить в подробности. До свидания. *(Уходит.)*

Петя. Какой смешной этот Поллак! Папа, я тебе не помешаю, если останусь здесь?

Сергей Николаевич. Нет, дружок.

Петя. Мне не хочется вниз. Теперь там так скучно. Ты знаешь, Житов вчера прислал телеграмму из Каира: «Сижу и смотрю на пирамиды». А ты видал пирамиды?

Сергей Николаевич. Видал. Я боюсь, дружок, что маме одной будет тяжело.

Петя. Сейчас она уже спит. А днем я с ней много бываю. Она все толкует, папа, о Коле.

Сергей Николаевич. Да ведь ничего не известно. От Анны нет известий?

Петя. Нет. Она не любит писать письма. Конечно, ничего еще не известно, я все время твержу это маме, но ты знаешь, как трудно говорить с женщинами... Ну, я не буду мешать тебе. Ты тоже будешь вычислять?

Сергей Николаевич. Да. Немного. Я что-то устал.

Петя. А я почитаю... Да, папа, вчера я в журнале прочел, что ты совершил какое-то громадное открытие относительно туманностей и что это ставит тебя наряду...

Сергей Николаевич. Это открытие, дружок, я совершил уже десять лет тому назад. Астрономическая слава приходит поздно — нами интересуются мало.

Петя. И я не знал!

Сергей Николаевич. Мы по-прежнему остаемся обособленными, как египетские жрецы, хотя и против воли.

Петя. Как это глупо! Папочка, а почему ты, когда я был болен, велел положить меня сюда? Ведь я, наверное, мешал тебе.

Сергей Николаевич. Нет. Но когда что-нибудь

становится мне очень мило, мне хочется поднять его сюда. У меня, Петя, смешное убеждение, что здесь не может быть страданий, болезни. Тут — звезды.

Петя. Раз ночью я проснулся и увидел тебя: ты смотрел на звезды. Было тихо, и ты смотрел на звезды. И вот тогда я что-то понял... Нет, почувствовал. Не знаю — что, я не умею объяснить. Как будто в мире мы одни: ты, звезды и я... или как будто мы уже умерли. И от этого не было страшно, а спокойно, как-то хорошо — чисто. Мне теперь так хочется жить — отчего это? Ведь я по-прежнему не понимаю, зачем жизнь, зачем старость и смерть? — а мне все равно. Ну, работай, работай, я не буду входить в подробности, как говорит Поллак.

Сергей Николаевич *(задумчиво)*. Да. Человек думает только о своей жизни и о своей смерти — и от этого ему так страшно жить и так скучно, как блохе, заблудившейся в склепе... Чтобы заполнить страшную пустоту, он много выдумывает, красиво и сильно, но и в вымыслах — он говорит только о своей смерти, только о своей жизни, и страх его растет. И становится он похож на содержателя музея из восковых фигур,— да, на содержателя музея из восковых фигур. Днем он болтает с посетителями и берет с них деньги, а ночью — одинокий — он бродит с ужасом среди смертей, неживого, бездушного. Если бы он знал, что всюду жизнь!

Петя. Ты знаешь, папа, чего я первый раз испугался? Я увидел стул в пустой комнате, самый простой стул — и вдруг мне стало так страшно, что я закричал.

Сергей Николаевич. Его мысль рождена птицей — могучей и свободной царицей пространств, а он связал ей крылья и посадил ее в птичник — с проволочными, бесстыдно лгущими стенами. И небо сквозь сетку дразнит ее, и она ссорится с другими птицами, тупеет, становится глупой — вместо того чтоб летать.

Петя. Бедная царица!

Сергей Николаевич. Да, все живет. И когда поймет это человек, ему станет радостно жить, как греку, как язычнику. Явятся снова дриады и нимфы, и эльфы запляшут в лунном свете. Человек будет ходить по лесу и разговаривать с деревьями и цветами. Он никогда не будет один, ибо все живет: и металл, и камень, и дерево.

Петя *(смеется)*. Ты очень смешной, папа.

Сергей Николаевич. Да? Разве?

Петя. Ты вежлив со стульями. Нет, это правда, и ты вежлив с предметами. Когда ты берешь что-нибудь в руки, ты делаешь это как-то вежливо. Я не умею объяснить. Ты

очень рассеянный, а ходишь так ловко, что никогда ничего не зацепишь, не толкнешь, не уронишь. Когда стулья, шкапы, стаканы собираются ночью, как у Андерсена, и начинают разговаривать, они, вероятно, очень хвалят тебя.

Сергей Николаевич. Да? Это мне нравится, что стулья разговаривают.

Петя. А что тут делается, когда ты уходишь? Вероятно, все поет?

Сергей Николаевич. Оно и при мне поет.

Петя. Труба басом, да?

Сергей Николаевич. А ты слышишь, мой мальчик, что поют звезды?

Петя. Нет.

Сергей Николаевич. Они поют, и песнь их таинственна, как вечность. Кто хоть раз услышит их голос, идущий из глубины бесконечных пространств, тот становится сыном вечности! Сын вечности! — да, Петя, так когда-нибудь назовется человек.

Петя *(смеется)*. Папочка, не сердись: неужели и Поллак — сын вечности?

Сергей Николаевич. Может быть.

Петя. Но он такой нелепый, такой узкий... Ну, ну, я не буду. Сажусь. Какой у тебя здесь воздух — в комнатах такого никогда не бывает. Ты все думаешь?

Сергей Николаевич. Да.

Петя. Ну, думай. Кончено, читаю.

Молчание.

Сегодня ровно три недели, как уехал Лунц.

Сергей Николаевич. Да?

Молчание. Петя читает. Сергей Николаевич выходит из задумчивости и медленно придвигает к себе работу. Работает.

Петя. Первые ночи, когда у меня был жар, я очень боялся рефрактора. Он двигался по кругу за звездой, и когда я снова открывал глаза, он уже успевал немного передвинуться. И мне казалось — не знаю — как будто это один огромный черный глаз... в сюртуке и с фалдочками.

Молчание. Сергей Николаевич откладывает работу и думает, опершись подбородком на руку.

Сергей Николаевич. Петя, ты знаешь, какие стихи написал астроном Тихо Браге по поводу одного инструмента. Это был параллактический инструмент, которым

пользовался Коперник во всех своих работах и который сделал он сам из трех деревянных жердочек, ужасно плохой инструмент: у арабов были лучше. Так вот послушай:

«Тот, солнцу кто сказал: «Сойди с небес и стой»,
Кто землю на небо, луну на землю вскинул,
И, весь перевернув порядок мировой,
Скреп мира не расторг нигде и не раздвинул,
А проще не в пример представил и стройней
Нам твердь, знакомую по опыту очей,—
Тот муж, Коперник сам, кого я разумею,
Вот эти палочки в простой сложив прибор
И им осуществив столь дерзкую затею,
Законы наложил на весь небес простор,
Светила горния во славе их теченья
Кусочкам дерева ничтожным подчинил,
К самим проник богам, куда со дня творенья
Рок смертным всем почти дорогу возбранил.
Каких преодолеть преград не может разум!
Нагроможденные когда-то Пелион
И Осса с Этною, Олимп с другими разом
Горами многими вотще со всех сторон —
Свидетели тому, что силой тела дикой
Гиганты мощные, но слабые умом,
Не досягнули звезд. Он, он один, великий,
Искавший помощи лишь в разуме своем,
Не мышцы крепкие, а тоненькие жерди
Орудием избрав,— возвысился до тверди.
Каких могучих здесь произведенье дум!
Хотя по существу в нем стоимости мало,
Но золото само, когда б имело ум,
Такому дереву завидовать бы стало!..»

Молчание. Внизу музыка — несколько нерешительных и грустных аккордов: «Сижу за решеткой... в темнице сырой...»

Петя *(вскакивает)*. Что это, музыка? Кто же это — там только мама!

Сергей Николаевич *(обернувшись)*. Да. Не Маруся ли?

Петя *(кричит)*. Маруська приехала! Я сейчас, сейчас!.. *(Бежит вниз.)*

Сергей Николаевич *(повторяет)*. «...Но золото само, когда б имело ум, такому дереву завидовать бы стало!..»

Длительное молчание. На лестнице показываются Маруся и Петя.

Маруся. Не плачь. Что плакать? Пойди к маме.

Петя плачет, сдерживая рыдания.

Пойди, пойди, она одна. Поддержи ее — ты мужчина.

Петя. А ты?

Маруся. Я ничего. Ступай. *(Целует его в голову; расходятся.)*

Сергей Николаевич. Маруся, милая! Как я рад, что вы приехали. Вы не верите в то, что я могу чувствовать что-нибудь, а я сегодня весь день чувствовал ваш приезд.

Маруся. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вы работаете?

Сергей Николаевич. А что Николай? Он бежал?

Маруся. Да. Он ушел из тюрьмы.

Сергей Николаевич. Он здесь?

Маруся. Нет.

Сергей Николаевич. Но он в безопасности, Маруся?

Маруся. Да.

Сергей Николаевич. Бедная Маруся! Как вы устали, вероятно. Сегодня весь день я думаю о вас и о нем,— о вас и о нем. О вас я говорить не смею, но вы — как музыка, Маруся! Я так рад! Позвольте мне поцеловать вашу руку — вашу нежную ручку, которая так много поработала над железными замками и решетками. *(Церемонно целует руку.)* Садитесь, рассказывайте.

Маруся *(показывая на галерею)*. Пойдем туда.

Сергей Николаевич. Я так рад. Я возьму для вас стул — вы так устали, Маруся.

Выходят.

Ну, садитесь. Здесь, правда, хорошо?

Маруся. Да. Очень хорошо.

Сергей Николаевич. А я сидел здесь с Петей. Он такой милый мальчик! Он в последнее время напоминает мне Николая...

Маруся. Да.

Сергей Николаевич. Но в Пете много женственного, слабого, иногда я беспокоюсь за него. А Николай — он такой энергичный, такой смелый. Как в нем все гармонично и стройно, как нежно и сильно! Это прекрасный образец человека мужественного, редкая, красивая форма, которую природа разбивает, чтобы не было повторений.

Маруся. Да. Разбивает. Я хотела сказать...

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Он пленителен, как юный Бог, в нем какие-то чары, против которых нельзя устоять. Ведь его, Маруся, так любят все, даже Анна,— даже Анна. И он так красив! Вам, Маруся, покажется это нелепо: он напоминает мне звездное небо перед зарею.

М а р у с я. Да. Звездное небо перед зарею.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Он не мог не бежать, я был уверен в этом. Тюрьма! Что такое тюрьма — эти ржавые замки́ и трухлявые глупые решетки. Я удивляюсь, как они могли так долго держать его: они должны были улыбнуться и дать ему дорогу, как молодому счастливому принцу!

М а р у с я *(падая на колени, с тоской)*. Отец, отец, какой это ужас!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Что, что с вами, Маруся?

М а р у с я. Разбита прекрасная форма! Отец, разбита, разбита прекрасная форма!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Он умер! Да говори же!

М а р у с я. Он... Его покинул разум.

Молчание.

М а р у с я *(вскакивает)*. Что же это! Проклятая жизнь! Где же Бог этой жизни, куда он смотрит? Проклятая жизнь! Изойти слезами, умереть, уйти! Зачем жить, когда лучшие погибают, когда — разбита прекрасная форма! Ты понимаешь это, отец? Нет оправдания жизни — нет ей оправдания.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Расскажи мне все.

М а р у с я. Зачем? Разве можно э т о рассказать? Чтобы рассказать, нужно понять,— а разве это можно понять?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Расскажи.

М а р у с я. Он был моим знаменем. Когда варвары бросили его в тюрьму, я думала: но ведь это варвары, а он — солнце. Я думала: вот сейчас поднимутся все, кто любит его, и разрушат тюрьму,— и снова засияет мое солнце. Мое солнце!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Как это случилось?

М а р у с я. Как гаснет звезда? Как умирает птица в неволе? Перестал петь, стал бледен и грустен,— но успокаивал меня. Раз только сказал: я не могу понять железной решетки. Что такое железная решетка,— она между мною и небом.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Между мною и небом.

М а р у с я. А тут их избили. Да, да. Они подняли бунт в тюрьме. В их камеры ворвались тюремщики и били их —

по одному. Били руками, ногами, их топтали, уродовали лица. Долго, ужасно их били — тупые, холодные звери. Не пощадили они и твоего сына: когда я увидела его, его лицо было ужасно. Милое, прекрасное лицо, которое улыбалось всему миру! Разорвали ему рот, уста, которые никогда не произносили слова лжи; чуть не вырвали гла́за — гла́за, который видел только прекрасное. Ты понимаешь это, отец? Ты можешь это оправдать?

Сергей Николаевич. Говори.

Маруся. И уже тут в нем проснулась эта страшная смертельная тоска. Он никого не упрекал, он защищал предо мною тюремщиков — своих убийц,— но в его глазах росла эта черная тоска: душа его умирала. И все еще успокаивал меня, все еще утешал. И раз только сказал: всю тоску мира ношу я в душе.

Сергей Николаевич. Дальше.

Маруся. Стал забываться. Потом умолк. Молча выходил ко мне — молчал, пока я говорила, и молча уходил. Глаза у него стали огромные, черные, как будто из них смотрела тоска всего мира — и такой красоты я не видала, отец! А когда сегодня я пришла на свидание, он был уже в больнице. Когда вчера вели его на прогулку, он хотел броситься с лестницы, в пролет, но его удержали. Потом — безумие, горячечная рубашка — и все.

Сергей Николаевич. Ты видела его?

Маруся. Я видела его. Но об этом я не стану говорить. Я не могу. Разбита прекрасная форма!

Сергей Николаевич. Они всегда избивали своих пророков!

Маруся. Отец! Как же можно жить среди тех, кто избивает своих пророков? Куда мне уйти, я не могу больше. Я не могу смотреть на лицо человека — мне страшно! Лицо человека — это так ужасно: лицо человека. Я выплакала мои слезы — та же тоска впереди — смертельная, последняя тоска. Ты видишь: я спокойна. Как много звезд!

Пауза.

Сергей Николаевич. А Инна знает?

Маруся. Да.

Сергей Николаевич. Что говорят врачи?

Маруся. Они говорят: идиот.

Сергей Николаевич. Николай — идиот?

Маруся. Да. Он будет долго жить. Он станет равнодушен, он будет много пить, есть, потолстеет, он проживет долго. Он будет счастлив.

Сергей Николаевич. Николай — идиот! Как трудно это представить. Этот прекрасный человек, этот гармоничный, светлый дух погружен во тьму, в скучный, бедный, еле колышащийся хаос. Он некрасив теперь, Маруся?

Маруся *(с горечью)*. Да, он некрасив. А тебя это беспокоит?

Сергей Николаевич. Я рад, что ты так спокойна, я не думал, что ты так сильна.

Маруся. Уж месяц я переживаю изо дня в день эту муку. Я привыкла. Что, отец, привычка: это, должно быть, тоже что-то вроде сумасшествия?

Сергей Николаевич. Что же ты хочешь делать теперь?

Маруся. Не знаю, я еще не думала об этом. Как-то стыдно, отец, над свежей могилой думать о своей — новой жизни. Даже собаке нужно время, чтобы привыкнуть к потере щенка.

Сергей Николаевич. Николая я устрою, ему теперь не много надо. А ты, Маруся, больше не ходи к нему. Совсем не ходи.

Маруся. Нет, я буду ходить!

Сергей Николаевич. Это кощунство. Это такое же кощунство, как оставить в своей комнате труп. Трупы надо сжигать на огне.

Маруся. Я и труп оставила бы у себя в комнате.

Сергей Николаевич. Зачем?

Маруся. Ты знаешь прелестную Эллен? Я беру ее с собой.

Сергей Николаевич. Против кого это?

Маруся. Не знаю. Против тебя.

Сергей Николаевич. Против меня?

Маруся. Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду делать. Я построю город и поселю в нем всех старых, как прелестная Эллен, всех убогих, калек, сумасшедших, слепых. Там будут глухонемые от рождения и идиоты, там будут изъеденные язвами, разбитые параличом. Там будут убийцы...

Сергей Николаевич. Мне жаль тебя, Маруся.

Маруся. Там будут предатели и лжецы и существа, подобные людям, но более ужасные, чем звери. И домá будут такие же, как жители: кривые, горбатые, слепые, изъязвленные; дома-убийцы, предатели. Они будут падать на головы тех, кто в них поселится, они будут лгать и душить мягко. И у нас будут постоянные убийства, голод и плач;

и царем города я поставлю Иуду и назову город: «К звездам!»

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Бедная Маруся, мне жаль тебя!

М а р у с я. Оставь! Ты не жалеешь сына.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. У меня нет детей. Для меня одинаковы все люди.

М а р у с я. Как это бездушно! Нет, я не пойму тебя.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Это оттого, что я думаю обо всем. Я думаю о прошлом и о будущем, и о земле, и о тех звездах — обо всем. И в тумане прошлого я вижу мириады погибших; и в тумане будущего я вижу мириады тех, кто погибнет; и я вижу космос, и я вижу везде торжествующую безбрежную жизнь — и я не могу плакать об одном!

На лестнице показываются П е т я и И н н а А л е к с а н д р о в н а. Она идет с трудом, и Петя ее поддерживает. Медленно проходят через купол.

И н н а А л е к с а н д р о в н а *(бросается к мужу)*. Колюшка наш, Колюшка!

П е т я. Мамочка, мамочка! Не плачь!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Колюшка!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч *(усаживает ее, выпрямляется, кричит)*. Отняли сына! Безумцы! Слепцы, на себя поднимающие руку!

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ничего... отец, проживем. Колюшка мой, Колюшка...

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Если бы солнце висело ниже, они погасили бы солнце,— чтобы издохнуть во мраке. Отняли сына! Отняли сына! Свет отняли! *(Топает ногой.)*

Петя и Маруся, плача, становятся на колени и ласкают Инну Александровну. Сергей Николаевич отходит на несколько шагов и возвращается.

М а р у с я. Прости меня, отец.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Не надо плакать, не надо. У нас есть мысль. У нас есть мысль. Да помоги же ты!.. Да, должно быть, я стар.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Колюшка!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Это ничего. Жизнь, жизнь везде. Сейчас, в эту минуту — да, в эту минуту! — родится кто-то — такой же, как Николай, лучше, чем он,— у природы нет повторений.

М а р у с я. Родится для безумия, для гибели! Родится для того, чтобы так же плакала над ним мать! Ты это хочешь сказать?

Сергей Николаевич. Мать? Да. Да. Он погибнет, Маруся. Как садовник, жизнь срезает лучшие цветы,— но их благоуханием полна земля... Взгляни туда, в этот беспредельный простор, в этот неиссякаемый океан творческих сил. Взгляни туда! Там тихо,— но если бы ты могла слышать сквозь пространство и видеть сквозь вечность, ты, может быть, умерла бы от ужаса, а быть может — сгорела бы от восторга. С холодным бешенством, покорные железной силе тяготения, несутся в пространстве по своим путям бесконечные миры,— и над всеми ими господствует один великий, один бессмертный дух.

Маруся *(вставая)*. Не говори мне о Боге!

Сергей Николаевич. Я говорю о существе, подобном нам, о том, кто так же страдает, и так же мыслит и так же ищет, как и мы. Я его не знаю — но я люблю его, как друга, как товарища. В тот миг, как при случайной встрече двух неведомых сил загорелась первая жизнь — маленькая, крохотная жизнь амебы, протоплазмы,— уже в этот миг все эти сверкающие громады нашли своего господина. Это мы — те, кто здесь, и те, кто там. Великий простор небес! Древняя тайна! Ты над головою моею, ты в душе моей — и ты уже у моих ног, у ног твоего господина.

Маруся. Оно молчит, отец! Оно смеется над вами!

Сергей Николаевич. Но я хочу — и оно говорит! Туда, в эту синюю глубину, посылаю я мой взор, и он скользит в пространствах и настигает то, чего никогда еще не видел человек. Я зову, и оттуда, из мрака преисподней, выползает на мой зов трепещущая тайна. Она корчится от злобы и страха и грозит раздвоенным языком, и моргает ослепшими глазами — бессильное, жалкое чудовище. И тогда я радуюсь, и тогда я говорю в века и пространства: привет тебе, сын вечности! Привет тебе, мой неизвестный и далекий друг!

Маруся. Но смерть, но безумие, но дикое торжество рабов? Отец, я не могу уйти от земли, я не хочу уходить от нее: она так несчастна. Она дышит ужасом и тоской,— но я рождена ею, и в крови моей я ношу страдания земли. Мне чужды звезды, я не знаю, кто обитает там... Как подстреленная птица, душа моя вновь и вновь падает на землю.

Сергей Николаевич. Смерти нет.

Маруся. А Николай? А сын твой?

Сергей Николаевич. Он в тебе, он в Пете, он

во мне — он во всех, кто свято хранит благоухание его души. Разве умер Джордано Бруно?

Маруся. Он был велик.

Сергей Николаевич. Умирают только звери, у которых нет лица. Умирают только те, кто убивает, а те, кто убит, кто растерзан, кто сожжен,— те живут вечно. Нет смерти для человека, нет смерти для сына вечности.

Инна Александровна. Колюшка! Колюшка!

Сергей Николаевич. В храмах древних поддерживался вечный огонь. Испепелялось дерево, выгорало масло, но огонь поддерживался вечно. Разве ты не чувствуешь его — тут, везде? Разве в себе не ощущаешь его чистого пламени? Кто дал тебе эту нежную душу, чья мысль, улетевшая из бренного тела, живет в тебе — ты можешь ли сказать, что это мысль твоя? Твоя душа — лишь алтарь, на котором свершает служение сын вечности! *(Протягивает руку к звездам.)* Привет тебе, мой неизвестный, мой далекий друг!

Маруся. Я пойду в жизнь.

Сергей Николаевич. Иди! Отдай ей то, что ты взяла у нее же. Отдай солнцу его тепло! Ты погибнешь, как погиб Николай, как гибнут те, кому душой своей, безмерно счастливой, поддерживать вечный суждено огонь. Но в гибели твоей ты обретешь бессмертие. К звездам!

Петя. Ты плачешь, отец. Дай поцеловать мне руку, дай!

Инна Александровна. Уж ты... не плачь, отец. Как-нибудь... проживем...

Маруся. Я пойду. Как святыню, сохраню я то, что осталось от Николая — его мысль, его чуткую любовь, его нежность. Пусть снова и снова убивают его во мне — высоко над землей понесу я его чистую, непорочную душу.

Сергей Николаевич *(протягивает руки к звездам)*. Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!

Маруся *(протягивает руки к земле)*. Привет тебе, мой милый, мой страдающий брат!

Инна Александровна. Колюшка... Колюшка!..

Занавес

3 ноября 1905 г.



САВВА

(IGNIS SANAT)[1]

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Егор Иванович Тропинин, содержатель трактира в монастырском посаде. Старик лет под шестьдесят; держится важно, говорит внушительно и строго.

Его дети:

- Антон (Тюха). Лет 35—38, грузный, одутловатый, с одышкой. Лицо бескровное, мрачное, сонное, с редкой растительностью. Говорит медленно и трудно; никогда не смеется.
- Олимпиада. 28 лет. Довольно красивая, белая; есть что-то монастырское в одежде.
- Савва. 24 лет. Большой, широкоплечий, немного мужиковатый. Ходит слегка сгорбившись, плечом вперед, носки внутрь. Жесты рук округленные, красивые, ладонью вверх — точно держит что-то. Черты лица крупные, рубленые; вместо бороды и усов — мягкий светлый пушок. Когда волнуется или сердится, становится весь серый, как пыль; движения делаются легкие, быстрые, сутулость исчезает,— точно распахивается весь. Одет в блузу и сапоги, как рабочий.

Пелагея, жена Тюхи, веснушчатая, бесцветная женщина лет 30. Одета по-мещански, грязно, неряшливо.

Сперанский, Григорий Петрович, бывший семинарист. Высокого роста, очень худой, лицо продолговатое, бледное, с пучком черных волос на подбородке. Длинные гладкие волосы, двумя прядями свисающие вдоль лица. Одет или в длинное черное пальто, или в такой же сюртук.

Кондратий. Послушник, 42 лет, невзрачный, узкогрудый человек с подпухшими живыми глазками.

Молодой послушник Вася. Крепкий, сильный юноша лет 20. Круглое, веселое, улыбающееся лицо, волнистые светлые волосы.

Царь Ирод. Лет 50. Странник. Лицо сухое, изможденное, черное от загара и придорожной пыли; косматые седые волосы, такая же борода, что придает ему дикий вид. Одна только рука, левая; другая по плечо отрезана. Росту высокого, как и Савва.

---

[1] Огонь исцеляет *(лат.)*.

Толстый монах.
Седой монах.
Человек в чуйке.
Монахи, богомольцы, странники, калеки и убогие, слепцы, уроды.

Действие происходит в начале XX столетия, в богатом монастыре, известном чудотворною иконою Спасителя. Между первым и последним актами проходит около двух недель.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Внутренность мещанского жилища в монастырском посаде. Две комнаты, третья в перспективе. Все кривое, старое, загаженное. Первая комната — нечто вроде столовой, большая, грязная, с низким потолком, с дешевыми запятнанными обоями, кое-где отставшими от стен. Три маленькие окна выходят во двор; видны навесы, телега, какая-то рухлядь. Деревянная дешевая мебель, большой непокрытый стол; на стенах засиженные мухами виды монастыря и портреты монахов. Вторая комната для гостей, почище; на окнах кисейные занавески, два горшка с засохшей геранью; диван, круглый стол со скатертью, горка с посудой. Из первой комнаты дверь налево ведет в трактир: когда дверь открывается, из трактира доносится чье-то заунывное, монотонное пение. Летний жаркий полдень, тишина; изредка под окном прокудахчет курица; через каждые полчаса на монастырской колокольне бьют часы: перед тем как ударить, они долго и непонятно вызванивают что-то. Пелагея, беременная, моет полы.

Пелагея *(у нее кружится голова; шатаясь, она опирается на стену и так стоит некоторое время, бессмысленно глядя перед собой)*. Ох, Господи! *(Моет.)*

Липа *(входит, изнемогая от жары)*. Духота какая! Не знаю, куда деваться. Голова как дурманом налита. *(Садится.)* Поля, а Поля?

Пелагея. Что?

Липа. Поля, а папаша где?

Пелагея. Спит.

Липа. Ох, не могу! *(Открывает окна, потом, бесцельно пройдясь по комнате, заглядывает в трактир.)* Тюха тоже за стойкой спит. Искупаться бы пойти, да жарко, не дойдешь до реки. Поля, ты хоть бы сказала что-нибудь.

Пелагея. Что?

Липа. Все моешь?

Пелагея. Мою.

Липа. А через день опять грязные будут. Охота тебе!

Пелагея. Надо.

Липа. Посмотрела я сейчас на улицу, так даже жутко: ни человека, ни собаки. Точно умерло все... И монастырь такой странный: как будто он висит в воздухе. Дунуть на него, и он заколышется и улетит. Что же ты молчишь, Поля? А Савва где? Не видала?

Пелагея. На выгоне с ребятами в ладыжки играет.

Л и п а. Какой смешной!

П е л а г е я. Что же тут смешного? Ему работать надо, а он игры играет, как маленький. Не люблю я вашего Савки!

Л и п а *(лениво)*. Нет, он хороший.

П е л а г е я. Да! Пожаловалась я ему, как хорошему, что трудно мне, а он говорит: что ж, хочешь быть лошадью, так вези. Зачем только приходил сюда? Где был, там бы и оставался.

Л и п а. Родных повидать. Десять лет, Поля, не видал, как хочешь. Ведь он еще мальчиком ушел отсюда.

П е л а г е я. Очень ему нужны родные! То-то Егор Иванович не знает, как от него отделаться. Соседи и те удивляются: одет как рабочий, а держится по-господски. Ни с кем не хочет говорить, а только ворочает глазами, как идол. Я глаз его боюся.

Л и п а. Какие пустяки! У него красивые глаза.

П е л а г е я. Разве он не видит, как мне трудно: одна на весь дом работаю. А он что? Давеча волоку я кадку, надрываюсь, а он прошел мимо, «здравствуй» не сказал. Много я людей перевидала, а ни один не был мне так противен.

Л и п а. У меня от жары круги перед глазами. А ты если не хочешь, Поля, так и не работай,— никто тебя не заставляет.

П е л а г е я. А если не я, так кто же будет работать? Не ты ли?

Л и п а. И я не стану. Работницу наймем.

П е л а г е я. То-то денег у вас много.

Л и п а. А на что их беречь?

П е л а г е я. Вот умру я скоро, тогда и нанимайте. Моего веку немного осталось. Скинула одного ребенка, а на другом и сама Богу душу отдам. Что же! Лучше, чем такая жизнь. Ох! *(Хватается за поясницу.)*

Л и п а. Да кто же заставляет тебя? Господи! Ну брось, не мой.

П е л а г е я. Да, брось. А потом сами будете говорить, отчего грязно.

Л и п а *(маясь от жары и от речей Пелагеи)*. Господи, тоска какая!

П е л а г е я. А мне не тоска? Ты что, ты ведь барыня. У тебя одно дело: Богу молиться да книжки читать. А мне и помолиться некогда: так с подоткнутым подолом на тот свет и вляпаюсь,— здравствуйте!

Л и п а. Ты и на том свете полы будешь мыть.

П е л а г е я. Нет, это ты будешь там полы мыть, а я буду

барыней сидеть. На том свете мы первые будем. А тебя и твоего Савку за гордость и жестокосердие твое...

Л и п а. Ах, Поля! Да разве же я тебя не жалею?

Е г о р И в а н о в и ч *(входит; сильно заспанный, борода на сторону, ворот рубахи расстегнут, дышит тяжело)*. Фу-ты... Полька, принеси-ка квасу. Поживее!

Пауза.

Е г о р И в а н о в и ч. Кто окна открыл?

Л и п а. Я.

Е г о р И в а н о в и ч. А зачем?

Л и п а. Жарко. Тут от печки от трактирной продохнуть нельзя.

Е г о р И в а н о в и ч. Ну и закрой. Закрой, говорю! А если жарко, так на погреб ступай.

Л и п а. Да зачем это?

Е г о р И в а н о в и ч. А затем! Ну, закрывай, закрывай. Сказано, чего ждешь?

Липа, пожимая плечами, закрывает; хочет уходить.

Е г о р И в а н о в и ч. Куда? Как отец пришел, так бежать. Посиди.

Л и п а. Да ведь я вам не нужна.

Е г о р И в а н о в и ч. Нужна — не нужна, а посиди. Не умрешь. Ох, Господи! *(Зевает и крестится.)* А Савка где?

Л и п а. Не знаю.

Е г о р И в а н о в и ч. Скажи ему, выгоню его.

Л и п а. Сами скажите.

Е г о р И в а н о в и ч. Дура! *(Зевает и крестится.)* Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных. Что это я нынче во сне видел?

Л и п а. Не знаю.

Е г о р И в а н о в и ч. Тебя и не спрашивают. Дура, как же ты можешь знать, что я во сне видел, а? Вот голова!

П е л а г е я *(подает квас)*. Нате!

Е г о р И в а н о в и ч. Нате! Поставь, а не нате. *(Берет кружку и пьет.)* О чем я говорил-то?

Пелагея домывает полы, Липа смотрит в окно.

Е г о р И в а н о в и ч. Да, отец игумен... Ловкий человек, поискать таких. Новый гроб на место старого поставил. Старый-то весь богомольцы изгрызли, так он новый поставил. Новый поставил, да. На место старого. И этот изгрызут дураки. Им что ни поставь. Дураки! Ты слышишь или нет?

Л и п а. Слышу. Что же тут хорошего? Обман, больше ничего.

Е г о р И в а н о в и ч. А то и хорошего, что у тебя не спросился. Старый-то весь изгрызли, так он новый поставил, такой же. Да, как раз такой, в каком преподобный лежал, помяни ты нас во царствии твоем небесном. *(Крестится и зевает.)* И зубы от него тоже проходят. Старый-то они весь изгрызли. Куда? Посиди.

Л и п а. Я не могу, тут так жарко...

Е г о р И в а н о в и ч. А я могу? Посиди, не растаешь.

Пауза.

Старый-то они сгрызли, так он новый поставил. А Савка где?

П е л а г е я. С ребятами в ладыжки играет.

Е г о р И в а н о в и ч. Тебя не спрашивают. Который час?

П е л а г е я. Два пробило.

Е г о р И в а н о в и ч. Ты ему скажи, что я его выгоню. Я этого не потерплю.

Л и п а. Да чего? Вы скажите толком.

Е г о р И в а н о в и ч. Того. Кто он такой? Как обедать, так его и нету, а потом придет и жрет один, как собака. По ночам шатается, калитку не запирает. Вчера выхожу, а калитка настежь. Обокрадут, кто тогда отвечать будет?

Л и п а. Ну, какие у нас воры?

Е г о р И в а н о в и ч. Такие, всякие. Люди спят, а он шатается: где это видано?

Л и п а. Да если ему спать не хочется, Господи!

Е г о р И в а н о в и ч. Ну, ты тоже. Не хочется, так полежи: заснешь. Никому спать не хочется, а как полежал, так и заснул. Не хочется! Знаю я его. Пришел — кто звал? Делал там бумажки, так и делал бы, а сюда чего?

Л и п а. Какие еще бумажки?

Е г о р И в а н о в и ч. Какие? Не настоящие же: за настоящие ничего не бывает. Фальшивые, вот какие. За это, брат, по головке не погладят, теперь строго. А я возьму — становому приставу и скажу: так и так, пощупайте-ка его.

Л и п а. Какие глупости!

П е л а г е я. Это ты одна не знаешь, все знают.

Л и п а. О Господи!

Е г о р И в а н о в и ч. Ну, Бога-то мы знаем получше твоего, нечего взывать. А ты ему скажи. Я его не боюсь, не на таковского напал. Возьму и выгоню: ступай, откуда пришел. Ты грабить будешь, а я за тебя отвечать, где это видано?

Л и п а. Вы еще не проснулись как следует, папаша.

Е г о р И в а н о в и ч. Я-то проснулся давно, а ты-то вот проснулась ли. Смотри, Олимпиада, не было бы тебе того же.

Л и п а. Чего?

Е г о р И в а н о в и ч. Того... *(Зевает и крестится.)* Поднялась бы из гроба покойница, посмотрела бы — то-то бы похвалила: хороши детки! Вскормил я вас, взлелеял, а вышли настоящие прохвосты. Тюха вот скоро тоже запьет, по харе вижу. Где это видано? Скоро на праздник народ попрет, а я один за всех работай. Полька, подыми спичку, вон. Да не там, дура слепая! Вот, дура!

П е л а г е я *(ищет)*. Да не вижу я.

Е г о р И в а н о в и ч. Вот огрею я тебя по затылку, так сразу увидишь. Да вот она, черт!

Л и п а *(в изнеможении)*. Господи, жарища какая!

Е г о р И в а н о в и ч. Да вот она! Куда лезешь? Под стулом. Вот анафема!

Входит С а в в а, очень веселый, в подоле ладыжки.

С а в в а. Шесть пар с лашкой выиграл!

Е г о р И в а н о в и ч. Скажите пожалуйста.

С а в в а. Мишку, подлеца, насилу доконал. Ты что бурчишь там?

Е г о р И в а н о в и ч. Ничего. Только бы лучше ты мне «вы» говорил.

С а в в а *(не обращая на него внимания)*. Липа, я шесть пар выиграл.

Л и п а. Как ты можешь в такую жару!..

С а в в а. Погоди, я сейчас ладыжки отнесу. Теперь у меня восемнадцать пар. Ну и подлец Мишка: здорово играет.

Уходит.

Е г о р И в а н о в и ч *(поднимается)*. Больше я не желаю его видеть. А ты ему скажи.

Л и п а. Хорошо, скажу.

Е г о р И в а н о в и ч. Ты — не «хорошо», а делай, что тебе отец приказывает. Народил прохвостов, нечего сказать. *(Уходит.)* То-то бы покойница поглядела!..

П е л а г е я. Тоже о покойнице вспоминает, а кто ее в гроб вогнал? До смерти заговорил, зуда проклятая. Говорит-говорит, зудит-зудит, а чего ему надо — и сам не знает.

Л и п а. Да тут с вами... точно в железные обручи завинчивают голову.

П е л а г е я. Так и уходила бы со своим Савкой, чего ждешь?

Л и п а. Вот ты. За что ты на меня злишься?

П е л а г е я. Я не злюсь; я правду говорю. Замуж не хочешь, женихами брезгуешь, так шла бы в монастырь.

Л и п а. В монастырь я не пойду, а уйти, должно быть, скоро уйду.

П е л а г е я. Ну и уходи: скатертью дорога.

Л и п а. Ах, Поля, ты вот все сердишься, злишься, а не знаешь ты, о чем я по ночам думаю. Лежу и думаю. И о тебе, Поля, думаю, и обо всех несчастных, обо всех.

П е л а г е я. Обо мне нечего думать, о себе лучше думай.

Л и п а. И никто об этом не знает... Ну, да что говорить: ты все равно не поймешь. Мне жаль тебя, Поля!

Пелагея смеется.

Что ты?

П е л а г е я. А жаль, так вот возьми-ка ведро, вынеси. Я брюхатая, мне тяжелое подымать не годится, так потрудись ты за меня. Христа ради.

Л и п а *(хмурится, потом лицо ее проясняется, и с улыбкой она берет ведро)*. Давай. *(Хочет нести.)*

П е л а г е я *(со злостью)*. Фокусница! Пусти, куда тебе. *(Уносит ведро, потом возвращается за тряпками.)*

Входит С а в в а.

С а в в а *(сестре)*. Ты что это такая красная?

Л и п а. Жарко.

Пелагея смеется.

С а в в а. Послушай, Пелагея, Кондратий меня не спрашивал?

П е л а г е я. Какой еще Кондратий?

С а в в а. Отец Кондратий, послушник; так, вроде воробья.

П е л а г е я. Никакого Кондратия я не видала. Воробей! Тоже скажут!..

С а в в а. Позови-ка сюда Тюху.

П е л а г е я. Сам позови.

С а в в а. Ну!

П е л а г е я *(сперва кричит в дверь, потом идет в трактир)*. Антон Егорыч, вас зовут!

Л и п а. Зачем он тебе?

С а в в а. Что у вас здесь у всех за привычка спрашивать: куда, кто, зачем, почему?

Л и п а *(немного обиженно)*. Не хочешь, так не говори.

Т ю х а *(входит, говорит медленно и трудно)*. Ну, кто там зовет?

С а в в а. Я. Придет сюда послушник Кондратий — знаешь? — так пошли его сюда.

Т ю х а. А ты кто такой?

С а в в а. И водки пришли, полбутылки, слышишь?

Т ю х а. Может, слышу, а может, и нет. Может, пришлю водки, а может, и нет. Кто знает?

С а в в а. Какой скептик! Ты одурел, Тюха?

Л и п а. Оставь его, Савва. Это он у семинариста, у Сперанского, научился. У него и так в голове...

Т ю х а *(садится)*. Меня никто не учил, я сам все понимаю. У меня кровь в сердце запеклась.

С а в в а. Это у тебя от пьянства, Тюха. Брось пить.

Т ю х а. У меня кровь в сердце запеклась. Ты думаешь, я не понимаю, почему это такое? Вдруг не было тебя, и вдруг пришел. Нет, я все понимаю. У меня видения бывают.

С а в в а. Что же ты видишь? Бога?

Т ю х а. Никакого Бога нет.

С а в в а. Вот как!

Т ю х а. И дьявола нет. Ничего нет. И людей тоже нет. И зверей тоже нет. Ничего нет.

С а в в а. Что же есть?

Т ю х а. Рожи одни есть. Множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи, я всегда смеюсь. Я сижу, а они мимо меня так и скачут, так и плывут. У тебя тоже, Савка, очень смешная рожа. *(Мрачно.)* Можно умереть со смеху.

С а в в а *(весело смеется)*. Ну-у? Какая же у меня рожа?

Т ю х а. Такая... *(Тычет пальцем.)* И у нее рожа, и у нее рожа. И у папаши тоже рожа. И, кроме того, другие рожи. Множество рож. Я в трактире сижу и все вижу; меня нельзя обмануть. Какая рожа большая, какая маленькая, и все они так и плавают, так и плавают. Какие далеко, какие совсем близко, как будто хочет поцеловать или за нос укусить. У них зубы.

С а в в а. Ну, ладно, Тюха, ступай; потом о рожах поговорим. У тебя у самого очень занятная рожа.

Т ю х а. Ну да, а то как же? И у меня рожа.

С а в в а. Ладно, ладно. Ступай, да водки тогда пришли, не забудь.

Т ю х а. Какие днем, какие ночью... Множество рож.

(С порога.) А водки, может, пришлю, а может, и нет. Не знаю еще.

Савва *(Липе)*. Давно он такой?

Липа. Не знаю, давно уже, кажется. Он сильно пьет.

Пелагея. С вами нехотя запьешь. *(Уходит.)* Идолы!

Липа. Жара какая... куда деваться, не знаю. Савва, отчего ты так плохо относишься к Поле? Она такая несчастная, жалкая.

Савва. Рабья душа, кривая. Она на трехногий стул похожа.

Липа. Она не виновата, что она такая.

Савва *(равнодушно)*. Да и я не виноват.

Липа. Ах, Савва, если бы ты знал, какая у нас здесь ужасная жизнь. Мужчины пьянствуют, бьют жен, а жены...

Савва. Знаю.

Липа. Как ты равнодушно говоришь это. А мне так хотелось поговорить с тобою...

Савва. Что же, говори.

Липа. Ты скоро, вероятно, опять уйдешь отсюда?

Савва. Да, скоро.

Липа. Ну вот... так, пожалуй, и не удастся поговорить. Дома ты бываешь редко... Сегодня чуть ли не в первый раз... Да, Савва, и охота же тебе играть с ребятами, со стороны смешно смотреть. Такой ты большой, как медведь...

Савва *(весело)*. Нет, Липа, они хорошо играют. Мишка — хорошо, и мне с ним трудно справиться. Вчера я ему три пары проиграл.

Липа. Да ведь ему десять лет!

Савва. Ну так что же? Да и народу здесь нет, кроме них. Самый умный народ.

Липа *(с улыбкой)*. А я?

Савва *(смотрит на нее)*. А ты? Что же, и ты — как другие.

Пауза. Липа обижена, и вялость ее несколько исчезает.

Липа. Может, тебе скучно со мной?

Савва. Нет, все равно. Я никогда не скучаю.

Липа *(принужденно смеется)*. Что же, и на том спасибо. Ты был сегодня в монастыре? Ты туда часто, кажется, ходишь?

Савва. Был, а что?

Липа. Ты, вероятно, совсем его не помнишь? А я так его люблю. Он у нас такой красивый, такой задумчивый иногда. Мне нравится, что он такой старый: от этого в нем

есть какая-то важность, строгое спокойствие, отчужденность.

С а в в а. Ты много книг читаешь?

Л и п а *(краснея)*. Прежде много читала... Я ведь четыре зимы в Москве жила, у тети Глаши. Ты почему спрашиваешь?

С а в в а. Так... продолжай.

Л и п а. Тебе смешно, что я так говорю?

С а в в а. Нет, ничего... говори.

Л и п а. Но ведь монастырь, правда, такой удивительный. Там, знаешь, есть хорошие уголки, где никто не бывает,— так, где-нибудь между глухими стенами, где только трава да упавший кирпич, да какой-то старый-старый сор. Я люблю бывать там, особенно в сумерки или вот в такой жаркий, сонный день. Стоишь, закрывши глаза, и кажется, что видишь что-то далекое-далекое. Тех, кто первые его строили, кто первые в нем молились. Вот идут они по мосткам, несут кирпичи и что-то поют — так тихо, далеко. *(Закрывает глаза.)* Так тихо, тихо...

С а в в а. Я не люблю старого. И строили его, конечно, крепостные, и когда таскали кирпичи, то не пели, а ругались. И кто-нибудь как раз на этом месте сломал себе шею. Так будет вернее.

Л и п а *(открывая глаза)*. А у меня такие мечты... Я ведь здесь одна, Савва... мне и поговорить не с кем. Послушай, ты не будешь сердиться? Скажи мне, мне одной, зачем ты пришел сюда к нам? Ведь не молиться же, не на праздник: ты не похож на богомольца.

С а в в а *(хмуро)*. Что это, любопытство? Не люблю я этого.

Л и п а. Как ты можешь думать это? Разве я похожа на любопытную? Ведь две недели ты видишь меня и должен понимать, что я одинока здесь. Одинока, Савва. И тебе я рада, как манне небесной: ведь ты первый живой человек оттуда, из настоящей жизни. В Москве я жила так тихо, только книги читала, а тут... Ты видел наших, какие они.

С а в в а. А в других местах, ты думаешь, лучше?

Л и п а. Не знаю. Вот я и хочу узнать от тебя. Ты так много видел, ты был даже за границей...

С а в в а. Недолго.

Л и п а. Все равно. Ты видел много людей, образованных, умных, интересных, ты жил с ними,— ну как они живут, ну какие они? Расскажи мне все.

С а в в а. Дрянной народ.

Л и п а. Да?.. Что ты говоришь?

С а в в а. А живут они, как и вы здесь живете: глупо, бестолково, и только слова у них другие. Но это еще хуже. Скоту оправданием служит отсутствие речи, а когда скот начинает говорить, защищаться, мечтать, получается совсем мерзко. И жилье у них другое, это правда, но и то неважное. Я был, Липа, в одном городе, где живет сто тысяч человек, и во всех домах окна маленькие. Все любят свет, а никто не догадается, что нужно сделать большие окна. И когда строят новый дом, то окна делают по-старому — такие же маленькие.

Л и п а. Вот как, не думала я этого. Но ведь не все же такие, ведь видел же ты, наверное, хороших людей, которые умеют жить.

С а в в а. Как тебе сказать? Пожалуй, и видел, если не совсем хороших, то... Вот те, с которыми я жил последнее время,— народ ничего себе. Стараются брать жизнь не готовую, а делать ее по своей мерке. Но...

Л и п а. Кто же они? Студенты?

С а в в а. Нет. Ты, того, как насчет языка — не из болтливых?

Л и п а. Савва! Ну как тебе не стыдно!

С а в в а. Ладно. Так вот: ты читала про людей, которые бомбочки делают — бомбочки, понимаешь?.. Ну, и если кто-нибудь мешает жить, так они его, того, убирают. Называются они террористами. Но это не совсем верно. *(Пренебрежительно.)* Какие они террористы!

Л и п а *(отодвигаясь, пораженная)*. Что ты говоришь? Неужели это правда? И ты тоже? Все так просто, и ты вдруг... Мне даже холодно стало.

За окном кричит петух, нашедший зерно и сзывающий кур.

С а в в а. Ну вот, испугалась. То расскажи, а то...

Л и п а. Нет, ничего, я так. Очень неожиданно, Савва. Я думала, что таких людей нет в действительности, что это только сочиняют. И вдруг мой брат... Ты не шутишь, Савва? Посмотри на меня!

С а в в а. Да чего ты испугалась? Они вовсе не такие страшные. Скорее даже они смирный народ, рассудительный. Долго собираются, рассуждают, а потом бац! — глядь, какого-нибудь воробья и прикончили. А через минуту, глядь, на этой же ветке другой воробей скачет. Что ты смотришь на мои руки?

Л и п а. Так. Дай мне твою руку... нет, правую.

С а в в а. На.

Л и п а. Какая она тяжелая. Ты слышишь, какие у меня

холодные руки? Ну говори, говори — как это интересно!

Савва. Да что говорить! Люди они храбрые, это верно, но храбрость у них больше не в голове, а в руках. А голова у них старая, с перегородочками, и все они опасаются, как бы не сделать чего лишнего, как бы не повредить. Ну можно ли вырубить здоровенный лесище, рубя по одному дереву, скажи на милость! А они так и делают: с одного конца рубят, а на другом подрастает. Пустое получается занятие. Предложил я им как-то одно дельце, пообширнее, да они, того, испугались. Слабоваты. Ну, я и ушел от них: пусть себе упражняются в добродетели. Узкий народ: широты взгляда у них нет.

Липа. Ты говоришь это так спокойно, как будто шутишь.

Савва. Нет, я не шучу.

Липа. А ты — неужели ты ничего не боишься?

Савва. Я-то? Пока ничего — да и впереди не ожидаю. Страшнее того, Липа, что человек раз уже родился, ничего быть не может. Это все равно, что утопленника спросить: а что, дядя, промокнуть не боишься? *(Смеется.)*

Липа. Так вот ты какой!..

Савва. Одному я у них научился: уважению к динамиту. Сильная вещь, с большой способностью убеждать.

Липа. Тебе двадцать четыре только года. У тебя еще ни усов, ни бороды нет.

Савва *(ощупывая лицо)*. Растительность дрянная, это верно. Но только что из этого следует?

Липа. Страх еще придет.

Савва. Нет. Если уже я до сих пор не испугался, когда жизнь увидел, так уж больше испугаться нечего. Жизнь, да. Вот обнимаю я глазами землю, всю ее, весь этот шарик, и нет на ней ничего страшнее человека и человеческой жизни. А человека я не боюсь.

Липа *(почти не слушая его, восторженно)*. Да. Вот настоящие слова, вот! Савва, милый, я тоже не боюсь страданий тела. Я знаю, начни жечь меня на медленном огне, разрежь меня на части, я не вскрикну,— смеяться буду. Но я другого боюсь: я боюсь страдания людей, их неизбывного горя. Когда я подумаю ночью, в тишине, когда только колокол на часах, подумаю, сколько вокруг нас страданий, бесцельных, никому не нужных, даже никому не известных,— я холодею от ужаса. Я становлюсь на колени и молюсь, молюсь и говорю Богу: если нужна жертва, так возьми меня, но дай людям радость, дай им покой,

дай им наконец забвение. Господи! Быть таким всемогущим!..

Савва. Да.

Липа. Я читала про человека, которого клевал орел, и мясо за ночь у него вырастало. Если бы мое тело могло стать хлебом и радостью для людей, я согласилась бы жить вечно и вечно в страданиях кормить им несчастных. Здесь в монастыре скоро будет праздник...

Савва. Знаю.

Липа. Тут есть икона Спасителя с трогательною надписью: «Приидите ко мне все труждающиися и обремененныи...»

Савва. «...И Аз упокою вы». Знаю.

Липа. Она считается чудотворною, и ты пойди тогда посмотри. Точно река притекает к монастырю, точно море подходит к его стенам — и все это море из одних человеческих слез, страданий, горя. Какие уроды, какие калеки! Я потом хожу как сумасшедшая, я во сне их вижу. Есть такие лица, с такою глубиною страдания, что их никогда не забудешь, сколько ни живи. Ведь я прежде была веселая, Савва, пока не увидела всего этого. Здесь каждый год бывает один, по прозвищу царь Ирод...

Савва. Он уже здесь. Я видел его.

Липа. Да, видел?

Савва. Да. Лицо трагическое.

Липа. Он давно, в молодости еще, убил как-то нечаянно своего ребенка и с тех пор все ходит. У него ужасное лицо. И все они ждут чуда...

Савва. Да. Есть кое-что похуже неизбывных человеческих страданий.

Липа. Что?

Савва *(небрежно)*. Неизбывная человеческая глупость.

Липа. Не знаю.

Савва. А я знаю. Ты здесь видишь только клочок жизни, а если бы ты увидела, услышала ее всю... Первое время, когда я читал их газеты, я смеялся и думал, что это нарочно, что это издается в каком-нибудь сумасшедшем доме, для сумасшедших. Но нет, это серьезно. Это серьезно, Липа! И тогда моей мысли стало больно — невыносимо больно. *(Прижимает пальцы ко лбу.)*

Липа. У тебя болела голова?

Савва. Нет. Это особенная боль, ты ее не знаешь. Ее знают немногие. И испытать ее — все равно что пройти сквозь смерть: все остается по ту сторону. Я, Олимпиада Егоровна, видите ли, умер однажды — умер и воскрес.



Л. Н. Андреев
Портрет маслом И. Е. Репина, 1905. Омский художественный музей



Андреев и Горький у И. Е. Репина в «Пенатах», 27 мая 1905 г. (деталь группового снимка)



«Горький и его тень»
Шарж Ре-ми (Н. В. Ремизова). Тенью Горького изображен Андреев. «Стрекоза», 1905, № 41 от 9 октября



Андреев

Москва, 1902—1904 годы. С дарственной надписью Горькому. «Энергичному собственнику самой смелой, самой красивой души, какую я знал — Алексею Максимовичу Пешкову верный друг Леонид Андреев». МГМ



Горький, Андреев, Е. Пешкова среди участников концерта в пользу нуждающихся школьников. Февраль, 1903. Фотография. Моховые горы близ Нижнего Новгорода.



Андреев
Шарж В. В. Каррика. «Леший», 1906, № 1



Андреев и В. В. Вересаев. Фотография. 1904. МГМ



Андреев с женой А. М. Андреевой (Велигорской) и сыном Вадимом. Фотография. 1905



А. М. Андреева (Велигорская). Начало 1900-х годов

Симъ удостовѣряю, что настоящій оттискъ сдѣланъ въ моемъ присутствіи съ камня, на которомъ находился переводъ оригинальнаго портрета литографскимъ карандашемъ исполненнаго В.А.Сѣровымъ съ натуры съ Л.Н.Андреева. Помимо этого оттиска было сдѣлано съ камня еще три изъ коихъ одинъ находится у меня, одинъ у О.Ѳ.Сѣровой /на папиросной бумагѣ/ и одинъ у Л.Н.Андреева. По отпечатаніи этихъ трехъ оттисковъ - камень былъ сошлифованъ

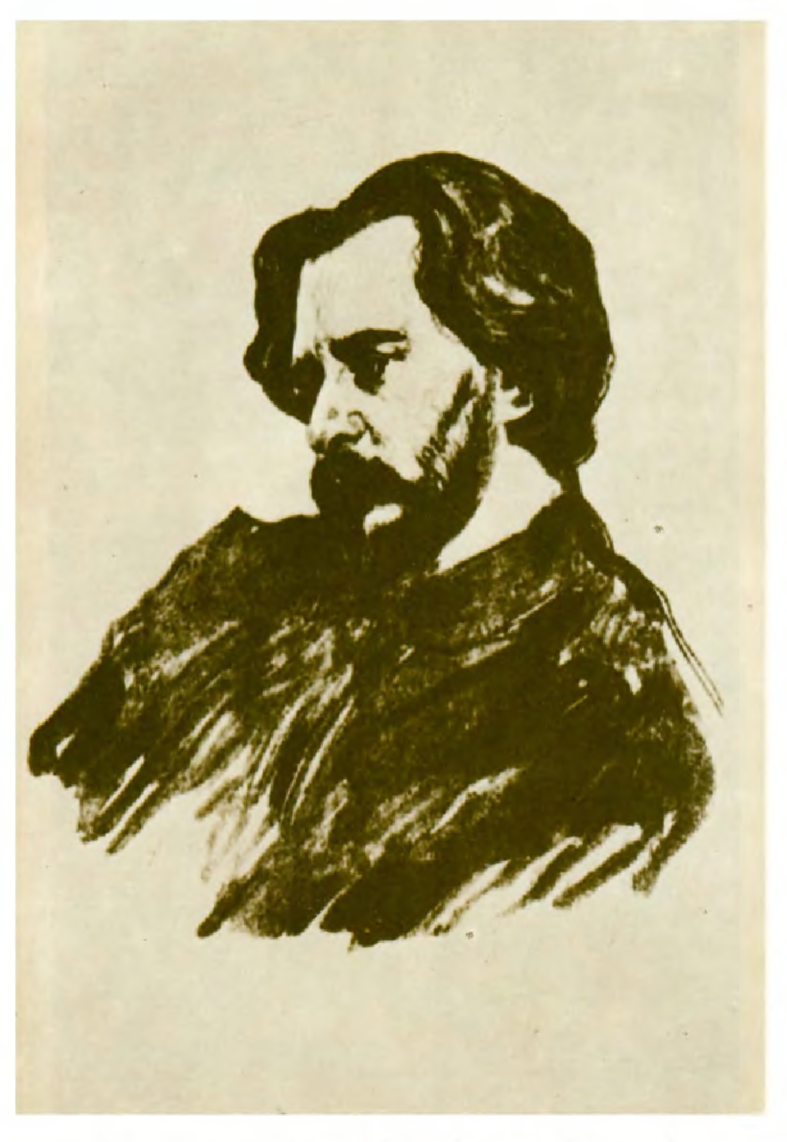
Завѣдующій графической мастерской
ИМПЕРАТОРСКАГО Строгоновскаго Училища Голоушевъ

Мая 5 дня 1914 г.

Подпись руки Завѣдывающаго графической мастерской Императорскаго Строгановскаго Училища С. С. Голоушева Канцелярія названнаго Училища удостовѣряетъ съ приложеніемъ казенной печати. — Мая 16 д. 1914 г.

Письмоводитель [illegible]

Документ, подтверждающий, что автором литографированного портрета Андреева является В. А. Серов



Андреев. Литография В. А. Серова. 1907. Из собрания И. С. Зильберштейна



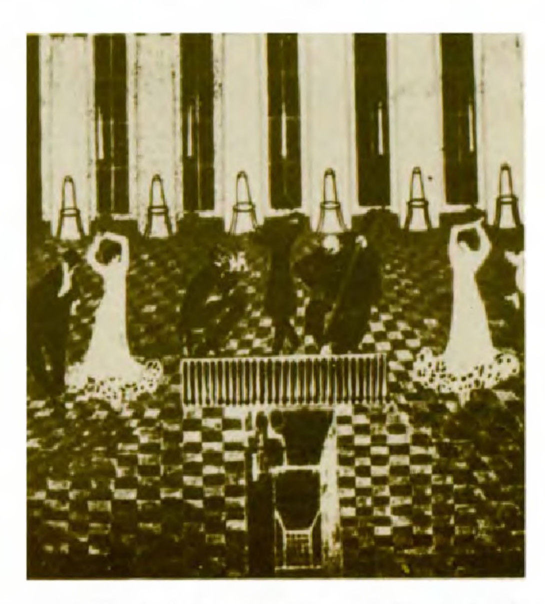
Афиша спектакля «Жизнь Человека» в постановке К. С. Станиславского и Л. А. Сулержицкого. МХТ, 1907



Портрет Андреева и изображение символической фигуры «Некто в сером» на открытке 1900-х годов



Драма Андреева «Жизнь Человека» на сцене Московского Художественного театра. Эскиз худ. В. Е. Егорова (первая картина — «Рождение Человека и муки матери»). 1907. Музей МХАТа



Драма Андреева «Жизнь Человека» на сцене Московского Художественного театра. Эскиз худ. В. Е. Егорова («Бал у Человека»). 1907. Музей МХАТа



Сцены из драмы «Жизнь Человека» в театре В. Ф. Комиссаржевской. Петербург. Эскиз худ. В. К. Коленда («Пролог» и «Рождение Человека»). 1907. Театральный музей им. А. А. Бахрушина



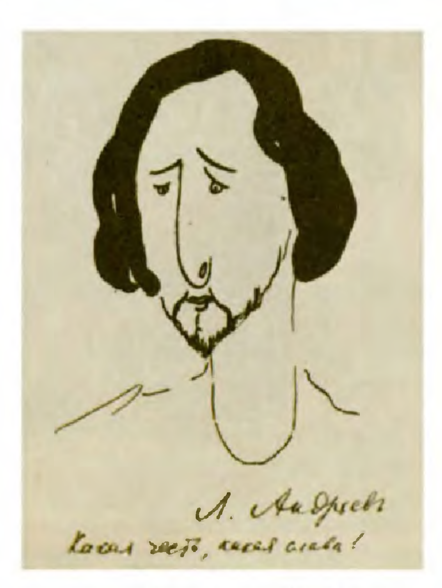
Сцена из драмы «Жизнь Человека» в театре В. Ф. Комиссаржевской. Петербург. Эскиз худ. В. К. Коленда («Смерть Человека»). 1907. Театральный музей им. А. А. Бахрушина



Драма Андреева «Жизнь Человека» в театре В. Ф. Комиссаржевской в постановке Вс. Э. Мейерхольда. 1907



Каррикатуры на Андреева. «Десять лет из жизни писателя, или из Андреевых в Достоевские и обратно. Три акта из «Жизни Человека». ГЛМ



Андреев. Шарж Ре-ми (Н. В. Ремизова). Эскиз рисунка, помещенного в «Сатириконе», 1908, № 1



Андреев. Скульптура (гипс) Н. А. Андреева, 1904—1905. Государственная Третьяковская галерея

Л и п а. Ты говоришь загадками.

С а в в а. Разве? А мне кажется, так просто. Только вот что немного странно: почему так жаждете вы все воскресения Христа? Хорошо, конечно, если Он придет с медовым пряником, а если вместо того Он бичом по всей земле: вон, торгующие, из храма!

Л и п а *(удивленно)*. Как ты говоришь про Христа!

С а в в а. С большим уважением. Но дело не в этом, а в том, видишь ли, что вот тогда я и решил — уничтожить все.

Л и п а. Что ты говоришь?

С а в в а. Ну да, все. Все старое.

Л и п а *(в недоумении)*. А человека?

С а в в а. А тебе человека жалко? Останется, не бойся. Ему мешает глупость, которой за эти тысячи лет накопилась целая гора. Теперешние умные хотят строить на этой горе,— но, конечно, ничего, кроме продолжения горы, не выходит. Нужно срыть ее до основания — до голой земли. До голой земли — понимаешь?

Л и п а. Я не понимаю тебя. Ты так странно говоришь!..

С а в в а. Уничтожить все: старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство. Ты знаешь, что такое искусство?

Л и п а. Да, конечно, знаю. Картины, статуи... Я бывала в Третьяковской галерее.

С а в в а. Ну вот, Третьяковская галерея и другие поважнее которые. Там есть хорошее, но будет еще лучше, когда старое не будет мешать. Старое платье, все. У тебя есть любимые вещи?

Л и п а. Право, не знаю. Кажется, нет.

С а в в а. Остерегайся вещей! Ты не смотри, что они молчат,— они хитрые и злые. И их нужно уничтожить. Нужно, чтобы теперешний человек голый остался, на голой земле. Тогда он устроит новую жизнь. Нужно оголить землю, Липа, содрать с нее эти мерзкие лохмотья! Достойна она царской мантии, а одели ее в рубище, в арестантский халат. Городов настроили — идиоты!

Л и п а. Но кто же это сделает, уничтожит все?

С а в в а. Я.

Л и п а. Ты?

С а в в а. Ну да, я. Начну я, а потом, когда люди поймут, в чем дело, то присоединятся другие. Я принес на землю меч, и скоро все услышат его звон. Глухие — и те услышат. Не имеющие ушей, чтобы слышать, и те услышат.

Л и п а. Это ужасно! Сколько крови!

Савва. Да, многовато, но если бы был ее целый океан — все равно, через это надо перешагнуть. Когда дело идет о существовании человека, тут уже не приходится жалеть об отдельных экземплярах. Только бы сам выдержал... Ну, а не выдержит, туда, значит, ему и дорога,— не в свои, значит, сани сел. Мировая ошибочка произошла.

Пауза. На дворе кудахчут куры; оттуда же доносится сонный голос Тюхи: «Полька, тебя папаша зовет. Куда ты его картуз девала?».

Липа. Какие планы! Ты не шутишь, Савва?

Савва. Вот надоели мне с этим все — шутишь, шутишь.

Липа. Я тебя боюсь, Савва. Ты так серьезно говоришь...

Савва. Да. Меня многие боятся, Липа.

Липа. Ты хоть бы улыбнулся!

Савва *(смотрит на нее широко и открыто и смеется с неожиданной ясностью)*. Ах, ты, чудачка, да зачем я буду улыбаться? Я лучше засмеюсь. *(Оба смеются.)* Ты щекотки боишься?

Липа. Оставь, ну что ты, какой ты еще мальчик!

Савва. Ну ладно. А Кондратия нет как нет! Не унес ли его черт? Черти монахов любят.

Липа. Какие у тебя мечты, однако. Вот ты теперь шутишь...

Савва *(немного удивленно)*. Это не мечты.

Липа. А у меня другие мечты, Савва. Ты теперь, милый, разговариваешь со мной, и я тебе как-нибудь вечерком все расскажу. Пойдем гулять, и я расскажу.

Савва. Ну что ж, расскажи. Послушаю.

Липа. Савва, а скажи, если только можно, ты любишь какую-нибудь женщину?

Савва. Свела-таки на любовь, по-женски. Право, не знаю, что тебе сказать. Любил я как будто одну, да она не выдержала.

Липа. Чего не выдержала?

Савва. Да моей любви. Меня, что ли, я уж не знаю. Только взяла и ушла от меня.

Липа *(смеется)*. А ты что же?

Савва. Да ничего. Так и остался.

Липа. А друзья у тебя есть? Товарищи?

Савва. Нет.

Липа. А враги? Ну, такой враг, один, что ли, которого бы ты особенно не любил, ненавидел?

Савва. Такой, пожалуй, есть: Бог.

Липа *(не доверяя)*. Что?

С а в в а. Бог, я говорю. Ну, тот, кого вы называете вашим Спасителем.

Л и п а *(кричит)*. Ты не смеешь так говорить! Ты с ума сошел!

С а в в а. Ого! В чувствительное место попал?

Л и п а. Ты не смеешь!

С а в в а. Я думал, ты кроткая голубица, а язычок-то у тебя, как у змейки. *(Показывает рукой движение змеиного языка.)*

Л и п а. Господи! Как ты осмелился, как ты мог, Спасителя! Ты взглянуть на Него не смеешь... Зачем ты пришел сюда?

Из дверей трактира показывается К о н д р а т и й. Оглядывается и тихонько входит.

К о н д р а т и й. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

С а в в а. Аминь. Только очень вы запоздали, почтенный!

К о н д р а т и й. Творил волю пославшего. Молоденькие огурчики для отца игумена собирал: любят они эту закуску. Ну, жара! Семь потов сошло, пока добрался.

С а в в а *(Липе)*. Вот монах — посмотри: любит выпить, недурно сквернословит, не дурак и насчет бабья...

К о н д р а т и й. Не конфузьте, Савва Егорович. При девице-то!

С а в в а. И вдобавок не верит в Бога.

К о н д р а т и й. Они шутят!

Л и п а. Мне такие шутки не нравятся. Вы зачем пришли?

К о н д р а т и й. По зову-с.

С а в в а. Он мне нужен.

Л и п а *(не глядя на Савву)*. Зачем?

С а в в а. А это тебя не касается. Ты вот лучше с ним поговори; он, правда, человек любопытный: не глуп и умеет смотреть.

Л и п а *(испытующе глядит на Савву)*. Я его хорошо знаю. Очень хорошо!

К о н д р а т и й. К прискорбию моему, должен сказать, что это правда: имею печальную известность, как человек невоздержного образа поведения. За это качество был из волостных писарей изгнан, за это же качество и ныне по неделям на хлебе да на воде сижу, ибо не умею действовать сокровенно, а наоборот — явно и даже громогласно. Вот и с вами мы, Савва Егорович, при таких обстоятельствах познакомились, что даже вспомнить нехорошо.

С а в в а. А вы и не вспоминайте.

Кондратий *(Липе)*. В луже я лежал во всем моем великолепии, свинья свиньей...

Липа *(брезгливо)*. Хорошо!

Кондратий. Но только я не стыжусь об этом говорить, потому что, во-первых, многие это видели, но никто, конечно, не потрудился поднять, кроме Саввы Егоровича. А во-вторых, я усматриваю в этом мой крест.

Липа. Хорош крест!

Кондратий. У всякого человека, Олимпиада Егоровна, свой крест. В луже-то тоже не ахти как приятно лежать,— на сухом-то всякому приятнее. И почем вы знаете? Может, я эту лужу наполовину слезами моими наполнил, воплями моими скорбными всколыхнул?

Савва. Это не совсем верно, отец Кондратий. Вы пели «Во Иордане крещахуся», и притом на очень веселый мотив.

Кондратий. Разве? Что же, тем хуже. До чего, значит, дошел человек?

Савва. Только вы, отец, напрасно напускаете на себя меланхолию. Душа у вас веселая, и грусть эта совсем вам не к лицу, поверьте.

Кондратий. Прежде была веселая, это верно вы говорите, Савва Егорович, до поры до времени, пока в монастырь не поступил. А как поступил — вместо радости и успокоения узнал я самую настоящую скорбь. Да, убил бобра, можно сказать.

Входит Тюха, останавливается у притолоки и влюбленными глазами смотрит на послушника.

Савва. Что же так?

Кондратий *(подходя ближе, вполголоса)*. У нас, Савва Егорович, Бога нет, у нас дьявол. У нас страшно жить, поверьте, Савва Егорович, моему честному слову. Я человек бывалый, испугать меня не легко, но, однако, ночью по коридору ходить боюсь.

Савва. Какой дьявол?

Кондратий. Обыкновенный. К вам, к людям образованным, он, конечно, является под благородными фасонами, а к нам, которые попроще и поглупее, в своем естественном виде.

Савва. С рогами?

Кондратий. Как вам сказать? Рог я не видал, да и не в рогах суть дела, хотя должен сказать, что на тени и рога отпечатываются весьма явственно. Дело в том, что нет у нас тишины, а этакий беспокойный шум. Снаружи ночью посмотреть — покой, а внутри: стон и скрежет зу-

бовный. Какие хрипят, какие стонут, какие так, непонятно на что жалуются: идешь мимо дверей, а за каждою дверью словно душа живая со светом прощается. И вдруг прошмыгнет что-то и за угол, а на стенке вдруг тень. Ничего нет, а на стенке тень. В других местах что такое тень? — так, пустяки, явление, не стоящее внимания, а у нас они, Савва Егорович, живут, чуть что не разговаривают. Ей-Богу! Коридор у нас, знаете ли, есть такой длинный-длинный, до бесконечности. Вступишь в него — ничего, этак черненькое что-то перед ногами мотается, вроде тоже как бы человек, а потом все больше, да шире, да по потолку, знаете, пошло, да уже тебя сзади-то, сзади! Идти идешь, а уж чувствовать-то — ничего уж и не чувствуешь.

Савва *(Тюхе)*. Ты что глаза таращишь?

Тюха. Какая рожа.

Кондратий. И Бог у нас сил не имеет. Конечно, есть у нас мощи и икона чудотворная, но только все это никакого, извините, действия не оказывает.

Липа. Что вы говорите?

Кондратий. Никакого-с. Мне не верите, так других иноков спросите, то же скажут. Молимся мы, молимся, лбами бьем, бьем — а хоть бы тебе что. Уж ни о чем другом, а чтобы вот хоть силу-то нечистую отогнало, так нет, не может! Стоит себе образ и стоит, как будто и не его это дело, а как ночь, так и пошло шмыгать по всему монастырю да за углами подкарауливать... Отец игумен говорит: малодушие, стыдитесь,— но только по какой причине нет действия? Говорят у нас...

Липа. Ну?

Кондратий. Да только трудно очень поверить, как же это так? Говорят, будто дьявол-то настоящий образ, который есть действительно чудотворный, давно уже украл, а на место его свой портрет повесил.

Липа. Господи! Какое кощунство! Как же вам не стыдно верить таким мерзостям? А еще рясу носите... Вам, правда, только в луже лежать...

Савва. Ну-ну, не сердись. Это она нарочно, отец Кондратий, она добрая. А отчего бы вам и вправду из монастыря не уйти? Что за охота с тенями да с дьяволами возиться?

Кондратий *(пожимая плечами)*. Да и ушел бы, да куда приткнуться? От дела я отбился давно, а тут, по крайней мере, заботы о куске хлеба не имеешь. Да и против дьявола... *(осторожно подмигивает Савве на Липу, отвернувшуюся к окну, и щелкает себе по горлу)* есть у меня средствице.

Савва. Ну-ну, пойдем, поговорим. Ты, рожа, пришлешь нам водки? Как, решил или нет?

Тюха *(хмуро)*. Он неверно говорит. Дьявола тоже нет. Этого не может быть, чтобы дьявол свой портрет повесил, когда дьявола нет. Пусть он лучше у меня спросит.

Савва. Ладно, потом поговоришь. Пришли водки.

Тюха *(уходит)*. И водки не пришлю.

Савва. Вот дурень! Вы, отец, вот что: ступайте-ка пока в сад, вот в ту дверь, знаете, а я сейчас приду. Не заблудитесь? *(Уходит следом за Тюхой.)*

Кондратий. До свидания, Олимпиада Егоровна.

Липа не отвечает. Когда Кондратий выходит, она несколько раз взволнованно проходит по комнате и ждет Савву.

Савва *(входит с бутылкой водки и связкой бубликов)*. Ну вот... Какой дурень!

Липа *(загораживает ему дорогу)*. Я знаю, зачем ты пришел сюда. Я знаю. Ты не смеешь.

Савва. Что еще?

Липа. Я слушала тебя и думала, что это одни слова, что это так, но теперь... Опомнись, подумай!.. Ты с ума сошел. Что ты хочешь делать?

Савва. Пусти!

Липа. И я слушала его, смеялась... Господи! Я точно проснулась от страшного сна... Или все это сон? Зачем здесь был монах? Зачем? Зачем ты говорил про бомбы?

Савва. Ну, довольно, поговорила и достаточно. Пусти!

Липа. Да пойми же, что ты сошел с ума... понимаешь, сошел с ума!

Савва. Надоело. Пусти!

Липа. Савва, ну миленький, ну голубчик... А, так... Хорошо же, не слушаешь, хорошо же. Ты увидишь, Савва. Увидишь. Найдутся люди. Тебя связать надо! Господи, что же это! Да постой же! Постой!

Савва *(идя)*. Хорошо, хорошо.

Липа *(кричит)*. Я донесу на тебя. Убийца! Анархист! Я донесу на тебя!

Савва *(поворачиваясь)*. Ого! Знаешь, будь поосторожнее. *(Кладет ей руку на плечо и смотрит в глаза.)* Будь поосторожнее, говорю!

Липа. Ты... *(Секунды три борьбы двух пар глаз, и Липа отворачивается, закусив губы.)* Я не боюсь тебя.

Савва. Вот так-то лучше. А то кричать. Кричать никогда не надо. *(Уходит.)*

Липа *(одна)*. Что же это? Что же делать... Да?

Кудахчут куры.

Е г о р И в а н о в и ч *(во дворе)*. Что тут делается, а? На полчаса ушел, а уже какой беспорядок. Полька, ты что это цыплят в малинник выпустила? Ступай, анафема, загони. Тебе говорю! А вот же я тебе пойду! Я тебе пойду! Я тебе...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Внутри монастырской ограды. В глубине сцены и с левой стороны — монастырские здания, трапезная, кельи монахов, часть церкви и башня с проходными арчатыми под ней воротами. В различных направлениях двор пересекают деревянные мостки. Правая сторона сцены: слегка выдавшийся угол стенной башни и приютившееся возле стены небольшое монастырское кладбище, обнесенное легкой железной решеткой. Мраморные памятники, каменные и железные плиты, сильно вдавшиеся в землю; все старое, покосившееся,— здесь уже давно никого не хоронят. Шиповник, два-три небольших дерева.

Время к вечеру после всенощной; от башни, от стены длинные тени. Здания и башни залиты красноватым светом заходящего солнца. По мосткам проходят монахи, послушники, богомольцы. В начале действия слышно, как за стеной гонят деревенское стадо: хлопает пастуший кнут, блеяние овец, мычание коров, глухие крики. К концу действия сильно темнеет, и движение по двору прекращается. На лавочке у железной решетки кладбища сидят Савва, Сперанский и молодой послушник. Сперанский держит шляпу на коленях и изредка приглаживает длинные прямые волосы, висящие двумя унылыми прядями вдоль длинного бледного лица; ноги держит вместе, говорит тихо, грустно, жестикулирует одним вытянутым указательным пальцем. Послушник, молодой, круглолицый, крепкий, не слушает разговора и все время улыбается чему-то своему.

С а в в а *(рассеянно глядя в сторону)*. Да. Чем же вы занимаетесь тут?

С п е р а н с к и й. Да ничем, Савва Егорович. Разве в таком положении можно чем-нибудь заниматься? Раз человек сомневается в собственном своем существовании, так для него никакие занятия необязательны. Но дьяконица этого не понимает. Она очень глупая женщина, совершенно необразованная и, кроме того, дурного характера, и заставляет меня работать. А какая же тут работа? Или такое дело: у меня аппетит очень хороший, развился еще в семинарии, а она упрекает меня за каждый, извините, кусок хлеба. Не понимает того, необразованная женщина, что в действительности куска этого, весьма возможно, совсем не существует. Имей я настоящее бытие, как другие люди, я страдал бы весьма сильно, но в теперешнем моем положении на-

падки эти не уязвляют меня. Меня все житейское не уязвляет, Савва Егорович.

С а в в а *(улыбаясь послушнику на его бессознательную радость, рассеянно)*. И давно это с вами началось?

С п е р а н с к и й. Еще с семинарии, когда мы изучали философию. Тяжелое это состояние, Савва Егорович. Теперь я несколько привык, а вначале было прямо-таки несносно. Вешался я раз — сняли; вешался другой раз — опять-таки сняли. И из семинарии выгнали: ступай, говорят, безумный, вешаться в другое место. Как будто есть другое место, а не все одно.

П о с л у ш н и к. Савва Егорович, поедемте завтра рыбу ловить на мельницу.

С а в в а. Я не люблю рыбу удить: скучное занятие.

П о с л у ш н и к. Жалко. Ну так пойдемте же в лес, сухие ветки сбивать. Очень весело: ходишь и палкой сбиваешь, а потом как закричишь: го-го-го! А из оврага: го-го-го! А плавать вы любите?

С а в в а. Люблю. Я хорошо плаваю.

П о с л у ш н и к. Я тоже люблю.

С п е р а н с к и й *(вздыхая)*. Да. Странное положение.

С а в в а *(улыбаясь послушнику)*. А? Ну как же вы теперь?

С п е р а н с к и й. Дядя мой, отец диакон, когда брал меня к себе, так условием поставил, чтобы я больше не покушался на жизнь. Что же! Я и сказал: если мы, говорю, действительно существуем, то больше я вешаться не буду.

С а в в а. А зачем вам знать, существуете вы или нет? Вон небо, посмотрите, какое красивое! Вон ласточки. Травою пахнет... хорошо! *(К послушнику.)* Хорошо, дядя?

П о с л у ш н и к. Савва Егорович, а вы любите муравьиные кучи разорять?

С а в в а. Не знаю, не пробовал. Но думаю, что интересно.

П о с л у ш н и к. Очень интересно. А вы любите змей пускать?

С а в в а. Давно уже не приходилось. А некогда очень любил.

С п е р а н с к и й *(терпеливо ждущий окончания их разговора)*. Ласточки! Ну и летают они: что же мне от этого? А может быть, и ласточек этих нет и все это только сонная греза.

С а в в а. Что же, и сны бывают хорошие.

С п е р а н с к и й. А мне вот все проснуться хочется — и не могу. Хожу, хожу до устали, до изнеможения, а очнусь — и опять я здесь. Монастырь, колокольня, часы

бьют. И все — как сонная греза. Закроешь глаза — и нет его. Откроешь — опять оно появится. Иной раз выйду я в поле ночью, закрою глаза, и кажется мне, что ничего уж нет. Только вдруг коростель закричит, телега по шоссе проедет — и опять, значит, греза. Потому что, если уши заткнуты, тогда и этого не услышишь. А умру я, и все замолчит, и тогда будет правда. Одни мертвые, Савва Егорович, знают правду.

Послушник *(улыбаясь, осторожно машет руками на какую-то птицу, шепотом)*. Спать пора! Спать! Слышишь!

Савва *(с неудовольствием)*. Какие мертвые? Послушайте, господин хороший, у меня ум мужицкий, простой, и я этих тонкостей не понимаю. Про каких вы мертвых говорите?

Сперанский. Решительно про всяких. Оттого-то у мертвых лицо спокойное. Вы посмотрите: как бы человек перед смертью ни мучился, а умрет — лицо у него сейчас же становится спокойное. Оттого, что правду узнал. Я сюда постоянно хожу, на все похороны, и это даже удивительно. Одну бабу тут хоронили — с горя умерла: мужа у нее на чугунке задавило. Что у нее в голове должно было перед смертью совершаться, подумать страшно,— а лежит такая спокойная: потому что узнала она, что горе ее — одна греза, видение сонное. Я мертвых люблю, Савва Егорович. Мне кажется, что мертвые действительно существуют.

Савва. Я не люблю мертвых... *(Нетерпеливо.)* Послушайте, однако, вы пренеприятный господин. Вы — как дверь, которая покоробилась от дождя и сквозь которую вечно дует. Вам это говорили?

Сперанский. Да. Высказывали.

Савва. И я не стал бы вас из петли вынимать. Какой дурак вас вынул? Товарищи?

Сперанский. Первый раз отец эконом, а в другой раз — товарищи. Очень жаль, Савва Егорович, что вы так мною недовольны. А я хотел было вам, как человеку образованному, показать некий мой письменный труд, еще от семинарии оставшийся. Называется: «Шаги смерти», так, вроде рассказа.

Савва. Нет, уж избавьте. Да и вообще...

Послушник *(поднимаясь)*. Отец Кирилл идет, надо удирать!

Савва. А что?

Послушник. Он меня в лесу поймал, как я «го-го» кричал. Ах, ты, говорит, леший, лесной дух, козлоногий...

Завтра после обеден, ладно? *(Уходит, сперва идет прямо, потом каким-то танцующим шагом.)*

Толстый монах. О чем беседуете, молодые люди? Вы никак будете сынок Тропинина, Егора Ивановича?

Савва. Да, он самый.

Толстый монах. Слыхал, слыхал. Почтенный человек — ваш батюшка. Присесть позволите? *(Садится.)* Вечер, а как жарко: не быть бы грозе к полуночи. Ну как, молодой человек, нравится вам у нас? Как против столиц?

Савва. Монастырь богатый.

Толстый монах. Да, благодарение Господу. В большом почете во всей, можно сказать, России. Есть многие, что даже из Сибири приходят. Далеко идет слава. Вот скоро праздник...

Сперанский. Утомительно будет вам, батюшка. День и ночь служение...

Толстый монах. Нужно потрудиться для монастыря.

Савва. А не для людей?

Толстый монах. Да и для людей, а то для кого же? У нас в прошлый год сколько одних кликуш исцелилось — конца-краю нет. Слепой прозрел, двое хромых заходили... Вот сами поглядите, молодой человек, тогда улыбаться не будете. Вы, как я слыхал, неверующий?

Савва. Верно слыхали, неверующий.

Толстый монах. Ай-ай, стыдно, стыдно! Конечно, много теперь неверующих из образованного класса, только лучше ли им от этого? Сомневаюсь.

Савва. Нет, не так много. Это они в церковь не ходят и думают про себя, что неверующие, но вера у них, пожалуй, глубже сидит, чем у вас.

Толстый монах. Скажите пожалуйста!

Савва. Ну да, под благородными, конечно, фасонами. Народ образованный.

Толстый монах. Конечно, конечно. Только с верою спокойнее.

Савва. Слыхал я, что дьявол тут по ночам монахов душит?

Толстый монах *(смеется)*. Пустяки какие!.. *(К проходящему мимо седому монаху)*. Отец Виссарион, пожалуйте-ка сюда! Присаживайтесь. Вот сынок Егор Ивановича утверждает, что нас дьявол по ночам душит. Не слыхали?

Оба монаха благодушно смеются, глядя друг на друга.

Седой монах. Это некоторые от сытости плохо спят, вот им и кажется, что их душат. Дьяволу, молодой человек, в нашу святую обитель не войти.

Савва. А вдруг да явится? Что тогда, отцы, скажете?

Толстый монах. А мы его кропилом, кропилом! Куда лезешь, черномазый?

Монахи смеются.

Седой монах. Царь Ирод идет.

Толстый монах. Погодите минутку, отец Виссарион. Вот вы говорите — вера и прочее такое, а позвольте, я вам человечка одного представлю. Вон он как идет, а на нем вериг на полтора пуда. Танцует, а не идет. Каждое лето у нас гостюет, да и то сказать,— гость дорогой. Глядя на него, и другие в вере укрепляются... Ирод, а Ирод?

Царь Ирод. Чего тебе надо?

Толстый монах. Подь-ка сюда на минутку. Вот господин в Боге сомневается, поговори-ка с ним.

Царь Ирод. А ты сам что же, толстопузый, язык от пива не ворочается?

Толстый монах. Еретик! Экий еретик!

Смеются оба.

Царь Ирод *(подходя)*. Который господин?

Толстый монах. Вот этот.

Царь Ирод *(смотрит внимательно)*. Сомневается, так и пусть сомневается; мне-то какое дело?

Савва. Вот как!

Царь Ирод. А ты думал, как?

Толстый монах. Ты бы сел.

Царь Ирод. И так постою.

Толстый монах *(Савве громким шепотом)*. Это он для усталости. Пока не сомлеет совсем, так ни есть, ни спать не может. *(Громко.)* Вот господин удивляется, какие на тебе вериги.

Царь Ирод. Вериги что,— побрякушки. Их на лошадь надень, и лошадь понесет, сила бы у ее была... Душа у меня мрачна. *(Смотрит на Савву.)* Ты знаешь, сына я своего убил. Сам. Говорили небось сороки-то эти?

Савва. Говорили.

Царь Ирод. Ты можешь это понять?

Савва. Отчего же? Могу.

Царь Ирод. Врешь ты, не можешь. И никто этого понять не может. Обойди ты весь свет, всю землю, всех людей опроси, и никто не может понять. А если кто и го-

ворит, что понимает, так врет, как ты. Ты и своего носа-то как следует не видишь, а тоже говоришь. Глуп ты еще.

Савва. А ты умен?

Царь Ирод. А я умен. Меня мое горе просветило. Велико мое горе, больше его на земле нету. Сына убил, сам, своими руками. Не этой, что глядишь, а той, которой нет.

Савва. А та где же?

Царь Ирод. В печке сжег. Положил в печку да по локоть и отжег.

Савва. Что же, полегчало?

Царь Ирод. Нет. Моего горя огонь не берет, мое горе горячее огня.

Савва. Огонь, дядя, все берет.

Царь Ирод. Нет, парень, он слаб, огонь. Плюнул на него, а он и погас.

Савва. Какой огонь! Можно, дядя, такой запалить, что хоть ты море на него вылей, так и то не погасишь.

Царь Ирод. Нет, парень, всякий огонь тухнет, когда время на то приходит. А моего горя ничем ты не угасишь. Велико мое горе, так велико, что как посмотрю я вокруг: ах, мать твою,— да куда же большое все подевалось: дерево маленькое, дом маленький, гора маленькая. Будто это, знаешь, не земля, а маковая росинка. Идешь так-то да все опасаешься: как бы ко краю не прийти да не свалиться.

Толстый монах *(с удовольствием)*. Ну-ну, царь Ирод, здорово!

Царь Ирод. Для меня, парень, и солнце не восходит. Для других восходит, а для меня нет. Другие днем темноты не видят, а я вижу. Она промеж свету, как пыль. Сперва взглянешь, как будто и светло, а потом, глядь, Господи! — небеса черные, земля черная, и все, как сажа. Маячит что-то, а что — даже не разберешь: человек ли, куст ли. Тоска моя, тоска моя великая... *(Задумывается.)* Кричать стану — кто услышит? Выть начну — кто отзовется?

Толстый монах *(седому тихо)*. Собаки на деревне отзовутся.

Царь Ирод *(встряхнув головой)*. Эх, вы, люди! Вот смотрите вы на меня как на пугало. Волосы, да вериги, да сына убил, да царь Ирод,— а души моей вы не видите и тоски моей не знаете. Слепы вы все, как черви земляные. Вас оглоблей по затылку бить, так и то не поймете! Ты, толстопузый, что брюхо колыхаешь?

Савва. Однако, как он вас!

Толстый монах *(успокоительно)*. Это ничего. Не в этом суть дела. Он всех нас поносит.

Царь Ирод. И буду поносить! Тебе такому разве Богу служить? В кабаке тебе сидеть, дьявола тешить. С его пуза, парень, черти по ночам на салазках катаются.

Толстый монах *(благодушно)*. Ну, ну. Господь с тобой. Ты о деле лучше говори.

Царь Ирод *(Савве)*. Видишь! Это он на моем горе нажить хочет. Наживайся, наживайся!

Седой монах. Экий ты ругатель, царь Ирод, откуда слова у тебя берутся? Это как-то он при отце игумене ляпнул: кабы Бог не бессмертен был, так они бы Его давно по кусочкам распродали. Но, однако же, терпим, так как для обители он человек не вредный.

Толстый монах. Народ собирает. Сюда для него многие приходят. А нам что: Господь видит нашу чистоту. Верно, царь Ирод?

Царь Ирод. Ну, ты там молчи, старый хрен. Ногами еле двигает, черт в таратайке переехал, а на селе трех баб содержит. Одной ему мало!

Монахи добродушно хохочут.

Царь Ирод. Видишь? Видишь? У-у, глаза ваши бесстыжие! Хоть ты им плюй!..

Савва. Зачем же сюда ходишь?

Царь Ирод. Не для них хожу. Слушай, молодец, горе у тебя есть?

Савва. Может, и есть. А что?

Царь Ирод. Ну, так послушай ты меня: будет у тебя горе, не ходи ты к людям. Будь друг, не ходи. Невмоготу станет — лучше к волкам в лес пойди. Сожрут сразу, и баста, а эти... Видел я, парень, много плохого, а хуже человека ничего не видал. Нет! Говорят тоже: по образу, по подобию созданы. Ах, сукины дети, сукины дети! Да разве есть у вас образ? Да будь образ самый махонький, так вы бы от стыда от одного на карачках поползли, сукины дети! Хоть ты им смейся, хоть ты им плачь, хоть ты им кричи,— ничего, облизываются. Царь Ирод... Сукины дети!.. А когда царь Ирод, не я, а настоящий, в золотой короне, младенцев ваших избивал, вы где были, а?

Толстый монах. Нас тогда, миленький, и на свете не было.

Царь Ирод. Не вы были, так другие, такие же! Избил и избил — и больше ничего. Многих я, парень, расспрашивал: ну, как, что? — Да ничего, говорят, избил и избил.

Хороши? За детей своих и за тех постоять не умеют,— хуже собак, анафемы!

Толстый монах. А ты-то что же бы сделал?

Царь Ирод. Я? Голову бы ему оторвал, со всей его золотой короной, мать его!..

Седой монах. В Писании сказано: Божие Богови, а кесарево кесарю.

Толстый монах. В чужое, значит, дело не мешайся. Понял?

Царь Ирод *(с отчаянием Савве)*. Нет, ты послушай! Ты послушай, что они говорят!

Савва. Слыхал.

Царь Ирод. Ну погодите же, голубчики, погодите! Дождетесь скоро. Вот придет дьявол, он вам пропишет геенну огненную. Жир-то потечет — слышишь, монах, шпаленным пахнет?

Толстый монах. Это, милый, из трапезной.

Царь Ирод. Только пятки засверкают, да некуда: везде геенна, везде огонь! Ага, голубчики, голоса моего слушать не хотели, так теперь огонька послушаетесь! Ну и рад же я буду! Вериги сыму, ловить их буду и к дьяволу по одному предъявлять: вот он, бери! А он-то плачет, а он-то изгиляется: да не виноват же я! — Не виноват? А кто же виноват, а? Да в геенну его: гори, сукин сын, до второго пришествия!

Седой монах. А не время ли нам, отец Кирилл?

Толстый монах. Что же, тронемся, отец Виссарион. Стемнело, пора и на покой.

Царь Ирод. Ага! Правды-то не любите?

Толстый монах *(благодушно)*. И-и, миленький, брань на вороту не виснет. Ты поругаешься, а мы послушаем, а там Господь разберет, кого надо в геенну, а кого куда. Кроткие-то, голубчик, наследуют землю, сказано в Писании. До приятного свидания, молодые люди.

Седой монах *(сердито)*. А все-таки я тебе, старик, посоветую: говори, да не заговаривайся. Не по чему другому, как только по убожеству твоему терпим тебя, да по глупости твоей. А в случае чего, разболтаешься очень, так можно и попридержать. Да!

Царь Ирод. Попробуй, попробуй, придержи!

Толстый монах. И охота вам, отец Виссарион! Пусть себе поговорит, вреда от этого никому нет. Послушайте, послушайте, молодые люди,— человечек любопытный. До свиданья!

Уходят; слышно, как толстый монах хохочет.

Ц а р ь И р о д *(Савве)*. Хороши? Терпения моего с ними нету.

С а в в а. А ты мне, дядя, нравишься.

Ц а р ь И р о д. Ой ли? Тоже не любишь ихнего брата?

С а в в а. Не люблю.

Ц а р ь И р о д. Ну-ка, дай-кась, я присяду. Ноги отекли. Папироски у тебя нет?

С а в в а *(дает)*. Куришь?

Ц а р ь И р о д. Когда как. Ты мне прости, что я тебя обругал давеча. Ты — парень ничего, душевный. Только зачем врешь, что понял: никто понять не может. А это кто с тобой?

С а в в а. Так. Пристал.

Ц а р ь И р о д. Что, парень, обмок, а? Не сладко на душе?

С п е р а н с к и й. Да, грустно.

Ц а р ь И р о д. Ну молчи, молчи. Слушать не желаю. Есть горе — и молчи. Я тоже, брат, человек, не пойму да еще обижу. *(Бросает папиросу и встает.)* Нет, не могу. Пока стою или хожу, ничего, а как сел... У-ух ты... *(Мается.)* Просто, брат, продохнуть нельзя. Какая ведь вещь... Господи, видишь ли? А? Ну-ну, ничего, ничего... Обошлось. У-ах!

Небо заволокло облаками, сильно темнеет. Изредка безмолвно вспыхивают зарницы.

С а в в а *(тихо)*. Горе, дядя, удушить надо. Сказать себе твердо: не хочу горя, и не будет горя. Человек ты, я вижу, хороший, сильный...

Ц а р ь И р о д. Нет, парень, моего горя и смерть не возьмет. Что смерть! Она маленькая, а горе мое большое, не кончит она моего горя. Вот Каин когда еще помер, а горе его как было, так и осталось.

С п е р а н с к и й. У мертвых горя нет, они спокойны. Они правду знают.

Ц а р ь И р о д. Да никому не скажут... что толку от этой правды? Я вот живой, а правду знаю. Вот горе мое, видишь, какое,— на земле такого не бывает, а призови меня Бог и скажи: «Нá тебе, Еремей, все царства земные, а горе твое отдай Мне»...— не отдам. Не отдам, парень. Слаще оно мне меду липового, крепче оно браги хмельной... Правду я узнал через мое горе.

С а в в а. Бога?

Ц а р ь И р о д. Христа, вот кого. Он только один понять

может, какое у меня горе. Смотрит и понимает: «Да, вижу Я, Еремей, какое у тебя страдание». И больше ничего. «Вижу».— А я Ему отвечаю: «Да, смотри, Господи, какая у меня тоска». Только и всего, и ничего больше не надо.

Савва. Тебе дорого, что Он за людей пострадал? Так, что ли?

Царь Ирод. Это что распинали-то Его? Нет, брат, это пустое страдание. Распяли и распяли, только и всего,— а то, что тут Он сам правду узнал. Пока ходил Он по земле, был Он человек так себе, хороший, думал то да се, то да се. Вот человеки, вот поговорю, да вот научу, да устрою. Ну, а как эти самые человеки потащили его на крест, да кнутьями Его, тут он и прозрел: «Ага, говорит, так вот оно какое дело». И взмолился: «Не могу Я такого страдания вынести. Думал Я, что просто это будет распятие, а это что же такое»... А Отец Ему: «Ничего, ничего, потерпи, Сынок, узнай правду-то, какова она». Вот тут Он и затосковал, да... да до сих пор и тоскует.

Савва. Тоскует?

Царь Ирод. Тоскует, парень.

Пауза; зарница.

Сперанский. Весьма возможно, что будет дождь, а я без калош и без зонтика.

Царь Ирод. И всегда передо мной лик Его чистый, куда ни повернешь.— «Понимаешь, Господи, страдание мое?» — «Понимаю, Еремей. Я, брат, все понимаю; иди себе спокойно». И весь я перед Ним, как сосуд хрустальный со слезою.— «Понимаешь, Господи?» — «Понимаю, Еремей».— «Ну то-то, и я Тебя понимаю». Так мы с Ним вдвоем и живем: Он да я. Мне тоже Его жалко, паренек. А помирать стану, передам Ему тоску мою: владай, Господи!

Савва. А все-таки на людей ты напрасно так наседаешь. Есть и хорошие; очень мало, но есть. Иначе бы, дядя, и жить не стоило.

Сперанский. Да и Христос, насколько известно, заповедал: люби ближнего, как самого себя.

Царь Ирод. Чудачок! Да сам же я себе руку отжег, не пожалел; так имею я право другому человеку по шее дать, когда случай подходящий? Как ты располагаешь?

Савва. Это верно.

Царь Ирод. Вот то-то и оно. Ты знаешь, ведь это они меня царем Иродом окрестили.

Савва. Кто?

Царь Ирод. Да люди-то твои. Нет, парень, зверя жесточе человека... Младенца я убил — так вот и выходит по-ихнему: Царь Ирод. Не понимают того, сукины дети, каково мне такую кличку-то носить. Ирод! И будь бы от злости, а то так...

Савва. А тебя как звать?

Царь Ирод. Да Еремей же; Еремеем меня звать. А они: Ирод, да еще Царь, чтобы ошибки не было!.. Гляди, опять монах идет, чтоб его разразило!.. Слушай, ты образ-то Его видел?

Савва. Видел.

Царь Ирод. А глаза у Его видел? Ну так посмотри, посмотри, посмотри... Зачем идешь, мышь летучая? На деревню, к бабам собрался?

Кондратий. Мир честной беседе. Здравствуйте, Савва Егорович! Какими судьбами?

Царь Ирод. Смотри, монах, из кармана чертов хвост торчит.

Кондратий. Это не чертов хвост, это редька. Глазаст, глазаст, а промаху даешь.

Царь Ирод. Тьфу! Не могу я их видеть, с души воротит. Ну, прощай, паренек... попомни, что я говорил: будет горе — не ходи к людям.

Савва. Ладно, дядя, попомню.

Царь Ирод. Лучше в лес иди к волкам.

Уходит; из темноты доносится: «Господи, видишь ли?..»

Кондратий. Ограниченный человек. Сына убил и хорохорится, никому не дает проходу. Радость какая, подумаешь!

Сперанский *(вздыхает)*. Нет, отец Кондратий, вы неправильно рассуждаете: он счастливый человек. Ведь теперь, по его настроению, воскресни его сын, так он его опять убьет, пяти минут сроку не даст. Но, конечно, умрет,— узнает правду.

Кондратий. Я и говорю: дурак. Будь бы кошку убил, а то сына. Что призадумались, Савва Егорович?

Савва. Да вот жду, скоро этот господин уйдет или нет. Черт их тут носит. Вот еще кто-то прется! *(Всматривается.)*

Липа *(подходит, нерешительнс всматривается)*. Это ты, Савва?

Савва. А это ты? Чего надо?

Липа. Это отец Кондратий с тобой?

С а в в а. Ну да, он. Чего тебе надо? Я не люблю, сестра, когда за мной ходят по пятам.

Л и п а. Двор проходной, сюда никому вход не запрещен... Григорий Петрович, вас Тюха спрашивает: отчего, говорит, семинарист не приходит?

С а в в а. Вот и ступайте вместе, этакой веселой парой. Прощайте, господин, прощайте.

С п е р а н с к и й. До приятного свидания, Савва Егорович. Надеюсь еще побеседовать.

С а в в а. Нет, уж не надейтесь лучше. Прощайте.

Л и п а. Какой ты грубый, Савва! Идемте, Григорий Петрович,— у них свои дела.

С п е р а н с к и й. Все же не теряю надежды. До свиданья.

Уходят.

С а в в а. Вот пристал, черт его побери!

К о н д р а т и й (*смеется*). Действительно неотвязный человек. Пристанет и как тень ходит. У нас многие так и зовут его: тень; отчасти, надо полагать, за худобу. Вот подождите: вы ему понравились, теперь прилипнет.

С а в в а. Со мной разговоры короткие: прогоню.

К о н д р а т и й. И бить его пробовали — не помогает. Он тут на двадцать верст известен. Фигура!

Пауза. Темнеет. Зарницы чаще. Безмолвно вспыхивают они в разных сторонах неба, и кажется при каждой вспышке, что кто-то заглядывает через ограду и башни во двор монастыря.

С а в в а. Ты зачем, Кондратий, здесь мне место назначил? Проходной двор какой-то. Облепили меня монахи да юродивые, как блохи. Говорил я: лучше в лесу, спокойнее.

К о н д р а т и й. Для избежания подозрений. Пойдем мы с вами в лес,— зачем, скажут, благочестивый Кондратий с таким связался — извините — человеком? А тут всякому место. Я нарочно и приходить повременил: пусть вас с разными людьми повидают.

С а в в а (*пристально смотрит*). Ну?

К о н д р а т и й (*отводит глаза и пожимает плечами*). Не могу.

С а в в а. Боишься?

К о н д р а т и й. Говоря по совести: боюсь.

С а в в а. Ну и дрянь же ты, брат, человек.

К о н д р а т и й. Это уж как хотите.

Пауза.

С а в в а. Да чего боишься-то, дурень? Машинка безопасная, тебя не тронет. Поставил, завел, а сам хоть на деревню ступай, к бабам.

К о н д р а т и й. Да я не этого.

С а в в а. Суда? Так сказано же тебе: в случае чего вину на себя беру. Не веришь?

К о н д р а т и й. Как не верить? Верю.

С а в в а. Так чего же? Неужели Бога?

К о н д р а т и й. Бога.

С а в в а. Да ведь ты же не в Бога, а в дьявола веришь?

К о н д р а т и й. А кто знает: а вдруг Он да и есть? Тогда тоже, Савва Егорович, благодарю покорно за одолжение. Да и из-за чего? Живу я спокойно, хорошо; конечно, как вы говорите, обман: так я же здесь при чем? Хотят верить, пусть себе и верят. Не я Бога выдумал.

С а в в а. Послушай, ты знаешь, что я сам бы мог это сделать. Взял да во время крестного хода бомбу и бросил — вот тебе и все. Но тогда погибнет много народу, а это сейчас — лишнее. Поэтому я тебя и прошу. А если ты откажешься, так я все-таки сделаю, и на твоей душе будут убитые. Понял?

К о н д р а т и й. Зачем же на моей? Не я буду бросать. Да опять-таки мне-то какое дело до них, до убитых? Народу на свете много, всех не перебьете, сколько ни бросайте.

С а в в а. А тебе их не жалко?

К о н д р а т и й. Всех жалеть — самому не останется.

С а в в а. Ну вот! Ты умный человек, говорил же я тебе, а ты все не веришь. Умный, а испортить кусок дерева боишься.

К о н д р а т и й. Если это кусок дерева, так из-за чего же и вам хлопотать? — То-то, что не дерево, а образ.

С а в в а. Ну да. Налипло на него много, вот они его и ценят. А я не люблю того, что люди дорого ценят.

К о н д р а т и й. Как же это так «не любите»?

С а в в а. Так и не люблю. Когда для человека шапка дороже головы, так нужно с него и шапку и голову снять. Эх, дядя, не будь ты трус, порассказал бы я тебе!

К о н д р а т и й. Что ж, расскажите, от этого мне греха не будет. Да и не трус я, а просто осторожный человек.

С а в в а. Это, дядя, только начало.

К о н д р а т и й. Хорошее начало, нечего сказать. А конец какой?

С а в в а. Голая земля — понимаешь? Голая земля, и на ней голый человек, голый, как мать родила. Ни штанов на нем, ни орденов на нем, ни карманов у него — ничего. Ты

подумай: человек без карманов — ведь это что же! Да, брат, икона — это еще ничего.

Кондратий. Я и говорю: новую сделают.

Савва. Ну, да уж не та будет. Да и не забудут они уже, что динамит сильнее ихнего Бога! А человек — сильнее динамита. Вот они кланяются, вот они молятся, вот они прямо взглянуть не смеют, холопы поганые, а пришел настоящий человек и разрушил. Готово!

Кондратий. Действительно.

Савва. И когда так будет разрушен десяток их идолов, они почувствуют, холопы, что кончилось царство ихнего Бога и наступило царство человека. И сколько их подохнет от ужаса одного, с ума будут сходить, в огонь бросаться. Антихрист, скажут, пришел... ты подумай, Кондратий!

Кондратий. А вам не жалко?

Савва. Их-то? Они мне тюрьму выстроили, а я их жалеть буду? Они голову мою в застенок посадили, а я их жалеть буду? Ха! Тебе в голову гвозди вбивали или нет? Нет. Ну, а у меня вся голова гвоздями утыкана — мастера они гвозди вгонять, пожалеть их надо?

Кондратий. Кто же вы такой, что никого не жалеете?

Савва. Я? Я, дядя, человек, который однажды родился. Родился и пошел смотреть. Увидел церкви — и каторгу. Увидел университеты — и дома терпимости. Увидел фабрики — и картинные галереи. Увидел дворец — и нору в навозе. Подсчитал так, понимаешь, сколько на одну галерею острогов приходится, и решил: надо уничтожить все. И мы это сделаем. Да, пора нам посчитаться, пора!

Кондратий. Кто мы?

Савва. Я, ты, Кондратий, другие.

Кондратий. Народ глуп, не поймет он этого.

Савва. Поймет, когда загорится все кругом. Огонь, дядя, учитель хороший. Ты слыхал о Рафаэле?

Кондратий. Нет, не приходилось.

Савва. Ну так вот. После Бога мы примемся за них. Там их много: Тицианы, Шекспиры, Пушкины, Толстые. Из всего этого мы сделаем хорошенький костерчик и польем его керосином. Потом, дядя, мы сожжем их города!

Кондратий. Ну-ну, вы шутите! Как же это можно — города!

Савва. Нет, зачем шутить. Все города. Ведь что такое ихние города? Это могилы, понимаешь, каменные могилы. И если этих дураков не остановить и дать им строиться еще, они всю землю оденут в камень, и тогда задохнутся все. Все!

К о н д р а т и й. Бедному человеку придется плохо!

С а в в а. Тогда все будут бедные. Богатый — отчего он богат? Оттого, что есть у него дом, деньги, забором он отгородился. А как не будет у него ни домов, ни денег, ни забора...

К о н д р а т и й. Верно! И документов, значит, нет — сгорели!

С а в в а. И документов нет. Иди-ка, дядя, работать,— буде дворяниться!

К о н д р а т и й (*смеется*). Потеха! Голые это все, как из бани!

С а в в а. Ты мужик, Кондратий?

К о н д р а т и й. Подати плачу. Крестьянин я, это верно.

С а в в а. Я тоже мужик. Нам, брат, с тобой хуже не станет.

К о н д р а т и й. Да уж куда хуже! Но только много народу пропадет, Савва Егорович!

С а в в а. Ничего, довольно останется. Дрянь, дядя, пропадет. Глупые пропадут, для которых эта жизнь, как скорлупа для рака. Пропадут те, кто верит,— у них отнимется вера. Пропадут те, кто любит старое,— у них все отнимется. Пропадут слабые, больные, любящие покой: покоя, дядя, не будет на земле. Останутся только свободные и смелые, с молодою жадною душой, с ясными глазами, которые обнимают мир.

К о н д р а т и й. Как у вас... Я ваших глаз, Савва Егорович, боюсь, особенно в темноте.

С а в в а. Как у меня? Нет, Кондратий, я человек отравленный,— от меня ихнею мертвечиною пахнет. Будут люди лучше, свободнее, веселее. И, свободные от всего, голые, вооруженные только разумом своим, они сговорятся и устроят новую жизнь, хорошую жизнь, Кондратий, где можно будет дышать человеку.

К о н д р а т и й. Любопытно. Только позвольте сказать вам, Савва Егорович... народ — он хитрый, припрячет что-нибудь или как. А потом, глядь, на старое и повернули, по-старому, значит, как было. Тогда как?

С а в в а. По-старому. (*Мрачно.*) Тогда совсем надо его уничтожить. Пусть на земле совсем не будет человека. Раз жизнь ему не удалась, пусть уйдет и даст место другим,— и это будет благородно, и тогда можно будет и пожалеть его, великого осквернителя и страдальца земли!..

К о н д р а т и й (*качая головой*). Однако!

С а в в а (*кладя ему руку на плечо*). Поверь мне, монах, я исходил много городов и земель, и нигде я не видел свободного человека. Я видел только рабов. Я видел клетки, в которых они живут, постели, на которых они родятся и умирают; я видел их вражду и любовь, грех и добродетель. И забавы их я видел: жалкие попытки воскресить умершее веселье. И на всем, что я видел, лежит печать глупости и безумия. Родившийся умным — глупеет среди них; родившийся веселым — вешается от тоски и высовывает им язык. Среди цветов прекрасной земли,— ты еще не знаешь, монах, как она прекрасна! — они устроили сумасшедший дом. А что они делают со своими детьми! Я еще не видел ни одной пары родителей, которые не были бы достойны смертной казни: во-первых,— что родили; а во-вторых,— что, родившись, тотчас не умерли сами.

К о н д р а т и й. Ого, как вы говорите!

С а в в а. И как они лгут, как они лгут, монах! Они не убивают правды, нет, они ежедневно секут ее, они обмазывают своими нечистотами ее чистое лицо,— чтобы никто не узнал ее! — чтобы дети ее не любили! — чтобы не было ей приюта! И на всей земле — на всей земле, монах, нет места для правды.

Задумывается. Пауза.

К о н д р а т и й. А нельзя как-нибудь инако, без огня? Очень страшно, Савва Егорович. Что же это такое будет! Светопреставление.

С а в в а. Нельзя, дядя, иначе: светопреставление и нужно. Лечили их лекарством — не помогло; лечили их железом — не помогло. Огнем их теперь надо — огнем!

Пауза. Сверкают безмолвно зарницы. Где-то далеко колотит сторож в железную доску. Савва неподвижно-широко смотрит на зарницу: он окован громадною думою о жизни, мыслями без слов, чувством без выражения. Видит свое одиночество и близкую смерть.

К о н д р а т и й. И кабаков не будет?

С а в в а (*думая*). Ничего не будет.

К о н д р а т и й. Кабаки построят. Без кабаков не обойдутся.

Продолжительное молчание.

К о н д р а т и й. Да-а... О чем задумались, Савва Егорович? (*Савва молчит. Кондратий прикасается к его плечу.*) На вас бабочка села.

С а в в а. Что?

К о н д р а т и й. Бабочка села. Мертвая голова называемая — по ночам летает. Да что вы?

С а в в а (*вздрогнув, громко*). Оставь.

К о н д р а т и й. Испугал я вас?

С а в в а. Что? *(Очнувшись, удивленно.)* Какие зарницы! Ты что говоришь? Да, да. Ничего, брат, все устроится... (*Вздохнув, весело.*) Ну как же — начнем? Согласен? Да ну, дядя, будет упрямиться!

К о н д р а т и й (*покачивая головой*). Загадали вы мне загадку.

С а в в а. Ничего, дядя, не робей. Ты человек умный, сам понимаешь, что нельзя иначе. Кабы можно иначе, разве стал бы я сам, пойми!

К о н д р а т и й (*густо вздыхает*). Да-а... Эх, Савва Егорович, ангел вы мой неоцененный, разве я этого не понимаю? Жизнь проклятущая! Эх, Савва Егорович, Савва Егорович! Вот скажи я вам, кому хочешь скажи: я человек хороший,— засмеют, по затылку дадут: «что брешешь, пьяница!..» Кондратий — хороший человек... самому даже смешно, а я, ей-Богу, хороший. Так, не знаю, как это вышло. Жил-жил — и вдруг! Как это, по какой причине — неизвестно.

С а в в а. А ты вот все боишься!

К о н д р а т и й. Кто я теперь такой: ни Богу свеча, ни черту кочерга. Как оглянешься иной раз да подумаешь... Эх, Савва Егорович, разве у меня совести нет? Разве я не понимаю? Все я понимаю, но только... Я и дьявола не то вправду боюсь, не то так: дурака ломаю. Эка штука— дьявол! Побыл бы на нашем месте, так узнал бы кузькину мать. Недавно это, пьяный, кричу я: выходи, дьявол, на левую руку, я человек отчаянный! Мне ничего не жалко: пропадать, так пропадать... Эх, разжалобили вы меня, Савва Егорович! (*Утирает рукавом глаза.*)

С а в в а. Зачем пропадать? И я пропадать не хочу. Еще поживем, дядя! Тебе сколько лет?

К о н д р а т и й. Сорок два.

С а в в а. Ну вот, самые года. Деньги тебе нужны?

К о н д р а т и й. А они у вас есть?

С а в в а. Есть!

К о н д р а т и й (*подозрительно*). Откуда же это они у вас?

С а в в а. А тебе-то что? Может быть, я убил богатого купца или кого-нибудь зарезал. Доносить ведь не пойдешь?

Кондратий (*успокаиваясь*). Что вы, Савва Егорович, это дело ваше. А деньги, конечно, никогда не лишнее. Я тогда из монастыря уйду. У меня, скажу вам по совести, давно уже одно мечтаньице есть: сесть при дороге и трактир открыть. Компанию я люблю, и сам я разговорчивый человек; у меня дело пойдет. Трактирщик если и сам выпивает, так это не беда: народу приятнее; у веселого трактирщика и штаны оставишь — не заметишь. По себе знаю.

Савва. Что же, можно и трактир.

Кондратий. И кроме того, человек я еще в полном соку. Чем тут грешить, лучше же я законным браком...

Савва. В посаженые отцы, не забудь, позови.

Кондратий. Молоды еще! А деньги, Савва Егорович, когда — раньше или потом?

Савва. Иуда раньше получил.

Кондратий (*огорченно*). Ну вот! То сами подговариваете, а то — Иуда. Разве приятно такие слова слышать? Живого человека Иудой называете!

Савва. Иуда был дурак. Он удавился, а ты трактир откроешь.

Кондратий. Опять! Если вы так обо мне думаете...

Савва (*хлопая по плечу*). Ну-ну, дядя... Разве не видишь, что я шучу? Иуда человека продал, а ты что — вроде как бы дровами торгуешь. Верно, дядя!

Показываются Сперанский и Тюха. Последний заметно покачивается.

Кондратий. Вот еще нелегкая несет. Тут такой разговор пошел...

Савва. Так как же, по рукам?

Кондратий. Что же с вами поделаешь!

Сперанский (*кланяется*). Еще раз здравствуйте, Савва Егорович. А мы с Антоном Егоровичем были на том конце, на кладбище. Бабу нынче одну схоронили, так посмотреть...

Савва. Не вылезла ли? А его зачем с собой таскаете? Тюха, иди спать, на ногах не держишься.

Тюха. Не пойду.

Сперанский. Антон Егорович сегодня в беспокойстве. Им все рожи представляются.

Савва. Да ведь смешные же?

Т ю х а. Ну да, смешные, а то какие же? *(Мрачно.)* У тебя, Савка, очень, очень смешная рожа!

С а в в а. Ну ладно, иди. Отведите его, нечего таскать.

С п е р а н с к и й. До приятного свидания! Пойдемте, Антон Егорович.

Уходят. Тюха идет, озираясь на Савву и спотыкаясь. Пропадают в темноте.

К о н д р а т и й. И нам пора. А деньги у вас как, свободные?

С а в в а. Свободные. Так слушай. Праздник в воскресенье. В субботу утром ты возьмешь, значит, машинку и вечером поставишь, за полчаса до двенадцати. Через четыре дня. Я тебе покажу, как заводить и все. Четыре дня еще. Надоело мне тут у вас, Кондратий.

К о н д р а т и й. А если я того... обману?

С а в в а (*тяжело*). Убью.

К о н д р а т и й. Ну вот!

С а в в а. Теперь если и откажешься, все равно убью. Много, брат, знаешь.

К о н д р а т и й. Шутите!

С а в в а. Что же, может, и шучу. Я, брат, человек веселый. Люблю посмеяться.

К о н д р а т и й. Попервоначалу вы веселый были. А что, Савва Егорович (*оглядывается*), приходилось вам человека убивать живого?

С а в в а. Приходилось. Купца-то того зарезал-то я.

К о н д р а т и й (*машет рукою*). Теперь вижу, что вы шутите. Ну, прощайте, пойду. Да и вы не засиживайтесь, как бы ворота не заперли. Вот не боюсь, не боюсь, а про коридор подумаешь, так страшно. Тени там теперь. Прощайте.

С а в в а. Прощай.

Кондратий пропадает в темноте. Зарницы. Савва стоит, опершись на решетку, и смотрит на белые камни кладбища, вспыхивающие при блеске зарниц.

С а в в а (*к могилам*). Ну, как-то вы, покойнички: перевернетесь в гробах или нет? Невесело мне что-то, покойнички, невесело!

Зарницы

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Парадная комната; три окна на улицу, одно открыто, но занавеска спущена. Открытая темная дверь в комнату первого действия. Вечер, темно. За окнами все время, не прекращаясь, слышны шаги богомольцев, идущих на завтрашний праздник. Идут в сапогах, идут босые и в лаптях; шаги быстрые, торопливые, медленные, усталые; идут группами по двое, по трое, идут по одному. Большею частью идут молча, но изредка доносится сдержанный, невнятный говор. Глухо начинаясь где-то далеко, слева, звуки шагов и разговоров разрастаются, иногда точно наполняют комнату и пропадают вдали. Впечатление огромного, неудержимого, стихийного движения.

За столом, при колеблющемся свете сального огарка, сидят Сперанский и сильно пьяный Тюха. Бутылка водки, огурцы, селедка. В остальной комнате совсем темно; временами ветерок надувает белую занавеску в окне и колышет пламя свечи. Разговор Тюхи и Сперанского ведется шепотом. После открытия занавеса продолжительная пауза.

Тюха (*наклоняясь к Сперанскому, таинственно*). Так ты говоришь, может, нас и нету, а?

Сперанский (*так же таинственно*). Как я уже докладывал вам: под сомнением, под большим сомнением. Весьма возможно, что в действительности мы не существуем, вовсе не существуем.

Тюха. И тебя нет и меня нет?

Сперанский. И вас нет и меня нет. Никого нет.

Пауза.

Тюха (*озираясь таинственно*). А где же мы?

Сперанский. Мы?

Тюха. Ну да, мы.

Сперанский. Неизвестно, Антон Егорович, никому не известно.

Тюха. Никому?

Сперанский. Никому.

Тюха (*оглядываясь*). А Савке?

Сперанский. И ему не известно.

Тюха. Савка все знает.

Сперанский. А этого и он не знает. Нет.

Тюха (*грозит пальцем*). Тише! Тише!

Оба оглядываются и молчат.

Тюха (*таинственно*). Куда это они идут, а?

Сперанский. На поднятие иконы. Завтра праздник, поднятие иконы.

Тюха. Нет, а по-настоящему! По-настоящему, понимаешь?

С п е р а н с к и й. Понимаю. Неизвестно. Никому не известно, Антон Егорыч.

Т ю х а. Тише! *(Кривит весело лицо, закрывая рот рукой и озираясь.)*

С п е р а н с к и й (*шепотом*). Чего вы?

Т ю х а. Молчи, молчи! Слушай.

Оба слушают.

Т ю х а (*шепотом*). Это — рожи.

С п е р а н с к и й. Да?

Т ю х а. Это — рожи идут. Множество рож. Видишь?

С п е р а н с к и й (*вглядываясь*). Нет, не вижу.

Т ю х а. А я вижу. Вот они, смеются. Отчего ты не смеешься, а?

С п е р а н с к и й. Мне очень грустно.

Т ю х а. Нет, ты смеешься, все смеются. Молчи, молчи!

Пауза.

Т ю х а. Слушай: никого нет. Никого, понимаешь? И Бога нет, и человека нет, и зверя нет. Вот стол — и стола нет. Вот свечка — и свечки нету. Одни рожи, понимаешь? Молчи! Молчи! Я очень боюсь.

С п е р а н с к и й. Чего?

Т ю х а (*близко наклоняясь*). Помереть со смеху.

С п е р а н с к и й. Да?

Т ю х а (*утвердительно кивая головой*). Да. Помереть со смеху. Увижу такую рожу и начну хохотать, хохотать, хохотать и умру. Молчи, молчи, я знаю.

С п е р а н с к и й. Вы никогда не смеетесь.

Т ю х а. Нет. Я постоянно смеюсь, только вы этого не видите. Это ничего. Я только умереть боюсь: увижу такую рожу и начну хохотать, хохотать, хохотать. Так, подступает. (*Потирает себе грудь и горло.*)

С п е р а н с к и й. Мертвые все знают.

Т ю х а (*таинственно, со страхом*). Я Савкиной рожи боюсь. Очень смешная, от нее можно умереть со смеху. Главное дело, остановиться нельзя, понимаешь? Будешь хохотать, хохотать, хохотать! Тут никого нет?

С п е р а н с к и й. По-видимому, никого!

Т ю х а. Молчи, молчи, я знаю. Молчи.

Пауза. Шаги становятся громче, как будто в самой комнате.

Т ю х а. Идут?

С п е р а н с к и й. Да, идут.

Пауза.

Т ю х а. Я тебя люблю. Спой-ка ты мне эту, твою... А я слушать буду.

С п е р а н с к и й. Извольте, Антон Егорыч... (*Поет вполголоса, почти шепотом, протяжным и заунывным мотивом, несколько похожим на церковный.*) «Все в жизни неверно, и смерть лишь одна — верна, неизменно верна! (*С возрастающей осторожностью и наставительностью, жестикулируя одним пальцем, как будто передает тайну.*) Все кинет-минует, забудет, пройдет — она не минует, найдет! Покинутых, скорбных, последних из нас, до мошки, незримой для глаз»...

Т ю х а. Как?

С п е р а н с к и й. «До мошки — незримой для глаз. Прижмет, приголубит и тяжкий свой брачный наденет венец, и — жизненной сказке конец». Все, Антон Егорыч.

Т ю х а. Молчи, молчи. Спел и молчи.

Входит Л и п а, отворяет окна, отодвигает цветы и смотрит на улицу. Потом зажигает лампу.

Т ю х а. Это кто? Ты, Липа? Липа, а Липа, куда они идут?

Л и п а. На праздник, ты же знаешь. Шел бы и ты спать, Тюха. А то увидит папаша, рассердится.

С п е р а н с к и й. Много идет народу, Олимпиада Егоровна?

Л и п а. Да. Только темно очень, не рассмотришь. Что это вы такой бледный, Григорий Петрович? Даже неприятно смотреть.

С п е р а н с к и й. Такой вид у меня, Олимпиада Егоровна.

В окно осторожно стучат.

Л и п а (*открывая окно*). Кто там?

Т ю х а (*Сперанскому*). Молчи! Молчи!

П о с л у ш н и к (*просовывая в окно улыбающееся лицо*). А Саввы Егорыча нет? Я же его в лес хотел позвать.

Л и п а. Нет. Как же это вам не стыдно, Вася! У вас такой завтра праздник, а вы...

П о с л у ш н и к (*улыбаясь*). Там и без меня народу много. Скажите Савве Егорычу, что я в овраг пошел, светляков собирать. Пусть покричит: го-го!

Л и п а. Зачем вам светляки?

П о с л у ш н и к. Да монахов же пугать. Поставлю два светляка рядом, как глаза, они и думают, что это черт. Скажите же ему, пусть покричит: го-го-го! (*Исчезает в темноте.*)

Л и п а (*вдогонку*). Сегодня он не может... Убежал!

С п е р а н с к и й. Нынче, Олимпиада Егоровна, троих на кладбище хоронили.

Л и п а. Вы Саввы не видали?

С п е р а н с к и й. Нет, не пришлось, к сожалению... Троих, я говорю, хоронили. Старика одного, может, знаете: Петра Хворостова?

Л и п а. Да, знаю. Умер?

С п е р а н с к и й. Да. Его да двоих ребят. Бабы очень плакали.

Л и п а. Отчего они умерли?

С п е р а н с к и й. Извините, не поинтересовался. Детское что-нибудь. А вы не изволили замечать, Олимпиада Егоровна, что, когда ребенок умрет, он делается весь синий? И вид у него такой, будто он хочет закричать. У взрослых лицо спокойное, а у них нет. Отчего бы это?

Л и п а. Не знаю. Не замечала.

С п е р а н с к и й. Очень интересное явление.

Л и п а. Вот и папаша. Говорила,— досидишься, а теперь брань вашу слушать. (*Уходит.*)

Е г о р И в а н о в и ч. Кто лампу зажег?

С п е р а н с к и й. Здравствуйте, Егор Иванович.

Е г о р И в а н о в и ч. Здравствуйте. Кто лампу зажег?

С п е р а н с к и й. Олимпиада Егоровна зажгли.

Е г о р И в а н о в и ч (*тушит, закрывает окна*). У Савки научилась. (К Тюхе.) А ты это что, а? Докуда же это будет, а? Докуда же я из-за вас, прохвостов, муку принимать буду, а? Где водку взял, а?

Т ю х а. В буфете.

Е г о р И в а н о в и ч. Так это она для тебя там стоит?

Т ю х а. У вас, папаша, очень смешная рожа.

Е г о р И в а н о в и ч. Давай водку!

Т ю х а. Не дам.

Е г о р И в а н о в и ч. Давай!

Т ю х а. Не дам!

Е г о р И в а н о в и ч (*бьет его по лицу*). Давай, говорю!

Т ю х а (*падая на диван, не выпуская бутылки*). Не дам!

Е г о р И в а н о в и ч (*садится спокойно*). Ну и жри, дьявол, пока лопнешь. Да, о чем бишь я говорил? Вот дурак-то, сбил меня... Да, богомолец здорово идет. Год нынче неурожайный, так, должно быть, еще от этого: жрать нечего, так они Богу молиться. Так тебе Бог всякого дурака и послушал! Всех дураков слушать, так умному человеку нельзя будет жить. Дурак — так он дурак и есть. Потому и дураком называется.

С п е р а н с к и й. Это справедливо!

Е г о р И в а н о в и ч. Еще бы не справедливо. Отец Парфений мудрый человек, он их облапошит. Гроб, слышишь, новый поставил. Старый-то богомольцы изгрызли, так он новый поставил. Старый, так на место старого. Сгрызут и этот, им что ни поставь... Тюха, опять пьешь?

Т ю х а. Пью.

Е г о р И в а н о в и ч. Пью!.. Вот пойти да по харе тебя, а? Что тогда скажешь?

Входит С а в в а, очень веселый и оживленный; сутулится меньше обычного, говорит быстро, смотрит резко и прямо, но взглядом останавливается ненадолго.

С а в в а. А, философы! Родитель! Почтенная компания! Почему у вас темно тут, как у дьявола под мышками? Для философов нужен свет, а в темноте хорошо только людей обирать. Где лампа? Ага, вот она! (*Зажигает.*)

Е г о р И в а н о в и ч (*иронически*). Может, и окна откроешь?

С а в в а. Верно. И окна открою. (*Открывает*). Ого, идут-то!

С п е р а н с к и й. Целая армия.

С а в в а. И все в свое время умрут и станут покойниками. И тогда узнают правду, ибо приходит она не иначе как в сопутствии червей. Верно я схватил суть вашей оптимистической философии, мой худой и длинный друг?

С п е р а н с к и й (*со вздохом*). Вы все шутите.

С а в в а. А вы все грустите! Слушайте: оттого, что дьяконица плохо кормит вас, и от грусти вы скоро умрете, и физиономия у вас тогда будет самой спокойной. Острый нос, и вокруг него разлито этакое спокойствие. Неужели вас и это не утешает? Вы подумайте: островок носа среди целого океана спокойствия.

С п е р а н с к и й (*уныло*). Вы все шутите.

С а в в а. И не думаю. Разве можно шутить над смертью? Нет. Когда вы умрете, я буду идти за вашим гробом и показывать: смотрите, вот человек, который узнал правду. Или нет, лучше так, я повешу вас, как знамя истины. И по мере того, как с вас станет сползать кожа и мясо, будет выступать правда. Это будет в высшей степени поучительно. Тюха, что уставился на меня?

Т ю х а (*мрачно*). У тебя очень смешная рожа.

Е г о р И в а н о в и ч (*водит глазами, недоумевая*). Что они говорят?

С а в в а. Отец, что это у тебя физиономия? Запачкана чем-то? Черен ты, как сатана.

Е г о р И в а н о в и ч (*хватаясь за лицо*). Где?

С п е р а н с к и й. Это они шутят. Ничего нет, Егор Иванович, да ничего же!

Е г о р И в а н о в и ч. Ну и дурак! Сатана! Сам сатана, прости Господи!

С а в в а (*делает страшную рожу, приставляет из пальцев рога*). Я черт.

Е г о р И в а н о в и ч. Черт и есть!

С а в в а (*оглядываясь*). А не будет ли черту поужинать? Грешниками я сыт, а так, чего-нибудь повкуснее?

Е г о р И в а н о в и ч. А ты где шатался, когда люди ужинали? Теперь и так посидишь.

С а в в а. С ребятами я сидел, родитель, с ребятами,— они сказки мне рассказывали. Ну и здоровы же рассказывать! И все про чертей, да про ведьм, да про покойников. По вашей специальности, философ. Рассказывают, а сами трусят, оттого и сидели так долго,— боятся домой бежать. Один Мишка молодец: ничего не боится.

С п е р а н с к и й (*равнодушно*). Что ж, и он умрет.

С а в в а. Господин хороший! Да не будьте же вы мрачны, как центральное бюро похоронных процессий! И охота вам каркать: умрет, умрет. Вот родитель мой совсем скоро умрет, а смотрите, какое у него приятное и веселое лицо.

Е г о р И в а н о в и ч. Сатана! Совсем сатана!

С п е р а н с к и й. Да если же мы не знаем...

С а в в а. Голубчик! Жизнь — ведь это такое интересное занятие. Понимаете, жизнь! Пойдемте завтра в ладышки играть, а? Я вам свинчатку дам — какую, батенька, свинчатку!.. (*Незаметно входит* Л и п а.) И потом, вам нужно заниматься гимнастикой. Серьезно, голубчик. Смотрите, какая у вас грудь; вы через год подохнете от чахотки. Дьяконица будет рада, но какой переполох поднимется среди покойников! Серьезно. Вот я занимался гимнастикой, и поглядите. (*Легко поднимает за ножку тяжелый стул.*) Вот!

Л и п а (*очень громко смеется*). Ха-ха-ха!

С а в в а (*опуская стул, несколько сконфуженно*). Чего ты? Я думал, тебя нет...

Л и п а. Так. Тебе бы следовало в цирк поступить акробатом.

С а в в а (*угрюмо*). Не говори глупостей.

Л и п а. Обиделся?

С а в в а (*вдруг смеется весело и добродушно*). Ну вот, чепуха! В цирк так в цирк. Мы вместе со Сперанским поступим. Только не акробатами, а клоунами... согласны? Вы умеете горящую паклю глотать? Нет? Ну, погодите, я и это-

му вас научу. А ты вот что, Липа, дай-ка мне поесть. С утра не жрал.

Егор Иванович. Сатана! Совсем сатана! Не жрал. Так кто же теперь жрет? Где это видано?

Савва. А ты вот посмотри, это очень интересно. Ты погоди, отец, я тебя тоже научу паклю глотать,— совсем молодцом будешь!

Егор Иванович. Меня? Дурак ты, больше ничего. Тюха, давай водку!

Тюха. Не дам.

Егор Иванович. Чтоб вас всех... Вскормил, взлелеял... (*Уходит.*)

Липа (*подавая молоко и черный хлеб*). Ты что-то весел сегодня?

Савва. Да, и ты весела.

Липа (смеется). Я весела.

Савва. И я весел.

Пьет с жадностью молоко. На улице шаги становятся громче, наполняют звуком своим комнату и снова слегка стихают.

Савва. Как топочут!

Липа (*выглядывает в окно*). Завтра будет хорошая погода. Сколько я ни запомню, в этот день всегда солнце.

Савва. М-да. Это хорошо.

Липа. И когда несут икону, вся она сверкает от драгоценных камней, как огонь, и только лик ее темнеет. Не радуют его эти драгоценности, мрачен и темен он, как горе народное... (*Задумывается.*)

Савва (*равнодушно*). М-да? Вот как.

Липа. Когда подумаешь, сколько пало на него слез, сколько слышал он стонов и вздохов! Уже одно это делает его такою святынею — для всякого, кто любит и жалеет народ, понимает его душу. Ведь никого у них нет, кроме Христа,— у всех этих несчастных, убогих... Когда я была маленькая, я все ждала чуда...

Савва. Это было бы интересно.

Липа. Но теперь я поняла, что Сам Он ждет от людей чуда, ждет, что перестанут люди враждовать и губить друг друга.

Савва. Ну, и что же?

Липа (*сурово смотрит на него*). Ничего. Завтра сам увидишь, когда понесут Его. Увидишь, что делает с людьми одно только сознание, что Он здесь, с ними. Живут они весь год грязно, нехорошо, в ссорах и страданьях, а в этот день точно исчезает все... Страшный и радостный день, когда

вдруг точно сбрасываешь с себя все лишнее и так ясно чувствуешь свою близость со всеми несчастными, какие есть, какие были,— и с Богом!

С а в в а (*быстро*). Который, однако, час?

С п е р а н с к и й. Сейчас пробило четверть двенадцатого, если не ошибаюсь.

Л и п а. Рано еще.

С а в в а. Что рано?

Л и п а. Так. Рано, говорю, еще.

С а в в а (*подозрительно*). Что это ты?

Л и п а (*вызывающе*). А что?

С а в в а. Почему ты сказала: рано еще?

Л и п а (*бледная*). Потому что сейчас только одиннадцать. А когда будет двенадцать...

С а в в а (*вскакивает и быстро идет к ней. Тяжело смотрит на нее, говорит медленно, слово за словом*). Так вот что! Когда будет двенадцать... (*Поворачивает голову к Сперанскому, но продолжая глядеть на Липу.*) Послушайте вы, ступайте домой!

Л и п а (*с испугом*). Нет, подождите еще, Григорий Петрович. Пожалуйста, я прошу вас!

С а в в а. Если вы не уйдете сейчас, я выброшу вас в окно. Ну?

С п е р а н с к и й. Извините, я никак не думал, я с Антон Егорычем, я сейчас. Тут где-то моя шляпа... положил я ее...

С а в в а. Вот ваша шляпа. (*Бросает.*)

Л и п а (*слабо*). Посидите еще, Григорий Петрович.

С п е р а н с к и й. Нет, уже поздно. Я сейчас, сейчас. До приятного свиданья, Олимпиада Егоровна. До приятного свиданья, Савва Егорович. А они, кажется, уже спят, их в постельку бы надо. Иду, иду. (*Уходит.*)

С а в в а (*говорит тихо и спокойно, в движениях тяжел и медлителен, как будто вдруг сразу почувствовал тяжесть своего тела*). Ты знаешь?

Л и п а. Знаю.

С а в в а. Все знаешь?

Л и п а. Все.

С а в в а. Монах сказал?

Л и п а. Монах сказал.

С а в в а. Ну?

Л и п а (*слегка отступая и поднимая руки для защиты*). Ничего не будет. Взрыва не будет. Взрыва не будет, ты понимаешь, Савва? Не будет!

Пауза. На улице шаги и невнятный говор. Савва поворачивается и с особенной медлительностью, сгорбившись, прохаживается по комнате.

С а в в а. Ну?

Л и п а. Так лучше, брат, поверь мне. Поверь мне!

С а в в а. Да?

Л и п а. Ведь это было — не знаю что! Сумасшествие какое-то. Ты подумай!

С а в в а. Это — наверно?

Л и п а. Да, наверно. Теперь уже ничего не сделаешь.

С а в в а. Расскажи, как это произошло. *(Осторожно садится и тяжело смотрит на Липу.)*

Л и п а. Я уже давно догадалась... Еще тогда, в тот день, когда мы говорили. Только я еще не знала — что. И я видела... машинку эту: у меня есть другой ключ от этого сундука.

С а в в а. У тебя наклонности сыщика. Продолжай.

Л и п а. Я не боюсь оскорблений.

С а в в а. Ничего, ничего, продолжай.

Л и п а. Потом я видела, что ты часто разговариваешь с этим, с Кондратием. А вчера я посмотрела — машинки этой уже нет. И я поняла.

С а в в а. Второй, ты говоришь, ключ?

Л и п а. Да... ведь сундук этот мой. Ну, и сегодня...

С а в в а. Когда?

Л и п а. Уже к вечеру — я никак не могла найти Кондратия — я сказала ему, что знаю все. Он очень испугался и рассказал мне остальное.

С а в в а. Достойная пара: сыщик и предатель. Ну?

Л и п а. Если ты будешь оскорблять меня, я замолчу.

С а в в а. Ничего, ничего, продолжай.

Л и п а. Он хотел донести игумену, но я не позволила. Я не хочу губить тебя.

С а в в а. Да?

Л и п а. Когда все это устроилось, я вдруг поняла, как это дико все — так дико, что этого не может быть. Кошмар какой-то. Нет, этого не может быть! И мне стало жаль тебя.

С а в в а. Да?

Л и п а. Мне и сейчас жаль тебя. *(Со слезами.)* Саввушка, милый, ведь ты мой брат, ведь я качала тебя в люльке. Миленький, что ты задумал,— ведь это же ужас, сумасшествие. Я понимаю, что тебе тяжело было смотреть, как живут люди, и ты дошел до отчаяния... Ты всегда был хороший, добрый, и я понимаю тебя. Разве мне самой не тяжело смотреть? Разве я сама не мучусь? Дай мне твою руку...

С а в в а *(отстраняя ее руку)*. Он сказал тебе, что пойдет к игумену?

Л и п а. Да, но я не позволила ему.

С а в в а. А машинка у него?

Л и п а. Он завтра отдаст ее тебе; мне он побоялся ее отдать. Саввушка, миленький, ну, не смотри на меня так! Я понимаю, что тебе неприятно, но ты умный, ты не можешь не сознавать, что ты хотел сделать. Но ведь это же бессмыслица, это бред, это может присниться только ночью. Разве я не понимаю, что жить тяжело, не мучусь этим! Но нужно бороться со злом, нужно работать... Даже эти товарищи твои, анархисты... убивать нельзя, никого нельзя, но я все же их понимаю: они убивают злых...

С а в в а. Они не товарищи мне; у меня нет товарищей.

Л и п а. Но ведь ты же анархист?

С а в в а. Нет.

Л и п а. Кто же ты?

Т ю х а *(поднимая голову)*. Идут. Всё идут. Слышишь?

С а в в а *(тихо, но угрожающе)*. Идут!

Л и п а. Да, и кто идет, ты подумай. Ведь это горе человеческое идет, а ты хотел отнять у него последнее — последнюю надежду, последнее утешение... И зачем, во имя чего? Во имя какой-то дикой, страшной мечты о «голой земле»... *(Смотрит в темную комнату с ужасом.)* Голая земля — подумать страшно — голая земля! Как мог человек додуматься до этого: голая земля. Нет ничего, все надо уничтожить. Все. Над чем люди работали столько лет, что они создали с таким трудом, с такой болью... Несчастные люди! и среди вас находится человек, который говорит: все это надо сжечь... огнем!

С а в в а. Ты хорошо запомнила мои слова.

Л и п а. Ты разбудил меня, Савва. Когда ты сказал мне, я вдруг точно прозрела, я полюбила все. Понимаешь, полюбила! Вот эти стены... прежде я не замечала их, а теперь мне жаль их, так жаль... до слез. И книги, и все, каждый кирпич, каждую деревяжку, отделанную человеком. Пусть оно плохо,— кто говорит, что оно хорошо! Но за то я и люблю его — за неудачу, за кривые линии, за несбывшиеся надежды... за труд, за слезы! И все, Савва, кто услышит тебя, так же почувствуют, как и я, так же полюбят все старое, милое, человеческое...

С а в в а. Мне дела нет до вас.

Л и п а. Нет дела! А до кого же дело? Нет, Савва, ты никого не любишь, ты только себя любишь, свои мечты. Кто любит людей, тот не станет отнимать у них все, тот не поставит свое желание выше их жизни. Уничтожить все! Уничтожить Голгофу!.. Ты подумай: *(с ужасом)* уничтожить Голгофу! Самое светлое, что было на земле! Пусть ты не веришь в Христа, но если в тебе есть хоть капля благород-

ства, ты должен уважать Его, чтить Его благородную память: ведь Он же был несчастен, ведь Он же был распят — распят, Савва!.. Ты молчишь?

Савва. Молчу.

Липа. Я думала... я думала... если тебе удастся это, я убью тебя, отравлю. Как самого вредного!

Савва. А если это не удастся...

Липа. Ты еще надеешься?

Савва. А если это не удастся, я убью тебя.

Липа *(делает шаг к нему)*. Убей! Убей! Дай мне пострадать за Христа... за Христа, за людей!

Савва. Да, я убью тебя.

Липа. Да разве я не думала об этом? Разве я об этом не мечтала? Господи! Пострадать за Тебя — да есть ли счастье выше этого!

Савва *(презрительным жестом указывая на Липу)*. И это — человек! И это считалось лучшим! И этим гордились! Н-ну, не богаты же вы хорошим!

Липа. Оскорбляй, издевайся, нас всегда оскорбляли, прежде чем убить.

Савва. Нет. Я не думаю тебя оскорблять,— как я могу оскорбить тебя! Ты просто неумная женщина. Таких много было. Много есть и сейчас. Просто неумная, ничтожная, даже невинная, как все, кто ничтожен. И если я хочу убить тебя, то ты не гордись этим, не думай, что ты особенная, достойная моего гнева. Нет. Просто мне будет немного легче. Когда мне случалось колоть дрова и я промахивался и вместо полена попадал по порогу, это было легче, чем если кто-нибудь удерживал мою руку. Поднятая рука должна упасть.

Липа. И подумать, что этот зверь — мой брат!

Савва. Которого ты качала в люльке и ставила на горшок. Да. А мне нисколько не странно, что ты моя сестра, а вот это чучело — мой брат. Эй, Тюха? Идут! *(Тюха ворочает головой, бессмысленно смотрит, не отвечает.)* Да. Мне нисколько не странно, когда все ничтожное называет себя моими сестрами и братьями, а когда узнает, кто я, идет покупать мышьяку на пятиалтынный — для брата. Травить меня, видишь ли, уже пробовали. Та, которая ушла от меня, пробовала, но не хватило духу. Дело в том, что все сестры и братья мои, помимо прочего, трусы!

Липа. Я бы отравила.

Савва. Не спорю. Ты немного истеричка, а истерички — народ решительный, если только не расплачутся раньше.

Л и п а. Я истеричка? Хорошо, пусть так! Пусть так,— а кто ты, Савва?

С а в в а. Меня это мало интересует.

Л и п а. Они идут, Савва. Они идут! И они найдут то, что им надо... И это сделала истеричка! Ты слышишь, сколько их? И если бы они узнали... Если бы подойти сейчас к окну и открыть, и крикнуть: вот он здесь, человек, который покушается на вашего Христа... Хочешь, я подойду сейчас? Хочешь? *(В исступлении делает шаг к окну.)* Хочешь?

С а в в а. Да, средство хорошее — избавиться от мученического венца. Что ж, крикни. Да поосторожнее: Тюху не свали!

Л и п а *(возвращается)*. Мне жаль тебя, ты разбит, а лежачего не бьют. Но помни! Но помни, Савва: это идут тысячи твоих смертей.

С а в в а *(улыбаясь)*. Шаги смерти.

Л и п а. Помни, что каждый из них счастлив был бы убить тебя, раздавить как гадину. Ты слышишь, сколько их? И каждый из них — твоя смерть! Если простого вора, конокрада, они бьют до смерти, то что же они должны сделать с тобой? Ведь ты Бога у них хотел украсть!

С а в в а. Это верно — тоже собственность!

Л и п а. И ты еще смеешься? Кто дал тебе право? Кто дал тебе власть над людьми, как смеешь ты касаться того, что для них — право, касаться их жизни?

С а в в а. Кто дал мне право? Вы дали. Кто дал мне власть? Вы дали. И я держу ее крепко,— попробуй, отними! Вы — вашей злостью, вашим безумием, вашим подлым бессилием. Право! Власть! Превратили землю в помойную яму, в бойню, в жилище рабов, грызут друг друга и спрашивают: кто осмелился схватить их за горло? Я! Понимаешь? Я! *(Встает.)*

Л и п а. Ты такой же человек, как и все.

С а в в а. Я — мститель. За моей спиной все удушенное вами. Ага! Блудили себе потихоньку и думали: никто не узнает, ничего, обойдется понемногу. Лгали, бесстыдствовали, кривлялись перед своими алтариками и бессильным Богом и думали: ничего, бояться некого, мы здесь одни. А вот пришел человек и говорит: отчет! Что сделали, ну-ка? Отчет давайте, ну? — да без мошенничества, я вас знаю! За каждого потребую! Ни одной кровинки не прощу! Ни одной слезы вам не оставлю!

Л и п а. Но уничтожать все... Ты подумай!..

С а в в а. А что же с ними делать, по-твоему? Уговаривать этих баранов свернуть с их скотской тропы, ловить

каждого за рога и отводить в сторону, надеть фрак и читать им лекции? Как будто мало их учили! Как будто для них имеют значение слова, мысли. Мысль! Чистая, несчастная мысль! Они развратили ее, научили мошенничать, сделали ее продажной тварью, что отдается за пятак. Нет, сестра, жизнь коротка, и тратить ее на диспуты с баранами я не намерен. Огнем их надо! Огнем! Пусть надолго запомнят день, когда пришел на землю Савва Тропинин!

Липа. Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь?

Савва. Чего хочу? Освободить землю. Освободить мысль! Освободить человека и уничтожить всю эту двуногую болтающую тварь! Он, теперешний, умный, он уже готов для свободы, но прошлое ест его душу, как короста, замыкает его жизнь в железный круг совершившегося, фактов. Факты я хочу уничтожить, факты! Сломать тюрьму, в которой запрятаны идеи, и дать им крылья, и открыть им новый, великий, неведомый простор. В огне и громе перейти хочу я мировую грань!

Липа *(закрывая рукой глаза)*. Мне страшно. Мне страшно! Я вижу все в огне...

Савва. Ты думаешь, я не знаю, что каждый из этих глупцов рад бы убить меня? Но этого не будет, нет. Настало мне время прийти, и я пришел, и вот стою я среди вас. Будьте готовы! Время настало! Ничтожная! Ты думала, что, воровски отнявши у меня одну маленькую возможность, ты ограбила меня всего? Нет, я все так же богат.

Липа *(с закрытыми глазами)*. Тебя убьют. Этого не может быть, чтобы тебя не убили! Тебя убьют.

Савва. Ну и пускай убьют. Но бойся тех цветов, что взойдут над моей могилой — невиданных еще цветов последней мести! Я только посланный, пославший же меня... пославший же меня — бессмертен. И не я, так другой, а вашему миру придется худо. Сочтены дни его, и часы его измерены.

Пауза.

Липа. Ты страшный человек. Я думала, ты будешь поражен неудачей, а ты... ты — как сатана и, падая, становишься еще чернее.

Савва. Да. Это только воробьи, Липа, прямо с земли поднимаются кверху, а крупной птице надо сперва упасть, чтобы хорошенько расправить крылья.

Липа. Неужели тебе не жаль детей? Сколько должно погибнуть их!..

Савва. Каких детей? Ах, да, Мишка... *(Добродушно.)*

Мишка — славный парень, это верно. Он подрастет, спуску вам не даст... Дети, да! Недаром вы уже начинаете побаиваться их! Ничего. Я детей люблю, это верно. *(С гордостью.)* И меня они любят, а вас вот — недолюбливают.

Л и п а. Мы не играем с ними в ладыжки.

С а в в а. Какая ты глупая, сестра! Да если же я люблю играть?

Л и п а. Вот и играл бы.

С а в в а. И буду играть.

Л и п а. Когда ты так говоришь, мне опять кажется, что все это сон... что было, что мы говорили. Неужели это правда? и ты хочешь убить меня?

С а в в а. Это как понадобится. Может быть, и не придется.

Л и п а. Ты шутишь!

С а в в а. Вы все твердите, что я шучу. До чего отвыкли вы от серьезного!

Л и п а. Нет, это не сон. Идут!

С а в в а. Да, идут.

Слушают.

Л и п а. И ты еще как будто веришь. Во что ты веришь?

С а в в а. Я верю в свою судьбу.

На монастырской башне начинают бить часы.

С а в в а. Двенадцать.

Л и п а *(считает)*. Семь... Восемь... И подумать, что в этот час должно было совершиться... при одной мысли...

Глухой звук сильного взрыва.

Л и п а. Что это?

С а в в а. Ага, вот оно!

Оба бросаются к окнам, будя Тюху, который сонно ворочает головой. На улице шаги на миг останавливаются; потом слышно, как все бежит. Испуганные вскрики, плач, отрывочные громкие слова: «Что это?» — Господи!» — «Пожар!» — «Пожар!» — «Нет, завалилось что-то».— «Бежим!» — и часто повторяется слово «монастырь».

Т ю х а. Бегут? Куда они бегут? А? Почему никого нет?

П е л а г е я *(полуодетая, проходит)*. Господи, батюшка! Никак монастырь горит. Господи, батюшка! А ты тут, пьяница, василиск...

Т ю х а. Ого! Бегут!.. Рожи-то, а?

Гулко проносится первый удар всполошного колокола. Затем удары становятся чаще,— торопливые, тревожные, неровные, они сливаются с гулом улицы и точно лезут в окна.

П е л а г е я *(плачет.)* Господи, куда же теперь деваться?

Бежит. Крики на улице сильнее. Кто-то кричит в одну ноту: «ай-ай-ай», и пропадает в общем тревожном гуле и звоне.

Л и п а *(отходя от окна, очень бледная, растерянная)*. Что же это? Не может быть. Не может быть! Тюха, Тюха, проснись! Тюха, братик, что же это, а? Тюха!

Т ю х а *(успокоительно)*. Это ничего. Это все рожи.

С а в в а *(отходя от окна, спокойный и строгий, но тоже бледный)*. Ну что, сестра?

Л и п а *(мечется)*. Я побегу. Я побегу. Где платок, где платок? Господи, Боже мой, да где же платок?

С а в в а. Платок вот он, но я все равно его не дам. Посиди, там тебе нечего делать.

Л и п а. Пусти!

С а в в а. Нет, посиди, посиди! Теперь все равно уже поздно.

Л и п а. Поздно...

С а в в а. Да, поздно. Ты слышишь, как бухают?

Л и п а. Я побегу, побегу.

С а в в а. Сиди, сиди *(сажает ее)*. Тюха, слыхал? Бога взорвали!

Т ю х а *(со страхом смотрит на лицо Саввы)*. Савка, не смеши меня, отвернись!

Савва улыбается и ходит по комнате решительными, очень легкими шагами, без обычной сутуловатости.

Л и п а *(слабо)*. Савва!

С а в в а. Что? Громче!..

Л и п а. Неужели это правда?

С а в в а. Правда.

Л и п а. И Его нет?

С а в в а. И Его нет.

Липа плачет сперва тихо, потом все громче и громче. Набат и крики точно растут. Грохочут какие-то повозки.

С а в в а. Бегут! Как они, однако!.. *(Липа говорит что-то, но слов ее не слышно.)* Громче! Не слышу. Видишь, как они раззвонились!

Л и п а *(громко)*. Убей меня, Савва!

С а в в а. Зачем? Ты умрешь сама.

Л и п а. Я не могу! Я убью себя.

С а в в а. Убивай! Убивай! Убивай скорей!

Липа плачет, уткнувшись головой в кресло. Тюха с перекосившимся от страха лицом смотрит на Савву и обе руки держит в готовности у рта. Гулко бухает всполошной колокол, сливая свои тревожные звуки с громкою речью Саввы.

Савва *(громко)*. Ага! Зазвонили!! Звоните, звоните! Скоро зазвонит вся земля. Я слышу!.. Я слышу! Я вижу, как горят ваши города. Я вижу пламя! Я слышу треск! Я вижу, как валятся на голову дома! Бежать некуда... Спасенья нет!.. Спасенья нет! Огонь везде! Горят церкви, горят фабрики — лопаются котлы. Конец рабьему труду!

Тюха *(трясясь от страха)*. Савка, замолчи! Я смеяться буду!

Савва *(не слыша)*. Настало время! Настало время!.. Ты слышишь! Земля выбрасывает вас. Нет вам места на земле! Нет!.. Он идет! Я вижу его! Он идет, свободный человек! Он родится в пламени!.. Он сам — пламя и разрушение! Конец рабьей земле!

Тюха. Савка, замолчи!

Савва *(наклоняясь к Тюхе)*. Будьте готовы! Он идет. Ты слышишь его шаги? Он идет! Он идет!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Вблизи монастыря. Большая дорога, наискось пересекающая сцену. По ту сторону дороги — через реку — широкий вид на окрестности: луга, леса, села с горящими на солнце крестами церквей. Направо вдали, на выступе горы, над блестящей излучиной реки видна часть монастырских стен и башен. По эту сторону дороги бугроватое место, покрытое сильно притоптанной травой. Раннее солнечное утро; часов пять-шесть. Над лугами кое-где туман, медленно рассеивающийся. По дороге изредка проходят богомольцы, торопящиеся к монастырю, провозят повозки с калеками и уродами. Со стороны монастыря приносится гул многотысячной, чем-то радостно возбужденной толпы. Отдельных голосов не слышно, но чувствуется пение слепцов, крики, радостный, торопливый, частый говор. Впечатление той же стихийности и силы. Через равные промежутки, как волна, крик упадает, и тогда ясно слышно пение слепцов.

По эту сторону дороги Липа и молодой послушник. Липа, одетая, как и ночью, в небрежно повязанном белом платке, усталая от радости, почти грезящая, сидит на бугорке. Возле стоит послушник; лицо у него растерянное, недоумевающее, движения неуверенные, нецелесообразные; пытается улыбнуться, но улыбка выходит кривая, жалкая. Похож на обиженного ребенка, не знающего точно причины своих страданий.

Липа *(развязывая платок)*. Господи, как хорошо. Так бы и умерла тут. Не могу надышаться! Как хорошо! Как хорошо!

Послушник *(оглядывается)*. Да, хорошо. Только я не могу там быть. Не могу. Толкаются, лезут... Как они эту женщину раздавили... У нее ребенок. Я не мог смотреть. Я... я уйду в лес...

Липа. Как хорошо, Господи!

П о с л у ш н и к *(с тоской смотрит на широкую даль).* Я пойду в лес.

Л и п а. И еще вчера только ничего этого не было. Ни чуда, ничего. Был Савва. Я не могу поверить, что это было вчера: как будто год прошел, сто лет... Господи!

П о с л у ш н и к *(морщась).* Зачем это он? Ну зачем?

Л и п а. Вы догадываетесь, Вася?

П о с л у ш н и к *(машет рукой).* Говорил, пойдемте в лес. Нет, нужно!

Л и п а. Он что-нибудь рассказывал вам?

П о с л у ш н и к *(машет рукой).* И надо было. Э-эх!

Л и п а. Ах, Вася, Вася! С вашим лесом вы прозевали самое великое, такое великое, чего не запомнят люди. Ах, Вася, ну можно ли говорить о чем-нибудь, когда вот сейчас, вот перед вами совершилось чудо. Вы понимаете: чудо! Даже сказать страшно: чудо! Господи! Вы где были, Вася, когда сделался взрыв? В лесу?

П о с л у ш н и к. В лесу. Я взрыва не слыхал. Я только набат услышал.

Л и п а. Ну?

П о с л у ш н и к. Да ничего. Прибежал, а у нас... ворота раскрыты, плачут все, как помешались. И икона...

Л и п а. Ну-ну... Вы видели?

П о с л у ш н и к. Да ничего, стоит. А кругом... *(Оживляясь.)* Вы знаете решетку железную, ту, ну, вы знаете — скрутило всю, как веревку. Даже смотреть смешно: как будто она мягкая. Я попробовал, ну нет! Какая сила, а? Должно быть, большой заряд...

Л и п а. Ну, а икона, икона?

П о с л у ш н и к. Да ничего, стоит. Молятся наши около нее.

Л и п а. Господи! И стекло цело?

П о с л у ш н и к. И стекло цело.

Л и п а. Мне говорили, но я все сомневалась... Прости меня, Господи. Ну, что, как они? Рады, очень?

П о с л у ш н и к. Да, рады. Как пьяные все. Не поймешь, что говорят. Чудо, чудо. Отец Кирилл как поросенок визжит: уи-уи. Ему холодную припарку делали на голову. Он толстый, того и гляди помрет. Нет, не могу я тут. Ступайте домой, Олимпиада Егоровна, а? Я вас провожу.

Л и п а. Нет, Вася, милый. Я туда пойду.

П о с л у ш н и к. Не ходите, ей-Богу, не ходите. Они вас задавят. Как они бабу эту! Все — как пьяные. Лопочут, лопочут. Глаза вытаращенные... Слышите, как они там?

Л и п а. Вы еще мальчик, Вася, вы этого еще не пони-

маете. Чудо! Люди всю жизнь ждали чуда, может, уже отчаиваться стали, а тут... Господи! Да тут с ума сойти можно от радости. Как я услышала вчера: «чудо», нет, думаю, что же это такое? Не может быть. Только вижу: плачут, крестятся, на колени становятся. И набат перестал.

Послушник. Отец Афанасий звонил. Он страсть какой здоровый.

Липа. И только и слышно: чудо, чудо! Никто ничего не говорит, а только слышно: чудо, чудо! Как будто вся земля заговорила. Я и сейчас, как глаза закрою, так и слышу: чудо, чудо! *(Закрывает глаза и слушает, счастливо улыбаясь.)* Как хорошо!

Послушник. Мне Савву Егоровича жалко!.. Шумят-то как, а?

Липа. Оставьте, не нужно о нем говорить. Он Богу ответит. Правда, что сегодня будут «Христос Воскресе» петь, когда икону понесут?.. вместо того, что всегда поют... Вася, вы слышите, я вас спрашиваю?..

Послушник. Да, правда. Говорят. Ступайте домой, Олимпиада Егоровна, а?

Липа. Ступайте, если хотите.

Послушник. Да как же я вас оставлю: они скоро сюда нахлынут. Господи, Савва Егорович сюда идет!

Идет Савва. Он без шапки. Лицо потемневшее, землистое; под глазами круги. Смотрит исподлобья острым, неподвижным взглядом. Часто озирается и точно прислушивается к чему-то. Походка тяжелая, но быстрая. Увидев Липу и послушника, сворачивает к ним. При его приближении Липа встает и отворачивается.

Савва. Кондратия не видали?

Послушник. Нет, он в монастыре.

Савва стоит молча. Крик у монастыря упал, и слышно жалобное пение слепцов.

Послушник. Савва Егорович!

Савва. Папироски у тебя нет?

Послушник. Нет же, я не курю, Савва Егорович. *(Плачущим голосом)*. Пойдемте в лес!

Савва стоит молча.

Послушник. Они вас убьют ведь! Савва Егорович, пойдемте в лес, голубчик...

Савва внимательно смотрит на него, молча поворачивается и уходит.

Послушник. Савва Егорович! Ей-Богу, лучше бы в лес!..

Л и п а. Оставьте его. Он, как Каин, не находит себе места на земле. Вся земля радуется, а он...

П о с л у ш н и к. У него лицо черное... мне жалко.

Л и п а. Он весь черный... Вы дальше от него будьте, Вася. Вы не понимаете еще, кого вы жалеете. Я его сестра, я люблю его,— но если его убьют, это будет счастье для всех людей. Вы еще не знаете, что он хотел сделать: подумать страшно. Это сумасшедший, Вася, страшный сумасшедший, или уж не знаю кто...

П о с л у ш н и к *(машет рукой)*. Да вижу же я, ну что вы мне говорите... только жалко мне его, ну и противно тоже. Ну зачем это он? Ну зачем? Придумывают люди всякую глупость... Эх!

Л и п а. У меня одна только надежда, что он понял наконец. А если...

П о с л у ш н и к. Ну что еще — если?

Л и п а. Так, ничего. Пришел он — и точно туча на солнце нашла.

П о с л у ш н и к. Вот вы тоже: весело вам — ну и радуйтесь же, а то «если» да «так». Нельзя без этого?

Народу незаметно прибывает. На дороге останавливаются две повозки с калеками; уже некоторое время под деревом сидит х р о м о й с костылями и плачет, сморкаясь и утираясь рукавом. Со стороны монастыря показывается ч е л о в е к в ч у й к е.

Ч е л о в е к в ч у й к е *(суетливо и озабоченно)*. Калек-то надо к Ему поближе, калек-то, убогих-то. Ну, бабы заснули! Вези, вези, там отдохнешь. Ты что, дедушка, не идешь, а? Тебе с ногами тоже поближе надо. Иди, дед, иди.

Х р о м о й *(плачет)*. Не могу я идти.

Ч е л о в е к в ч у й к е *(озабоченно)*. Ах, какой ты! Как же это ты так, а? Ну давай, пособлю, что ль... Ну, подымайся, ну?

Х р о м о й. Не могу.

П р о х о ж и й. Не действует? Дай-ка я... Его главное дело поставить, а там он заскачет. Верно, дед?

Ч е л о в е к в ч у й к е. Ты его с того боку, а я с этого. Ну, дедушка, двигай, двигай, недолго потерпеть осталось.

П р о х о ж и й. Вот и заскакал. Так, так! Работай, дед, внакладе не останешься. *(Уходят.)*

П о с л у ш н и к *(весело улыбаясь)*. Как они его завели! Ловко, а? Так и пошел... ишь ты, старый!

Л и п а *(плачет)*. Господи! Господи! Какие люди хорошие!

П о с л у ш н и к *(огорченный)*. Ну чего вы? Да не плачьте же, ей-Богу. Ну чего вы? То ничего, а то плакать.

Л и п а. Ничего, Вася, ничего. Я от радости плачу. Отчего вы не радуетесь, Вася? Вы не верите в чудо?

П о с л у ш н и к. Да верю же, Господи. Только я не могу на это смотреть. Все как пьяные, лопочут, что — не разберешь. Бабу эту раздавили... *(Брезгливо, с тоскою.)* Они ведь ей кишки выпустили... Ах, Господи! Просто не могу. И все это так... Отец Кирилл хрюкает: уи-уи-уи. *(Смеется, тоскливо.)* Ну зачем он хрюкает?

Л и п а *(строго)*. Это вы у Саввы научились!

П о с л у ш н и к. Да нет же! Ну зачем он хрюкает? *(Смеется тоскливо.)* Ну зачем?

Подходит Е г о р И в а н о в и ч. Одет по-праздничному. Борода и волосы расчесаны; очень важен и строг.

Е г о р И в а н о в и ч. Ты чего это тут, а? Почему в таком виде?

Л и п а. Не успела переодеться.

Е г о р И в а н о в и ч. А сюда успела? Куда не надо, успела, а куда надо — не успела. Иди-ка домой да переоденься. Нехорошо, нигде этого не видано.

Л и п а. Ах, папаша!..

Е г о р И в а н о в и ч. Нечего ахать. А папаша и есть папаша. Вот видишь, оделся же я. Оделся и иду как надо. Да. Со стороны посмотреть, так и то приятно: оделся как надо, да. А ты бы, того, для такого дня-то, ты бы за стойкой-то немного постояла, да. Тюха удрал, чтоб его разразило, а Полька одна не управится. Нечего рожу-то кривить!

М е щ а н и н *(проходит)*. Егору Ивановичу! С чудом вас.

Е г о р И в а н о в и ч. И тебя тоже, любезный. Погоди, вместе пойдем. А ты, Олимпиада, дура, да. Как была дура, так и осталась.

М е щ а н и н. Здорово нынче торговать будете.

Е г о р И в а н о в и ч. Как Бог даст. А ты почему поздно? Спал? То-то вы все спите... *(Уходят.)*

П о с л у ш н и к. Как бежал я вчера, так всех светляков из шапки разронял по дороге. Растоптали их теперь. Лучше бы я их в лесу оставил... Как они там кричат, а? Чего это они? Опять, должно быть, кого-нибудь раздавили.

Л и п а *(закрывая глаза)*. Вы говорите, Вася, а слова как будто мимо меня. Слышу — и не слышу. Так бы и осталась, кажется, на всю жизнь. С места бы не тронулась, все сидела бы, закрывши глаза, и слушала, что там внутри. Господи, какое счастье! Вы понимаете, Вася?

П о с л у ш н и к. Да, понимаю я.

Л и п а. Нет. Вы понимаете, что сегодня случилось? Ведь

это, значит, Бог сказал, сам Бог сказал: подождите, не бойтесь, плохо вам, но это ничего, это пройдет. Нужно ждать. Ничего не надо разрушать, а нужно работать и ждать. Оно придет, Вася, оно придет. Я теперь чувствую это, я — знаю.

Послушник. Что придет?

Липа. Жизнь, Вася, настоящая придет. Господи, мне все плакать хочется, Вася,— от радости, не бойтесь!

Подходят Сперанский и Тюха. Последний очень мрачен, смотрит исподлобья, вздыхает. Минутами манерой ходить и смотреть он странно напоминает Савву.

Сперанский. Здравствуйте, Олимпиада Егоровна. Здравствуйте, Вася. Какое чрезвычайное событие, если только верить слухам.

Липа. Верьте, Григорий Петрович, верьте.

Сперанский. Вы рассуждаете по простоте, Олимпиада Егоровна. А если подумать, что все это и мы сами, весьма возможно, не существуем...

Тюха. Молчи!

Сперанский. Отчего же? Для меня, Олимпиада Егоровна, чуда не существует. Если сейчас, скажем, сразу все повиснет в воздухе, так и это не будет чудо.

Липа. А что же? Какой вы чудак!

Сперанский. Просто перемена, Олимпиада Егоровна. Было одно, а стало другое, больше ничего. Если хотите, для меня уже то чудо, что оно так стоит. Все радуются, а я сижу и думаю: вот моргнет время глазами, будет перемена: эти все уже умерли, а на их место какие-то новые. И тоже, вероятно, радуются.

Тюха. Савка где?

Липа. На что он тебе?

Сперанский. Они все время Савву Егоровича ищут. Везде обошли: нету.

Послушник. Он сейчас здесь был.

Тюха. Куда пошел?

Послушник. В монастырь, кажется.

Тюха *(тащит Сперанского)*. Пойдем.

Сперанский. До приятного свидания, Олимпиада Егоровна. Как они там кричат! А будет время, все замолчат. *(Уходят.)*

Послушник *(беспокойно)*. Зачем они ищут Савву Егоровича?

Липа. Не знаю.

Послушник. Я не люблю этого семинариста,

всегда он около покойников... и чего ему надо? Такой противный. Как ни похороны, так он уж тут как тут. Он носом мертвечину чует.

Липа. Он несчастный.

Послушник. Какой он несчастный! Его собаки на селе боятся. Не верите? Ей-Богу. Полает-полает, да и в подворотню.

Липа. Это все пустяки, Вася. Вот послушайте: сегодня петь будут: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Понимаете: «смертию смерть поправ»?..

Послушник. Понимаю, понимаю, но только зачем он говорит: все замолчат. И все это так... Не люблю я этого, не люблю. Вот бабу эту задавили, может быть, еще кого-нибудь. *(Мотает головой.)* Не люблю. В лесу у меня тихо, хорошо, а тут... Лучше бы чуда этого не было, только бы хорошо было. Зачем это? Чудо. Не надо чуда!

Липа. Что вы говорите, Вася!

Послушник. Савва Егорович... Не надо было этого, не надо! Говорил — в лес пойдем, а он... Прежде я его любил, знаете, а теперь... я его боюсь. Зачем это он? Ну зачем? Господи, какие они все... Вот еще калек везут. Вот тоже калеки... зачем они?

Липа. Да что с вами, Вася? Что вы мечетесь?

Послушник. Так было все хорошо, Господи! Да идите же вы домой, Олимпиада Егоровна. Посмотрели, ну и довольно, чего вам тут сидеть? Идите-ка, и я пойду... Ох, батюшки, опять Савва Егорович идет!

Липа. Где?

Послушник. Вон он... Эх!

Савва *(садится)*. Кондратий не приходил?

Послушник. Нет, Савва Егорович.

Пауза. Снова слышно жалобное пение слепцов.

Савва. У вас нет папироски, Вася?

Послушник. Да нет же, я не курю.

Липа *(сурово)*. Чего ты ждешь, Савва? Уходи отсюда,— ты здесь лишний. Ты посмотри на себя: на тебя взглянуть страшно. У тебя лицо черное.

Савва. Не спал, вот и черное.

Липа. Чего ты ждешь?

Савва. Объяснения.

Липа. Ты не веришь в чудо?

Савва *(усмехаясь)*. Вася, вы верите в чудо?

Послушник. Да верю же, Савва Егорович.

С а в в а. Ну, погодите. Что они там делают! Троих уже задавили.

П о с л у ш н и к. Троих?

С а в в а. И еще задавят. И все галдят: чудо, чудо! Дождались!

Л и п а. И это ты, Савва, дал им чудо. Тебя нужно благодарить.

С а в в а *(хмуро)*. Что, Вася, рады небось монахи?

П о с л у ш н и к. Очень рады, Савва Егорович, плачут.

С а в в а *(смотрит на него)*. Плачут? Чего же они плачут?

П о с л у ш н и к. Да не знаю же; от радости, должно быть. Отец Кирилл хрюкает как поросенок: уи-уи-уи! Как пьяные все.

С а в в а *(встает, беспокойно)*. Как пьяные? Что это значит? Они, может, и вправду пьяные?

П о с л у ш н и к. Да нет же, Савва Егорович. От чуда это они: рады. Отец Кирилл хрюкает: уи-уи. Говорит, что пить теперь бросит, в скит пойдет, если жив останется.

С а в в а *(смотрит)*. Ну?

П о с л у ш н и к. Больше ничего.

С а в в а. Что они говорят?

П о с л у ш н и к. Каются, говорят, что больше грешить не будут, обнимаются. Как пьяные все...

С а в в а *(прохаживается, гладит себя рукой по лбу)*. Да, так вот оно что!.. Да. Глупо!

Л и п а *(следит за ним)*. Уходи отсюда, Савва, ты лишний.

С а в в а. Что?

Л и п а *(неохотно)*. Тебя могут узнать, и тогда... Ты хоть бы шапку надел, у тебя вид, как...

П о с л у ш н и к. Да, уходите, Савва Егорович... пожалуйста, голубчик. Они ведь... они вас убить могут.

С а в в а *(с внезапным гневом)*. Оставьте меня в покое. Никто меня не убьет. Чепуха какая!

Пауза.

С а в в а *(садится)*. Воды бы, что ль, выпить... пить очень хочется. Нет тут лужи какой-нибудь?

П о с л у ш н и к *(со страхом глядя на Савву)*. Нет, все повысохло.

С а в в а *(морщась)*. Жаль.

П о с л у ш н и к. Вон у бабы манерка есть. *(Весело.)* Я сейчас попрошу... *(Бежит.)*

Л и п а. Тебе бы этой воды давать не следовало. Уходи

отсюда, Савва, уходи. Посмотри, как радуются все кругом, земля радуется, солнышко радуется, а ты один... Я все еще не могу забыть, что ты мой брат. Уходи. Но только куда ты ни пойдешь, всюду уноси с собой память об этом дне. Помни, что и везде тебя ждет то же. Земля не отдаст тебе своего Бога, люди не отдадут тебе, чем они живут и дышат. Вчера я еще боялась тебя, а сегодня я смотрю на тебя с жалостью. Ты жалок, Савва. Уходи. Чего ты смеешься?

С а в в а *(улыбаясь)*. Не рано ли ты мне, сестра, отходную читаешь?

Л и п а. Неужели ты еще не испуган?

С а в в а. А чего же мне пугаться? фокусов ваших? Я, Липа, привык ко лжи и обманам. Этим меня не испугаешь! Да и глупой доверчивости у меня еще много, ну, а это помогает. На будущий раз пригодится.

Л и п а. Савва!

С а в в а. Ну?

П о с л у ш н и к *(приносит манерку с водой)*. Насилу выпросил. Такая ведь каляная баба! Самой, говорит, нужно. Такая баба!

С а в в а. Спасибо, дядя. *(Пьет с жадностью.)* Хорошо! *(Допивает последние капли.)* Сладкая вода! Отнесите бабе и скажите: сладкая вода! Такой на всей земле нет.

П о с л у ш н и к *(весело)*. Хорошо, скажу. *(Уходит.)*

Л и п а *(шепотом)*. Ты враг рода человеческого!

С а в в а *(облизывая губы)*. Ладно, ладно. Вот послушаем, что Кондратий скажет. Экая каналья! Ну, я его!..

Л и п а *(с ударением, но все так же шепотом)*. Ты враг рода человеческого! Ты враг рода человеческого!

С а в в а. Громче говори, а то никто не слышит. Новость пикантная!

Л и п а. Уходи отсюда!

Послушник возвращается.

С а в в а *(смотрит, прищурившись, вдаль)*. А правда, дядя, хорошо там? Чей это лес? Базыкинский? Были мы там с вами или нет?

П о с л у ш н и к *(весело)*. Да Базыкинский же! Я вчера, Савва Егорыч, полну горсть светляков набрал, да только как бежал... *(Вспоминает; тоскливо.)* Господи, как они кричат там! Ну чего они? Вы говорите, они троих задавили, Савва Егорыч, а Савва Егорыч?

С а в в а *(равнодушно)*. Троих.

П о с л у ш н и к. И чего ломятся? Ведь понесут же ее, все увидят.

С а в в а. Когда понесут?

П о с л у ш н и к *(смотрит вверх)*. Теперь скоро.

Л и п а. Они будут петь сегодня «Христос воскресе».

С а в в а *(усмехаясь)*. Да? Какой я им, однако, праздник устроил!

Показываются С п е р а н с к и й и Т ю х а.

П о с л у ш н и к. Ну вот, теперь эти еще идут. Э-эх! Ну чего им надо? Чего ищут? Не люблю же я этого, Господи! Савва Егорыч, пойдемте отсюда.

С а в в а. Чего ради?

П о с л у ш н и к. Они сюда идут, Сперанский...

С а в в а. Ага! «Шаги смерти» приближаются.

Липа смотрит удивленно; послушник, волнуясь, прижимает руки к груди.

П о с л у ш н и к *(плачущим голосом)*. Ну что вы говорите! Ах, Господи! Ну зачем это? Не надо этого говорить. Ах, Господи! Никаких тут нет шагов смерти.

С а в в а. Это он рассказ такой сочинил... Здравствуйте, здравствуйте... Чего надо?

С п е р а н с к и й. Вот Антон Егорович вас ищут, Савва Егорович...

С а в в а *(со странным беспокойством)*. Чего тебе?

Т ю х а *(очень мрачно, слегка прячась за Сперанского)*. Ничего.

П о с л у ш н и к *(внимательно слушающий, горячо)*. Так чего же вы ходите! Ничего так ничего. А то ходят, ищут. Как это нехорошо. Ей-Богу!

Т ю х а *(мельком взглядывает на послушника, упирается взглядом на Савву)*. Савка!

С а в в а *(раздраженно)*. Да чего тебе надо, ну?

Тюха не отвечает и прячется за Сперанского, выглядывая из-за спины; в течение дальнейшего он неотступно глядит на Савву, дергает ртом и бровями и иногда обеими руками крепко зажимает рот. Очень мрачен.

С п е р а н с к и й. Народ очень волнуется, Олимпиада Егоровна. Сломали старые ворота, что на той стороне, к лесу; ворвались. Отец игумен выходил усовещевать. Кричат, ничего разобрать нельзя. Многие в корчах валяются на земле, больные, должно быть. Очень странно, даже совсем необыкновенно!

Л и п а. Скоро понесут? Надо идти. *(Встает.)*

С п е р а н с к и й. Теперь, говорят, скоро. Повозку одну повалили с безруким, с безногим. Лежит на земле и кричит, такой странный.

П о с л у ш н и к. Да нет! Вы сами видели.

По дороге из монастыря идет К о н д р а т и й с двумя богомольцами, внимательно его слушающими. Увидев Савву, Кондратий что-то говорит своим спутникам, и те останавливаются.

С а в в а. Ага! Вот он!

К о н д р а т и й *(чистый, благообразный, сияющий)*. Здравствуйте, Олимпиада Егоровна. Здравствуйте и вы, Савва Егорович!

С а в в а. Здравствуй, здравствуй! Пришел-таки, не побоялся!

К о н д р а т и й *(спокойно)*. Чего же мне бояться? Авось не убьете, а если и убьете, так от вашей руки и умереть сладко.

С а в в а. Какой храбрый! И чистенький какой, смотреть больно. В луже-то не такой лежал, похуже был.

К о н д р а т и й *(пожимая плечами, с достоинством)*. Напрасно только вспоминаете: теперь это ни к чему. А вам, Савва Егорович, пора бы вашу злость и оставить. Да!

С а в в а. Ну?

К о н д р а т и й. То-то, что не — ну. Пону́кали и будет.

С а в в а. С чудом поздравить можно?

К о н д р а т и й. Да, Савва Егорыч, с чудом. *(Пристойно плачет, вытираясь платком.)* Дал Господь дожить.

С а в в а *(поднимаясь и делая шаг к монаху, внушительно)*. Ну, ты, того. Будет именинника разыгрывать. Поиграл — и будет! А то я из тебя именины-то эти повытрясу, слышишь!

П о с л у ш н и к. Савва Егорыч, голубчик, не надо!

К о н д р а т и й *(слегка отступая)*. Потише, потише! Мы не в лесу, когда купцов резать можно. Тут и народ близко.

С а в в а *(хмуро)*. Ну, рассказывай. Пойдем!

К о н д р а т и й. Зачем же идти? Я и тут все рассказать могу,— у меня секретов нет. Это у вас секреты, а я весь тут.

С а в в а. Ты врать тут будешь.

К о н д р а т и й *(горячо, со слезами)*. Грех вам, Савва Егорыч, грех. За что обижаете человека? Что в луже видели? Грех вам, нехорошо!

С а в в а *(с недоумением)*. Да что ты?

К о н д р а т и й. В такой день и врать я буду! Олимпиада Егоровна, хоть вы! Боже мой, Боже мой! Ведь нынче Христос воскрес, понимаете вы это?

Прибывает народ. Некоторые мельком оглядываются на группу с двумя монахами и, обертываясь, проходят.

Л и п а *(взволнованно)*. Отец Кондратий...

К о н д р а т и й *(бьет себя в грудь)*. Понимаете ли вы это? Э-эх! Жил всю жизнь, как мерзавец, и за что только Бог привел! Олимпиада Егоровна, понимаете вы это? Понимаете вы это? а!

С а в в а *(в тяжелом недоумении)*. Говори толком! Будет хныкать.

К о н д р а т и й *(машет рукой)*. Я на вас не сержусь. Вы что...

С а в в а. Говори толком!

К о н д р а т и й. Я Олимпиаде Егоровне расскажу, не вам. Знали вы меня, Олимпиада Егоровна, за пьяницу, за беспутного человека,— теперь послушайте. И вы *(к Сперанскому)* послушайте, молодой человек, вам это будет полезно: как Бог невидимо направляет.

Л и п а. Я вижу, отец Кондратий. Простите вы меня.

К о н д р а т и й. Бог простит, а я что!.. Так вот, Олимпиада Егоровна, ослушался я вашего совета и пошел к отцу игумену с этой самой адской машинкой. Воистину — адская! И рассказал я ему все как на духу, чистосердечно.

С п е р а н с к и й *(догадываясь)*. Так это... Какое странное событие...

П о с л у ш н и к *(тихо)*. Ну, молчите же вы, ну вам-то что?

К о н д р а т и й. Да-с. Отец игумен даже пополовели. «Ах, ты, говорят, да ты знаешь, с кем ты дело-то имел?» — «Знаю», говорю, а сам трясусь. Ну, собрали они братию, посоветовались келейно и говорят мне: вот что, говорят, Кондратий,— избрал тебя Господь орудием Своей святой воли. Да. *(Плачет.)* Избрал тебя Господь орудием...

Л и п а. Ну-ну!

К о н д р а т и й. Да-с. Ступай ты, говорят, и положи машинку, как приказано, и заведи ее... Как следует! Пусть дьявольский-то помысел так весь и совершится, полностью. А мы с братией, говорят, пойдем да с тихим пением икону-то и вынесем. И вынесем. Вот дьявол в дураках и останется.

С а в в а. Ага!

Л и п а *(удивленно)*. Постойте, отец Кондратий... Как же это?

Савва хохочет.

К о н д р а т и й. Погодите, Олимпиада Егоровна. А как, говорят, дьявольский помысел совершится,— мы ее, честную, назад поставим. Да-с. Ну и что тут делалось, как мы ее выносили, уже этого я рассказать вам не могу. Рыдает братия, петь никто не может. Горят это свечечки... мало-мало. А уж как вынесли мы ее в притвор, да как подумали, да как вспомнили... кто на ее святом месте... Лежим ниц округ иконы да горько-прегорько рыдаем — от жалости, от сокрушения: родной ты наш, сокровище ты наше, смилосердуйся над нами, вернись ты на свое место!

Липа плачет; послушник вытирает кулаком глаза.

К о н д р а т и й. А как трабабахнуло, как пошел по всей обители дым серный, дышать невозможно. *(Шепотом.)* И тут многие в дыму его увидели и от ужаса лишились чувств. Страшное дело! А уж как назад мы его понесли, да все без уговору «Христос воскресе» запели,— так что это такое было!

С а в в а. Ты слышишь, Липа?.. Да что с вами? Чего вы плачете все?

П о с л у ш н и к. Да жалко же очень, Савва Егорыч.

С а в в а. Да ведь вас же обманули! Или вы лжете все — слезами лжете?

Кондратий пренебрежительно машет рукой.

Л и п а *(качая головой, плача)*. Нет, Савва... Ты этого не понимаешь. Господи, Господи!..

К о н д р а т и й. В вас Бога нет, оттого вы и не понимаете. У вас мысли одни, да гордость, да злость, оттого вы и не понимаете. Эх, Савва Егорыч, Савва Егорыч, хотели вы и меня погубить, а я вам скажу по-христиански: лучше бы на свет не рождались!

С а в в а. Да что ты говоришь! Что я, ослеп, что ли!

К о н д р а т и й *(машет рукой, отворачивается)*. Кричите себе!

П о с л у ш н и к. Савва Егорыч, не надо кричать, не надо! Вон народ... они уж оглядываться начали.

С а в в а *(кладет руку на плечо Кондратия, тихо)*. По-

слушай, я понимаю... Конечно, при людях... Но ты ведь понимаешь, Кондратий, ты ведь умный человек, очень умный, что это чепуха. Подумай, брат, подумай. Ведь икону вынесли — какое же тут чудо?

Кондратий *(сбрасывая руку, качает головой, громко)*. Не понимаете? Так-таки и не понимаете, а?

Савва *(шепотом)*. Послушай, вспомни, что мы говорили...

Кондратий *(громко)*. Нам шептаться с вами не о чем. А вы думаете, как чудо бывает? Эх, вы! Вот вы тоже человек умный, а простой вещи сообразить не можете: все ведь вы сделали, а? Все: и машинку мне дали, и взрыв был. Все. А икона-то цела! Цела, я говорю, икона-то? Вот вы через это перескочите с вашим умом-то!

Липа *(озираясь, возбужденно)*. Как это просто. Как это страшно. И я... И моими руками... Господи! *(Падает на колени, устремив взоры в небо.)*

Савва *(дико смотрит на все, потом на Кондратия)*. Ну!

Кондратий *(отступая, со страхом)*. Чего уставился?

Савва *(кричит)*. Какой ты... дурак!

Кондратий *(бледнея)*. Вы потише! Потише, говорю! Вы так не кричите, а то я как крикну!

Савва *(мечется. Сперанскому)*. Что ты рот разинул, ты! Ведь ты философ, ты философ! Понимаешь, как они глупы: думают, что это чудо *(смеется)*, думают, что это чудо!

Сперанский *(отступая)*. Извините, Савва Егорыч, но с точки зрения... я не знаю!

Савва. Не знаешь?

Сперанский. Кто же знает? *(С отчаянием кричит.)* Мертвые только, Савва Егорыч, мертвые!

Кондратий. Ага! Прижало тебя... Антихрист!

Липа *(с ужасом)*. Антихрист?

Услышав крик, подходят сперва те двое богомольцев, что пришли с Кондратием; к ним постепенно присоединяются другие, между прочим, человек в чуйке.

Первый богомолец. Что это, отец, а? Обнаружился?

Кондратий. Гляди, гляди, как его!

Савва. Вася, голубчик. Что же это они, а? Ты послушай, что же они говорят, что они говорят! Милый ты мой!..

П о с л у ш н и к *(отступая)*. Савва Егорыч, не надо, не надо! Уходите отсюда.

С а в в а. Вася, Вася, ну ты, ты...

П о с л у ш н и к *(кричит)*. Да не знаю же я! Ничего я не знаю! Я боюсь!

Л и п а *(исступленно)*. Антихрист! Антихрист!

В т о р о й б о г о м о л е ц. Слушай-ка! Слушай!

К о н д р а т и й. Ага! Прижало!.. Деньги-то твои на! Карманы прожгли, проклятые! На! На! На, антихристово семя! *(Бросает деньги.)*

С а в в а *(поднимая руки как для удара)*. Я вас!

П е р в ы й б о г о м о л е ц. Ребята, не бойтесь! Сюда! Сюда!

С а в в а *(крепко сжимая голову)*. Болит, болит... Тьма идет.

К о н д р а т и й. Корчить начало! Так! Так!

Л и п а. Антихрист!

Т ю х а *(кричит)*. Савка! Савка!

С а в в а *(мгновение глубокой, страшной задумчивости. Потом внезапно распрямляется, смотрит так, точно перед ним встал призрак, и с грозным торжеством кричит куда-то вдаль, поверх голов)*. Так, значит, правда! Я прав! Я прав!

К о н д р а т и й. Братцы, да что же! Это он икону! Это он!

Ч е л о в е к в ч у й к е *(протискивается, озабоченно)*. Что тут, братцы, такое? Ага! Поймали? Который? Этот? Ну-ка ты! *(Хватает Савву за рукав.)*

С а в в а *(рассеянно и злобно отбрасывает его)*. Прочь!

Г о л о с а. Ишь ты!.. Не выпускай!

К о н д р а т и й. Бери его!

П о с л у ш н и к *(кричит)*. Бежите! Савва Егорыч, бежите!

В течение дальнейшего Липа молится; Сперанский смотрит с жадным любопытством, и из-за его спины выглядывает Тюха. Все голоса сливаются в один испуганный, свирепый, дикий крик.

Г о л о с а. С того боку! — Да, поди-ка сам! У тебя палка.— Эх, ты, и камня ни одного нету! — Держи, держи, уйдет!..

Ч е л о в е к в ч у й к е *(поднявшись с земли, распоряжается)*. Обступи его, братцы, обступи! К реке-то ему ходу не давай,— убежит. Ну-ну, постарайся!..

Г о л о с а. Иди сам.— Сунулся раз! — Напри — так! Хватай его, хватай! — Ага!..

Кондратий *(визжит)*. Бей его, антихриста, бей!

Савва *(опасность приводит его в себя. Оглядывается быстрым взглядом, намечает путь к реке и, серый, как пыль, от гнева, разом двигается вперед)*. Прочь, уроды!..

Голоса. Идет! Идет! Держи! Ох, братцы! Идет! Идет!

Отступают полукругом, валясь друг на друга, перед напирающим Саввой. Кондратий начинает закрещивать его частыми, мелкими крестиками и так крестит его во все остальное время.

Савва *(надвигаясь)*. Ну-у! Дорогу!.. Ну... поджали хвосты, собаки! Дорогу! Ну-у!

Голоса. Идет!

Навстречу Савве из толпы выходит царь Ирод и загораживает дорогу. Смотрит страшно. Савва подходит вплотную и останавливается.

Савва. Ну?

Короткая пауза и разговор почти вполголоса, почти спокойный.

Царь Ирод. Это ты?

Савва. А это ты? Пусти...

Царь Ирод. Человек?

Савва. Да. Пусти!

Царь Ирод. Спасителя хотел? Христа?

Савва. Тебя обманывают.

Царь Ирод. Люди могут обмануть, Христос нет. Как звать?

Савва. Савва. Посторонись, говорю!

Царь Ирод. Отпусти рабу Твоему Савве. Держись!

Тяжело бьет левой рукой, откуда Савва не ожидал удара. Савва падает на одно колено. Набрасывается толпа и подминает его.

Голоса. Бей его!.. Ага, так... Вертится!.. Бей!..

Послушник. Что же это, а-а-а!.. *(С плачем, взявшись за голову, убегает.)*

Савва *(отчаянно борется; показываясь на минуту, страшный)*. Пустите... Го-о-о! *(Падает.)*

Голоса. Так его! — Раз! — Ага! — Бей! — Готов! — Нет еще! — Готов.— Да чего смотришь? — Бей! — Готов...

Голос. Ворочается.

Голоса. Бей!

Человек в чуйке. Петька, у тебя ножик! Ножиком его полосни! По горлу!

П е т ь к а *(фальцетом)*. Нет, я его лучше — каблуком. Раз!

К о н д р а т и й *(закрещивает)*. Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе...

Сзади отчаянные крики: «Выносят! Выносят!». В толпе избивающих движение; толпа редеет.

Г о л о с а. Несут.— Да буде, готов! — Нет, я его еще разок.— На! — Как я его по морде! — Несут! — Братцы, несут! Несут!

Ц а р ь И р о д. Да будет вам! Обрадовались, зверье окаянное.

Г о л о с а. Ей-Богу, несут! — Полежи тут, полежи.— Господи, не опоздать бы.— Да будет тебе! — А тебе-то жалко,— твоя голова, что ли? Разок один! Идем!

Разбегаются, открывая изуродованный труп Саввы.

Ч е л о в е к в ч у й к е. Эх, отволочь бы его, нехорошо тут при дороге. Грязно! Ребята! Слышь, ребята! Эх, народ!..

Уходит вслед за остальными, но уже навстречу валит толпа. Нестройный говор. Сперанский и Тюха осторожно подходят к трупу, становятся с обеих сторон на корточки и жадно рассматривают. Есть что-то звериное в их позах и вытянутых шеях.

С п е р а н с к и й *(таинственно, со зловещей убедительностью)*. Мертвый! Глаз нету!

Т ю х а *(сквозь все морщинки его лица, превращая его в хаос, проступает неудержимый последний смех)*. Молчи! Молчи! *(Зажимает рот рукою.)*

С п е р а н с к и й. А лицо спокойное, посмотрите, Антон Егорович. Оттого, что узнал правду!

Т ю х а *(фыркает)*. Какая же у него... смешная... рожа! *(Смеется.)* Рожа!

Смеется. Смех прорывается сквозь пальцы, растет, становится неудержимым и переходит в визг. Вваливается толпа, закрывая собою труп, Сперанского и Тюху. На монастыре поднимается звон колоколов, как на Пасхе, и одновременно все поет тысячью голосов.

Т о л п а. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос...»

Л и п а *(бросаясь в толпу, поет)*. Христос воскресе...

Толпа валит, заполняя все. Раскрытые рты, округлившиеся, расширенные глаза. Пронзительно кричат кликуши, порченые, бесноватые. Мгновенный крик: «задавили!». Замирающий откуда-то смех Тюхи. Победное пение растет, ширится, переходит в дикий рев, покрывая собою все остальное. Колокола.

Толпа *(ревет)*. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе...»

Занавес

10 февраля 1906 года.



ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПЯТИ КАРТИНАХ С ПРОЛОГОМ

Светлой памяти моего друга, моей жены,
посвящаю эту вещь,
последнюю,
над которою мы работали вместе.

Леонид Андреев

ПРОЛОГ

Некто в сером, именуемый Он, говорит о жизни Человека. Подобие большой, правильно четырехугольной, совершенно пустой комнаты, не имеющей ни двери, ни окон. Все в ней серое, дымчатое, одноцветное: серые стены, серый потолок, серый пол. Из невидимого источника льется ровный, слабый свет — и он так же сер, однообразен, одноцветен, призрачен и не дает ни теней, ни светлых бликов. Неслышно отделяется от стены прильнувший к ней Некто в сером. На Нем широкий, бесформенный серый балахон, смутно обрисовывающий контуры большого тела; на голове Его такое же серое покрывало, густою тенью кроющее верхнюю часть лица. Глаз Его не видно. То, что видимо: скулы, нос, крутой подбородок — крупно и тяжело, точно высечено из серого камня. Губы Его твердо сжаты. Слегка подняв голову, Он начинает говорить твердым, холодным голосом, лишенным волнения и страсти, как — наемный чтец, с суровым безразличием читающий Книгу Судеб.

— Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и темным концом. Доселе небывший, таинственно схороненный в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем,— он таинственно нарушит затворы небытия и криком возвестит о начале своей короткой жизни. В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукою,— это жизнь Человека. Смотрите на пламень его — это жизнь Человека.

Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет подобен другим людям, уже живущим на земле. И их

жестокая судьба станет его судьбою, и его жестокая судьба станет судьбою всех людей. Неудержимо влекомый временем, он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни, от низу к верху, от верху к низу. Ограниченный зрением, он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его; ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий день, грядущий час — минута. И в слепом неведении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предначертания.

Вот он — счастливый юноша. Смотрите, как ярко пылает свеча! Ледяной ветер безграничных пространств бессильно кружится и рыскает, колебля пламя,— светло и ярко горит свеча. Но убывает воск, съедаемый огнем.— Но убывает воск.

Вот он — счастливый муж и отец. Но посмотрите, как тускло и странно мерцает свеча: точно морщится желтеющее пламя, точно от холода дрожит и прячется оно. Ибо тает воск, съедаемый огнем.— Ибо тает воск.

Вот он — старик, больной и слабый. Уже кончились ступени жизни, и черный провал на месте их,— но все еще тянется вперед дрожащая нога. Пригибаясь к земле, бессильно стелется синеющее пламя, дрожит и падает, дрожит и падает — и гаснет тихо.

Так умрет Человек. Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграниченности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем. И Я, тот, кого все называют Он, останусь верным спутником Человека во все дни его жизни, на всех путях его. Не видимый Человеком и близкими его, Я буду неизменно подле, когда он бодрствует и спит, когда он молится и проклинает. В часы радости, когда высоко воспарит его свободный и смелый дух, в часы уныния и тоски, когда смертным томлением омрачится душа и кровь застынет в сердце, в часы побед и поражений, в часы великой борьбы с непреложным — Я буду с ним.— Я буду с ним.

И вы, пришедшие сюда для забавы, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь Человека.

Некто в сером умолкает. И в молчании гаснет свет, и мрак объемлет. Его и серую пустую комнату.

Опускается занавес

Картина первая

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МУКИ МАТЕРИ

Глубокая тьма, в которой все неподвижно. Как кучка серых притаившихся мышей, смутно намечаются серые силуэты Старух в странных покрывалах и очертания большой высокой комнаты. Тихими голосами, пересмеиваясь, Старухи ведут беседу.

РАЗГОВОР СТАРУХ

— Хотелось бы мне знать, что родится у нашей приятельницы: сын или дочь?

— А разве вам не все равно?

— Я люблю мальчиков.

— А я люблю девочек. Они всегда сидят дома и ждут, когда к ним приходишь.

— А вы любите ходить в гости?

Старухи тихо смеются.

— Он знает.

— Он знает.

Молчание.

— Приятельнице нашей хотелось бы иметь девочку. Она говорит, что мальчики слишком буйны нравом, предприимчивы и ищут опасности. Когда они еще маленькие, они любят лазить по высоким деревьям и купаться в глубокой воде. И часто падают и часто тонут. А когда становятся они мужчинами, они устраивают войны и убивают друг друга. Она думает, что девочки не тонут. А я много-таки видела утонувших девочек, и были они, как все утопленники: мокрые и зеленые.

— Она думает, что девочек не убивают камни!

— Бедная, ей так тяжело рожать. Вот уже шестнадцать часов сидим мы здесь, а она все кричит. Сперва она кричала звонко, так что больно было ушам от ее крика, потом тише, а теперь только хрипит и стонет.

— Доктор говорит, что она умрет.

— Нет, доктор говорит, что ребенок будет мертвый, а она сама останется жива.

— Зачем они рожают? Это так больно.

— А зачем они умирают? Это еще больнее.

Старухи тихо смеются.

— Да. Рожают и умирают.

— И вновь рожают.

Смеются. Слышен тихий крик страдающей женщины.

— Опять началось.

— У нее снова появился голос. Это хорошо.

— Это хорошо.

— Бедный муж: он так растерялся, что на него смешно смотреть. Прежде он радовался беременности жены и говорил, что хочет мальчика. Он думает, что сын его будет министром или генералом. Теперь он ничего не хочет, ни мальчика, ни девочки, и только мечется и плачет.

— Когда у нее начинаются схватки, он тужится сам и краснеет.

— Его послали в аптеку за лекарством, а он два часа ездил мимо аптеки и не мог вспомнить, что ему надо. Так и вернулся.

Старухи тихо смеются. Крик становится сильнее и замирает. Тишина.

— Что с нею? Быть может, она уже умерла?

— Нет. Тогда бы мы услышали плач. Тогда вбежал бы сюда доктор и стал бы говорить пустяки. Тогда бы внесли сюда ее мужа, потерявшего чувство, и нам пришлось бы поработать. Нет, она не умерла.

— Тогда зачем же мы здесь сидим?

— Спросите у Него. Разве мы знаем?

— Он не скажет.

— Он не скажет. Он ничего не говорит.

— Он помыкает нами. Он поднимает нас с постелей и заставляет сторожить, а потом оказывается, что и приходить не надо было.

— Мы сами пришли. Разве мы не сами пришли? Нужно быть справедливыми. Вот она снова кричит. Разве вам мало этого?

— А вы довольны?

— Я молчу. Я молчу и жду.

— Какая вы добрая!

Смеются. Крики становятся сильнее.

— Как она кричит! Как ей больно!

— Вы знаете эту боль? Точно разрываются внутренности.

— Мы все рожали.

— Как будто это не она. Я не узнаю голоса нашей приятельницы. Он такой мягкий и нежный.

— А это скорее похоже на вой зверя. Чувствуется ночь в этом крике.

— Чувствуется бесконечный темный лес, и безнадежность, и страх.

— Чувствуется одиночество и тоска. Разве возле нее нет никого? Почему нет других голосов, кроме этого дикого вопля?

— Они говорят, но их не слышно. Вы замечали, как одинок всегда крик человека: все говорят, и их не слышно, а кричит один, и кажется, что все другое молчит и слушает.

— Я слышала раз, как кричал человек, которому смяло экипажем ногу. Улица была полна народу, а казалось, что он только один и есть.

— Но это страшнее.

— Громче, скажите.

— Протяжнее, пожалуй.

— Нет, страшнее. Здесь чувствуется смерть.

— И там чувствовалась смерть. Он и умер.

— Не спорьте! Разве вам не все равно?

Молчание. Крик.

— Как странно кричит человек! Когда самой больно и кричишь, то не замечаешь, как это странно — как это странно.

— Я не могу представить себе рта, который издает эти звуки. Неужели это рот женщины? Я не могу представить.

— Но чувствуется, что он перекосился.

— В какой-то глубине зарождается звук. Теперь это похоже на крик утопающего. Слушайте, она захлебывается!

— Кто-то тяжелый сел ей на грудь!

— Кто-то душит ее!

Крики смолкают.

— Наконец-то умолкла. Это надоедает. Крик так однообразен и некрасив.

— А вы и тут хотели бы красоты, не правда ли?

Старухи тихо смеются.

— Тише! Он здесь?

— Не знаю.

— Кажется, здесь.

— Он не любит смеха.

— Говорят, что Он смеется сам.

— Кто это видел? Вы передаете просто слухи: о Нем так много лгут.

— Он слышит нас. Будем серьезны!

Тихо смеются.

— А все-таки я очень хотела бы знать, будет ли мальчик или девочка?

— Правда, интересно знать, с кем будешь иметь дело.
— Я бы желала, чтобы оно умерло, не родившись.
— Какая вы добрая!
— Не добрее, чем вы.
— А я бы желала, чтобы оно было генералом.

Смеются.

— Вы уж слишком смешливы! Мне это не нравится.
— А мне не нравится, что вы так мрачны.
— Не спорьте! Не спорьте! Мы все и смешливы и мрачны. Пусть каждая будет, как она хочет.

Молчание.

— Когда они родятся, они очень смешные. Смешные детеныши.
— И самодовольные.
— И очень требовательные. Я не люблю их. Они сразу начинают кричать и требовать, как будто для них все уже должно быть готово. Еще не смотрят, а уже знают, что есть грудь и молоко, и требуют их. Потом требуют, чтобы их уложили спать. Потом требуют, чтобы их качали и тихонько шлепали по красной спинке. Я больше люблю их, когда они умирают, тогда они менее требовательны. Протянется сам и не просит, чтобы его укачивали.
— Нет, они очень смешные. Я люблю обмывать их, когда они родятся.
— Я люблю обмывать их, когда они умерли.
— Не спорьте! Не спорьте! Всякой будет свое: одна обмоет, когда родится, другая — когда умрет.
— Но почему они думают, что имеют право требовать, как только родятся? Мне не нравится это.
— Они не думают. Это желудок требует.
— Они всегда требуют!
— Но ведь им никогда и не дают.

Старухи тихо смеются. Крики за стеной возобновляются.

— Опять кричит.
— Животные рожают легче.
— И легче умирают. И легче живут. У меня есть кошка: если бы вы видели, какая она толстая и счастливая.
— А у меня собака. Я ей каждый день говорю: ты умрешь! — а она осклабляет зубы и весело вертит хвостом.
— Но ведь они — животные.
— А это — люди.

Смеются.

— Либо она умирает, либо родит. Чувствуются последние силы в этом вопле.
— Вытаращенные глаза...
— Холодный пот на лбу...

Слушают.

— Она родит!
— Нет, она умирает.

Крики обрываются.

— Я вам говорю...
Некто в сером *(говорит звучно и властно)*. Тише! Человек родился.

Почти одновременно с Его словами приносится крик ребенка, и вспыхивает свеча в Его руке. Высокая, она горит неуверенно и слабо, но постепенно огонь становится сильнее. Тот угол, в котором неподвижно стоит Некто в сером, всегда темнее других, и желтое пламя свечи озаряет его крутой подбородок, твердо сжатые губы и крупные костистые щеки. Верхняя часть лица скрыта покрывалом. Ростом Он несколько выше обычного человеческого роста. Свеча длинная, толстая, вправлена в подсвечник, старинной работы. На зелени бронзы выделяется Его рука, серая, твердая, с тонкими длинными пальцами.

Медленно светлеет, и из мрака выступают фигуры пяти сгорбленных Старух в странных покрывалах и комната. Она высокая, правильно четырехугольная, с гладкими одноцветными стенами. Впереди и направо по два высоких восьмистекольных окна, без занавесок; в стекла смотрит ночь. У стен стоят стулья с высокими прямыми спинками.

Старухи *(торопливо)*. Слышите, как забегали! Идут сюда.
— Как светло! Мы уходим.
— Смотрите, свеча высока и светла.
— Мы уходим! Мы уходим! Скорее!
— Но мы придем! Но мы придем!

Тихо смеются и в полумраке странными, зигзагообразными движениями ускользают, пересмеиваясь. С их уходом свет усиливается, но в общем остается тусклым, безжизненным, холодным; тот угол, в котором недвижимо стоит Некто в сером с горящей свечой, темнее других.

Входит Доктор в белом больничном балахоне и Отец Человека. Лицо последнего выражает глубокое утомление и радость. Под глазами синие круги, щеки впали, волосы в беспорядке. Одет очень небрежно. У Доктора очень ученый вид.

Доктор. До последней минуты я не знал, останется ли в живых ваша жена или нет. Я употребил все искусство и знание, но наше искусство значит так мало, если не приходит на помощь сама природа. И я очень волновался, у меня и сейчас так бьется пульс. Уже стольким детям я помог

явиться на свет, но и до сих пор я не могу отделаться от волнения. Но вы не слушаете меня, сударь!

О т е ц Ч е л о в е к а. Я слушаю, но ничего не слышу. До сих пор у меня стоит в ушах ее крик, и я плохо понимаю. Бедная, как она страдала! Безумный, глупый, я так хотел иметь детей, но теперь я отказываюсь от этого преступного желания.

Д о к т о р. Вы еще позовете меня, когда родится у вас следующий.

О т е ц. Нет, никогда. Мне стыдно сказать, но я сейчас ненавижу ребенка, из-за которого она столько страдала. Я даже не видал его, какой он?

Д о к т о р. Он хорошо упитанный, крепкий мальчик и, если не ошибаюсь, похож на вас.

О т е ц. Похож на меня? Как я счастлив! Теперь я начинаю любить его. Мне всегда хотелось, чтобы у меня родился мальчик и был похож на меня. Вы видели: у него такой нос, как мой, не правда ли?

Д о к т о р. Да, нос и глаза.

О т е ц. И глаза? Это так хорошо! Я вам заплачу больше, чем назначил.

Д о к т о р. Вы должны мне заплатить особо за щипцы, которые я накладывал.

О т е ц *(обращаясь к тому углу, где неподвижно стоит Он)*. Боже! Благодарю тебя за то, что ты исполнил мое желание и дал мне сына, похожего на меня. Благодарю тебя за то, что не умерла моя жена и жив ребенок. И прошу тебя: сделай так, чтобы он вырос большим, здоровым и крепким, чтобы он был умным и честным и чтобы никогда не огорчал нас: меня и его мать. Если ты сделаешь так, я всегда буду верить в тебя и ходить в церковь. Теперь я очень люблю моего сына.

Входят Р о д с т в е н н и к и. Их шестеро. Необыкновенно т о л с т а я п о ж и л а я д а м а с отвисшим подбородком и маленькими надменными глазками, чрезвычайно важная и гордая. П о ж и л о й г о с п о д и н, ее муж, очень длинный и необыкновенно худой, так что платье висит на нем. Козлиная острая бородка, длинные до плеч, гладкие, точно намоченные, волосы и очки; смотрит испуганно и в то же время поучительно; в руке держит шляпу — низкий черный цилиндр. М о л о д е н ь к а я д е в у ш к а, их дочь, с наивно вздернутым носиком, мигающими глазами и открытым ртом. Х у д а я д а м а, имеющая крайне угнетенный и кислый вид; в руках держит носовой платок и часто вытирает им рот. Двое ю н о ш е й совершенно тождественных: необыкновенно высокие воротники, вытягивающие шею, прилизанные волосы, выражение недоумения и растерянности.

Все указываемые свойства в каждом из обладателей их достигают крайнего развития.

Пожилая дама. Позволь, дорогой брат, поздравить тебя с рождением сына. *(Целует его.)*

Пожилой господин. Позволь, дорогой родственник, сердечно поздравить тебя с рождением столь долго ожидаемого сына. *(Целует.)*

Остальные. Позвольте нам, дорогой родственник, поздравить вас с рождением сына. *(Целуют.)*

Доктор уходит.

Отец *(очень растроганный)*. Благодарю вас! Благодарю вас! Вы все очень хорошие, очень добрые и милые люди, и я очень люблю вас. Прежде я сомневался и думал, что ты, дорогая сестра, несколько занята собой и своими достоинствами, а вы, милый зять, несколько педантичны. И про остальных я думал, что они холодны ко мне и ходят только обедать, но теперь я вижу, что ошибался. Я очень счастлив: у меня родился сын, похожий на меня, и кроме того я сразу вижу столько хороших, любящих меня людей.

Целуются.

Молодая девушка. Как вы назовете сына, дорогой дядя? Мне бы очень хотелось, чтобы это было красивое, поэтическое имя. Так много зависит от того, как зовут человека.

Пожилая дама. Я бы желала, чтобы это было простое и солидное имя. Люди с красивыми именами всегда очень легкомысленны и редко успевают в жизни.

Пожилой господин. Мне кажется, что вам, дорогой шурин, следовало бы наречь сына по имени какого-нибудь из старших родственников. Это продолжает и укрепляет род.

Отец. Да, мы с женой уже думали об этом, но не могли решить. Вообще с рождением ребенка приходит столько новых мыслей и забот!

Пожилая дама. Это наполняет жизнь.

Пожилой господин. Это ставит прекрасную цель для жизни. Воспитывая ребенка, устраняя от него те ошибки, жертвой которых мы были, укрепляя его ум нашим собственным богатым опытом, мы таким образом создаем лучшего человека и медленно, но верно движемся к конечной цели существования — к совершенству.

Отец. Вы совершенно правы, уважаемый зять. Когда я был маленьким, я очень любил мучить животных, и это развивало во мне жестокость. Моему сыну я не позволю мучить животных. Уже будучи взрослым, я часто ошибался

в дружбе и любви: избирал недостойных друзей и вероломных женщин. Моему сыну я объясню...

Доктор *(входит и громко говорит)*. Сударь, вашей жене очень плохо. Она хочет видеть вас.

Отец. Ах, боже мой! *(Уходит вместе с доктором.)*

Родственники садятся полукругом и некоторое время торжественно молчат. В углу, обратив к ним каменное лицо свое, неподвижно стоит Некто в сером.

РАЗГОВОР РОДСТВЕННИКОВ

— Ты не думаешь, милая жена, что наша родственница может умереть?

— Нет, я не думаю этого. Она очень нетерпеливая женщина и придает много значения своим болям. Все женщины рожают, и никто не умирает. Я сама рожала шесть раз.

— Но она так кричала, мама!

— Да, у нее на лице кровоподтеки от крика. Я обратил на это внимание!

— Это не от крика. Это оттого, что надо тужиться. Ты этого не понимаешь. У меня у самой были кровоподтеки, однако я не кричала.

— Одна моя знакомая, жена инженера, рожала недавно и тоже почти не кричала.

— Я не знаю жены инженера. Напрасно брат так беспокоится: нужно быть тверже и смотреть на вещи спокойнее. Я боюсь, что и в воспитание ребенка он внесет много фантазерства и распущенности.

— Он очень безвольный человек. У него у самого так мало денег, а он дает взаймы людям, не заслуживающим доверия.

— Вы знаете, сколько стоило для ребенка белье?

— Не говорите, меня так огорчает легкомыслие брата. Мы часто спорим с ним по этому поводу.

— А говорят, что бебе приносит аист. Какой же это аист!

Молодые люди одновременно фыркают.

— Не говори глупостей. Я на твоих глазах родила пятерых, а я, слава Богу, не аист.

Молодые люди снова фыркают, а пожилая дама продолжительно и строго смотрит на них.

— Ты должна заметить себе, что это предрассудок. Дети родятся совершенно естественным путем, строго установленным наукой.

— Они теперь на новой квартире.

— Кто?

— Инженер и его жена. Старая квартира оказалась очень сырая и холодная. Несколько раз жаловались домовладельцу, но он не обратил внимания.

— По моему мнению, лучше маленькая квартира, но теплая, чем большая и сырая. В сырой квартире можно умереть от насморков и ревматизма.

— У одних моих знакомых тоже очень сырая квартира.

— И у моих тоже. Очень сырая!

— Теперь так много сырых квартир!

— Скажите, пожалуйста, я давно хотела у вас спросить: как выводятся жирные пятна со светлых материй?

— Шерстяной?

— Нет, с шелковой.

Крики ребенка за стеной.

— Возьмите небольшой кусок чистого льда и хорошенько трите то место, где пятна. И когда хорошенько протрете, возьмите горячий утюг и прогладьте.

— Скажите, как просто! А я слыхала, что лучше борной водой.

— Нет, борной водой хорошо только для темных материй. А для светлых самое лучшее — лед.

— Скажите, пожалуйста, можно здесь курить? Я как-то никогда не думал, можно ли курить, когда только что родился ребенок?

— И мне никогда не приходилось. Как странно! На похоронах, я знаю, курить неприлично, но тут...

— Какие пустяки! Конечно, можно.

— Только куренье табаку вообще очень дурная привычка! Вы еще очень молодой человек, и вам следовало бы поберечь здоровье. В жизни так много случаев, когда здоровье необходимо.

— Но табак возбуждает.

— Поверьте мне, это очень нездоровое возбуждение. Я сам в молодости, когда был легкомыслен, злоупотреблял курением табаку...

— Мама, как он кричит! Как он кричит, мама! Он хочет молочка?

Молодые люди фыркают. Пожилая дама строго смотрит на них.

Опускается занавес

Картина вторая

ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ

Все залито ярким, теплым светом. Большая, очень высокая и очень бедная комната. Совершенно гладкие светло-розовые стены, местами покрытые фантастическим и красивым сплетением сырых пятен. В правой стене два высоких восьмистекольных окна без занавесок; в них смотрит ночь. Две бедные кровати, два стула и непокрытый стол, на котором стоит полуразбитый кувшин с водою и прекрасный букет полевых цветов.

В углу, который темнее других, стоит Некто в сером. Свеча в Его руке убыла на одну треть, но пламя еще очень ярко, высоко и бело, и бросает сильные блики на каменное лицо Его и подбородок. Входят Соседи, одетые в яркие, веселые платья. Все руки у них полны цветов, травы, зеленых свежих веток дуба и березы. Разбегаются по комнате. Лица у всех простые, веселые и добрые.

РАЗГОВОР СОСЕДЕЙ

— Как они бедны! Смотрите, у них нет ни одного лишнего стула...

— Ни занавесок на окнах...

— Ни картин на стенах...

— Как они бедны! Смотрите, они едят только черствый хлеб...

— И пьют только воду; холодную воду из студеного ключа!

— У них нет даже лишней одежды. Она всегда ходит в своем розовеньком платье, с голою шейкой, что делает ее похожей на девочку.

— А он в своей блузе и диком галстуке, что делает его похожим на артиста и заставляет злобно лаять на него всех собак...

— И вызывает недовольство всех порядочных людей!

— Собаки ненавидят бедняков. Я видел вчера, как три собаки напали на него, и он отбивался палкой, крича: «Не смейте касаться моих брюк! Это последние брюки!» И он смеялся, а собаки с оскаленными зубами бросались на него и выли от злости.

— А я видела сегодня, как двое порядочных людей, господин и дама, испугались его и перешли на другую сторону. «Он сейчас попросит денег»,— сказал господин. «Он нас убьет»,— запищала дама, и они перешли на другую сторону, оглядываясь и держась за карманы. А он качал головой и смеялся.

— Он такой веселый!

— Они постоянно смеются.

— И поют!

— Это он поет. Она танцует.

— В своем розовеньком платье, с голенькой шейкой.

— На них приятно смотреть: такие они молодые и славные.

— А мне их жалко: ведь они голодны. Понимаете: голодны.

— Да, это правда. У них было больше мебели и платья, но они все продали. И теперь им нечего уже продавать.

— Я помню, у нее были такие красивые серьги, и она их продала, чтоб купить хлеб.

— А у него, был красивый черный сюртук, в котором он венчался, и он продал его.

— У них остались только обручальные кольца. Как они бедны!

— Это ничего. Это ничего. Я сам был молóд и знаю это.

— Что ты говоришь, дедушка?

— Это ничего. Это ничего.

— Смотрите, дедушке захотелось петь, думая о них.

— И танцевать!

Смеются.

— Он такой добрый: он сделал моему мальчику лук и стрелы.

— А она плакала со мной, когда была больна моя дочь.

— Он помог мне поставить упавший забор. Крепкий паренек!

— Приятно иметь таких хороших соседей. Их молодость согревает нашу холодную старость, их беззаботность прогоняет наши заботы.

— Но их комната похожа на тюрьму: она так пуста.

— Нет, она похожа на храм: в ней так светло!

— Смотрите, у них на столе цветы. Это она собрала, гуляя по полю в своем розовеньком платье, с голенькой шейкой. Вот ландыши! На них еще не высохла роса.

— Вот красная горячая смолка!

— Вот фиалки!

— Вот простая зеленая травка!

— Не трогайте, девушки, не трогайте цветов. На них ее поцелуи — не уроните их на землю; на них ее дыхание — не сдуйте его вашим дыханием. Не трогайте, девушки, не трогайте цветов!

— Он придет и увидит цветы!

— Он возьмет поцелуй.

— Он выпьет ее дыхание...

— Как они бедны! Как они счастливы!

— Пойдемте! Пойдемте отсюда!

— Но неужели мы ничего не принесли нашим милым соседям! Это было бы так плохо!

— Я принесла бутылку молока и кусок белого, пахучего хлеба. *(Ставит на окно.)*

— А я мягкой и нежной травы: когда рассыпать ее по полу, то становится как на цветущем лугу, и пахнет весною. *(Рассыпает.)*

— А я цветов! *(Разбрасывает их.)*

— А мы березовых и дубовых веток с зелеными листьями: если убрать ими стены, то становится похоже на зеленый веселый лес!

Убирают комнату, загораживая темные окна, закрывая листьями розовую наготу стен.

— А я хорошую сигару. Она очень дешевая, но крепкая и пахучая, и от нее бывает приятный сон. *(Кладет на окно.)*

— А я розовую ленточку. Если повязать ею волосы, то становишься такой нарядной и красивой. Мне подарил ее возлюбленный, но у меня так много лент, а у нее ни одной. *(Кладет туда же.)*

— А что же ты, дедушка? Разве ты ничего не принес?

— Я ничего. Я ничего. Я принес только мой кашель. Но этого им не нужно. Правда, сосед?

— Как и мои костыли... Эй, девушки, кому нужны мои костыли?

— Помнишь, сосед?..

— А ты, сосед, помнишь?..

— Пойдем-ка, сосед, спать. Уже поздно.

Вздыхают и уходят, один покашливая, другой постукивая костылями.

— Пойдемте! Пойдемте!

— Дай Бог им счастья: они такие хорошие соседи!

— Дай Бог, чтобы всегда они были здоровы и веселы и любили друг друга. И чтобы не пробегала между ними противная черная кошка!

— И чтобы нашлась молодчику работа. Плохо, когда у человека нету работы.

Уходят. Тотчас же входит Жена Человека, очень красивая, грациозная, нежная, с цветами в пышных полураспущенных волосах. У нее очень грустный вид. Садится на стул, складывает на коленях ручки и грустно говорит, обращаясь к зрителям.

Жена Человека. Я сейчас ходила в город и искала — не знаю, чего я искала. Мы так бедны, у нас нет ничего, и нам очень трудно жить. Нужны деньги, а как их достать —

я не знаю. Если просить у людей — не дадут; отнять — у меня нету силы. Я искала работу, но и работы мне не дают, говорят, что людей много, а работы так мало. Я на дорогу смотрела: не уронил ли кто-нибудь из богатых свой кошелек, но или его не роняли, или уже поднят кошелек кем-нибудь более счастливым, чем я. И мне так грустно. Вот сейчас придет мой муж с поисков работы, усталый, голодный, а что я ему дам, кроме моих поцелуев? Но только ведь поцелуями сыт не будешь, нет. Мне так грустно, что хочется плакать.

Я могу очень долго не есть, и мне ничего, а он не может. У него большое тело, которое требует пищи, и когда он долго не ест, он становится такой жалкий, бледный, больной, раздраженный. Бранит меня, а потом целует и просит, чтобы я не сердилась. Но я никогда не сержусь, потому что очень люблю его. Мне только грустно.

Мой муж — очень талантливый архитектор, и я даже думаю, что он гениален. Его родители умерли очень рано, и он остался сиротою. Некоторое время после смерти родителей его поддерживали родственники, но так как он был всегда очень самостоятелен характером и резок, часто говорил неприятные вещи, не высказывал благодарности, то его бросили. Но он продолжал учиться, добывая средства уроками и часто голодая, и окончил высшую школу. Он часто голодал, мой бедный муж! Теперь он архитектор и делает чертежи прекрасных зданий, но никто их не берет, и многие глупые люди даже смеются над ним. Чтобы пробиться вперед, нужны покровители или удача, а у него нет ни покровителей, ни удачи. Вот и ходит он, разыскивая случая — какого-то случая — а может быть, и на земле ищет денег, как я. Он очень еще молод и наивен.

Конечно, когда-нибудь и к нам повернется счастье, но только когда это будет? А пока нам очень трудно жить. Когда мы повенчались, у нас было маленькое приданое, но мы очень скоро его прожили: все ходили в театр и ели конфеты. Он еще надеется, а я иногда совсем теряю надежду и потихоньку плачу. Сердце у меня сжимается, когда я подумаю, что вот придет он, и опять ничего — кроме моих жалких поцелуев.

Господи Боже! Будь нам милосердным и добрым Отцом. Ведь у тебя так много всего: и хлеба, и работы, и денег. Твоя земля так богата: она родит плоды и колосья на поле, она покрывает цветами луга, из темной глубины своей шлет она людям золото и драгоценные красивые камни. И так много тепла у твоего солнца и у твоих задумчивых

звезд так много тихой радости. Дай нам немного из своей кошницы, совсем немного, столько, сколько даешь ты птицам своим. Немного хлеба, чтобы не был голоден мой милый, хороший муж. Немного тепла, чтобы не было холодно ему, и немного работы, чтобы поднял он гордо свою красивую голову. И, пожалуйста, не гневайся на моего мужа, что он так ругается, и смеется, и даже поет, заставляя меня танцевать: он так молод и совершенно несерьезен.

Теперь, когда я помолилась, мне стало легче, и я опять надеюсь. Правда, отчего Богу не дать, когда его так просят? Пойду и поищу немного, не уронил ли кто-нибудь кошелек или блестящий алмаз. *(Уходит.)*

Некто в сером. Она не знает, что уже исполнено желание ее. Она не знает, что уже сегодня утром в богатом доме два человека, согнувшись, жадно рассматривали чертеж Человека и восторгались им. Весь день сегодня они тщетно разыскивали Человека,— богатство искало его, как он ищет богатство. И завтра утром, когда соседи уйдут на работу, к их дому подъедет автомобиль, и два господина, низко кланяясь, войдут в бедную комнату и принесут богатство и славу. Но не знают об этом ни он, ни она. Так приходит к человеку счастье — и так же уходит оно.

Входят Человек и его Жена. У Человека красивая, гордая голова с блестящими глазами, высоким лбом и черными бровями, расходящимися от переносья, как два смелых крыла. Волнистые черные волосы свободно откинуты назад; низкий, белый, мягкий воротник открывает стройную шею и часть груди. В движениях своих Человек легок и быстр, как молодое животное, но позы он принимает свойственные только человеку: деятельно-свободные и гордые.

Человек. Опять ничего. Скоро я лягу в постель и так буду лежать весь день,— пускай приходят за мной те, кому я нужен, а сам я не пойду. Завтра же лягу.

Жена. Ты устал?

Человек. Да, я устал и голоден. Я мог бы, как герой Гомера, съесть целого быка, а придется довольствоваться куском черствого хлеба. Ты знаешь ли, что человек не может постоянно есть один только хлеб — мне хочется грызть, рвать, кусать!

Жена. Мне жалко тебя, мой милый.

Человек. Да, и мне жалко себя, но от этого я не сыт. Сегодня я целый час стоял перед гастрономическим магазином, и как люди рассматривают произведения искусства, так я рассматривал эти пулярдки, паштеты, колбасы. А вывески! Они так хорошо умеют рисовать ветчину, что ее можно съесть вместе с железом.

Жена. Ветчину и я люблю.

Человек. Кто же не любит ветчины? А омаров ты любишь?

Жена. Да, люблю.

Человек. Какого я видел омара! Он был нарисован, но он был еще красивее, чем живой. Красный, как кардинал, величественный, строгий, он стоил того, чтобы подойти к нему под благословение. Я думаю, я мог бы съесть двух таких кардиналов и папу — карпа в придачу.

Жена *(грустно)*. Ты не замечаешь моих цветов?

Человек. Цветы? А их можно есть?

Жена. Ты не любишь меня.

Человек *(целуя ее)*. Прости меня! Но, правда, я так голоден. Посмотри, у меня трясутся руки, я даже в собаку не в силах бросить камнем.

Жена *(целует руку)*. Бедный мой!

Человек. А откуда эти листья на полу? От них так хорошо пахнет. Это также ты?

Жена. Нет, это, наверное, соседи.

Человек. Милые люди наши соседи. Странно: так много хороших людей на свете, а человек может умереть с голоду. Отчего это?

Жена. Ты стал так мрачен. Ты хмуришься? Ты видишь что-нибудь?

Человек. Да, предо мной, среди моих шуток, проскользнул ужасный образ нищеты и стал вон там, в углу. Ты видишь ее? Жалобно протянутые руки, заброшенность детеныша в лесу, молящий голос и тишина на людской пустыни. Помогите! — Никто не слышит.— Помогите, я умираю! — Никто не слышит. Смотри, жена, смотри! Вот, дрожа, выплывают смутные черные тени, как обрывки черного дыма из длинной страшной трубы, ведущей в ад. Смотри: и я между ними.

Жена. Мне стало страшно, и я не могу смотреть в тот темный угол. Ты видел все это на улице?

Человек. Да, я видел все это на улице, и скоро это будет с нами.

Жена. Нет, Бог не допустит этого.

Человек. Отчего же он для других допускает?

Жена. Мы лучше других, мы хорошие люди. Мы ничем его не огорчаем.

Человек. Ты думаешь? А я так часто ругаюсь.

Жена. Ты не злой.

Человек. Нет, я злой, я злой! Когда я похожу по улице и посмотрю на все, что нам не принадлежит, у меня отрастают клыки, как у кабана. Ах, как много нет у меня

денег! Слушай меня, маленькая женка! Сегодня я гулял вечером в парке, в этом прекрасном парке, где дороги прямы, как стрелы, и красивые буки похожи на королей в коронах...

Жена. А я ходила по улицам города, и там всё магазины, магазины,— такие красивые магазины...

Человек. Мимо меня проходили люди с тросточками, одетые так красиво, и я думал: а у меня этого нет!

Жена. Нарядные женщины в изящных ботинках, делающих ногу красивой, в прекрасных шляпах, из-под которых глаза сверкают так таинственно, в шелковых юбках, издающий загадочный шелест,— проходили мимо меня, и я думала: а у меня нет хорошей шляпки, нет шелковой юбки.

Человек. Один нахал толкнул меня плечом, но я показал ему свои клыки, и он позорно спрятался за других!

Жена. Меня толкнула нарядная дама, но я даже не посмотрела на нее: так было мне неловко!

Человек. Там проносились всадники на горячих, гордых конях,— а у меня этого нет!

Жена. У нее в ушах были такие брильянты, что хотелось их поцеловать!

Человек. Там бесшумно, как призраки с горящими глазами, скользили красные и зеленые автомобили, и люди сидели в них, и смеялись, и лениво смотрели по сторонам,— а у меня этого нет!

Жена. А у меня нет ни брильянтов, ни изумрудов, ни белого чистого жемчуга!

Человек. Над озером богатый ресторан сверкал огнями, как царствие небесное, и там ели! Министры во фраках, какие-то ангелы с белыми крыльями разносили бутерброды и пиво, и там ели, там пили! Я есть хочу! Маленькая женка, я есть хочу!

Жена. Миленький, ты бегаешь, а от этого еще больше хочется есть. Ты лучше сядь, а я сяду к тебе на колени, а ты возьми бумагу и нарисуй красивое-красивое здание.

Человек. Мое вдохновение так же голодно, оно рисует только съестные пейзажи! Уже давно мои дворцы походят на толстые пироги с жирной начинкой, а церкви — на гороховые колбасы. Но на твоих глазах я вижу слезы: что с тобой, моя маленькая женка?

Жена. Мне так грустно, что я не могу помочь тебе!

Человек. Ты меня пристыдила. Я, крепкий мужчина, умный, талантливый, здоровый, ничего не могу сделать, а моя маленькая женка, моя сказочная фея плачет, что не в силах помочь мне! Когда женщина плачет, это всегда позор для мужчины. Мне совестно!

Ж е н а. Ты же не виноват, что люди не могут тебя оценить!

Ч е л о в е к. У меня даже уши покраснели! Словно меня, как в детстве, отодрали за уши! Ты ведь тоже голодна, а я не вижу этого, как настоящий эгоист. Это подло!

Ж е н а. Милый мой, я не чувствую голода...

Ч е л о в е к. Это бесчестно! Это малодушно! Тот нахал, который толкнул меня, был прав: он видел, что это идет настоящая жирная свинья! Кабан с острыми клыками, но с глупой головой!

Ж е н а. Если ты будешь бранить себя так нехорошо, я опять заплачу.

Ч е л о в е к. Нет, нет, не нужно слез! Когда я вижу слезы на твоих глазах, мною овладевает страх. Я боюсь этих кристальных, светлых капелек: точно кто-то другой, кто-то страшный роняет их. Я не позволю тебе плакать. У нас нет ничего, мы бедны,— но я расскажу тебе о том, что у нас будет. Я очарую тебя светлой сказкой, яркими мечтами обовью я тебя, как розами, моя царица!

Ж е н а. Не нужно бояться! Ты сильный, ты гениальный, и ты победишь жизнь. Минута уныния пройдет, и святое вдохновение вновь осенит твою гордую голову.

Ч е л о в е к *(становится в гордую и смелую позу вызова и бросает в тот угол, где стоит Неизвестный, дубовый листок со словами)*. Эй, ты, как тебя там зовут: рок, дьявол, или жизнь, я бросаю тебе перчатку, зову тебя на бой! Малодушные люди преклоняются пред твоею загадочною властью. Твое каменное лицо внушает им ужас, в твоем молчании они слышат зарождение бед и грозное падение их. А я смел и силен, и зову тебя на бой. Поблестим мечами, позвеним щитами, обрушим на головы удары, от которых задрожит земля! Эй, выходи на бой!

Ж е н а *(приникая немного позади к его левому плечу, говорит страстно)*. Смелее, мой милый, еще смелее!

Ч е л о в е к. Твоей зловещей косности я противопоставлю мою живую и бодрую силу; мрачности твоей — мой яркий и звонкий смех! Эй, отражай удары! У тебя каменный лоб, лишенный разума,— бросаю в него раскаленные ядра моей сверкающей мысли; у тебя каменное сердце, лишенное жалости,— сторонись, я лью в него горячую отраву мятежных криков! Черною тучею твоего свирепого гнева затмится солнце,— мы мечами осветим тьму! Эй, отражай удары!

Ж е н а. Смелее, еще смелее! За тобой стоит твой оруженосец, мой гордый рыцарь!

Человек. Побеждая, я буду петь песни, на которые откликнется вся земля; молча падая под твоим ударом, я буду думать лишь о том, чтобы снова встать и ринуться на бой! В моей броне есть слабые места, я знаю это. Но, покрытый ранами, истекающий алой кровью, я силы соберу, чтобы крикнуть: ты еще не победил, злой недруг человека!

Жена. Смелее, мой рыцарь! Я слезами омою твои раны, поцелуями остановлю бег алой крови!

Человек. И, умирая на поле брани, как умирают храбрые, одним лишь возгласом я уничтожу твою слепую радость: я победил! Я победил, злой враг мой, ибо до последнего дыхания не признал я твоей власти!

Жена. Смелей, мой рыцарь, смелей! Я умру с тобою.

Человек. Эй, эй, выходи на бой! Поблестим мечами, позвеним щитами, обрушим на головы удары, от которых задрожит земля. Эй, выходи!

Некоторое время Человек и его Жена остаются в тех же позах, потом оборачиваются друг к другу и целуются.

Так разделаемся мы с жизнью, моя маленькая женка, не правда ли? Пусть она хмурится, как слепая сова при солнце,— мы заставим ее улыбнуться!

Жена. И поплясать под наши песни. Нас двое!

Человек. Нас двое. Ты хорошая жена, ты моя верная подруга, ты храбрая маленькая женщина, и, пока мы с тобой, нам никто не страшен. Эка бедность! Сегодня бедны, а завтра уже богаты!

Жена. И что такое голод? Сегодня хочется есть, а завтра мы уже сыты.

Человек. Ты думаешь? Очень возможно. Но я буду очень много есть — так много нужно, чтобы я почувствовал себя сытым. Как ты думаешь, достаточно это будет: утром чай, или кофе, или шоколад, как кто хочет, выбор свободный. Потом завтрак из трех блюд. Потом обед. Потом ужин. Потом...

Жена. Побольше фруктов. Я очень люблю фрукты.

Человек. Хорошо. Я буду корзинами покупать их прямо на рынке: там они дешевле и свежее. Впрочем, у нас будет свой сад.

Жена. Но у нас нет земли!

Человек. Я куплю. Мне давно хочется иметь свой кусочек земли. Кстати, я построю там дом по своему рисунку. Пусть посмотрят, негодяи, какой я архитектор!

Жена. Мне хотелось бы в Италии, у самого моря. Мраморная белая вилла в роще лимонов и кипарисов. И чтобы

белые мраморные ступени опускались прямо в голубые волны.

Человек. Понимаю. Это хорошо. Но я рассчитываю, кроме того, построить замок в Норвегии, в горах. Внизу фиорд, а вверху, на острой горе, замок. Бумаги у нас нет? Ну, смотри на стену, я буду показывать. Вот это фиорд, видишь?

Жена. Да. Как красиво!

Человек. Блестящая, глубокая вода, здесь — она отражает нежно-зеленую траву; здесь — красный, черный, коричневый камень. А вот здесь в прорыве — где вот это пятно — клочок голубого неба и белое, тихое облачко...

Жена. Белая лодка, смотри, отразилась в воде, как будто грудь с грудью два белые лебедя.

Человек. А вот тут идет кверху гора. Веселая, зеленая снизу, кверху она все мрачнее, все строже. Острые скалы, черные тени, обрывки и лохмотья туч...

Жена. Похоже на разрушенный замок.

Человек. И вот на том, на среднем пятне, построю я царственный замок.

Жена. Там холодно! Там ветер!

Человек. У меня будут толстые каменные стены и огромные окна из целого стекла. Ночью, когда забушует зимняя вьюга и заревет внизу фиорд, мы завесим окна и затопим огромный камин. Это будут такие огромные очаги, в которых будут гореть целые бревна, целые леса смолистых сосен!

Жена. Как тепло!

Человек. И тихо как, заметь. Везде ковры и много-много книг, от которых бывает такая живая и теплая тишина. А мы вдвоем. Там ревет буря, а мы вдвоем, перед камином, на шкуре белого медведя. «Не взглянуть ли, что делается там?» — скажешь ты. «Хорошо»,— отвечу я, и мы подойдем к самому большому окну и отдернем занавес. Боже, что там!

Жена. Клубится снег!

Человек. Точно белые кони несутся, точно мириады испуганных маленьких духов, бледных от страха, ищут спасения у ночи. И визг и вой...

Жена. Ой, холодно! Я дрожу!

Человек. Скорее к огню! Эй, подайте мой дедовский кубок. Да не тот,— золотой, из которого викинги пили! Налейте его золотистым вином, да не так,— до краев пусть поднимется жгучая влага. Вот на вертеле жарится серна — несите-ка ее сюда, я ее съем! Да скорее, а то я съем вас самих,— я голоден, как черт!

Ж е н а. Ну, вот и принесли... Дальше.

Ч е л о в е к. Дальше... Понятно, я ее съем, что же может быть дальше? Но что ты делаешь с моей головой, маленькая женка?

Ж е н а. Я богиня славы! Из листьев дубовых, которые набросали соседи, я сплела тебе венок и венчаю тебя. Это слава пришла, прекрасная слава! *(Надевает венок.)*

Ч е л о в е к. Да, слава, шумящая, звонкая слава. Смотри на стену! Вот это — я иду. А кто рядом со мной, видишь?

Ж е н а. Это я.

Ч е л о в е к. Смотри — нам кланяются. О нас шепчутся. На нас показывают пальцами. Вот какой-то почтенный старик заплакал и говорит: счастлива родина, имеющая таких детей. Вот юноша, бледнея, смотрит; на него с улыбкой оглянулась слава. В это время я уже построил Народный дом, которым гордится вся наша земля...

Ж е н а. Ты мой славный! К тебе так идет венок из дуба, а из лавра пошел бы еще больше.

Ч е л о в е к. Смотри, смотри! Вот это — идут ко мне представители от города, где я родился. Они кланяются и говорят: город наш гордится честью...

Ж е н а. Ах!

Ч е л о в е к. Что ты?

Ж е н а. Я нашла бутылку молока.

Ч е л о в е к. Этого не может быть!

Ж е н а. И хлеб, мягкий пахучий хлеб. И сигару.

Ч е л о в е к. Этого не может быть! Ты ошиблась: это сырость с проклятой стены, а тебе показалось — молоко.

Ж е н а. Да нет же!

Ч е л о в е к. Сигара! Сигары не растут на окнах. Их за бешеные деньги продают в магазинах. Это, наверное, черный обломанный сучок!

Ж е н а. Ну, посмотри же! Я догадываюсь: это принесли наши милые соседи.

Ч е л о в е к. Соседи? Поверь мне: это люди, но — божественного происхождения. Но если бы это принесли сами черти... Скорее сюда, моя маленькая женка!

Жена Человека садится к нему на колени, и так они едят. Она отламывает кусочки хлеба и кладет ему в рот, а он поит ее молоком из бутылки.

Ч е л о в е к. По-видимому, сливки!

Ж е н а. Нет, молоко. Жуй получше, ты подавишься!

Ч е л о в е к. Корку давай. Она такая поджаристая!

Ж е н а. Ну, ведь я говорила, что подавишься.

Ч е л о в е к. Нет, проглотил.

Ж е н а. У меня молоко течет по шее и подбородку. Ой, щекотно!

Ч е л о в е к. Дай, я его выпью. Не нужно, чтобы капля пропадала.

Ж е н а. Какой ты хитрый!

Ч е л о в е к. Готово. Быстро. Все хорошее кончается так быстро. У этой бутылки, по-видимому, двойное дно: с виду она кажется глубже! Какие жулики эти фабриканты стекла!

Он закуривает сигару, приняв позу блаженно отдыхающего человека, она повязывает в волосы розовенькую ленточку, смотрясь в черное стекло окна.

По-видимому, дорогая сигара: очень пахучая и крепкая. Всегда буду курить такие!

Ж е н а. Ты не видишь?

Ч е л о в е к. Все вижу. И ленточку вижу, и вижу, что ты хочешь, чтобы я поцеловал твою голенькую шейку.

Ж е н а. Этого я не позволю. Вообще ты стал что-то развязен. Кури, пожалуйста, свою сигару, а моя шейка...

Ч е л о в е к. Что? Да разве она не моя? Черт возьми, покушение на собственность!

Она бежит. Человек догоняет ее и целует.

Вот. Права восстановлены. А теперь, моя маленькая женка, танцевать. Вообрази, что это — великолепный, роскошный, изумительный, сверхъестественный, красивый дворец.

Ж е н а. Вообразила.

Ч е л о в е к. Вообрази, что ты — царица бала.

Ж е н а. Готово.

Ч е л о в е к. И к тебе подходят маркизы, графы, пэры. Но ты отказываешь им и избираешь этого, как его — в трико. Принца! — Что же ты?

Ж е н а. Я не люблю принцев.

Ч е л о в е к. Вот как! Кого же ты любишь?

Ж е н а. Я люблю талантливых художников.

Ч е л о в е к. Готово. Он подошел. Боже мой, но ведь ты кокетничаешь с пустотой! Женщина!

Ж е н а. Я вообразила.

Ч е л о в е к. Ну, ладно. Вообрази изумительный оркестр. Вот турецкий барабан: бум-бум-бум! *(Бьет кулаком по столу, как по барабану.)*

Ж е н а. Милый мой! Это только в цирке собирают публику барабаном, а во дворце...

Ч е л о в е к. Ах, черт возьми! Перестань воображать. Воображай опять! Вот заливаются певучие скрипки. Вот

нежно поет свирель. Вот гудит, как жук, толстый контрабас...

Человек в дубовом венке садится и напевает танец, прихлопывая в такт ладонями. Мотив тот, что повторяется в следующей картине на балу у Человека. Жена танцует, грациозная и стройная.

Человек. Ах, ты, козочка моя!

Жена. Я царица бала.

Пенье и танец все веселее. Постепенно Человек встает, потом начинает слегка танцевать на месте — потом схватывает Жену и с сбившимся на сторону дубовым венком танцует.

И равнодушно смотрит Некто в сером, держа в окаменелой руке ярко пылающую свечу.

Опускается занавес

Картина третья

БАЛ У ЧЕЛОВЕКА

Бал происходит в лучшем зале обширного дома Человека. Это очень высокая, большая, правильно четырехугольная комната с совершенно гладкими белыми стенами, таким же потолком и светлым полом. Есть какая-то неправильность в соотношении частей, в размерах их — так, двери несоразмерно малы сравнительно с окнами, вследствие чего зал производит впечатление странное, несколько раздражающее — чего-то дисгармоничного, чего-то не найденного, чего-то лишнего, пришедшего извне. Все полно холодной белизной, и однообразие ее нарушается только рядом окон, идущих по задней стене. Очень высокие, почти до потолка, близко стоящие друг к другу, они густо чернеют темнотою ночи: ни одного блика, ни одного светлого пятнышка не видно в пустых междурамных провалах. В обилии позолоты выражается богатство Человека. Золоченые стулья и очень широкие золотые рамы на картинах. Это единственная мебель и единственное украшение огромного высокого зала. Освещается она тремя люстрами в виде обручей, с редкими, широко расставленными электрическими свечами. Очень светло к потолку; внизу света значительно меньше, так что стены кажутся сероватыми.

Бал у Человека в полном разгаре. Играет оркестр из трех человек, причем музыканты очень похожи на свои инструменты. Тот, что со скрипкой, похож на скрипку: тонкая шея, маленькая головка с хохолком, склоненная набок, несколько изогнутое туловище; на плече, под скрипкой, аккуратно разло́жен носовой платок. Тот, что с флейтой, похож на флейту: очень длинный, очень худой, с затянутыми худыми ногами. И тот, что с контрабасом, похож на контрабас: невысокий, с покатыми плечами, книзу очень толстый, в широких брюках. Играют они с необыкновенной старательностью, бросающейся в глаза: отбивают такт, поматывают головой, раскачиваются. Мотив во все время бала один и тот же. Это — коротенькая, в две музыкальных фразы, полька, с подпрыгивающими, веселыми и чрезвычайно пустыми звуками. Все три инструмента играют немного не в тон друг другу, и от этого между ними и между отдельными звуками некоторая странная разобщенность, какие-то пустые пространства.



Мечтательно танцуют девушки и молодые люди, все они очень красивые, изящные, стройные. В противоположность крикливым звукам музыки, их танец очень плавен, неслышен и легок; при первой музыкальной фразе они кружатся, при второй расходятся и сходятся грациозно и несколько манерно.

Вдоль стены, на золоченых стульях, сидят гости, застывшие в чопорных позах. Туго двигаются, едва ворочая головами, так же туго говорят, не перешептываясь, не смеясь, почти не глядя друг на друга и отрывисто произнося, точно обрубая, только те слова, что вписаны в текст. У всех руки в кисти точно переломлены и висят тупо и надменно. При крайнем, резко выраженном разнообразии лиц все они охвачены одним выражением: самодовольства, чванности и тупого почтения перед богатством Человека. Танцующие только в белых платьях, мужчины в черном. Среди гостей черный, белый и ярко-желтый цвета.

В ближнем углу, более темном, чем другие, неподвижно стоит Некто в сером, именуемый Он. Свеча в Его руке убыла на две трети и горит сильно желтым огнем, бросая желтые блики на каменное лицо и подбородок Его.

РАЗГОВОР ГОСТЕЙ

— Я должна заметить, что это очень большая честь — быть в гостях на балу у Человека.

— Вы можете добавить, что этой чести удостоены весьма немногие. Весь город добивался приглашения, а попали лишь весьма немногие. Мой муж, мои дети и я, мы все

весьма гордимся честью, которую оказал нам глубокоуважаемый Человек.

— Мне даже жаль тех, кто не попал сюда: всю ночь они не будут спать от зависти, а завтра станут клеветать про скуку на балах Человека.

— Они никогда не видали этого блеска.

— Добавьте: этого изумительного богатства и роскоши.

— Я и говорю: этого чарующего, беззаботного веселья. Если это не весело, то я желала бы видеть, где бывает весело!

— Оставьте: вы не переспорите людей, когда их мучит зависть. Они вам скажут, что вовсе не на золоченых стульях мы сидели. Вовсе не на золоченых.

— Что это были самые простые, дешевые стулья, купленные у торговца старыми вещами!

— Что вовсе и не электричество нам светило, но простые сальные свечи.

— Скажите: огарки.

— Дрянные плошки. О, клевета!

— Они будут нагло отрицать, что в доме Человека золоченые карнизы.

— И что у картин такие широкие золотые рамы. Мне кажется, будто я слышу звон золота.

— Вы видите его блеск, этого достаточно, я думаю.

— Я редко наслаждаюсь такой музыкой, как на балах Человека. Это божественная гармония, уносящая душу в высшие сферы.

— Я надеюсь, что музыка будет достаточно хороша, если за нее платят такие деньги. Вы не должны забывать, что это лучший оркестр в городе и играет в самых торжественных случаях.

— Эту музыку долго слышишь потом, она положительно покоряет слух. Мои дети, возвращаясь с балов Человека, долго еще напевают мотив.

— Мне иногда кажется, что я слышу ее на улице. Оглядываюсь,— и нет ни музыкантов, ни музыки.

— А я слышу ее во сне.

— Мне особенно нравится то, должна я сказать, что музыканты играют так старательно. Они понимают, какие деньги им платят за музыку, и не желают получать их даром. Это очень порядочно!

— Похоже даже, будто они сами вошли в свои инструменты: так стараются они!

— Или, скажите, инструменты вошли в них.

— Как богато!

— Как пышно.

— Как светло!

— Как богато!

Некоторое время в разных концах, отрывисто, звуком, похожим на лай, повторяют только два эти выражения: «Как богато!» «Как пышно!»

— Кроме этой залы, у Человека в доме еще пятнадцать великолепных комнат, и я видела их все. Столовая с таким огромным камином, что в нем можно жечь целые деревья. Великолепные гостиные и будуар. Обширная спальня, и над изголовьем у кроватей, вы представьте себе,— балдахины!

— Да, это изумительно. Балдахины!

— Вы слышали: балдахины!

— Позвольте мне продолжать. Для сына, маленького мальчика, прекрасная светлая комната из золотистого желтого дерева. Кажется, что в ней всегда светит солнце...

— Это такой прелестный мальчик. У него кудри, как солнечные лучи.

— Это правда. Когда посмотришь на него, то невольно думаешь: ах, неужели взошло солнце!

— А когда посмотришь в его глаза, то думаешь: ах, вот уже кончилась осень, и опять показалось голубое небо.

— Человек так безумно любит своего сына. Для верховой езды он купил ему пони, хорошенького, светло-белого пони. Мои дети...

— Позвольте мне продолжать, я прошу вас. Я уже говорила про ванну?

— Нет! Нет!

— Так вот: ванна!

— Ах, ванна!

— Да. Горячая вода постоянно. Дальше кабинет самого Человека, и там все книги, книги, книги. Говорят, что он очень умный, и это видно по книгам.

— А я видела сад!

— Сада я не видала.

— А я видела сад, и он очаровал меня, я должна в этом сознаться. Представьте себе: изумрудно-зеленые газоны, подстриженные с изумительной правильностью. Посередине проходят две дорожки, усыпанные мелким красным песком. Цветы — даже пальмы.

— Даже пальмы.

— Да, даже пальмы. И все деревья подстрижены так же: одни как пирамиды, другие как зеленые колонны. Фонтаны. Зеркальные шары. А в траве среди ее зелени стоят маленькие гипсовые гномы и серны.

— Как богато!

— Как роскошно!

— Как светло!

Некоторое время отрывисто повторяют: «Как богато!» «Как роскошно!»

— Господин Человек удостоил меня чести показать свои конюшни и сараи, и я высказал полное одобрение содержащимся там лошадям и экипажам. Особенно глубокое впечатление произвел на меня автомобиль.

— Вы подумайте: у него только семь человек одной прислуги: повар, кухарка, две горничные, садовники...

— Вы пропустили кучера.

— Да, конечно, и кучер.

— Да, сами они ничего уже не делают. Такие важные.

— Нужно согласиться, что это большая честь — быть в гостях у Человека.

— Вы не находите, что музыка несколько однообразна?

— Нет, я этого не нахожу и удивляюсь, что вы это находите. Разве вы не видите, какие это музыканты?

— А я скажу, что всю жизнь желала бы слушать эту музыку: в ней есть что-то, что волнует меня.

— И меня.

— И меня.

— Так хорошо под нее отдаваться сладким мечтам о блаженстве...

— Уноситься мыслью в надзвездные сферы!

— Как хорошо!

— Как богато!

— Как пышно!

Повторяют.

— Я вижу у тех дверей движение. Сейчас пройдет через залу Человек со своей Женой.

— Музыканты совершенно выбиваются из сил.

— Вот они!

— Идут! Смотрите, идут.

В невысокие двери с правой стороны показываются Человек, его Жена, его Друзья и Враги и наискось пересекают залу, направляясь к дверям на левой стороне. Танцующие, продолжая танцевать, расступаются и дают дорогу. Музыканты играют отчаянно громко и разноголосо. Человек сильно постарел: в длинных волосах его и бороде заметная проседь. Но лицо мужественно и красиво, и идет он со спокойным достоинством и некоторой холодностью; смотрит прямо перед собою, точно не замечая окружающих. Так же постарела, но еще красива, его Жена, опирающаяся на его руку. И она точно не замечает окружающего и несколько странным, почти остановившимся взглядом смотрит прямо перед собою.

Одеты они богато.

Первыми за Человеком идут его Друзья. Все они очень похожи друг на друга: благородные лица, открытые высокие лбы, честные глаза. Выступают

они гордо, выпячивая грудь, ставя ноги уверенно и твердо, и по сторонам смотрят снисходительно, с легкой насмешливостью. У всех у них в петлицах белые розы.

Следующими, за небольшим интервалом, идут Враги Человека, очень похожие друг на друга. У всех у них коварные, подлые лица, низкие, придавленные лбы, длинные обезьяньи руки. Идут они беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг за друга, и исподлобья бросают по сторонам острые, коварные, завистливые взгляды. В петлицах — желтые розы.

Так медленно и совершенно молча проходят они через залу. Топот шагов, музыка, восклицания гостей создают очень нестройный, резко дисгармоничный шум.

Гости.

— Вот они! Вот они! Какая честь!
— Как он красив!
— Какое мужественное лицо!
— Смотрите! Смотрите!
— Он не глядит на нас!
— Он нас не видит!
— Мы его гости!
— Какая честь! Какая честь!
— А она? Смотрите, смотрите!
— Как она прекрасна!
— Как горда!
— Нет, нет, вы на брильянты посмотрите!
— Брильянты! Брильянты!
— Жемчуг! Жемчуг!
— Рубины!
— Как богато! Какая честь!
— Честь! Честь! Честь!

Повторяют.

— А вот Друзья Человека!
— Смотрите, смотрите, вот Друзья Человека!
— Благородные лица!
— Гордая поступь!
— На них сияние его славы!
— Как они любят его!
— Как верны ему!
— Какая честь быть другом Человека!
— Они смотрят на все, как на свое!
— Они тут дома!
— Какая честь!
— Честь! Честь! Честь!

Повторяют.

— А вот Враги Человека!
— Смотрите, смотрите — Враги Человека!
— Они идут, как побитые собаки.

— Человек укротил их.
— Он надел на них намордники!
— Они виляют хвостом.
— Крадутся!
— Толкаются!
— Ха-ха! Ха-ха!

Хохочут.

— Какие подлые лица!
— Жадные взгляды!
— Трусливые!
— Завистливые!
— Они боятся на нас смотреть.
— Чувствуют, что мы дома.
— Их нужно еще попугать!
— Человек будет благодарен!
— Пугайте их, пугайте!
— Го-го!

Кричат на Врагов Человека, смешивая крик «го-го» с хохотом. Враги жмутся друг к другу, боязливо и остро поглядывая по сторонам.

— Уходят! Уходят!
— Какая честь!
— Уходят!
— Го-го! Ха-ха!
— Ушли! Ушли! Ушли!

Шествие скрывается в двери с левой стороны. Наступает некоторое затишье. Музыка играет не так громко, и танцующие постепенно заполняют залу.

— Куда они прошли?

— Я думаю, что они прошли в столовую, там сервирован ужин.

— Вероятно, скоро пригласят и нас. Вы не видите никого, кто бы искал нас?

— Да, уже пора. Если сесть за ужин позже, то плохо будешь спать ночью.

— Должна заметить, что и я ужинаю весьма рано.

— Поздний ужин тяжело ложится на желудок.

— А музыка все играет!

— А они все танцуют. Я удивляюсь, как не устанут они.

— Как богато!

— Как пышно!

— Вы не знаете, на скольких особ сервирован ужин?

— Я не успела сосчитать. Вошел метрдотель, и мне пришлось удалиться.

— Не может быть, чтобы нас забыли!

— Но ведь Человек так горд. Мы же так ничтожны.

— Оставьте! Мой муж говорит, что мы сами оказываем ему честь, бывая у него. Мы сами достаточно богаты.

— Если принять в расчет репутацию его жены...

— Вы не видите никого, кто бы искал нас? Быть может, он ищет нас в других комнатах?

— Как богато!..

— Если не совсем осторожно обращаться с чужими деньгами, то, я думаю, можно стать богатым.

— Перестаньте, это говорят только его враги...

— Однако среди них есть люди весьма почтенные. Должна сознаться, что мой муж...

— Однако как уже поздно!

— Здесь, очевидно, произошло недоразумение! Я не могу допустить, чтобы нас просто забыли.

— По-видимому, вы плохо знаете жизнь и людей, если вы думаете так.

— Удивляюсь. Мы сами достаточно богаты...

— Кажется, кто-то звал нас?

— Это вам послышалось! Нас никто не звал. И я не понимаю, должна сознаться откровенно, зачем мы пришли в дом с такой репутацией. Знакомство нужно выбирать осторожно.

В двери показывается л а к е й в л и в р е е.

— Господин Человек и его супруга просят почтенных господ пожаловать к столу.

Г о с т и *(поспешно подымаясь)*.

— Какая ливрея!

— Он нас позвал!

— Я говорила, что здесь недоразумение.

— Человек так мил! Они, наверное, еще сами не успели сесть за стол.

— Я говорила, нет ли кого-нибудь, кто искал бы нас.

— Какая ливрея!

— Говорят, что ужин великолепен.

— У Человека ничего не может быть плохо.

— Какая музыка! Какая честь быть на балу у Человека.

— Пусть нам позавидуют те...

— Как богато!

— Как пышно!

— Какая честь!

— Какая честь!

Повторяя, один за другим удаляются, и зала пустеет. Пара за парой оставляют танцы т а н ц у ю щ и е и молча уходят вслед за г о с т я м и.

Некоторое время кружится еще одна пара, но и она вскоре уходит за другими. Но все с тою же отчаянной старательностью играют музыканты. Лакей тушит люстры, оставляя лишь одну свечу в дальней люстре, и уходит. В наступившем полумраке смутно колеблются фигуры музыкантов, раскачивающихся со своими инструментами, и резко выделяется Некто в сером. Пламя свечи колеблется и ярким желтоватым светом озаряет Его каменное лицо и подбородок.

Не поднимая головы, Он поворачивается и медленно, через весь зал, спокойными и тихими шагами, озаренный пламенем свечи, идет к тем дверям, куда ушел Человек, и скрывается в них.

Опускается занавес

Картина четвертая

НЕСЧАСТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Четырехугольная большая комната мрачного вида: гладкие темные стены, такой же пол и потолок. В задней стене два высоких восьмистекольных незанавешенных окна и низенькая дверь между ними; такие же два окна в правой стене. В окна смотрит ночь, и когда распахивается дверь, та же глубокая чернота ночи быстро взглядывает в комнату. Вообще, как бы ни было светло, в комнатах Человека огромные темные окна поглощают свет. В левой стене одна только низенькая дверь вовнутрь дома; у этой же стены стоит широкий диван, обитый черной клеенкой. У окна направо рабочий стол Человека, очень простой, бедный; на нем тускло горящая лампа под темным колпаком, желтое пятно разложенного чертежа и детские игрушки: маленький кивер, деревянная лошадка без хвоста и красный длинноносый паяц с бубенцами. В простенке между окнами старый книжный шкап, совершенно пустой, разоренный; заметны пыльные полосы от книг — видно, что их унесли совсем недавно. Один стул. В углу более темном, чем другие, стоит Некто в сером, именуемый Он. Свеча в Его руке не больше как толстый, слегка оплывший огарок, горящий красноватым колеблющимся огнем. И так же красны блики на каменном лице и подбородке Его.

Единственная прислуга Человека, Старуха, сидит на стуле и говорит ровным голосом, обращаясь к воображаемому собеседнику:

— Вот и снова впал в бедность Человек. Было у него много дорогих вещей, лошади и экипажи, и автомобиль даже был, а теперь нет ничего, и из всей прислуги осталась я только одна. В этой комнате и в других двух есть еще хорошие вещи — вот диван, вот шкап,— а в остальных двенадцати нет ничего, и стоят они пустые и темные. И днем и ночью бегают в них крысы, дерутся и пищат; люди их боятся, а я нет. Мне все равно.

Давно уже висит на воротах железная доска, где написано, что дом продается, но никто не покупает его. Уже проржавела доска, и буквы на ней стерлись от дождей, а никто не приходит и не покупает,— никому не нужен

старый дом. А может быть, кто-нибудь и купит — тогда пойдем искать другого жилища, и будет оно совсем чужое. Госпожа станет плакать, заплачет, пожалуй, и старый господин, а я нет. Мне все равно.

Вы удивляетесь, куда же девалось богатство — не знаю, может быть, это и удивительно, но только всю жизнь жила я у людей и видела часто, как уходили деньги, потихоньку уплывали в какие-то щели. Так и у этих моих господ. Было много, потом стало мало, потом совсем ничего; приходили заказчики и заказывали,— потом перестали приходить. Спросила я однажды госпожу, отчего это так, а она ответила: «Перестает нравиться то, что нравилось; перестают любить, что любили».— Как же это может быть, чтобы перестало нравиться, раз уже понравилось? Не ответила она и заплакала, а я нет. Мне все равно. Мне все равно.

Пока платят они мне, живу у них, а перестанут платить, пойду к другим и у других жить буду. Стряпала я им, а тогда другим стряпать стану, а потом и совсем перестану — старая стала и вижу плохо. Тогда выгонят они меня и скажут: ступай куда хочешь, а мы другую возьмем. Что ж? Я и пойду, мне все равно.

Вот удивляются мне люди: страшно, говорят, жить у них, страшно по вечерам сидеть, когда только ветер в трубе свистит да крысы пищат и грызутся.

Не знаю, может быть, и страшно, но только я не думаю об этом. Зачем? Они вдвоем, у себя сидят и смотрят друг на друга и ветер слушают, а я у себя на кухне сижу и тоже ветер слушаю. Разве не один ветер свистит в наши уши? У них так бывало, что придут молодые люди к ихнему сыну, и тогда все смеются, поют, ходят в пустые комнаты крыс разгонять, а ко мне никто не приходит, и сижу я одна, все одна. Не с кем разговаривать — так я с собой говорю, и — мне все равно.

И так у них плохо, а третьего дня и еще несчастье случилось: пошел молодой господин гулять, и шляпу набóк надел, и волосы выправил, как молодец, а злой человек взял из-за угла и бросил в него камнем, и разбил ему голову, как орех. Принесли его, положили, и лежит он теперь, умирает — а может быть, и жив останется, кто знает. Плакали старая госпожа и господин, а потом взяли все книги, на воз положили да продали. Теперь сиделку на эти деньги наняли, лекарства взяли, даже винограду купили. Вот и пригодились книги. Но только не ест он винограду, даже не смотрит на него — так и стоит возле, на блюдечке. Так и стоит.

В наружную дверь входит Доктор, мрачный и очень озабоченный.

Д о к т о р. Туда я попал? Вы не знаете, старушка? Я доктор, у меня много посещений, и я часто ошибаюсь. Туда зовут, сюда зовут, а дома все одинаковы, и люди в них скучные. Туда я попал?

С т а р у ш к а. Не знаю.

Д о к т о р. Вот я посмотрю на записную книжку. Не у вас ли ребенок, у которого болит горло, и он задыхается?

С т а р у ш к а. Нет.

Д о к т о р. Не у вас ли господин, подавившийся костью?

С т а р у ш к а. Нет.

Д о к т о р. Не у вас ли человек, который внезапно сошел с ума от бедности и топором зарубил жену и двух детей? Всего должно быть четверо?

С т а р у ш к а. Нет.

Д о к т о р. Не у вас ли девушка, у которой перестало биться сердце? Не лгите, старушка, мне кажется, что она у вас.

С т а р у ш к а. Нет.

Д о к т о р. Нет. Я вам верю, вы говорите искренно. Не у вас ли молодой человек, которому камнем разбили голову, и он умирает?

С т а р у ш к а. У нас. Ступайте в ту дверь, налево. Да дальше не ходите, там вас съедят крысы.

Д о к т о р. Хорошо. Звонят, все звонят, днем и ночью. Вот и теперь ночь. Фонари все потушены, а я все иду. Часто ошибаюсь я, старушка. *(Уходит в дверь, ведущую внутрь дома.)*

С т а р у ш к а. Один доктор лечил — не вылечил, теперь другой будет — и тоже, должно быть, не вылечит. Что ж! Тогда умрет ихний сын, и останемся мы в доме одни. Я буду в кухне сидеть и с собой разговаривать, а они тут будут сидеть, молчать и думать. Еще одна комната освободится, и будут в ней бегать и драться крысы. Пускай бегают и дерутся, мне все равно. Мне все равно.

Спрашиваете вы меня, за что ударил злой человек молодого господина. А я не знаю — откуда же я буду знать, за что люди убивают один другого. Один бросил камень из-за угла и убежал, а другой свалился и теперь умирает — вот это я знаю. Говорят, что добрый был наш молодой господин, смелый и за бедных заступался,— не знаю, мне все равно. Добрый или злой, молодой или старый, живой или мертвый, мне все равно. Мне все равно.

Пока платят — живу, а перестанут платить — пойду к другим: и другим стряпать буду, а потом совсем перестану,— стара я стала, вижу плохо и соли от сахара не отличаю.

Тогда выгонят они меня и скажут: ступай куда хочешь, а мы другую возьмем. Что ж? Я и пойду, мне все равно. Мне все равно...

Входят Доктор, Человек и его Жена. Оба они очень состарились и совершенно седы. Высоко стоящие, длинные волосы Человека и большая борода придают его голове сходство с львиной головой: ходит он, слегка сгорбившись, но голову держит прямо и смотрит из-под седых бровей сурово и решительно. Когда разглядывает что-нибудь вблизи, то надевает большие очки в серебряной оправе.

Доктор. Ваш сын крепко уснул, и вы не будите его. Сон, может быть, к лучшему. И вы засните; если человек имеет время спать, он должен спать, а не ходить и не разговаривать.

Жена. Благодарю вас, доктор, вы так нас успокоили. А завтра вы не приедете к нам?

Доктор. И завтра приеду и послезавтра. А вы, старушка, тоже ступайте спать. Уже ночь, и всем пора спать. В эту дверь надо идти? Я часто ошибаюсь.

Уходит. Уходит и Старушка, и Человек остается с Женой вдвоем.

Человек. Посмотри, жена; вот это я начал чертить, когда наш сын был еще здоров. Вот на этой линии я остановился и подумал: отдохну, а потом буду продолжать опять. Посмотри, какая простая и спокойная линия, а на нее страшно взглянуть: ведь она может быть последней, которую провел я при жизни сына. Каким зловещим неведением дышит ее простота, ее спокойствие!

Жена. Не тревожься, мой милый, гони от себя дурные мысли. Я верю, что доктор сказал правду, и сын наш выздоровеет.

Человек. А ты разве не тревожишься? Взгляни на себя в зеркало: ты бела, как твои волосы, мой старый друг.

Жена. Конечно, я немного тревожусь, но я убеждена, что опасности нет.

Человек. И теперь, как и всегда, ты ободряешь меня и обманываешь так искренно и свято. Бедный мой оруженосец, верный хранитель моего иступившегося меча,— плох твой старый рыцарь, не держит оружия его дряхлая рука. Что я вижу? Это игрушки сына! Кто положил их сюда?

Жена. Мой милый, ты забыл: ты сам же давно еще положил их сюда. Ты говорил тогда, что тебе легче работается, если перед тобою лежат эти детские невинные игрушки.

Человек. Да, я забыл. Но теперь мне страшно смотреть на них, как осужденному на орудия пытки и казни. Когда ребенок умирает, проклятием для живых становятся его игрушки. Жена, жена! Мне страшно смотреть на них.

Жена. Они куплены еще в то время, когда мы были бедны. Жаль смотреть на них: такие это бедные милые игрушки.

Человек. Я не могу, я должен взять их в руки. Вот лошадка с оторванным хвостом.— Гоп-гоп, лошадка, куда ты скачешь? — «Далеко, папа, далеко, туда, где поле и зеленый лес».— Возьми меня, лошадка, с собой.— «Гоп-гоп, садись, милый папочка»... А вот кивер, картонный, плохонький кивер, который со смехом я сам примерял, когда покупал его в лавке.— Ты кто? — «Я рыцарь, папа. Я самый сильный, смелый рыцарь».— Куда идешь ты, мой маленький рыцарь? — «Дракона убивать я иду, милый папа. Я иду освободить пленных, папа».— Иди, иди, мой маленький рыцарь.

Жена Человека плачет.

А вот и наш неизменный паяц со своей глупой и милой рожей. Но какой он ободранный — точно из сотни битв вырвался он, но все так же смеется и так же красноног. Ну, позвени же, друг, как ты звенел прежде. Не можешь, нет? Один только бубенчик остался, ты говоришь? Ну, так я же брошу тебя на пол! *(Бросает.)*

Жена. Что ты делаешь? Вспомни, как часто целовал наш мальчик его смешное лицо.

Человек. Да. Я неправ. Прости меня, мой друг, и ты, старина, прости. *(Поднимает, с трудом нагибаясь.)* Все смеешься? Нет, я положу тебя подальше. Не сердись, но сейчас я не могу видеть твоей улыбки, ступай смеяться в другое место.

Жена. Твои слова разрывают сердце. Поверь мне, выздоровеет наш сын — разве это будет справедливо, если молодое умрет раньше старого.

Человек. А где ты видела справедливое, жена?

Жена. Мой милый друг, я прошу тебя, преклони со мной вместе колена, и вдвоем мы умолим Бога.

Человек. Трудно сгибаются старые колена.

Жена. Преклони их, ты должен.

Человек. Не услышит меня Тот, чей слух еще ни разу не утруждал я ни славословием, ни просьбами. Проси ты — ты мать!

Жена. Проси ты — ты отец! Если не отец умолит за сына, то кто же? Кому ты оставляешь его? Разве одна я могу так сказать, как мы скажем вдвоем?

Человек. Пусть будет, как ты говоришь. Быть может, отзовется вечная справедливость, если преклонят колена старики.

Оба становятся на колени, обратившись лицом в тот угол, где неподвижно стоит Неизвестный, и молитвенно складывают у груди руки.

Молитва матери.

— Боже, я прошу тебя, оставь жизнь моему сыну. Только одно я понимаю, только одно могу я сказать, только одно: Боже, оставь жизнь моему сыну. Нет у меня других слов, все темно вокруг меня, все падает, я ничего не понимаю, и такой ужас у меня в душе, господи, что только одно могу я сказать: Боже, оставь жизнь моему сыну! Оставь жизнь моему сыну! Оставь! Прости, что так плохо молюсь я, но я не могу. Господи, ты понимаешь, не могу. Ты посмотри на меня. Ты только посмотри на меня — видишь? Видишь, как трясется голова, как трясутся руки — да что руки мои, господи! Пожалей его, ведь он такой молоденький, у него родинка на правой ручке. Дай ему пожить, хоть немножко, хоть немножко. Ведь он такой молоденький, такой глупый — он еще любит сладкое, и я купила ему винограду. Пожалей! Пожалей!

Тихо плачет, закрыв лицо руками. Не глядя на нее, Человек говорит.

Молитва отца.

— Вот я молюсь, видишь ты? Согнул старые колена, в прахе разостлался перед тобой, землю целую — видишь? Быть может, когда-нибудь я оскорбил тебя, так ты прости меня, прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, а не просил, часто осуждал. Ты прости меня. А если хочешь, если такая твоя воля, накажи,— но только сына моего оставь. Оставь, я прошу тебя. Не о милосердии я тебя прошу, не о жалости, нет — только о справедливости. Ты — старик, и я ведь тоже старик. Ты скорее меня поймешь. Его хотели убить злые люди, те, что делами своими оскорбляют тебя и оскверняют твою землю. Злые, безжалостные негодяи, бросающие камни из-за угла. Из-за угла, негодяи! Не дай же совершиться до конца злому делу: останови кровь, верни жизнь — верни жизнь моему благородному сыну. Ты отнял у меня все, но разве когда-нибудь я просил тебя, как попрошайка: верни богатство! верни друзей! верни талант! Нет, никогда. Даже о таланте не просил я, а ты ведь знаешь, что такое талант — ведь это больше жизни! Может быть, так нужно, думал я, и все терпел, и все терпел, гордо терпел. А теперь прошу, на коленях, в прахе, целуя землю,— верни жизнь моему сыну. Целую землю твою!

Встают. Равнодушно внемлет молитве отца и матери Некто, именуемый Он.

Ж е н а. Я боюсь, что не совсем смиренна была твоя молитва, мой друг. В ней как будто звучала гордость.

Ч е л о в е к. Нет, нет, жена, я хорошо говорил с ним, так, как следует говорить мужчинам. Разве покорных льстецов он должен любить больше, чем смелых и гордых людей, говорящих правду? Нет, жена, ты этого не понимаешь. Теперь и я верю, и мне стало спокойно, даже весело. Чувствую, что и я что-нибудь еще значу для моего мальчика, и это радует меня. Взгляни, спит ли он. Он должен крепко спать.

Жена уходит. Человек, дружелюбно посматривает в угол, где стоит Некто, берет игрушечного паяца, играет с ним и тихонько целует его в длинный красный нос. В этот момент входит Ж е н а, и Человек говорит смущенно.

А я все извинялся, обидел я этого дурака. Ну, как наш милый мальчик?

Ж е н а. Он такой бледный.

Ч е л о в е к. Это ничего, это пройдет; он очень много потерял крови.

Ж е н а. Мне так жалко смотреть на его бледную остриженную голову. Ведь у него были такие прекрасные золотистые кудри.

Ч е л о в е к. Их было необходимо срезать, чтобы обмыть рану. Ничего, жена, ничего, вырастут еще лучше. Но собрала ли ты обрезанные волосы? Их необходимо собрать и сохранить. На них его драгоценная кровь, жена!

Ж е н а. Да, я спрятала их в тот ларец, последний, что остался от нашего богатства.

Ч е л о в е к. Не грусти о богатстве. Нам нужно подождать только, пока не возьмется за работу наш сын: он вернет потерянное. Мне стало весело, жена, и я твердо верю в наше будущее. А помнишь ли ты нашу бедную розовую комнатку? Добрые соседи набросали дубовых листьев, и ты сделала из них венок на мою голову и говорила, что я гениален.

Ж е н а. Я и теперь, мой друг, скажу то же. Люди перестали ценить тебя, но не я.

Ч е л о в е к. Нет, моя маленькая женка, ты неправа. Создания гения переживают эту дрянную старую ветошку, которая называется его телом. Я же еще жив, а вещи мои...

Ж е н а. Нет, они не умерли и не умрут. Вспомни тот дом на углу, что построил ты десять лет назад. Каждый вечер, когда заходит солнце, ты ходишь смотреть на него. Разве во всем городе есть здание более красивое, более глубокое?

Ч е л о в е к. Да, я строил его как раз в расчете, что последние лучи заходящего солнца должны падать на него и гореть в окнах. Весь город уже в темноте, а мой дом еще прощается с солнцем. Это сделано хорошо и, может быть,— как думаешь? — переживет меня хоть немного?

Ж е н а. Конечно, мой друг.

Ч е л о в е к. Меня огорчает только одно, женка: зачем так скоро забыли меня люди? Они могли бы помнить несколько дольше, жена, несколько дольше.

Ж е н а. Забывают то, что знали, перестают любить то, что любили.

Ч е л о в е к. Несколько дольше могли бы помнить они, несколько дольше.

Ж е н а. Около того дома я видела молодого художника. Он внимательно изучал здание и срисовывал его в альбом.

Ч е л о в е к. А как же ты не сказала мне этого, мой друг? Это очень важно, очень важно. Это значит, что моя мысль передается другим людям, и пусть меня забудут, она будет жить. Это очень важно, жена, чрезвычайно важно.

Ж е н а. Да тебя и не забыли, мой милый. Вспомни молодого человека, который так почтительно поклонился тебе на улице.

Ч е л о в е к. Это верно, женка. Хороший юноша, очень хороший. У него такое славное молодое лицо. Хорошо, что ты мне напомнила об этом поклоне, у меня посветлело на сердце. Но что-то меня клонит ко сну, устал я, вероятно. Да и стар я, моя маленькая, седенькая женка, ты не замечаешь?

Ж е н а. Ты все такой же красивый.

Ч е л о в е к. И глаза блестят?

Ж е н а. И глаза блестят.

Ч е л о в е к. И волосы черны, как смоль?

Ж е н а. Они у тебя так снежно-белы, что это еще красивее!

Ч е л о в е к. И морщинок нет?

Ж е н а. Есть маленькие морщинки, но...

Ч е л о в е к. Конечно, я чувствую себя красавцем. Завтра куплю мундир и поступлю в легкую кавалерию. Хорошо?

Жена улыбается.

Ж е н а. Вот ты и шутишь, как встарь. Ну, приляг здесь, мой милый, усни немного, а я пойду к нашему мальчику. Будь спокоен, я не оставлю его, а когда он проснется, позову тебя. А тебе не неприятно целовать старую, морщинистую руку?

Человек *(целуя)*. Оставь! Ты самая красивая женщина, какую я знаю.

Жена. А морщинки?

Человек. Какие еще морщинки? Я вижу милое, доброе, хорошее, умное лицо, и больше ничего. Не сердись на меня за строгий тон и пойди к мальчику. Побереги его, посиди около него тихой тенью нежности и ласки, а если станет он беспокоиться во сне, спой ему песенку, как прежде. Да виноград поставь поближе, чтобы мог достать его рукою.

Жена уходит. Человек ложится на диван головой к тому концу, где неподвижно стоит Некто в сером, так что последний почти касается рукою его седых разметанных волос. Быстро засыпает.

Некто в сером. Крепко и радостно уснул Человек, обольщенный надеждами. Тихо дыхание его, как у ребенка, спокойно и ровно бьется старое сердце, отдыхая. Он не знает, что через несколько мгновений умрет его сын, и в сонных таинственных грезах перед ним встает невозможное счастье.

Ему кажется, что в белой лодке едет он с сыном по красивой и тихой реке. Ему кажется, что день прекрасен, и он видит голубое небо, кристально-прозрачную воду; он слышит, как, шурша, расступается перед лодкою камыш. Ему кажется, что он счастлив, и радость чувствует он — все чувства лгут Человеку.

Но вдруг беспокоится он, страшная правда сквозь густые покровы сна обожгла его мысль.

— Отчего так низко обрезаны твои золотистые волосы, мой мальчик? Отчего?

— У меня болела голова, папа, и от этого так низко обрезаны мои волосы.

И снова обманутый, он чувствует счастье, видит голубое небо и слышит, как шуршат камыши расступаясь.

Он не знает, что уже умирает его сын. Он не слышит, как в последней безумной надежде, с детской верой в силу взрослых, сын зовет его без слов, криком сердца: «Папа, папа, я умираю! Удержи меня!» Крепко и радостно спит Человек, и в таинственных и обманчивых грезах пред ним встает невозможное счастье.

Проснись, Человек! Твой сын — умер.

Человек *(испуганно поднимает голову и встает)*. Мне страшно: как будто кто-то позвал меня.

В то же мгновение за стеной раздается плач многих женских голосов. Высокими голосами протяжно плачут они над умершим. Входит Жена, страшно бледная.

Человек. Наш мальчик умер?

Жена. Да. Умер.

Человек. Он звал меня?

Жена. Нет. Он не просыпался. Он никого не звал. Он умер, мой сын, мой ненаглядный мальчик!

Падает на колени перед Человеком и рыдает, охватив руками его ноги. Человек кладет руку ей на голову и с рыданием в голосе, но грозно, говорит, обращаясь в угол, где равнодушно стоит Некто.

Человек. Ты женщину обидел, негодяй! Ты мальчика убил!

Жена рыдает. Человек тихонько, дрожащею рукой гладит ее волосы.

Не плачь, милая, не плачь. Он и над слезами нашими посмеется, как посмеялся над нашими молитвами. А ты, я не знаю, кто ты — Бог, дьявол, рок или жизнь,— я проклинаю тебя!

Дальнейшее говорит громким, сильным голосом, одной рукой как бы защищая Жену, другую грозно протягивая к Неизвестному.

Проклятие Человека

— Я проклинаю все, данное тобою. Проклинаю день, в который я родился, проклинаю день, в который я умру. Проклинаю всю жизнь мою, ее радости и горе. Проклинаю себя! Проклинаю мои глаза, мой слух, мой язык. Проклинаю мое сердце, мою голову — и все бросаю назад, в твое жестокое лицо, безумная Судьба. Будь проклята, будь проклята вовеки! И проклятием я побеждаю тебя. Что можешь еще сделать ты со мною? Вали меня наземь, вали — я буду смеяться и кричать: будь проклята! Клещами смерти зажми мне рот — последней мыслью я крикну в твои ослиные уши: будь проклята, будь проклята! Бери мой труп, грызи его, как собака, возись с ним в темноте — меня в нем нет. Я исчез, но исчез повторяя; будь проклята, будь проклята! Через голову женщины, которую ты обидел, через тело мальчика, которого ты убил,— шлю тебе проклятие Человека.

Умолкает с грозно поднятой рукой. Равнодушно внемлет проклятью Некто в сером, и колеблется пламя свечи, точно раздуваемое ветром. Так некоторое время в сосредоточенном молчании стоят один против другого: Человек и Некто в сером. Плач за стеною становится громче и протяжнее, переходя в мелодию страдания.

Опускается занавес

Картина пятая

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

Неопределенный, колеблющийся, мигающий, сумрачный свет, мешающий что-либо рассмотреть с первого взгляда. Когда глаз привыкает, он видит такую картину:

Широкая длинная комната с очень низким потолком, без одного окна в стенах. Вход откуда-то сверху, по ступеням. Стены гладки и сумрачно грязны — похоже на грубую, запятнанную кожу какого-то большого зверя. Всю заднюю стену, до ступенек, занимает один огромный, плоский стеклянный буфет, сплошь установленный совершенно правильными рядами бутылок с разноцветными жидкостями. За невысоким прилавком совершенно неподвижно сидит Кабатчик, сложив руки на животе. Белое с румянцем лицо, лысина, большая рыжая борода — выражение полного спокойствия и равнодушия. Таким он остается все время, ни разу не перемещаясь и не меняя положения. За небольшими столиками на деревянных табуретах сидят Пьяницы. Количество людей увеличивается их тенями, блуждающими по стенам и по потолку. Бесконечное разнообразие отвратительного и ужасного. Лица, похожие на маски с непомерно увеличенными или уменьшенными частями: носатые и совсем безносые, глаза дико вытаращенные, почти вылезшие из орбит и сузившиеся до едва видимых щелей и точек; кадыки и крохотные подбородки. Волосы у всех спутанные, лохматые, грязные, иногда закрывающие половину лица. На всех, однако, лицах, при их разнообразии, лежит печать страшного сходства: это зеленоватая, могильная окраска и выражение то веселого, то мрачного и безумного ужаса.

Одеты Пьяницы в одноцветные лохмотья, обнажающие то зеленую костлявую руку, то острое колено, то впалую страшную грудь. Есть почти совсем голые. Женщины мало отличаются от мужчин и еще безобразнее, чем они. У всех трясутся руки и головы, и походка неровная, точно они ходят или по очень скользкой, или бугроватой, или движущейся поверхности. И голоса одинаковые: хриплые, сипящие; и так же нетвердо, как ходят, выговаривают Пьяницы слова непослушными, точно замерзшими губами.

Посередине сборища, за отдельным столиком, сидит Человек, положив седую, всклоченную голову на руки. Таким остается он все время, за исключением того момента, когда говорит. Одет он очень плохо.

В углу неподвижно стоит Некто в сером с догорающей свечой. Узкое синее пламя колеблется, то ложась на край, то острым язычком устремляясь вверх. И могильно-синие блики на каменном лице и подбородке Его.

РАЗГОВОР ПЬЯНИЦ

— Боже мой! Боже мой!

— Послушайте,— как странно колеблется все: ни на чем нельзя остановить взора.

— Все дрожит, как в лихорадке: люди, стулья и потолок.

— Все плывет и качается, как на волнах.

— Вы не слышите шума? Я слышу какой-то шум. Точно грохочут железные колеса или камни падают с горы. Большие камни падают, как дождь.

— Это шумит в ушах.

— Это шумит кровь. Я чувствую мою кровь. Густая, черная, пахнущая ромом, она тяжело катится по жилам. И когда подходит к сердцу, то все падает, и становится страшно.

— Я вижу как будто блистание молний!

— Я вижу огромные, красные костры, и на них горят люди. Противно пахнет горелым мясом. Черные тени кружатся вокруг костров. Они пьяны, эти тени. Эй, позовите меня, я буду с вами танцевать.

— Боже мой! Боже мой!

— И я веселый! Кто хочет со мною смеяться? Никто не хочет, так я буду один. *(Смеется один.)*

— Прелестная женщина целует меня в губы. От нее пахнет мускусом, и зубы у нее, как у крокодила. Она хочет укусить меня. Прочь, шлюха!

— Я не шлюха. Я старая беременная змея. Уже целый час смотрю я, как из моей утробы выходят маленькие змейки и ползают. Эй, не раздави моего змееныша!

— Куда ты идешь?

— Кто ходит там? Сядьте. Весь дом дрожит, когда вы ходите.

— Я не могу. Мне страшно сидеть.

— И мне страшно. Когда сидишь, то слышно, как ужас бегает по телу.

— И мне. Пустите меня!

Трое или четверо Пьяниц колеблющимися шагами бесцельно бродят, путаясь среди столов.

— Посмотрите, что оно делает. Уже два часа оно старается прыгнуть на мои колени. Только на вершок недостает. Я его отгоню, а оно опять. Это какая-то странная игрушка.

— У меня под черепом ползают черные тараканы. И шуршат.

— У меня распадается мозг. Я чувствую, когда одна серая частица отделяется от другой. Мой мозг похож на скверный сыр. Он пахнет.

— Тут пахнет какой-то падалью.

— Боже мой! Боже мой!

— Сегодня ночью я подползу к ней на коленях и зарежу ее. Потечет кровь. Она сейчас течет уже: такая красная.

— За мной все время ходят трое. Они зовут меня в темный угол на пустырь и там хотят зарезать. Они сейчас около дверей.

— Кто это ходит по стенам и по потолку?

— Боже мой! Они пришли сюда. За мною.

— Кто?

— Они!

— У меня немеет язык. Что же мне делать? У меня немеет язык. Я буду плакать. *(Плачет.)*

— Все из меня лезет наружу. Я сейчас вся вывернусь наизнанку и буду красной.

— Послушайте, послушайте, эй! Кто-нибудь. На меня идет чудовище. Оно поднимает руку. Помогите, эй!

— Что это! Помогите! Паук!

— Помогите!

Некоторое время кричат хриплыми голосами: «Помогите!»

— Мы все пьяницы! Позовем всех сверху сюда. Наверху так мерзко.

— Не надо. Когда я выхожу отсюда на улицу, она мечется, как дикий зверь, и скоро валит меня с ног.

— Мы все пришли сюда. Мы пьем спирт, и он дает нам веселье.

— Он дает ужас. Я весь день трясусь от ужаса.

— Лучше ужас, чем жизнь. Кто хочет вернуться туда?

— Я — нет.

— Не хочу. Я лучше издохну здесь. Не хочу я жить!

— Никто!

— Боже мой! Боже мой!

— Зачем ходит сюда Человек? Он пьет мало, а сидит много. Не надо его.

— Пусть идет в свой дом. У него свой дом.

— Пятнадцать комнат.

— Не трогайте его, ему больше некуда ходить.

— У него пятнадцать комнат.

— Они пустые. В них только бегают и дерутся крысы.

— А жена?

— У него никого нет. Должно быть, умерла жена.

— Умерла жена.

— Умерла жена.

Во время этого разговора и последующего потихоньку входят С т а р у х и в странных покрывалах, незаметно заменяя собой тихо уходящих Пьяниц. Вмешиваются в разговор, но так, что никто этого не замечает.

РАЗГОВОР ПЬЯНИЦ И СТАРУХ

— Он сам скоро умрет. Он едва ходит от слабости!

— У него пятнадцать комнат.

— Послушайте, как бьется его сердце: неровно и тихо. Оно скоро остановится.

— Эй! Человек! Позови нас к себе: у тебя пятнадцать комнат.

— Оно скоро остановится. Старое, больное, слабое сердце Человека!

— Он спит, пьяный дурак. Спать так страшно, а он спит. Он может во сне умереть. Эй, разбудите его!

Тихий смех.

— Кто смеется? Тут есть лишние.

— Это вам кажется. Тут только мы одни, Пьяницы.

— А помните, как билось оно молодо и сильно!

— Я пойду на улицу и устрою скандал. Меня ограбили. Я совсем голый. У меня зеленая кожа.

— Здравствуйте.

— Опять шумят колеса. Боже мой, они меня задавят. Помогите!

Никто не отзывается.

— Здравствуйте.

— А вы помните, как он родился? Вы, кажется, там были?

— Должно быть, я умираю. Боже мой, Боже мой! Кто же отнесет меня в могилу? Кто зароет меня? Так и буду я валяться, как собака, на улице. Будут люди ходить через меня, экипажи ездить — раздавят они меня. Боже мой! Боже мой! *(Плачет.)*

— Позвольте поздравить вас, дорогой родственник, с новорожденным.

— Твердо уверен, что тут есть ошибка. Когда из прямой линии выходит замкнутый круг, то это — абсурд. Сейчас я докажу это!

— Вы правы.

— Боже мой! Боже мой!

— Только невежды в математике могут допустить это. Но я не допускаю. Слышите, я не допускаю этого!

— А вы помните розовенькое платьице и голенькую шейку?

— И цветы. Ландыши, с которых не высохла роса, фиалки и зеленую травку.

— Не трогайте, девушки, не трогайте цветов.

Тихо смеются.

— Боже мой! Боже мой!

Пьяницы все ушли, и их места заняты Старухами в странных покрывалах. Свет становится ровным и очень слабым. Резко выделяется фигура Неизвестного и седая голова Человека, на которую сверху падает слабый свет.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте. Какая славная ночь!
— Вот мы и снова собрались. Как ваше здоровье?
— Покашливаю.

Тихо смеются.

— Теперь недолго. Он сейчас умрет.

— Взгляните на свечу. Пламя синее, узкое и стелется по краям. Уже нет воска, и фитиль догорает.

— Не хочет гаснуть.

— А когда вы видели, чтобы пламя хотело гаснуть?

— Не спорьте! Не спорьте! Хочет оно гаснуть или не хочет, а время идет.

— А вы помните его автомобиль? Он однажды чуть не задавил меня.

— А его пятнадцать комнат?!

— Я сейчас только была там. Меня чуть не съели крысы, и я простудилась от сквозняков. Кто-то украл рамы, и ветер ходит по всему дому.

— А вы полежали на кровати, где умерла его жена? Не правда ли, какая она мягкая?!

— Да, я обошла все комнаты и помечтала немного. У них такая милая детская. Жаль только, что и там выбиты рамы, и ветер шуршит каким-то сором. И кроватка детская такая милая. В ней крысы теперь завели свое гнездо и выводят детей.

— Таких миленьких, голеньких крысяток.

Тихо смеются.

— А в кабинете на столе лежат игрушки: бесхвостая лошадка, кивер, красноносый паяц. Я немного поиграла с ними. Надевала кивер — он так ко мне идет. Только пыли на них ужасно много, вся перепачкалась.

— Но неужели вы не были в зале, где давался бал? Там так весело.

— Да, я была там, но, представьте, что я увидела! Темно, стекла выбиты, ветер шуршит обоями...

— Это похоже на музыку.

— А у стен, в темноте, на корточках сидят гости, но в каком виде, если бы вы знали!

— Мы знаем!

— И, ляская зубами, лают отрывисто: как богато, как пышно!

— Вы шутите, конечно?

— Конечно, я шучу. Вы знаете мой веселый характер.
— Как богато! Как пышно!
— Как светло!

Тихо смеются.

— Напомните ему.
— Как богато! Как пышно!
— Ты помнишь, как играла музыка на твоем балу?
— Он сейчас умрет.
— Кружились танцующие, и музыка играла так нежно, так красиво. Она играла так.

Становятся полукругом около Человека и тихо напевают мотив музыки, что играла на его балу.

— Устроим бал! Я так давно не танцевала.
— Вообрази, что это дворец, сверхъестественно красивый дворец.
— Зовите музыкантов. Нельзя же хороший бал давать без музыки.
— Музыкантов!
— Ты помнишь?

Напевают. В то же мгновение по ступеням спускаются те три Музыканта, что играли на балу. Тот, кто со скрипкой, аккуратно подстилает на плечо носовой платок, и все три начинают играть с чрезвычайной старательностью. Но звуки тихи и нежны, как во сне.

— Вот бал!
— Как богато, как пышно!
— Как светло!
— Ты помнишь?

Тихо напевая под музыку, начинают кружиться вокруг Человека, манерничая и в дикой уродливости повторяя движения девушек в белых платьях, танцевавших на балу. При первой музыкальной фразе они кружатся, при второй — сходятся и расходятся грациозно и тихо. И тихо шепчут:

— Ты помнишь?
— Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?
— Ты помнишь?
— Ты помнишь?
— Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?
— Ты помнишь?

Танец становится быстрее, движения резче. В голосах поющих Старух проскальзывают странные, визгливые нотки; такой же странный смех, пока еще сдержанный, тихим шуршанием пробегает по танцующим. Проносясь мимо Человека, бросают ему в ухо отрывистый шепот.

— Ты помнишь?
— Ты помнишь?

— Как нежно, как хорошо!
— Как отдыхает душа!
— Ты помнишь?
— Ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь...
— Ты помнишь?

Кружатся быстрее, движения резче. Внезапно все смолкает и останавливается. Застывают с инструментами в руках музыканты, в тех же позах, в каких застало их безмолвие, замирают танцующие. Человек встает, выпрямляется, закидывает седую, красивую грозно-прекрасную голову и кричит неожиданно громко, призывным голосом, полным тоски и гнева. После каждой короткой фразы короткая, но глубокая пауза.

— Где мой оруженосец? — Где мой меч? — Где мой щит? Я — обезоружен! — Скорее ко мне! — Скорее! — Будь прокля... *(Падает на стул и умирает, запрокинув голову.)*

В то же мгновение, ярко вспыхнув, гаснет свеча, и сильный сумрак поглощает предметы. Точно со ступенек ползет сумрак и постепенно заволакивает все, только светлеет лицо умершего Человека. Тихий, неопределенный говор Старух, шушуканье, пересмеивание.

Некто в сером. Тише! Человек умер!

Молчание, тишина. И тот же холодный, равнодушный голос повторяет из глубокой дали, как эхо:

— Тише! Человек умер!

Молчание, тишина. Медленно густеет сумрак, но еще видны мышиные фигуры насторожившихся Старух. Вот тихо и безмолвно они начинают кружиться вокруг мертвеца, потом начинают тихо напевать — начинают играть музыканты. Сумрак густеет, и все громче становится музыка и пение, все безудержнее дикий танец. Уже не танцуют, а бешено носятся они вокруг мертвеца, топая ногами, визжа, смеясь непрерывно диким смехом. Наступает полная тьма. Еще светлеет лицо мертвеца, но вот гаснет и оно. Черный, непроглядный мрак.

И во мраке слышно движение бешено танцующих, взвизгивания, смех, нестройные, отчаянно громкие звуки оркестра. Достигнув наивысшего напряжения, все эти звуки и шум быстро удаляются куда-то, замирают.

Тишина.

Опускается занавес

23 сентября 1906 г.

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА *

Вариант пятой картины

Высокая мрачная комната, в которой умерли сын и жена Человека. На всем лежит печать разрушения и смерти. Стены покосились и грозят падением; в углах раскинулась паутина — правильные светлые круги, включенные безысходно один в другой; грязно-серыми прядями спускается мертвая паутина и с нависшего потолка.

Точно под упорным давлением мрака, черной безграничностью объявшего дом Человека, подались внутрь и покривились два высокие окна; если окна не выдержат и провалятся, то мрак вольется в комнату и погасит слабый, умирающий свет, которым озаряется она.

---

* Уже после постановки «Жизни Человека» на сцене я убедился в некоторых погрешностях, допущенных мною как против формы, так и против основного замысла пьесы.

В отношении формы я считаю возможным оставить пьесу без изменений,— пусть первый мой опыт неореалистической драмы остается таким, каким создался он в ту пору сомнений и колебаний. Иное дело — ошибки против основного замысла драмы.

Оставляя за другими право решить, насколько я прав или ошибаюсь в толковании смысла человеческой жизни, я должен ради себя самого, в целях наибольшей последовательности и ясности, исправить те недостатки пьесы, которые либо затемняют основную ее идею, либо представляют ее в недостаточно полном и законченном виде.

В пятой картине, вариант которой я ныне предлагаю, самым существенным недостатком являлось вот что: вторжение в драму относительно случайного элемента в лице Пьяниц и отсутствие столь необходимой и столь важной в жизни группы, как Наследники, естественно завершающей собою группы Родственников, Друзей и Врагов Человека.

Правда, введением в пьесу кабака и пьяниц я отнюдь не хотел сказать, что каждый человек неизбежно умирает в кабаке, и некоторые из моих критиков, рассуждавшие так: «Я в кабак не хожу — следовательно, все это неправда — следовательно, я никогда не умру — следовательно, какая же это «Жизнь Человека!», были совершенно неправы. Но то *одиночество* умирающего и несчастного человека, для показания которого выведены эти столь же одинокие и несчастные люди, с большей полнотой может быть охарактеризовано появлением *Наследников.* Если Пьяницы только предоставляют Человеку умереть одиноко, то Наследники убеждают его умереть, толкают его к смерти — с естественной безжалостностью всех тех, кто приходил на смену. *Смена* — вот и еще важный момент, упущенный мною из виду при первоначальном изображении «Смерти Человека».

В задней стене коленчатая лестница, ведущая наверх, в те комнаты, где происходил когда-то бал; внизу видны кривые погнувшиеся ступени, дальше они теряются в густой насупившейся мгле. У той же стены под искривленным, порванным балдахином кровать, на которой умерла жена Человека. Справа темное жерло холодного, давно потухшего огромного камина; большая куча серой мертвой золы, в которой белеет полуобгорелый лист какой-то бумаги, по-видимому, чертежа. Перед камином в кресле сидит неподвижно умирающий Человек: в том, как оборван его халат, в том, как лохматы и дики его нечесаные седые волосы и борода, чувствуется полная заброшенность и одиночество умирания. В стороне от Человека, на таком же кресле, крепко спит Сестра Милосердия с белым крестом на груди; за все время картины она не просыпается ни разу. Вокруг умирающего Человека, обнимая его тесным кольцом жадно вытянутых лиц, сидят на стульях Наследники. Их семь человек, три женщины и четверо мужчин. Их шеи хищно вытянуты по направлению к Человеку, рты жадно полураскрыты; напряженно-скрюченные пальцы на поднятых руках походят на когти хищных птиц. Есть среди них толстые и весьма упитанные люди, особенно один господин, жирное тело которого бесформенно расплывается на стуле, но по тому, как они сидят, как они смотрят на Человека,— кажется, что всю жизнь они были голодны и всю жизнь ожидали наследства. Голодны они как будто и сейчас.

В углу неподвижно стоит Некто в сером с догорающей свечою. Узкое синее пламя колеблется, то ложась на край, то острым язычком устремляясь вверх. И могильно-сини блики на каменном лице и подбородке Его.

РАЗГОВОР НАСЛЕДНИКОВ

(Говорят громко.)

— Дорогой родственник, вы спите?

— Дорогой родственник, вы спите?

— Дорогой родственник, вы спите или нет? Отвечайте нам.

— Мы ваши друзья!

— Ваши наследники.

— Отвечайте нам!

Человек молчит. Наследники переходят на громкий шепот.

— Он молчит.

— Он ничего не слышит: он глух.

— Нет, он притворяется. Он ненавидит нас, он рад был бы нас выгнать, но не может: мы его наследники!

Отсутствовало в моей пьесе *Милосердие*, что также многим казалось неправдивым. Теперь оно представлено в лице Сестры Милосердия; и хотя за все время она не открывает глаз ни разу, но самим присутствием своим свидетельствует, что Милосердие действительно существует.

Памятуя, однако, что всякая правда есть лишь новая, но еще не доказанная ошибка, я прекращаю мои, быть может, излишние объяснения и предоставляю новую картину «Смерти Человека» на благосклонный суд читателя.

Автор

— Каждый раз, когда мы приходим, он смотрит на нас так, точно мы пришли убивать его. Как будто не умрет он и сам!

— Глупец!

— Это от старости. От старости все люди становятся глупы.

— Нет, это от жадности. Он рад был бы унести в могилу все. Он не знает, что в могилу человек уходит один.

— Почему вы так ненавидите нашего дорогого родственника?

— Потому, что он медлит умирать. *(Громко.)* Старик, почему ты не умираешь? Ты портишь нам жизнь, ты грабишь нас. Твое платье рвется и гниет, твой дом разрушается, твои вещи стареют и теряют ценность!

— Это правда, он нас грабит!

— Тише! Зачем кричать!

— Старик, ты обираешь нас!

— Но, может быть, дорогой родственник слышит нас?

— Пусть слышит! Правду всегда полезно слышать.

— Но, может быть, у него еще хватит силы составить завещание и лишить нас наследства?

— Вы думаете?

Натянуто смеются. Продолжают нежными голосами, громко, так, чтобы слышал Человек.

— Пустяки, он всегда был умным человеком, склонным к юмору, и прекрасно понимает шутку. Не правда ли, дорогой родственник?

— Конечно, мы шутили.

— Мы можем ждать сколько угодно. Нам только жаль его. Так грустно день и ночь сидеть одному перед потухшим камином,— не правда ли, дорогой родственник?

— Почему он не ляжет в постель?

— Так, маленькая причуда. На этой постели умерла его жена, и он никому не позволяет коснуться ни белья, ни подушек.

— Но время уже коснулось их!

— От них пахнет гнилью.

— Здесь отовсюду пахнет гнилью. *(Нюхает.)*

— Когда я подумаю... Нет, когда я подумаю, что в этом камине он непроизводительно жег целые бревна...

— А вы помните его бал? Наш милый родственник так сорил деньгами!

— Нашими деньгами!

— А вы помните, как он баловал жену, эту ничтожную женщину?

— Добавьте: которая обманывала его.

— Тише!

— У которой была дюжина любовников!

— Тише! Тише!

— Которая жила с лакеем! Да, с своим лакеем. Я сама видела однажды, как они переглянулись.

— Но она умерла! Не оскверняйте могил клеветою!

— Но это правда: я сама слыхала о том же.

— Бедный, обманутый глупец!

— Вы не замечаете украшений в его почтенной седине?

— Тише! Тише!

С возгласами «тише! тише!» переглядываются и тихонько смеются.

— Человек не имеет права думать только о самом себе. Когда я рассчитаю, сколько он мог бы нам оставить и сколько нам остается...

— Гроши!

— Нужно благодарить Провидение и за то, что осталось. Наш почтенный родственник так небережлив.

— Взгляните на его халат: разве можно так обращаться с дорогими вещами.

— Вы думаете? Я не вижу отсюда, что это за материя.

— Подойдите осторожно и пощупайте пальцами. Это шелк!

Одна из женщин подходит к умирающему Человеку и, делая вид, что оправляет подушку, ощупывает материю. Все с любопытством следят за нею.

— Шелк!

Различными жестами Наследники выражают свое негодование.

Человек *(на мгновение выходит из неподвижности и просит слабо)*. Воды!

Наследники. Что он говорит? Он слышал? Чего ему надо?

Человек. Воды! Бога ради, воды! *(Умолкает.)*

Несколько испуганные Наследники ищут воды, но не находят. Брезгливо-встревоженные голоса:

— Воды!

— Он просит воды!

— Да дайте же ему воды!

— Воды нет.

Все разом обращаются к спящей Сестре Милосердия, кричат, приставляя руки ко рту в виде рупора:

— Сестра Милосердия!

— Сестра Милосердия!

— Сестра Милосердия!

— Вам говорят, Сестра Милосердия! Больной просит воды.

— Растолкайте ее. За что же ей платят деньги, если она все время спит!

— А если вы хотите такую сестру милосердия, которая бы не спала, то придется платить еще дороже. Разве вы этого не понимаете?

— Она очень устала. У бедной женщины так много работы!

— Пусть спит. У нее такой сон, что жаль его тревожить.

— Дорогой родственник, вы не можете подождать? Сестра очень устала и спит.

Человек не отвечает, и все снова рассаживаются по местам, полукругом. Слабый свет, озаряющий комнату, медленно гаснет — в углах встает мрак. Тяжело, откуда-то сверху, ползет мрак по ступеням, стелется по потолку, бесшумно липнет к каждому углублению.

— Он успокоился. Бедный!

— Как темно! Господа, вы не замечаете, как темно?

— Когда я подумаю, что так, перед камином, он может просидеть еще долго — недели, месяцы, мне хочется схватить его за тощую шею и удушить.

— Позвольте: вы так беспокоитесь о наследстве, а вместе с тем я не знаю, кто вы?

— И я не знаю! И я!

— Вы просто человек с улицы: какое вы имеете право на наследство?

— Я такой же наследник, как и вы.

— Нет, сударь, вы мошенник!

— Нет, это вы мошенник!

— Тише! Тише!

— Его надо выгнать! Вон!

— Вы все мошенники!

— Тише! Вы разбудите его!

Яростно оскалив зубы, грозят друг другу сжатыми кулаками.

— Господа, свет гаснет! Я почти не вижу лиц.

— Надо уходить. Еще один погибший день!

— Надо уходить.

— А я останусь. Я не пойду отсюда. Это мой дом. Мой, мой, мой!

— Вас съедят здесь крысы.

В исступлении:

— Это мой дом — мой, мой, мой!

— Одна седьмая часть, господин наследник с улицы, во всяком случае не больше, как одна седьмая часть.

— Это мой дом! Мой!

— Господа, темнеет.

— Спокойной ночи, дорогой родственник!

— Спокойной ночи, дорогой родственник!

— Спокойной ночи, дорогой родственник!

По очереди, низко кланяясь Человеку, уходят. Некоторые поднимают вялую, бледную руку умирающего, лежащую на ручке кресла, и нежно пожимают ее. Наследник с улицы остается один. Презрительно взглянув на безмолвных Человека и Сестру Милосердия, он быстро и сердито исследует комнату: трогает стены, щупает материю на стульях, оценивает взглядом то, до чего не может дотянуться руками. Подходит к кровати, на которой умерла жена Человека, и пробует крепость белья. Но гнилая материя расползается под пальцами, и, бешено топнув ногою, Наследник разбрасывает подушки и простыни. Потом решительно идет к умирающему и останавливается за его спиною.

Речь Наследника. Послушай, старик. Ты должен умереть. Зачем ты оскорбляешь смерть сопротивлением? Уходи. Освободи живые вещи от твоей мертвой власти,— она свинцовой тяжестью лежит над всем. Посмотри: все ждет и жаждет твоей смерти — эти падающие стены, эта паутина и паук, заключенный в ее круги, этот черный камин. Прежде он дышал на тебя огнем, теперь в прохладу могилы зовет твое изношенное тело. Уходи. Там ты встретишь тех, кто любил тебя и в черноте и в седине твоих волос, и был любим тобою.

Молчание.

Не веришь?!

(Обращается в угол, где стоит Некто в сером.)

— Эй, ты! Скажи ему, что там его встретят любимые: сын его с проломленной головою, жена, умершая от болезней и горя.

Молчание.

И ты молчишь? И все молчит? Пусть. Но что бы ни ждало тебя там,— отсюда уходи; я, живой, изгоняю тебя из жизни. И когда ты умрешь, я благословлю тебя. Я возложу венки на твой гроб и на том месте, где будет гнить твое тело, воздвигну памятник — если это не будет дорого стоить. Уходи!

Молчание. Наследник снова ходит по комнате, но уныние места, мрак, непрестанно нарождающийся, тягучее безмолвие пугают его. Тревожно мечется он, позабыв, где выход, и говорит хрипло:

Сестра Милосердия, проснитесь! Сестра! Где же выход?.. Где же выход? Сестра Милосердия!

Молчание. В разных местах почти одновременно показываются Старухи. Происходит легкая, молчаливая, смешная для Старух игра: они загораживают выход Наследнику, кружат по комнате и, так бесшумно перебрасывая его, пропускают наконец к двери. Подняв над головою руки, с выражением ужаса, Наследник убегает. Старухи тихонько смеются.

Разговор Старух.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! Какая славная ночь!

— Вот мы и снова собрались. Как ваше здоровье?

— Покашливаю.

Тихо смеются.

— Теперь недолго. Он сейчас умрет.

— Посмотрите на свечу. Пламя синее, узкое и стелется по краям. Уже нет воска, и только фитиль догорает.

— Не хочет гаснуть.

— А когда вы видели, чтобы пламя хотело гаснуть?

— Не спорьте! Не спорьте! Хочет пламя гаснуть или не хочет, а время идет.

— Время идет.

— Время идет.

— А вы помните, как он родился? Позвольте, дорогой родственник, поздравить вас с новорожденным!

— А вы помните розовенькое платьице и голенькую шейку?

— И цветы. Ландыши, с которых не высохла роса, фиалки и зеленую травку?

— Не трогайте, девушки, не трогайте цветов!

Смеются.

— Время идет.

— Время идет.

Смеются. Одна из Старух оправляет постель.

— Что вы делаете?

— Я оправляю постель, на которой умерла его жена.

— Зачем это нужно? Он сейчас умрет.

— Какая вы добрая!

— Теперь хорошо. Теперь он может идти.

— Когда его пустит Тот.

— Теперь хорошо. Теперь хорошо.

Широким дыханием через комнату проносится гармоничный, но очень печальный и странный звук. Зародившись где-то наверху, он трепетно гаснет во мраке углов. Похоже, как будто одна за другою лопнули многие струны.

— Тише! Вы слышите?

— Что это?

— Это там наверху, где давали бал. Это музыка!

— Нет, это ветер. Я была там. Я видела. Я знаю. Это ветер. Там выбиты стекла, и ветер звенит осколками их так гармонично.

— Да, это похоже на музыку.

— Там так весело! Там на корточках в темноте у ободранных стен сидят гости,— но в каком виде, если бы вы знали.

— Мы знаем!

— И, ляская зубами, лают отрывчато: как богато, как пышно!

— Вы шутите, конечно?

— Конечно, я шучу. Вы знаете мой веселый характер.

— Как богато! Как пышно!

— Как светло!

Тихо смеются.

— Напомните ему.

Тесно окружают Человека, льнут к нему мягкими движениями, ласкают костлявыми руками, засматривают в лицо и шепчут вкрадчиво, въедаясь в самую глубину старого сердца:

— Ты помнишь?

— Как богато! Как пышно!

— Ты помнишь, как играла музыка на твоем балу?

— Он сейчас умрет.

— Кружились танцующие, и музыка играла так нежно, так красиво. Она играла так...

Тихо напевают мотив музыки, что играли на его балу.

— Ты помнишь?

— Устроим бал! Я так давно не танцевала!

— Вообрази, что это дворец, сверхъестественно-красивый дворец!

— Ты помнишь? Вот заливаются певучие скрипки. Вот нежно поет свирель. Вот...

Внезапно, перебивая речь Старух, начинает играть музыка, наверху, в том месте, где находится зала. Звуки приносятся громкие и отчетливые. Старухи прислушиваются.

— Тише! Вы слышите?

— Они играют!

— Музыканты играют! *(Дико кричит:)* — Эй, музыканты, сюда!

Остальные вторят:

— Эй, музыканты, сюда! Эй, музыканты, сюда!

Музыка наверху смолкает. Почти в то же мгновение по искривленным ступеням, выйдя из мрака, спускаются те три музыканта, что играли на балу. Выходят на середину, становятся в ряд, как стояли тогда. Тот, что со скрипкой, аккуратно подстилает на плечо носовой платок, и все трое начинают играть с чрезвычайной старательностью. Но звуки тихи, нежны и печальны, как во сне.

— Вот и бал!
— Как богато! Как пышно!
— Как светло!
— Ты помнишь?

Тихо напевая под музыку, начинают кружиться вокруг Человека, манерничая и в дикой уродливости повторяя движения девушек в белых платьях, танцевавших на балу. При первой музыкальной фразе они кружатся, при второй сходятся и расходятся грациозно и тихо. И тихо шепчут:

— Ты помнишь?
— Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?
— Ты помнишь?
— Ты помнишь?
— Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?
— Ты помнишь?

Танец становится быстрее, движения резче. В голосах поющих Старух проскальзывает странная, визгливая нотка; такой же странный смех, пока еще сдержанный, тихим шуршанием пробегает по танцующим. Проносясь мимо Человека, бросают ему в ухо отрывистый шепот:

— Ты помнишь?
— Ты помнишь?
— Как нежно, как хорошо!
— Как отдыхает душа!
— Ты помнишь?
— Ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь...
— Ты помнишь?

Кружатся быстрее, движения резче. Внезапно все смолкает и останавливается. Застывают с инструментами в руках музыканты; в тех же позах, в каких застало их безмолвие, замирают танцующие. Человек встает, шатаясь, и неверными шагами идет к постели.

Одна из Старух загораживает ему путь и шепчет в лицо:

— Не ложись в постель! Ты там умрешь!
— Ты там умрешь!
— Берегись постели!

Человек *(беспомощно останавливается и молит в тоске.)* Помогите мне кто-нибудь. Я не могу дойти до постели.

И вдруг точно видит все. Видит злобно насторожившихся Старух, блудливо заигрывающих со смертью; видит разрушение, и мрак, и смерть, царящие вокруг; видит как бы впервые каменный лик Некоего в сером и свечу, копотно догорающую в руке Его. Поднимает руку, и отступают Старухи. Закидывает седую, грозно-прекрасную голову, выпрямляется, готовясь к последнему бою, и кричит неожиданно-громко, призывным голосом, полным тоски и гнева. В первой короткой фразе еще звучит старческая слабость; но с каждой последующей голос молодеет и крепнет; и, отражая на мгновение вернувшуюся жизнь, высоко взметывается красное, тревожное пламя свечи, озаряя окружающее суровым отсветом пожара.

Где мой оруженосец? — Где мой меч? — Где мой щит? — Я обезоружен! — Скорее ко мне! — Скорее! — Будь проклят!

Падает у подножья постели и умирает.

В то же мгновение, бессильно взметнувшись еще раз, гаснет пламя, и сильный сумрак поглощает предметы. Будто подались наконец стена и окна, задержавшие мрак, и густой, черною, победоносной волною он заливает все; только светлеет лицо умершего Человека. Тихий, неопределенный голос Старух, шушуканье, пересмеиванье.

Некто в сером. Тише! Человек умер!

Молчание, тишина. И тот же холодный, равнодушный голос повторяет из глубокой дали, как эхо:

Тише! Человек умер.

Молчание, тишина. Медленно густеет сумрак, но еще видны мышиные фигуры насторожившихся Старух. Вот тихо и безмолвно они начинают кружиться вокруг мертвеца — потом начинают тихо напевать — начинают играть музыканты. Сумрак густеет, и все громче становится музыка и пение, все безудержнее дикий танец. Уже не танцуют, а бешено носятся они вокруг мертвеца, топая ногами, визжа, смеясь непрерывно диким смехом. Наступает полная тьма. Еще светлеет лицо мертвеца, но вот гаснет и оно. Черный, непроглядный мрак.

И во мраке слышно движение бешено танцующих, взвизгивания, смех, нестройные, отчаянно-громкие звуки оркестра. Достигнув наивысшего напряжения, все эти звуки и шум быстро удаляются куда-то, замирают... Тишина.

Опускается занавес

20 февраля 1908 г.



КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Андреев В. Детство — Андреев Вадим. Детство. Повесть. М., Советский писатель, 1963.

Блок — Блок А. А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 5. М., Гослитиздат, 1962.

Брусянин — Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912.

Вересаев — Вересаев В. В. Собр. соч. в 4-х т., том 3. М., Правда, 1985.

Горький М. Полн. собр. соч.— Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25-ти томах, т. 16. М., Наука, 1973.

Драматургия «Знания» — Драматургия «Знания». Сборник пьес. (Библиотека драматурга). М., Искусство, 1964.

Книга о Леониде Андрееве — Книга о Леониде Андрееве, изд. 2-е, Берлин — СПб.— М., 1922.

ЛА — Литературный архив, выпуск 5. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1960.

ЛН — Литературное наследство, т. 72.— Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., Наука, 1965.

Литературный распад — Литературный распад. Критический сборник № 1, изд. 2-е. СПб., 1908.

Повести и рассказы — Андреев Леонид. Повести и рассказы в 2-х т. М., Художественная литература, 1971.

Пьесы — Андреев Леонид. Пьесы (Библиотека драматурга). М., Искусство, 1959.

Уч. зап. ТГУ — Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 119. Тарту, 1962.

Фатов — Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., Земля и фабрика, 1924.

В творческой биографии Леонида Андреева период с 1904 по 1907 гг. занимает особое место. Впервые писателя по-настоящему захлестнула общественная жизнь: русско-японская война, а затем революционные события необычайно взволновали и воодушевили его, а произведения его направили в новое тематическое русло.

В мае 1904 г. Андреев писал К. П. Пятницкому из Ялты: «Можно осатанеть от злости, живя в этой проклятой России, стране героев, на которых ездят болваны и мерзавцы. Если война не закончится революцией, то наступит такая черная, глухая, беспросветная реакция, от которой на стену полезешь. Сижу я здесь спиной к России и чувствую, как она там стонет, рычит, дичает, воет с голоду, с тоски, с бессмыслицы. Самодержавная бессмыслица — кошмар, а не жизнь» (Вопросы литературы, 1971, № 8, с. 163).

Через два месяца — В. В. Вересаеву: «Так же трудно сейчас писать письма, как в то, вероятно, время, когда каждый час ожидали люди либо пришествия антихриста, либо Христа. События бегут с силой и какой-то внутренней железной необходимостью, и старая мысль русская, многократно обманутая и обманувшаяся, путается и теряется в догадках. Когда и чем кончится война? Кто будет министром? К чему все сие? Только сумасшедший может верно ответить на эти вопросы. Но за углом сидит кто-то — сидит — это мы все знаем» (*Вересаев*, с. 391).

К началу 1905 г. напряженное беспокойство сменилось уверенностью: «...В России, действительно, революция» (т а м ж е, с. 393). «В России будет республика,— пишет Андреев Вересаеву 6 февраля,— это голос многих, отдающих себе отчет в положении дела» (т а м ж е). А 9 февраля он был арестован вместе с членами ЦК РСДРП, которым предоставил свою квартиру для заседания.

Две недели Андреев провел в одиночном заключении в Таганской тюрьме: его подозревали в принадлежности к партии социал-демократов и приписывали ему авторство рукописного документа, в котором содержался прямой призыв к вооруженному свержению самодержавия. Но арестованные революционеры отрицали причастность Андреева к их организации, и 25 февраля он был выпущен под залог в 10 000 рублей, внесенный Саввой Морозовым. Тюремное заключение придало Андрееву энергии и уверенности в себе. «Воспоминание о тюрьме будет для меня одним из самых милых и светлых — в ней я чувствовал себя человеком,— писал он Горькому.— На дне души моей, где-то очень глубоко, таится здоровенная гордость; и когда обстоятельства давят на эту пружину,

---

В комментарии использованы печатные и архивные материалы, собранные В. Н. Чуваковым.

я выпрямляюсь, как наполеоновский гренадер, и марширую четко. Как не пожалеть тюрьмы — в ней я был молод, здоров, мечтателен, готов на всякие глупости, как студент, как влюбленный» (*ЛН*, с. 258).

В тюрьме Андреев встретил эсера-террориста Владимира Мазурина, впоследствии казненного. В 1906 г. писатель посвятил памяти этого отважного человека очерк [1], полный горечи и надежды на скорейшее освобождение от тирании. Однако и в художественных и в публицистических произведениях этого периода, несмотря на их политическую заостренность, «угол зрения» автора оставался неизменным, «андреевским». Георгий Чулков, получивший для напечатания статью о В. Мазурине, писал потом в своих воспоминаниях: «...Андреев ни слова не говорит о том, какие были взгляды у Мазурина, какие убеждения. Ему важно одно: вот жил милый человек, веселый, добрый, общительный,— пришла темная сила, и нет человека на земле. Это страшно, ужасно. Надо стенать и вопить. И тема поставлена не общественно, а лично» (Письма Леонида Андреева. Л., 1924, с. 38). В художественном творчестве Андреев еще больше, чем в публицистике, отрывался от злобы дня; все тематически актуализированные его произведения — «Красный смех», «Губернатор», «К звездам», «Так было» — содержательно обращены к проблемам экзистенциальным: свободе и рабству, отношениям личности и общества, смыслу жизни перед лицом неизбежной смерти, морали и вседозволенности. Впоследствии, вспоминая это время, Андреев говорил: «Я мог бы стать только или писателем-революционером, или писателем анализа и синтеза жизни и человеческого духа. Совмещение невозможно! Предстояло решение: или уйти в революцию, или остаться у «малых дел» и щекотать себя революционностью.— Если хочешь быть революционером,— будь партийным,— говорили мне. Но я, как и покойный Чехов, говорю: партийность для художника — смерть!» (*Брусянин*, с. 16).

В конце 1905 г. Андреев с женой, Александрой Михайловной, и сыном Вадимом уехал за границу. Свое понимание революционных событий в России он изложил в письме Вересаеву, отправленном из Глиона (Швейцария) в апреле 1906 г. «...Смерть Чехова, тяжелая, бессмысленная, пригнетающая, точно увенчивающая и кончающая собою старую Русь, растущая духота, в которой дышать нечем, почти отчаяние,— и трижды благословенный громовой удар Сазонова [2]. И благодатный шумный дождь рево-

---

[1] Андреев Л. Памяти Владимира Мазурина. Из частного письма. СПб., Труд и польза, 1906.

[2] Имеется в виду убийство эсером Е. С. Сазоновым министра внутренних дел В. К. Плеве 15 июля 1904 г.

люции. С тех пор ты дышишь, с тех пор все новое, еще не осознанное, но огромное, радостно страшное, героическое. Новая Россия. Все пришло в движение. Падает и поднимается, разрушается и формируется вновь, меняет контуры и линии, меняет образ. Маленькое становится большим, большое — маленьким; с знакомыми нужно знакомиться вновь, с друзьями — дружиться. 〈...〉 Познакомимся. Я как был, так и остался вне партий. Люблю, однако, социал-демократов, как самую серьезную и крупную революционную силу. С большой симпатией отношусь к социал-революционерам. Побаиваюсь кадетов, ибо уже зрю в них грядущее начальство, не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Об остальных можно не говорить.

Как человек благоразумный, гадаю надвое: либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно-радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля. Если кадеты,— то в Европе прибавится одной дрянной конституцией больше, новым рассадником мещан. Наступит история длинная и скучная. Власть укрепится, из накожной болезни станет болезнью органов и крови, и мой ближайший идеал — анархиста-коммунара — уйдет далеко. Здесь, в Европе, я понял, что значит уважение к закону, болезнь ужасная, почти такая же, как уважение к собственности.

Будучи пессимистом, склоняюсь на сторону второго предположения: победят кадеты. Их опора — все мещанство мира» (*Вересаев*, с. 395).

В конце апреля 1906 г. Андреев проехал из Швейцарии в Финляндию. В Гельсингфорсе он принял участие в первомайской демонстрации, а во время съезда представителей финской революционной Красной гвардии (8—9 июля) выступил с яркой речью, в которой протестовал против роспуска Государственной думы и призывал к вооруженному восстанию. Евгений Замятин, присутствовавший на этом митинге, позднее вспоминал: «...И вот над головами — бледное, взволнованное лицо, букет кроваво-красных роз. И в тишине — редкие, раздельные слова: — Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой — голова в короне все ближе к плахе. Через день, через три дня, через неделю — капнет последняя,— и, громыхая, покатится по ступеням корона и за ней — голова» (*Книга о Леониде Андрееве*, с. 172). Речь Андреева имела огромный успех: согласно секретному донесению полиции, ему «была устроена овация, его носили в саду на руках» (*ЛН*, с. 520).

Тяжелым ударом для Андреева стало подавление восстания матросов в Свеаборге (17—20 июля). Причиной этого поражения было предательство финской социал-демократии, о котором Ан-

дреев с возмущением писал Горькому «...Окажись Финляндия мужественной и благородной, поддержи хотя бы только забастовкой свеаборгское восстание — Петергофа не было бы! Романовых не было бы! А она не только не забастовала, но в лице своих интеллигентных черносотенцев расстреливала красногвардейцев, а в лице крайних партий — отказалась от союза с ними. И погибли бедные красногвардейцы вместе с обманутыми матросами 〈...〉 Жить противно становится, глядя на всю эту мерзость» (*ЛН*, с. 275).

Две недели Андреев скрывался в Норвегии, а затем через Стокгольм уехал вместе с семьей в Берлин. Всю осень он много и плодотворно работал, но судьба готовила ему страшное испытание: смерть жены. Александра Михайловна умерла от послеродовой болезни 28 ноября. Андреев отправил новорожденного Даниила в Москву к Добровым, родственникам Александры Михайловны, а сам с Вадимом уехал на Капри к Горькому. Наступил один из самых тяжелых периодов в жизни Андреева. В марте 1907 г. он писал Вересаеву: «Для меня и до сих пор вопрос — переживу я смерть Шуры или нет,— конечно, не в смысле самоубийства, а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без непоправимого ущерба для души. И для меня отнюдь не праздный вопрос, не пустячное сомнение — не похоронен ли вместе с ней Леонид Андреев. Работал я тут. Трудно было вначале невыносимо — как для маньяка, одержимого определенной идеей, видениями, снами,— писать о чем-то совершенно постороннем. Но преодолел — частью из упрямства, частью, чтобы оправдать собственное существование» (*Вересаев*, с. 398).

Почти все из написанного и начатого Андреевым на Капри (он пробыл там до мая 1907 г.) — «Иуда Искариот», «Черные маски», «Тьма», «Мои записки» — несет на себе отпечаток пережитой им трагедии, наполнено тоской и мрачной иронией. Эти умонастроения писателя совпали с наступлением в России реакции и дополнялись им. «...Произведения Андреева болезненны, как болезненно и породившее их время,— писал в начале следующего, 1908 г., критик В. Кранихфельд.— Но если когда-нибудь впоследствии историк захочет ярко осветить наше время, захочет изучить его не только в причинной цепи внешних событий, но и во внутренних переживаниях живых людей, то без помощи факела, который зажег Андреев, ему не удастся осуществить свое желание. При своем огромном таланте Андреев остается, вместе с тем, единственным пока художником, отразившим наше время в его больной мечте («К звездам», «Савва») и в его больном же разочаровании («Так было», «Иуда», «Елеазар», «Тьма»)» (Современный мир, 1908, № 2, отд. II, с. 28).

ВОР
(Стр. 7)

Впервые — в «Сборнике товарищества «Знание» за 1904 год», кн. 5 (СПб., 1905).

«Вора» Андреев предполагал напечатать в «Журнале для всех», но его редактор, В. С. Миролюбов, не взял рассказа, объяснив свой отказ следующим образом: «Зачем же я для успеха своего журнала стал бы содействовать неуспеху любимого писателя? Обещанный рассказ привлек бы читателей, но какой ценой?» (*ЛА*, с. 113). Андреев жаловался А. Серафимовичу: «Миролюбов-то! Забраковал моего «Вора»! Очень, говорит, это мне грустно, но рассказ плох и по совести я не могу и т. д.» (*ЛН*, с. 249). Самому Миролюбову Андреев отправил в конце января 1905 г. такое письмо: «Дорогой Виктор Сергеевич! Я доложил «Среде» о Вашем со мною поступке — и она, подлая, Вас одобрила. Я сказал, что хочу написать для Вас лучший рассказ — и она также одобрила, хотя с Вашею оценкою «Вора» не согласна» (*ЛА*, с. 113).

М. Горький, взявший «Вора» для сборника «Знания», писал Андрееву: «Рассказ недурной, а Миролюбов — дурак и нахал. В рассказе, пожалуй, слишком много «злых ног» и обычных для тебя повторений, которые повергают читателя, как рака, поставленного на хвост,— в состояние каталепсии. Это, конечно, можно убрать, но, конечно, можно и оставить» (*ЛН*, с. 247).

Критики отметили глубокий символический смысл «Вора». «Недосказанность» и «загадочность» его содержания вызвали неудовольствие А. Е. Редько: «Это, конечно, право художника,— писал критик,— но так же точно не подлежит сомнению, что для возможности овладеть психологической задачей, которую поставил себе художник, необходимо, чтобы читателю было оставлено — по обычному выражению — «широкое поле» для догадок, а не лесная заросль, как у Андреева» (Русское богатство, 1905, № 10, с. 70). Иначе оценил эту особенность рассказа И. Смирнов: «Дарование Л. Андреева несомненно и явно растет. ⟨...⟩ Он умеет смотреть в корень вещей, льнет к основным, метафизическим вопросам бытия. ⟨...⟩ Может быть, таких воров не бывает. Не в этом дело. В рассказе есть веяние древней тоски, грохот хаоса». (Весы, 1905, № 4, с. 47—48). Е. А. Ляцкий, напротив, услышал в звуках «такта вагонных колес» гармоническую «мелодию природы» и осудил поэтому концовку рассказа, в которой «связь с мировой душой порывается, а весь человек превращается в один бесформенный комок смятения и страха, а вместе с тем порывается и та сердечная связь с читателем, которая создается на первых страницах» (Вестник Европы, 1906, № 9, с. 375—376). Ф. Батюшков, сравнивая «Вора» Андреева с одноименным рассказом австрийского

писателя Феликса Зальтена, отмечал, что рассказ Андреева реалистичен только по обстановке действия. «Это повесть настроений, как бы оторванных, разобщенных с деятельностью рефлекса: вор г. Андреева очень много ощущает, переживает, грезит, но поступки его весьма неразумны». По мнению Ф. Батюшкова, автор изолировал «явления и представил их нам в чистом виде, в художественном воплощении. Быть может, изображение и получилось одностороннее, но оно цельно в своем роде и представляет особый вид литературы, которую нельзя подводить под категории реалистической и рационалистической поэтики». «За Андреевым,— продолжает Ф. Батюшков,— слишком утвердилось мнение, на наш взгляд, ошибочное, что он пишет ⟨...⟩ на заранее намеченные темы, строго обдумывая свои сюжеты, ⟨...⟩, мы приходим к совершенно иному выводу: отсутствие рационализма и в самом сюжете, и в способе его обработки приводит к тому, что его «Вора» нельзя понять «умом». Его надо ощутить и перенестись именно в область чувствований, изображенных в несколько исключительной натуре, живущей больше ощущениями, чем размышляющей» (Южные записки, 1905, № 16, с. 26, 31). Рецензент газеты «Киевские отклики» Е. Марганец (1905, № 94) писал, что в «Воре» Андреев изображает гонимого человека: «Перед вами живая душа, человеческий прекрасный образ, каковой вам едва ли случалось видеть и прозреть в вашей действительности».

«Как же, однако, Леонид Андреев мог написать «Вора» и притом с таким несравненным блеском? — спрашивал М. Чуносов (Иероним Ясинский).— Леонид Андреев написал блестящий рассказ, но он руководствовался психологиею художника для изображения воровской души. Ему не столько нужен был вор, сколько положение, в каком очутился Федор Юрасов, и ему хотелось изобразить полет поезда. Что и говорить — в полете поезда есть что-то фантастическое. Он порождает в восприимчивой душе какие-то мистические странные настроения, перемежающиеся быстро мелькающими картинами действительности, кажущейся призрачною и сказочною» (Слово, 1905, 17 марта, № 97).

А. Блок, автор одной из статей о «Воре», вспоминал впоследствии: «О рассказе этом я написал рецензию, которая была помещена в журнале «Вопросы жизни», рецензия попалась в руки Андрееву и, как мне говорили, понравилась ему; что она должна была понравиться ему, я знал — не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним,— вернее, не с ним, а с тем хаосом, который он в себе носил; не носил, а таскал, как-то волочил за собой, дразнился им, способен был иногда демонстрировать этот подлинный хаос как попугая или комнатную собачку, так что все чопорные люди, окружающие его, ⟨...⟩ окончательно переставали верить в этот подлинный хаос» (*Блок*, т. 6, с. 131).

С. 13. *Маланья моя, лупо-гла-за-я...*— Песня Н. И. Красовского «Маланья», входившая в репертуар ресторанных цыганских хоров как «комическая». В песне рассказывается о судьбе крестьянской девушки, которая попала в Москву и не устояла перед «соблазнами» большого города. (См. «Лапоточки». Сб. комических куплетов и дуэтов. Сост. Н. И. Красовский. М., 1901.)

КРАСНЫЙ СМЕХ
(Стр. 22)

Впервые — в «Сборнике товарищества «Знание» за 1904 год», кн. 3, СПб., 1905, посвященном памяти А. П. Чехова.

Повесть явилась откликом Андреева на русско-японскую войну, поразившую его своей бессмысленной жестокостью. Конкретное художественное решение этой темы — экспрессивный, запоминающийся образ безумного «красного смеха» — писатель нашел во время отдыха в Ялте, где он оказался свидетелем несчастного случая: «А нынче вечером возле нашей дачи взрывом ранило двух турок,— читаем в письме Андреева к Горькому от 6 августа 1904 г.,— одного, кажется, смертельно, вырвало глаз и пр. 〈...〉 Весь он как тряпка, лицо — сплошная кровь, и он улыбался странной улыбкой, так как был он без памяти. Должно быть, мускулы как-нибудь сократились, и получилась эта скверная, красная улыбка» (*ЛН*, с. 218). Живший неподалеку С. Я. Елпатьевский так воспроизводит сказанное ему Андреевым на следующий день: «Ну, С. Я., вчера я на войне был. И написал рассказ, большой рассказ из войны... Да, да, вы не смейтесь. Вот увидите. В голове у меня уже все готово» (С. Елпатьевский. Леонид Николаевич Андреев.— Былое, 1924, № 27—28, с. 280).

Готово, однако, было еще далеко не все, и девять ночей в ноябре, когда создавался «Красный смех», показали, сколь много страшного, непосильного для человеческого рассудка готовил писателю первый, неожиданный образ. Вот свидетельство Н. Телешова: «Когда он писал этот «Красный смех», то по ночам его самого трепала лихорадка, он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть один в комнате. И его верный друг, Александра Михайловна, молча просиживала у него в кабинете целые ночи без сна» (Телешов Н. Избранные сочинения. Т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 125).

Тема безумия войны захватывала Андреева постепенно, но в результате овладела им полностью и истощила его творческую энергию на долгие месяцы. Представить, как это происходило, и понять особое отношение автора «Красного смеха» к своему произведению помогают письма Андреева к критику М. П. Неве-

домскому. «Продолжаю работать над «Войною» [1] — выходит скверно: плоско, бледно, тускло. Есть вопросы, в которых невозможно, кажется, оставаться художником, вот хотя бы эта война. Начну благородно, по-художественному: «стоял — дескать — прекрасный летний день...», а кончу, как извозчик, ругательствами: «подлецы, мерзавцы, убийцы...» и т. п. И правда: живут, черти, чуть не миллион лет, а не могут устроить так, чтобы не драться. Дичь какая-то». Другое письмо, написанное уже по окончании работы, нельзя не привести целиком: «Дорогой Михаил Петрович! Ношу вас в мыслях моих, и много раз подходил я к письменному столу и начинал, «дорогой Михаил Петрович», и бросал. Отвращение к перу, к бумаге, к чернилам — Вы это понимаете? Думается и говорится с охотою, а писать не могу.

Ожидаю, как цензура поступит с моим «Красным смехом». Вырежут, мерзавцы! Он уже здорово окорочен. Даже «любители российской словесности», люди либеральные, почтенные, умные, чуть-чуть не анархисты — и те читать рассказ отказались: слишком-де сильное впечатление (?!) производит, так что, избави бог, студенты произведут демонстрацию и общество закроют. Что же может сказать цензура? Как ни странно, а особенного огорчения, если зарежут, я не испытаю — и мотивы к тому странные. Несколько раз я читал «К. С.» публично — и с каждым разом это занятие становилось мне все противнее и противнее. И чувство, с которым я возвращался домой, было такое: будто я кому-то протянул руку, чтобы поздороваться, а он, толстый, плоскорожий, самодовольный, поглядел на меня и отвернулся — не то просто не заметил, не то не счел нужным. Так рука моя и осталась в воздухе.

Когда ругают другие мои рассказы — как вот теперь дружно ругают «Призраки»,— я остаюсь к этому весьма равнодушен и иногда даже радуюсь. Дело, так сказать, мое личное: я вот этак написал и этак думаю, а ему не нравится, ну и бог с ним. А к этому рассказу я не мог простить даже равнодушного отношения — быть может потому, что тут слишком мало «рассказа» и много боли, б. м. потому, что слишком еще живы в памяти моей те действительно безумные ночи, когда он писался.

Вы поверите: когда часа в 2—3 я кончал работать, вокруг меня все плясало, какие-то тени мелькали, я видел *себя* и свою тень на стенах и белизну дверей в темноте.

Почти все время, пока я писал, у меня было сердцебиение — а раз, опять-таки ночью, я вдруг страшно почувствовал, что голова моя не выдержала и я схожу с ума. Ужасное чувство! Ведь не нужно забывать, что замысел, чувства относятся к передаче, как

---

[1] Первоначальное название повести.

100 — к 1 и что написанное мною только намек на испытанное.

И вдруг, читая, в толпе я вижу эту плоскую, равнодушную рожу, или слышу сдержанный смех, болтливый шепот, вижу барыню, которая, пристально глядя на меня, чтобы показать внимание, рукою оправляет прическу, и я знаю — думает только о прическе. А потом снисходительные комплименты, рассуждения о том, что рассказ мой сейчас *вреден:* «и так тяжело, а вы еще усугубляете эту тяжесть», вопросы, почему я так односторонне отнесся к войне — «ведь в войне есть и светлые стороны». Не стану врать: многие уходят сметенные, тронутые, и однажды я имел радость видеть бледные лица — только бледные лица, но в этот раз при чтении было всего пять человек и читал актер. Но уже одна равнодушная, тупая рожа оскорбляет меня. Быть может, рассказ, правда, написан слабо, и не может же он знать, писал я его с сердцебиением или без сердцебиения,— но ведь, дьявол! ведь это же о войне, черт тебя раздери совсем!

И когда я еду домой, мне становится так скучно, и кажется, что я написал совсем плохой, ничтожный рассказ, и стыдно делается своих «сердцебиений», жены, которая сидит рядом, письменного стола, бумаги.

Повторяю, я вовсе не самолюбив, но если рассказ будет напечатан и его станут бранить — «опять-де Л. Андреев подарил нас сумасшедшим домом, и не понимаю я, к чему это пишет он такие вещи... Эдгар По... Пшибышевский... весна... дружная общественная работа... а он все выдумывает... и на войне-то не был...» — мне будет анафемски неприятно. Теперь я понимаю этих малоталантливых авторов, которые напишут что-нибудь «кровью своего сердца», а над ними насмеются, а они и начинают заниматься самообожанием и презрением.

До самообожания я, к несчастью, никогда дойти не могу, скорее наоборот, а вот этакая сатанински-высокомерная, совсем гиппиусовская мысль у меня мелькала: сжечь рассказ. Показать его издалека — и сжечь. Конечно, это беллетристика, и довольно плохая беллетристика, но если рассказ в цензуре не пройдет, особенно огорчаться не стану» (Искусство, 1925, № 2, с. 268—270).

Но преодолеть цензуру «знаньевцам» все же удалось. «Сборник сегодня пошел в цензуру,— пишет Горький Андрееву 23 декабря,— нарочно держали до последнего дня, ибо на праздниках цензора — надеемся — будут пьяны, а в пьяном виде человек свободолюбивее. Это называется — тонкий расчет» (*ЛН*, с. 253).

Сам Горький еще до публикации со всей строгостью скрупулезно разобрал повесть, найдя в ней множество недостатков — как мелких, так и крупных. «В общем, я считаю рассказ чрезвычайно

важным, своевременным, сильным,— писал он Андрееву,— все это так,— но для большего впечатления необходимо оздоровить его».— «Милый Алексеюшка! — отвечал Андреев,— 〈...〉 Оздоровить — значит уничтожить рассказ, его основную идею. Здоровая война — достояние прошлого; война сумасшедших с сумасшедшими — достояние отчасти настоящего, отчасти близкого будущего. Моя тема: *безумие* и *ужас»* (*ЛН*, с. 243, 244).

Переделал Андреев только 7 и 15 «отрывки». В ЦГАЛИ (ф. II, оп. 1, ед. хр. 12) хранится авторизованная машинопись «Красного смеха», датированная 8 ноября 1904 г. Авторскую правку содержит «Отрывок пятнадцатый». Из машинописи вырезаны листы 61—63, а на листе 59 наклейка с новым текстом, под которым читается старый: «...в дымном и багровом огне качались и плыли как (1 сл. нрзб.) туман какие-то страшные образы. Временами они пропадали в темных углах, но иногда резко выдвигались вперед, и тогда я видел лица, освещенные с одной стороны, и клочки изорванных одежд. Они все непрестанно двигались и менялись, но по низким, приплюснутым лбам, по хищному и тревожно-голодному выражению скотских лиц я узнал этих людей — умственную чернь города, созданную веками несправедливости, свою тупость и ограниченность сделавшую орудием жестокой бессознательной мести. Но я не знал, что их так много, что они собираются вместе и настолько овладели формами общежития, что могут устраивать настоящие правильные собрания. И помню, я, кажется, поздравил их и похвалил, а они все захохотали, но хохотали бесшумно: сразу открылось множество черных ртов с плохими зубами, и лица покрылись морщинами смеха, но звука не было... «Они, должно быть, мертвые»,— подумал я, и мне стало страшно, и они все сразу побледнели, закрыли глаза и заколыхались в багровом и дымном огне, пропадая в живой, подвижной темноте углов. Но я закурил папиросу, и они ожили, закурили папиросы, и председатель сказал:

— Не нужно галлюцинаций и диких снов. Надо говорить прямо и умно, как мы думаем.

У оратора было сонное лицо и сонные глаза, прикрытые тяжелыми веками, и говорил он медленно и очень умно. Слов я не слышал и иногда они казались мне строчками — красными строчками на черной бумаге.

— Прежде всего нужно истребить все их книги и бумагу,— думал оратор,— потому что без книги они ничего не могут. У них у всех особенные лица, и вы их знаете, эти особенные лица, не похожие на наши; а когда на улице вы увидите такое лицо, оно украшено всегда хорошею дорогою шляпою. И человек всегда одет очень тепло, хорошо и дорого. Значит, их книги — жульничество, их они одевают, а нас раздевают, и, значит, книги нужно уничтожить. Сколько мы ни крадем, сколько мы ни грабим и ни убиваем, а

среди нас есть таланты и гении,— оратор поклонился собранию, и собрание ответило безмолвным, широким «браво», и председатель бесшумно позвонил в колокольчик,— сколько мы их ни грабим, они все одеты, а мы все раздеты. Следовательно, их способ лучше, и книги нужно уничтожить. Долото и отмычка так же бессильны против книги, как кулак или нож против...»

На этом текст обрывается. После вырезанных трех листов, на листе 64 авторизованной машинописи читается:

« — Приведите пленного,— сказал генерал.

Этот пленный был я. Меня взяли в сражении, и я был связан по рукам, и меня подвели к генералу.

— Смотрите, какой он белый,— сказал генерал.

Я был голый, и мне было стыдно и холодно.

— Ты шпион, и мы тебя повесим.

Это правда: я был шпионом и помню, как высматривал расположение их войск. Мне было страшно, а они все навалились на меня и душили; и я задыхался и громко стонал».

Далее как в печатном тексте: «— Успокойся! — сказал мне брат, присаживаясь на кровать...»

Тотчас по завершении «Красного смеха» Андреев отправил свой рассказ Л. Н. Толстому. Рукопись рассказа с дарственной надписью Л. Н. Толстому 17 ноября 1904 г. привез в Ясную Поляну брат Андреева — Павел Николаевич Андреев. В сопроводительном письме от 16 ноября 1904 г. читаем: «Я очень счастлив, что могу послать Вам рассказ, который, при всех своих многочисленных недостатках, по своей основной теме близок к тому, чему Вы учили людей последние годы и что еще недавно нашло выражение в Вашем письме против войны. Я первый раз в жизни сознательно переживаю войну, и то, что я увидел, так отвратительно и так страшно, что не находится слов это выразить. И этот недостаток настоящих слов прежде всего чувствуется в моем рассказе — слишком искусственном по настроению и деталям. Но есть и другая причина,— кроме неумения выразить свое чувство,— слабость рассказа — это коренная ломка некоторых моих воззрений, ломка, которой я обязан той же войне. Так, в новом освещении встают передо мною вопросы: о силе, о разуме, о способах нового строительства жизни. Пока это чувствуется еще неясно, но уже есть основания думать, что со старого пути я сворачиваю куда-то в сторону» (Т о л с т о й Л. Н. Переписка с русскими писателями. Изд. 2-е, дополн., т. 2. М., Художественная литература, 1978, с. 409). Уверенности в успехе ему придал отзыв Л. Толстого, которому повесть была отправлена тотчас по ее завершении. В приложенном Андреевым письме от 16 ноября 1904 г. читаем: «Я очень счастлив, что могу послать Вам рассказ, который, при всех своих многочисленных недостатках, по своей основной теме близок к

тому, чему Вы учили людей последние годы и что еще недавно нашло выражение в Вашем письме против войны»[1] (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1961, с. 664). Уже 17 ноября Л. Толстой ответил Андрееву: «Я прочел Ваш рассказ, любезный Леонид Николаевич, и на вопрос, переданный мне Вашим братом, о том, следует ли переделывать, отделывать этот рассказ, отвечаю, что чем больше положено работы и критики над писанием, тем оно бывает лучше. Но и в том виде, каков он теперь, рассказ этот, думаю, может быть полезен.

В рассказе много сильных картин и подробностей; недостатки же его в большой искусственности и неопределенности» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 75. М.— Л., 1933, с. 180—181). 16 февраля 1905 г., беседуя с приехавшим в Ясную Поляну Ф. А. Страховым, Л. Н. Толстой сказал о «Красном смехе», «что он хорош и нужно его распространять» (Литературное наследство, т. 90, кн. 1. М., Наука, 1979, с. 178).

«Дерзостную попытку, сидя в Грузинах, дать психологию настоящей войны»[2] читающая публика встретила с большим энтузиазмом. Сборник «Знания» с андреевской повестью разошелся в огромном для тех лет тираже — 60 000 экземпляров. Год спустя Андреев удовлетворенно отмечал в письме к Вересаеву: «Красный смех» мне нравится, быть может, потому, что действительно кровью сердца он написан. И действием его я доволен, судя по тому, что читал о нем в России и за границей. Он многих заставил пережить мучительный кошмар войны» (*Вересаев*, с. 396).

Ошеломляющее, гипнотическое действие повести испытал, как и многие другие, А. Блок, писавший С. Соловьеву: «Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему и спросить, *когда* нас всех перережут. Близился к сумасшествию, но утром на следующий день (читал ночью) пил чай» (Блок А. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 117).

Среди критиков же, как и предчувствовал Андреев, нашлись яростные противники повести, и незнание автором реалий войны действительно стало их главным козырем. «Не только по 〈...〉 идее, но и по форме, и по подробностям повествование г. Андреева изображает из себя нечто столь нелепое, что мы затруднились бы даже в собственных произведениях этого автора найти что-либо равное «Красному смеху» по дикости и несообразности со здравым смыслом и со здравыми чувствами»,— писал, например, Н. Я. Стародум (Стечкин). «...Будучи во всех своих предыдущих произведениях до

---

[1] Антивоенная статья Л. Толстого «Одумайтесь!» была опубликована в Англии в 1904 г. В России она вышла только в 1906 г.

[2] Письмо Л. Андреева Вересаеву от 6 февраля 1905 г. (*ЛН*, с. 512). Грузины — район Грузинских улиц в Москве, где в Средне-Тишинском переулке жил в то время Андреев.

мозга костей порнографом, г. Андреев, как это часто бывает с эротоманами, перешел к садизму» (Русский вестник, 1905, № 3, с. 250—251). Нашли себе здесь место и верноподданнические, ура-патриотические мотивы: «В настоящее время русские люди, сознающие важность происходящего на Дальнем Востоке для чести и достоинства России, несут все в жертву отечеству — жизнь и достояние. ⟨...⟩ Свой, к сожалению, модный голос г. Андреев в такую минуту посвятил поношению войны, русских людей, назвал сумасшедшими всех воюющих и пожелал всяких зол тем, кто не хочет прекращения войны и поругания России» (т а м ж е, с. 272—273).

Некоторые критики отказывали «Красному смеху» и в силе художественного воздействия. «Поезжай Л. Андреев, как писатель, на войну, увидай ее живыми глазами, а не сочиняй ее себе, он не громоздил бы искусственно придуманные ужасы, а дал бы ряд простых, по видимому заурядных сцен и картин войны, без всяких сгущенных страхов. Но от этой живой простоты было бы неизмеримо страшнее, чем от надуманных и подобранных ужасов. Живая действительность войны действительно ужаснула бы, а надуманный «Красный смех», при всей талантливости его художественной работы, скорее утомляет читателя, чем ужасает» (С т а р ы й Г. Русское слово, 1905, 17 марта, № 73). Противопоставляя андреевским «крикам и причитаниям» «простые слова В. Гаршина», который «был сам на войне», В. Львов-Рогачевский сокрушенно резюмировал: «Леонид Андреев пишет свой рассказ о человечестве, у которого мутится разум,— а читатель холоден и чужд. ⟨...⟩ Слово Леонида Андреева остается словом, остается кимвалом бряцающим и медью звенящею, а наше сердце молчит» (Образование, 1905, № 3, отд. II, с. 129).

Не столь резкой, но весьма строгой была оценка В. Брюсова: «...Новый рассказ Л. Андреева значительно слабее его последних вещей, и «Мысли», и «Бездны», и особенно «Отца Фивейского». ⟨...⟩ В «Красном смехе» он попытался дать психологию массового движения, и неудачно. Весь рассказ производит впечатление, что автор взял на себя задачу не по силам» (Весы, 1905, № 2, с. 60—61). Однако уже в следующем номере «Весов», вообще не баловавших Андреева похвалами, была помещена рецензия Вяч. Иванова, другого мэтра русского символизма. Он писал: «Нельзя не почувствовать в этом экстатическом произведении неподдельного крика ужаснувшейся и исступленной души, не ощутить себя, при его чтении, вовлеченным в вихрь безумного кошмара ⟨...⟩ «Красный смех» — сильнейшая, быть может, из проповедей, которыми современное человечество порывается умертвить бессмертного, загадочного ⟨...⟩ духа Войны» (Весы, 1905, № 3, с. 43).

Поднял свой голос в защиту «Красного смеха» Андрей Белый:

«Упрекают Андреева в субъективизме: вместо того, чтобы описывать массовое движение войск или бытовую картину войны, он будто грезит: но в этом его проникновение в современность.⟨...⟩ Узнать *действительность* значит сорвать маску с Невидимой, крадущейся к нам под многими личинами» (Весы, 1905, № 4, с. 15). Сходные мысли высказывал Вл. Боцяновский: «Леонид Андреев, ничего не измышляя для воспроизведения сложившейся у него в душе кровавой батальной картины, передает нам, только в красках и жизненно, те же факты, которые знаем все мы, но которых мы, по недосугу или по отсутствию чуткого воображения, не представляем себе реально ⟨...⟩ Измышлять Леониду Андрееву было совершенно излишне. Телеграммы и подробные корреспонденции, приходящие с войны каждый день, дают такой материал, какого не измыслит самое пылкое воображение» (Русь, 1905, № 22). «И, прочитав этот рассказ,— писал Вл. Боцяновский в другой статье,— вы долго не в состоянии будете отделаться от этого красного смеха, который преследует неотступно, давит, как кошмар ⟨...⟩ Крик «долой оружие» — старый, давнишний крик, но у Л. Андреева он звучит по-новому» (Русь, 1905, № 19). Сергей Яблоновский, назвав «Красный смех» экспрессией ужаса, выматывающего душу читателя, восклицает: «Это событие не только в русской, но и мировой литературе. Он переведется на все языки, как по своему чисто художественному достоинству, так и потому, что это самое сильное, самое громкое и самое глубокое из всего, что было до сих пор написано в защиту великой заповеди «не убий» (Волгарь, 1905, № 55). А вот еще мнение известного журналиста В. Е. Чешихина-Ветринского: «Все, что сжато и сконцентрировано в новом произведении Леонида Андреева «Красный смех» ⟨...⟩ все изо дня в день вы читали в телеграммах и корреспонденциях с театра войны ⟨...⟩ За целый год войны не было никем еще сказано так сильно, громко и прямо о «голом правдивом ужасе» ⟨...⟩ Это не только литературно-художественное, но и общественное явление» (Нижегородский листок, 1905, № 53).

Вересаев, участник русско-японской войны, в своих мемуарах иронизировал: «Мы читали «Красный смех» под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и — смеялись. Настолько неверен основной тон рассказа: упущена из виду самая страшная и самая спасительная особенность человека — способность *ко всему привыкать*. «Красный смех» — произведение большого художника-неврастеника, больно и страстно переживавшего войну через газетные корреспонденции о ней» (*Вересаев*, с. 384). Андреев же смотрел на эту «особенность» совсем иначе. В его письме к О. Дымову читаем: «Некоторые — немногие, впрочем,— упрекают меня, что я взялся изображать то, чего не видел, такой упрек пред-

ставляется мне положительным недоразумением⟨...⟩ И особенно странно такое недоразумение теперь, когда над вкусами публики царят Бёклин, Врубель и т. п. Почти всякий, кто знает меня и знает, что я не был на войне, попервоначалу относится к рассказу с недоверием, а кто меня не знает, уверяет, что я на войне был, и очень разочаровывается, узнав правду. А относительно данной войны, мне кажется, даже необходимо не видеть ее непосредственно, не участвовать в ней, чтобы судить о ней правильно. Так как они все немножко сумасшедшие, то они и не замечают этого и думают, что все обстоит в высшей степени благополучно: шашка рубит, пушка стреляет, тело продырявливается. Нужно стоять в стороне, чтобы слышать, как пищит несчастный человеческий разум под ударами бессмысленно умных ядер и умно бессмысленных приказов к наступлению и отступлению. Бывают случаи, когда «очевидцы» неизбежно лгут, и очень редко случается, чтобы свидетель мог быть хорошим судьею» (*Повести и рассказы*, т. 1, с. 679).

В целом же реакция на «Красный смех» была именно такой, какой ждал его автор: «Когда читаешь это произведение, волосы шевелятся на голове, холод пробегает по спине» (Вестник знания, 1905, № 7, с. 103); эта повесть «производит потрясающее, оглушающее впечатление» (Образование, 1905, № 2, отд. II, с. 39). Андреев мечтал еще усилить это впечатление иллюстрациями из «Ужасов войны» Ф. Гойи, но осуществить такое издание не удалось.

В 1905 г. повесть вышла на русском языке в Берлине; тогде же она была переведена на немецкий и французский языки. Берта фон Зуттнер, лауреат Нобелевской премии, автор известного романа «Долой оружие!», президент австрийского общества друзей мира и вице-президент международного Бюро мира в Берне, писала в предисловии к немецкому изданию «Красного смеха»: «Он обратит к идее мира тысячи умов. Правда, военные специалисты⟨...⟩ отделаются от рассказа словами «преувеличение, фантазия, неправда», но другие читатели будут потрясены.⟨...⟩ Только истекающим кровью, сжимающимся от боли сердцем можно создавать такие вещи» (см.: Ильев С. П. Леонид Андреев в немецкой критике.— Вопросы русской литературы. Вып. 1(10). Львов, 1969, с. 65). «Как социальный писатель, Андреев воспроизвел в своих глубоко затрогивающих описаниях не только ужасы маньчжурской резни, но и беспримерное жестокосердие власть имущих, которые еще увеличивали эти ужасы»,— говорилось в статье немецкого критика Голанта, опубликованной в «Pester Lloyd», 1906, 23 декабря, № 314. Кроме немецкого, уже в 1905 г. появились переводы «Красного смеха» на английский, испанский, болгарский, французский, финский, польский, румынский, венгерский, сербский, грузинский и др. языки. В отделе рукописей ИМЛИ хранится недатирован-

ное письмо Н. Д. Телешову от датского консула в Москве Ланге. Письмо содержит просьбу передать Андрееву, адреса которого консул не знает, прилагаемый номер датского журнала с началом перевода «Красного смеха». В 1907 г. перевод «Красного смеха» на эсперанто напечатан в журнале «Русланда Эсперанто».

С. 50. *Мильтон Джон* (1608—1674) — английский поэт, автор поэм на библейские сюжеты «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671).

ПРИЗРАКИ
(Стр. 74)

Впервые — в журнале «Правда», 1904, № 11.

Андреев закончил рассказ 11 октября 1904 г. и тут же сообщил об этом Горькому: «Написал между прочим превеселенький рассказик из быта сумасшедших. Животики надорвешь!» (*ЛН*, с. 228). Горький, по прочтении рукописи, ответил телеграммой: «Человек, который стучит в закрытые двери,— превосходно. Вполне самостоятельная тема. Ты ограбил себя, вводя эту тему. Призрака, усердно прошу, убери. Рассказ не проиграет. Очень прост, хорош — дружное мнение» (*ЛН*, с. 232). Просьба Горького была выполнена.

В связи с призраками Андреев однажды заговорил о значении прототипов в своем творчестве: «Писали, что в «Призраках» я изобразил одного известного московского психиатра в лице своего доктора Шевырева, который дни проводит в работе, а ночи — в подгороднем ресторане. Весь подсказ действительности здесь сводится только к тому, что однажды, в мой единственный заезд к «Яру», мне показали там одного доктора с таким пояснением. Ко всему остальному этот доктор уже не был причастен. Если для большинства психологических положений я использовал только свой душевный опыт, то иногда, для внешнего облика, так сказать, я пользовался натурщиками, но всегда синтезируя черты. Так, в тех же «Призраках», в Егоре Тимофеиче, летающем с Николаем-чудотворцем, я слил некоторые черты двух друзей писателей, и, когда я читал рассказ вслух, я почти не мог не выдерживать местный говор одного из них» (*Брусянин*, с. 74—75). Надо полагать, что имеется в виду Горький, отметивший в своих воспоминаниях об Андрееве: «А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 337).

Ресторан «Вавилон», описанный в рассказе, действительно существовал в г. Орле, на берегу реки Орлика (см.: *Фатов*, с. 252).

Критика, в основном, положительно оценила этот рассказ. Андрей Белый нашел его одним из «изумительных по красоте и силе» произведений Андреева. «Призраки» — апофеоз сумасшедшего дома,— писал он.— Тьма беспросветная, полная ужаса растворяет одинаково как идеальные, так и реальные основы жизни» (Весы, 1906, № 5, с. 66). Литературный обозреватель «Вопросов жизни» Волжский (А. С. Глинка) дал рассказу следующее определение: «...Это — отстоявшийся испуг, уставший от себя, надорвавшийся ужас, ужас внутренно-обессиленный, сорвавшийся с кричащих высоких нот напряженного вопрошания, страстного взывания, поникший в бессилии временного сонного покоя и недоуменной растерянности» (Вопросы жизни, 1905, № 1, с. 280). *Сторонний наблюдатель* ⟨В. В. Быховский⟩ назвал «Призраков» — рассказом «превосходным» и посвятил свою рецензию размышлениям о том — что это: аллегория или реалистическая зарисовка («СПб. ведомости», 1904, 5 декабря, № 334). Вл. Боцяновский, отметив созвучие Андреева современности, сравнивал «Призраков» с рассказом А. П. Чехова «Палата № 6» (Русь, 1904, 4 декабря, № 354). «Трагизм «Призраков»,— писал А. Измайлов,— тихий трагизм неустранимого увядания человеческой личности, ужасного схождения ее на нет, духовной смерти, приближающейся медленно и неизбежно ⟨...⟩ «Призраки» — строго реальная и бытовая вещь» (Биржевые ведомости, 1904, утр. вып. 10 декабря, № 639). Впрочем, некоторые рецензенты вступали с автором в полемику. Н. Геккер отнес «Призраков» к неудавшимся, слабым произведениям Андреева (Одесские новости, 1904, 5 декабря, № 6497). Ф. Белявский в обзоре «Русская литература в 1904 году» рассуждал по поводу «Призраков»: «Вместо силы и глубины «бунта» Ивана Карамазова здесь получается такое впечатление, как будто художник замахнулся дерзко на иной мир, но камень из его пращи сделал бессильный кривой зигзаг и упал рядом на землю. Получается это впечатление оттого, что в рассказе слишком много вымученного импрессионизма и заметно преобладание сухо-рассудочного момента. Огромный мировой вопрос о страданиях человечества Андреев вздумал прогнать сквозь узкую призму рассудочных настроений и пришел к глухой стене» (Слово, 1905, 6 января, № 35).

Свое собственное отношение к «Призракам» Андреев высказал в письме к М. П. Неведомскому: «...Именно: два психологических основных типа,— величие преследования; — призрачность счастья, несчастья и многого, что видится; а в общем — ничего печального. Пусть многоуважаемый «Георгий Победоносец» грезит — мне нисколько это не мешает любить его, сочувствовать его победе над мокрыми чертями; и то, что рядом существует Петров, ошалевший от ужаса и тайны, тоже очень хорошо, так как держит

руль жизни в равновесии и не дает причалить к тихой пристани. И я говорил своей компании, что рассказ этот — веселый, а они надо мною смеются» (Искусство, 1925, № 2, с. 267).

ГУБЕРНАТОР
(Стр. 100)

Впервые — в журнале «Правда», 1906, № 3. Этот номер был запрещен к розничной продаже, что, однако, не помешало критикам отрецензировать «Губернатора», зато сильно урезало авторский гонорар и испортило отношения Андреева с издателем «Правды» Кожевниковым.

В этом рассказе Андреев попытался художественно осмыслить сущность происходивших в России политических событий, в частности, ряда террористических актов, один из которых — убийство эсером П. И. Каляевым 4 февраля 1905 г. московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича — и подсказал писателю тему его произведения. Андреев писал тогда Вересаеву: «Поводом к убийству великого князя послужило избиение на улицах Москвы демонстрантов 5 и 6 декабря — тогда же социал-революционеры «приговорили» его и Трепова [1] к смерти, о чем оповестили всех прокламациями. И все, и сам С. А., ждали, и казнь совершилась» (*Вересаев*, с. 393).

В сентябре того же года Горький сообщал издателю сборников «Знания» К. П. Пятницкому: «Андреев написал своего «Губернатора» — озаглавив его «Бог отмщения». Вышло длинно, не очень сильно и вообще — не удалось, что он, к великому удовольствию моему, и сам понял. Печатать эту вещь не надо как по первой — указанной — причине, так и по нецензурности, коя не искупается содержанием — т. е. рассказ плох пока, и рисковать — не стоит. Но все же — какой это талант, Леонид! — есть места большой силы, дьявольски глубокие по настроению» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., Гослитиздат, 1954, с. 386). Через месяц и сам Андреев признался Пятницкому: «Губернатор мой вышел плох, оставил его на время или совсем» (*ЛН*, с. 421).

Но рассказ был опубликован; критика же, как и всегда, оказалась разноречивой. Антон Крайний (З. Н. Гиппиус), вопреки обыкновению, похвалил это произведение: «Единственная недурная вещь Андреева в его сборнике это — рассказ «Губернатор», испорченный только тем, что неизменно портит нашу последнюю беллетристику,— тем, что это — «картинка революционного времени» ⟨...⟩ Повестям, рассказам, поэмам и трагедиям наступает

---

[1] Трепов Д. Ф.— московский обер-полицмейстер.

время, когда проходят времена прокламаций» (Весы, 1907, № 7, с. 58). В. П. Кранихфельд высказался резче: «Рассказ страшно растянут и производит впечатление искусственности и публицистичности». Ни один живой губернатор, по мнению обозревателя, не расценит его иначе, «как детскую побасенку из мира сентиментальных чудаков» (Мир Божий, 1906, № 4, отд. II, с. 70, 72).

Ю. Айхенвальд не нашел в «Губернаторе» злободневной публицистичности, как другие, но не признал его и художественно убедительным: «...Узоры человеческих переживаний слишком красивы и эффектны для того, чтобы все это могло потрясти душу». Идею же произведения критик определил так: «Героем рассказа является не столько губернатор, сколько мистический Закон — Мститель. Задачей автора было 〈...〉 показать, как неумолимые Эринии преследуют несчастного преступника» (Русская мысль, 1906, № 4, отд. II, с. 211, 215).

С этой же, концептуально-содержательной, стороны, подошел к анализу «Губернатора» и К. И. Арабажин. «Достаточно было нескольких месяцев подъема народной жизни,— писал он в своей книге о Леониде Андрееве,— чтобы переродить, хотя бы и на время, заядлого пессимиста. Из произведений этого года явно под влиянием гапоновской и последующих за ней историй написана повесть «Губернатор». Она дает нам несколько талантливых страниц для выяснения коллективной психологии и очень тонко и вдумчиво объясняет происхождение и психологические мотивы террора.

Как бы отрицательно мы ни относились к террору и с точки зрения этической и с точки зрения политической бесплодности его, мы не можем отрицать, что явления террористического характера имеют глубокие корни в обществе и не могут быть объясняемы по казенному способу,— преступностью безумцев. Андреев дает нам в этом смысле удивительную по наблюдательности и меткости картину» (Арабажин К. И. Леонид Андреев. Итоги творчества. СПб., 1910, с. 99—100).

В 1928 г. рассказ был экранизирован режиссером Я. Протазановым под названием «Белый орел». В. И. Качалов, исполнитель главной роли, дал ей остросоциальную интерпретацию: «Всю реакцию губернатора на расстрел рабочих я старался раскрыть не в плане реакции человека, а в плане реакции государственного деятеля, физически расстрелявшего рабочих, но сознающего, что он расстреливал не их, а самого себя, свой класс, свой режим» (Качалов В. Сборник статей, воспоминаний, писем. М., 1954, с. 68).

При жизни Андреева «Губернатор» переведен на немецкий (1906), датский (1906), польский (1907), румынский (1908), французский (1908), английский (1917) и другие языки.

МАРСЕЛЬЕЗА
(Стр. 148)

Впервые — в «Нижегородском сборнике» (издательство «Знание». СПб., 1905 г.). Весь доход от издания поступил в пользу Общества взаимопомощи учителей Нижегородской губернии.

Свое тревожное и радостное предчувствие надвигавшихся революционных событий и свои надежды на торжество свободолюбия Андреев выразил в письме Вересаеву (июль 1904 г.): «А красив человек — когда он смел и безумен и смертью попирает смерть. Вы читали «Марсельцев»? Оборванные, они шли в Париж спасать свободу и пели «Марсельезу». Пели и шли, пели и шли. В этом есть что-то очень убедительное, очень большое, и мне всегда легче становится при воспоминаниях о марсельцах. Как будто здесь кроется ответ» (*Вересаев*, с. 392).

«Марсельезу» высоко оценил критик В. Львов-Рогачевский, писавший: «Рассказ «Марсельеза» ⟨...⟩ кончается *апофеозом героя*, скрытого под смешной «внешностью маленького человечка» ⟨...⟩ Это стихотворение в прозе явилось точно увертюрой к великим годам, отмеченным красным крестом в календаре русской общественности» (Львов-Рогачевский В. Две правды. Книга о Леониде Андрееве. СПб., 1914, с. 63).

Из ранних переводов «Марсельезы» на иностранные языки: венгерский и румынский (1905), болгарский (1906), английский (1915), испанский (1919) и другие языки.

ТАК БЫЛО
(Стр. 151)

Впервые — в альманахе «мистических анархистов» «Факелы», № 1 (СПб., 1905), который редактировал Георгий Чулков. В 1906 г. повесть, с подзаголовком «Очерк из эпохи французской революции», вышла отдельным изданием в Штутгарте.

Андреев рано ощутил близость социального взрыва, и, когда революция наступила, он уже смотрел дальше. Повесть «Так было» — о революции вообще, но в ней звучит тревожное предчувствие и вполне внятное предупреждение. Горький вспоминает: «Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен» [1], но уже в октябре 1905 г. прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

[1] «Из рассказа, который никогда не будет окончен» написан позднее, в 1907 г.

— Хорошее всегда преждевременно» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 345).

Вот что рассказывает о появлении «Так было» В. В. Брусянин: «Осенью 1905 г., месяца за два до московского восстания, Андреев пишет рассказ «Так было», откликнувшись на события дня синтезом революции. Только что написанный тогда рассказ был прочтен автором среди товарищей на одной из литературных «сред», и я помню, с каким смятенным чувством ожидания ехали мы по московским улицам к тому дому, где предполагалось чтение рассказа. Улицы были пустынны, в домах горели робкие огни, а мимо каменных и деревянных домов разъезжали патрули, и на углах стояли городовые по двое... И я помню, каким противоречием в настроении слушателей отозвались последние заключительные строки этого рассказа: «так было — так будет».

Так будет: люди победят своего короля и над его могилой будут кричать: «Да здравствует Двадцать Первый!..» И я помню, многие из слушавших рассказ накинулись на автора: зачем он попытался развеять иллюзии, которыми мы в то время жили... И я не могу забыть, с какой печалью в глазах на бледном лице защищал свое неверие Андреев. Он нам говорил: пройдите чрез свое неверие, преодолейте его, чтобы остаться жить и верить. Пессимизм Андреева того времени являлся для нас противоядием тому пессимизму, которым было охвачено русское общество в годы разрухи. За год до 1905 г. Андреев писал: «Сейчас песенка пессимизма спета, и какие бы новые мотивы для нее ни придумывали, они даже в исполнении величайшего артиста прозвучат фальшью. Я имею в виду, конечно, не научный пессимизм, далекий от жизни, а пессимизм обывательский, от которого мухи дохнут» (*Брусянин*, с. 11—13).

Критика сразу же выделила андреевскую повесть среди собранных в альманахе произведений. «К программе «Факелов», к неприятию мира рассказ относится лишь своими наиболее слабыми частями: наивной характеристикой царской власти, придуманной моралью (в начале последней главы) и т. д. Но отдельные страницы, где изображаются беспричинные стихийные движения толпы, написаны с тем мастерством, с той силой, с той магией искусства, которая всегда побеждает в рассказах Леонида Андреева даже предубежденного читателя»,— отмечал в своей рецензии В. Брюсов (Весы, 1906, № 5, с. 58). «Лучшею вещью сборника является повесть Л. Андреева «Так было»,— писал А. Бачинский из «Золотого руна».— Это — полная своеобразия, мастерская вышивка по канве, представляемой историей великой революции и Людовика XVI. Читатель проникается ощущением темной власти тысячелетних призраков, которые, словно некие испарения коллективной души человечества, сгущаются и витают над ней в течение веков, обессиливая стремление к окрыленной свободе и ясной

радости. С технической стороны эту повесть надо отнести к наиболее совершенным произведениям Л. Андреева» (Золотое руно, 1906, № 5, с. 83).

Д. С. Мережковский, напротив, не принял именно «технической стороны» повести. «Кто из нас не возмутится,— писал он,— когда бесчестят женщину; отчего же мы не возмущаемся, когда бесчестят язык: ведь и он живой, ведь и он целомудренный» (Русская мысль, 1908, № 1, отд. II, с. 78).

Серьезному анализу подверг «Так было» В. П. Кранихфельд. Андреева, писал он, «интересуют главным образом те темные стихийные влечения, которые заложены в самых скрытых глубинах человеческой психики, которые стыдливо прячутся при свете разума, «малого разума» Ницше, но которые на самом деле господствуют над человеком. ⟨...⟩ В новом своем рассказе г. Андреев вскрывает те темные и таинственные процессы, путем которых создавалась, нарастала и обожествлялась в общественном сознании идея абсолютизма». С публицистикой, прорывающейся исподволь, особенно в финале, можно поспорить,— считает критик,— «но художественная идея ⟨...⟩ очерка сама по себе настолько значительна, что устраняет всякую потребность в публицистическом истолковании, а тем более в публицистической полемике по поводу него» (Мир Божий, 1906, № 4, отд. II, с. 64, 68).

Внимательным и весьма критическим было прочтение повести А. Измайловым, писавшим в своей рецензии: «Андреев с особенным интересом следит в рассказе ⟨...⟩ двойственную психологию тигра и пса, Прометея и раба в человеке. Он не уясняет, почему это так,— и кто разберется в этом хаосе, казалось бы, взаимно исключающих настроений? — но достаточно выразительно и правдиво показывает этот хаос». Однако, полагает критик, «рассчитанные нагромождения ужаса на ужас, странности на странность — разрушают впечатление того настоящего ужаса, какой несет с собою революция. ⟨...⟩ Персонификация природы (туман — призрак) становится надуманной и деланной, суровый стиль рассказа сменяется риторическим цветословием, и на весь рассказ ложится печать рассчитанности, претенциозности и манерности...» (Новая иллюстрация. СПб., 1906, с. 71).

В 1906 г. в Софии отдельным изданием вышел перевод «Так было» на болгарский язык. С разрешением автора перевод был осуществлен Георги Бакаловым.

ХРИСТИАНЕ

(Стр. 175)

Впервые — в «Журнале для всех», 1906, № 1.

Необычный сюжет рассказа не выдуман Андреевым. Вот что рассказывает об этом писатель С. Я. Елпатьевский: «...Как-то

в Озерках, под Петербургом, у меня обедали Горький и Леонид Андреев. Не помню, по какому случаю за обедом зашел разговор о литературном творчестве, о писательских темах. Я сказал, что жизнь часто создает свои повести и романы интереснее писательских, а в подтверждение вынул из кармана вырезку из «Русских ведомостей», где репортер сообщал, что во время какого-то судебного дела одна из свидетельниц отказалась принять присягу, заявив, что она проститутка, не чистая, и потому недостойна целовать крест и Евангелие. После обеда мы играли в крокет. В перерыве Леонид Николаевич отозвал меня в сторону и убедительно, с его особливой настойчивостью, стал просить меня уступить ему эту тему.

Я чувствовал, что тема захватила его, знал, что здесь он будет в своей стихии, и отдал ему газетную вырезку. Так появилась его «Христианка» (Былое, 1924, № 27—28, с. 281).

Миролюбов, редактор «Журнала для всех», вопреки опасениям Горького, принял рассказ, написанный «в форме репортерского отчета, не по-андреевски»;[1] пропустила его и цензура.

Критики по-разному встретили «Христиан». А. Амфитеатров писал: «Христиане» — вещь потрясающей могучести. Настолько, что, благодаря энергии тона и красочности «Христиан», публика оставила без внимания то обстоятельство, что судебная обстановка рассказа — фантастична и невозможна, как будто Л. Андреев и в суде-то никогда не был» (Амфитеатров А. Против течения. СПб., 1908, с. 198). Сходную оценку дал рассказу А. Г. Горнфельд: «Пусть утрированы и выдуманы эти «верхние десять тысяч» облыжных «Христиан», и эта упорная женщина, смутившая их гнусный покой,— но художественный и моральный эффект, достигаемый этим преувеличением, так силен, так беспощадно обнажена в рассказе глубокая трясина нашей общественно-церковной лжи, такой захватывающей трагедией целого культурного слоя проникнут весь рассказ, что остается признать за писателем право на эти преувеличения. Победителя не судят» (Горнфельд А. Г. Книги и люди. СПб., 1908, с. 12). Ю. Айхенвальд был более требователен: «Этот рассказ не усиливает впечатления, которое произвели коротенькие строки ⟨...⟩ газетной заметки». Андреев, по мнению критика, «больше высмеивает судей и людей вообще, мнимых христиан, чем проникает в истерзанную душу своей героини» (Русская мысль, 1906, № 4, с. 216—217). Невысокого мнения о рассказе был и литературный обозреватель «Золотого руна» А. Курсинский. «Христиане» не лишены претензии на идейность,—

---

[1] Письмо М. Горького к К. П. Пятницкому от 20—21 сентября 1905 г.— Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Гослитиздат, 1954, т. 28, с. 386.

писал он,— и в этом их главная неудачность. Этот стоящий совсем особняком рассказ слишком разросся вширь и не пошел вглубь». Его «приходится отметить как произведение периода утомленности. 〈...〉 Карикатурный шарж — вне таланта г. Андреева и особенно, когда он переплетается с мотивами хотя бы и старой, но все же серьезной темы» (Золотое руно, 1906, № 5, с. 86—87).

Очень понравились «Христиане» Л. Толстому, увидевшему в них «сатиру на quasi-христианство» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 57. М., 1952, с. 372). «Превосходным» назвал он андреевское описание судебного заседания (см.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1960, с. 406).

«Христиане» переведены на болгарский (1905), польский (1907) и другие языки.

С. 185. *«Прерывистый, задыхающийся шепот — вот эмбрион всех сфинксов...»* — пародийная контаминация. Фраза составлена из цитат, взятых Андреевым из книги В. В. Розанова «В мире неясного и нерешенного» (Изд. 2, 1904) и у критика Волжского 〈А. С. Глинки〉, который посвятил В. В. Розанову апологетическую статью «Мистический пантеизм В. В. Розанова» (вошла в сб. статей Волжского «Из мира литературных исканий». СПб., 1906). Современный читатель «Христиан» узнавал первоисточник, чем и достигался сатирический эффект. Так, М. Горький, 20—21 сентября 1905 г. сообщая К. П. Пятницкому о новом, еще не напечатанном рассказе Андреева «Христиане», прямо писал, что в рассказе защитник на суде — это «адвокат Волжский из Вопр〈осов〉 жизни». (Архив А. М. Горького, т. IV. М., Гослитиздат, 1954, с. 187.)

ЕЛЕАЗАР

(Стр. 192)

Впервые — в журнале «Золотое руно» (1906, № 11—12). Авторская дата — 7 сентября 1906 г. Отдельным изданием выпущен И. Ладыжниковым в Берлине (1906). Рассказ вошел в сб. «Ссыльным и заключенным» (СПб., изд. «Шиповник», 1907).

Возникновение идеи «Елеазара» связывают с прочитанной Андреевым драмой Г. Флобера «Искушение святого Антония». Писатель предполагал и дальше развивать эту тему — в пьесе «Агасфер», но замысел остался неосуществленным.

Работал Андреев над рассказом, по обыкновению, недолго. «С удивительной быстротою написал «Елеазара»,— сообщил он Горькому,— рассказ мрачный, как клистирная трубка...» (*ЛН*, с. 274). Горький дал высокую оценку художественным достоинствам нового сочинения своего друга, но его философской концепции не

принял. «...Это, на мой взгляд, лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной литературе,— отвечал он Андрееву с Капри.— Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и приближаешь людей к неразрешимой загадке, не разрешая ее, но страшно, близко знакомя с нею. Ее чувствуешь — спокойную, темную, великую своим спокойствием — это удивительно и хорошо. Превосходно выдержан стиль. Вообще — как литература, как произведение искусства — эта вещь дает мне огромное наслаждение и вызывает славную радость за тебя — молодчина ты! Как философия — это для меня неприемлемо. Я заражен жизнью и силами ее лет на шестьсот и — чем дальше — тем более оптимистично смотрю на жизнь〈...〉 Но — философия твоего рассказа тонет в красоте его формы, как спрут в черной глубине Неаполитанского залива.〈...〉Я ничего не имею против смерти — но питаю отвращение к трупам, особенно к тем из них, которых не похоронили почему-то, и они ходят по улицам, женятся, пишут книги, картины, вообще — состоят при жизни, поддерживаемые какою-то инертной силой на двух ногах.

Смерть, если это целостно, закончено и крупно, может быть даже красиво — но умирание — отвратительно всегда — так?〈...〉И мне страшно хочется, чтобы ты возненавидел умирающих и со всей спокойной, огромной силой твоего таланта добивал их» (*ЛН*, с. 280).

Реакция критики на «Елеазара» была скорее отрицательной, причем «одергивали» его автора как «справа», так и «слева». Зинаида Гиппиус писала в «Весах»: «Фантастические сюжеты, «мистическая» обстановка крайне невыгодны для Л. Андреева: вся грубость, вся примитивная его некультурность и вытекающая из нее беспомощность — выступают особенно выпукло и резко, как только Л. Андреев хочет оторваться от реальных форм быта» (Весы, 1907, № 5, с. 53—58). А. В. Луначарский, назвав Андреева «самым могильным могильщиком», «эмиссаром смерти» и «гробокопателем», дал рассказу следующее определение: «Элеазар» превосходный образчик у-укающей литературы. Это страх смерти в чистейшем его виде, «у-у-у» на самых высоких, сердце надрывающих нотах». По мнению критика, Андреев, «сам того не зная, воскресшему Христу, герою, носителю идеи, противопоставил воскресшего Лазаря, ничтожество, мещанина» (*Литературный распад*, с. 149, 150, 156).

Осудил «Елеазара» и В. Львов-Рогачевский. «Мы утверждаем, что в жизни происходит как раз наоборот,— писал он.〈...〉Не потому они вялы и тучны и от них смердит, что дерзнули они поглядеть в глаза Ничто, а наоборот: потому они засматриваются на дикокричащие уступы, что перестали утверждать жизнь, утратили жизнерадостность, вкус к жизни и только поднимают свои «синие

лица кверху», к солнцу, потухшему для них». Свою критику Львов-Рогачевский подкрепил общественным мнением. «Мы читали «Елеазар» вслух,— пишет он.— Были рабочие. Кончили, и вот начались споры.

— Да что вы нас тащите к смерти, мы еще не жили...— говорил один рабочий.— Разве не был мертв наш народ? «Мертв в законе» и в жизни, а теперь он, как Лазарь, воскрес. Чего смеетесь! Да,— мы Лазарь воскресший! Но мы не похожи на Елеазара Л. Андреева: тот, кто поглядел нам в глаза, тот прочел там жажду жизни и борьбы, и обидно теперь «петь Лазаря», как поют на ярмарках слепцы, вымаливая подаяние.⟨...⟩ К искусству приходят теперь из мрака и холода миллионы, а вы отсылаете их к Неизвестному и бесконечному... Вам нет дела до страданий миллионов?..» (Образование, 1907, № 3, отд. III, с. 60, 62).

Максимилиан Волошин, поместивший свою рецензию в газете «Русь», также остался недоволен «Елеазаром». «Ужас андреевского рассказа зародился в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа»,— писал он. Вместе с тем, его анализ этого произведения отличался от других ценными историко-литературными открытиями. Прямым источником «Елеазара» Волошин назвал поэму Дьеркса «Lazare», переведенную с французского и напечатанную в «Мире Божьем»:

И дети, и взрослые, и старики — все в Вифании
Боялись этого человека. Он проходил одинокий и угрюмый,
И застывала кровь в жилах самых храбрых
Перед смутным ужасом, парившим в глубине его глаз».—

Андреев «удержал все основные черты, данные Дьерксом: и его равнодушие к тщетной суете жизни, и его таинственное молчание, и даже силуэт Елеазара на фоне заката,— отмечает М. Волошин.— ⟨...⟩ Некоторые же подробности он преувеличил до ужасающего кошмара и из того «смутного ужаса, парившего в глубине глаз» Елеазара,⟨...⟩ он создал мертвую голову Медузы, которая взглядом своим убивает все живое» (Русь, 1907, № 47, 16 февраля).

Р. Иванов-Разумник в своем труде «О смысле жизни. Федор Сологуб. Леонид Андреев. Лев Шестов» (СПб., 1908) уделил «Елеазару» особое внимание. Именно здесь исследователь «философии трагедии» нашел утверждение ценности жизни самой по себе, обнаружил — благодаря образу императора Августа — движение к «имманентному субъективизму». «Объективная бессмысленность жизни побеждается ее субъективной осмысленностью»,— таково, по мнению Иванова-Разумника, идейное содержание важнейшей в рассказе сцены между Елеазаром и Августом (см.: Иванов-Разумник Р. В. Указ. соч., с. 155).

«Елеазар» переведен на английский, болгарский (1907), сербский (1908), испанский (1914), итальянский (1919) и др. языки.

ИУДА ИСКАРИОТ
(Стр. 210)

Впервые, под заглавием «Иуда Искариот и другие»,— в «Сборнике товарищества «Знание» за 1907 год», кн. 16 (СПб., 1907).

Задумано это произведение было годом раньше: в марте 1906 г. Андреев, живший тогда в Швейцарии, просил своего брата Павла прислать ему книги Ренана и Штрауса «Жизнь Иисуса» (*Повести и рассказы*, т. 2, с. 413). В мае того же года он сообщал Серафимовичу: «Между прочим, я подумываю со временем написать «Записки шпиона», нечто по психологии предательства» (Московский альманах, 1926, кн. I, с. 294). Однако окончательное решение этот замысел получил только в декабре 1906 г. на Капри, куда Андреев переехал из Германии после смерти жены. Горький в своих воспоминаниях воспроизвел разговор с Андреевым, предшествовавший появлению «Иуды». «...Он сказал:

— Я хочу писать об Иуде,— еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье [1],— очень умное. Что ты думаешь об Иуде?

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиуса Векселя «Иуда и Христос»[2], перевод рассказа Тора Гедберга [3] и поэма Голованова [4],— я предложил ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги,— ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 348—349).

«...В первой редакции рассказа «Иуда»,— добавляет затем Горький,— у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие» (*Горький*

---

[1] А. Рославлева.— Примеч. М. Горького. (Оно называлось «Иуде».)

[2] Ошибка памяти М. Горького. У финского поэта Юлиуса Векселля, писавшего на шведском языке, такого произведения нет. По всей вероятности, имеется в виду немецкий писатель Карл Вейзер. В 1908 г. М. Горький читал перевод на русский язык его драматической поэмы «Иисус» (1906). См. письмо М. Горького — Е. П. Пешковой от августа 1908 г., ст. ст. (Архив А. М. Горького, т. IX. М., Гослитиздат, 1966, с. 53).

[3] Повесть шведского писателя Г. Тора «Иуда». История одного страдания» (1886), вышла в России в 1908 г.

[4] Драма в стихах «Искариот» Н. Н. Голованова вышла в свет в 1905 г.

М. Полн. собр. соч., с. 350). 30 января (12 февраля) 1907 г. М. Горький сообщил Е. Пешковой: «Леонид написал рассказ «Иуда Искариот и другие» — два дня мы с ним говорили по этому поводу, чуть не до сумасшествия, теперь он переписывает снова. Вещь, которая будет понята немногими и сделает сильным шум» (Архив А. М. Горького, т. IX. М., Гослитиздат, 1966, с. 23). «Горький одобряет,— писал Андреев Вересаеву по окончании работы,— но я сам недоволен» (*Вересаев,* с. 398).

Горький оказался прав. Тема предательства, ставшая особенно актуальной после разоблачения Азефа в 1908 г., равно как и сам библейский материал, весьма произвольно и смело использованный автором «Иуды», привлекли к новому произведению Андреева всеобщее внимание. Появилось много благожелательных критических отзывов. «Это произведение,— писал, например, Е. Ляцкий,— новое доказательство того, как растет и крепнет талант Леонида Андреева, с какой могучей силой освобождается он от прежней склонности к эксцессам и ищет новых путей к познанию человеческой души и красот родного слова» (Современный мир, 1907, № 7—8, отд. II, с. 60—61). Всегда строгий Львов-Рогачевский был в восторге от повести: «Иуда Искариот и другие» — выдающееся произведение нашего времени, оно займет видное место в мировой литературе, а новый образ Иуды предателя станет перед людьми, перед «другими» наряду с Юлианом Отступником Г. Ибсена, сверхчеловеком Ницше, Великим Инквизитором Достоевского... Это *наше* время диктовало Леониду Андрееву его произведение, а не легенда минувших тысячелетий» (Образование, 1907, № 6, отд. III, с. 67). Даже А. В. Луначарский в своей статье об «их литературе» назвал эту повесть «литературным шедевром». «Тезис Андреева,— по его мнению,— может быть сформулирован так: Вы говорите Христос, Христос. Да вы посмотрите, какую, с вашего позволения, сволочь он хотел искупить?» Возражение у критика вызвало только желание Андреева сделать «из пассивности 11 учеников Христовых вывод о низости рода человеческого вообще» (*Литературный распад,* с. 156—157).

Были, конечно, высказаны и прямо противоположные суждения. «Образ Иуды начерчен Андреевым в высшей степени〈...〉кокетливо, претенциозно, с целой грудой антихудожественных перерисовок〈...〉и специфически андреевских изощрений. 〈...〉 Трупный запах здесь подле чаяния чуда Воскресения»,— писал, например, Волжский (А. С. Глинка) (Живая жизнь, 1907, № 1, с. 26—27).

Не понравился «Иуда» и Л. Толстому: «Ужасно гадко, фальшь и отсутствие признака таланта. Главное зачем?» (Толстовский ежегодник, 1912, с. 141).

Многие, как и предполагал Горький, прямо выразили свое

недоумение и растерянность. Антон Крайний (З. Н. Гиппиус) как всегда свысока и без обиняков заявил: «Что же хотел сказать Андреев своим «Иудой»,— я так и не понял. 〈...〉 Убедить нас, сделав Иуду благороднее других учеников, что современные евреи из Вильны благороднее древних евреев? Как хотите, иного смысла для рассказа не подберу» (Весы, 1907, № 7, с. 59). Литературный обозреватель «Русского богатства» Редько писал: «Положение читателя «Иуды» далеко не простое. 〈...〉 Перед вами все время не разгадка, а полуразгадка. Вы находите фразы, слова, настроения и факты поведения Иуды, из которых *должно* сложиться ваше собственное объяснение, но стройной связи этих слов и фактов, создающей из них искомое целое, вы не находите. Почувствовать эту связь — по тому, что дано в рассказе,— задача вашего собственного отношения к «Иуде» (Русское богатство, 1908, № 6, отд. II, с. 10).

Толкованию повести было посвящено много страниц; например, ее евангельскую критику, с изложением теодицеи предательства и истинного значения Голгофы, содержит книга священника, магистра богословия А. Бургова «Повесть Л. Андреева «Иуда Искариот и другие» (Психология и история предательства Иуды)» (Харьков, 1911). С. Аскольдов в статье «Иуда» и «другие» в понимании Леонида Андреева» констатировал: «Религиозное учение Христа отсутствует в том изображении учеников, которое дал Андреев 〈...〉 Если оценить всю концепцию Андреева в целом, не остается никакого сомнения, что Андреев совершенно отверг «Евангелие», как свидетельство о Христе и Иуде или во всяком случае его сильно исказил» (Век, 1907, 17 июня, № 23). Свою статью о повести Андреева В. В. Розанов озаглавил «Русский «реалист» об евангельских событиях и лицах» (Новое время, 1907, 19 июля, № 11260). А. Ум-ский (А. А. Дробыш-Дробышевский) в рецензии на «Иуду Искариота» назвал Андреева художником запутанных настроений человеческой души и отметил влияние на Андреева Г. Флобера (Нижегородский листок, 1907, 28 апреля, № 100). В критике проводились параллели между повестью Андреева и произведениями других авторов об Иуде. Так, Литературный старовер (А. А. Коринфский), нападая на Андреева за реабилитацию Иуды, вспоминал «Последнюю ночь Иуды» Г. Гауптмана (Голос правды, 1907, 21 июня, № 531). Н. Державин, особо остановясь на вопросе о мотивах предательства Иудой Христа, сравнивал повесть Андреева с драмой немецкого писателя Поля Гейзе «Мария из Магдалы», в 1907 г. вышедшей в русском переводе, и отмечал, что у Андреева подход к поступку Иуды философский, а у Поля Гейзе — политический (Тифлисский листок, 1908, 13 февраля, № 37). Л. Троцкий посвятил «Иуде Искариоту» статью «Трагедия Иуды Искариотского в двух интерпретациях:

Л. Андреева и Н. Голованова». Признав, что «Иуда» у Андреева «написан блестящим языком, каким и сам Андреев не всегда пишет», и что повесть его производит «безусловное впечатление», Л. Троцкий отмечал, что автор повести изобрел «особую реально-мистическую психологию. ⟨...⟩ Под влиянием некоторых художественных изображений Дьявола и Мефистофеля г. Андреев придал Иуде такую плоть, которая может ужаснуть своею искусственною реальностью» (Север, 1907, № 22, 23). С глубоким анализом андреевского произведения вновь выступил Волошин. Он указал, что трактовка предательства в «Иуде» вовсе не оригинальна; она вполне соответствует некоторым еретическим учениям первых веков христианства, в которых Иуда рассматривался как самый посвященный из учеников, принявший на себя бремя заклания — предательство. Этому апостолу Христос передает свою силу — кусок хлеба, омоченный в соль — причастие Иудино. А дальнейшее переосмысление образа Иуды призвано дополнить эту жертву вечным клеймом предателя. В таком понимании Иуде соответствует герой индийской мифологии — ученик Кришны царевич Арджуна. Андреев же, считает Волошин, не довел эту идею до конца, даже сам как бы не заметил слов Иуды: «Я! Я буду ближе всех к Христу». «Он всегда входит в ту дверь, в которую надо, но не идет дальше прихожей»,— заключает М. Волошин (Русь, 1907, № 157, 19 июня).

Между тем, эта трактовка была, по-видимому, ближе многих других к андреевскому замыслу. Вот один из разговоров с Андреевым, восстановленных Горьким в его воспоминаниях. Андреев:

«— Кто-то сказал: «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа,— Достоевский прав; Христос был великий путаник...

— Достоевский не утверждал этого, это — Ницше...

— Ну, Ницше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка...

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

— Конечно,— царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей,— грек, эллин. Он, брат, умный и дерзкий человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия,— глупо думать, что он предавал только ради заработка. Знаешь,— если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова,— он все-таки предал бы его. Убить Бога, унизить его позорной смертью,— это, брат, не пустячок!» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 356).

Безусловно, эта мысль не способна вобрать в себя весь со-

зданный писателем художественный образ,— он намного сложнее и крупнее. Загадочные отношения андреевских Иуды и Иисуса воплотились в одной из картин Андреева, описанной дочерью писателя, Верой Леонидовной: «В холле наверху висела картина, нарисованная папой разноцветными мелками. Это головы Иисуса Христа и Иуды Искариота. Они прижались друг к другу, один и тот же терновый венец соединяет их. Но как они непохожи!

И странная вещь: несмотря на то что сходства нет никакого, по мере того как всматриваешься в эти два лица, начинаешь замечать удивительное, кощунственное подобие между светлым ликом Христа и звериным лицом Иуды Искариота — величайшего предателя всех времен и народов. Одно и то же великое, безмерное страдание застыло на них. Постепенно начинает казаться, что губы Христа искривлены той же судорожной гримасой, что тот же скрытый ужас смерти проглядывает сквозь одухотворенную бледность его лица, таится под закрытыми веками глаз, прячется в фиолетовых тенях около рта. Кажется, что от обоих лиц веет одинаковой трагической обреченностью.

Они рады бы отделиться друг от друга, но терновый венец связывает их неразрывно — так и кружатся в нелепой, безумной пляске, заламывая худые окровавленные руки» (Андреева В. Л. Эхо прошедшего. М., 1986, с. 27—28).

Глубину и смысл переживаний создателя «Иуды» прочувствовал и по-своему передал Блок. «Так вот какова эта повесть,— писал он.— За нею душа автора — живая рана. Думаю, что страдание ее — торжественно и победоносно. ⟨...⟩ Мы знаем уже могущественное дуновение андреевского таланта, и можно только удивляться тому, что и годы не убивают это чудовищное напряжение» (*Блок*, с. 107).

При жизни Андреева «Иуда Искариот» переводился на немецкий (1908), датский (1908), английский (1910), французский (1914), итальянский (1919) и другие языки.

ТЬМА
(Стр. 265)

Впервые — в альманахе «Шиповник», кн. 3 (СПб., 1907).

В мае 1907 г. на Капри Андреев познакомился с эсером П. М. Рутенбергом, организатором убийства Гапона. Рассказ Рутенберга о происшествии, случившемся с ним в публичном доме, и послужил сюжетной основой для «Тьмы». Горький в своих воспоминаниях об Андрееве так передает эту историю: «...Девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, кото-

рой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке,— пощечина вполне заслуженная, на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился пред нею и поцеловал руку ее,— мне кажется, последнего он мог бы и не делать» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 351).

Андреевская интерпретация этого случая очень огорчила Горького и стала одной из причин разрыва дружеских отношений двух писателей. «...Леонид неузнаваемо исказил и смысл и форму события,— пишет Горький.— В действительном публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ...

Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносилен убийству из каприза — злого каприза. Он напомнил мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения,— я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально-человеческих чувств могут произвольно искажаться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и хотя беседа носила вполне миролюбивый, дружеский характер, но все же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 351—352).

Обиделся Горький и на Рутенберга. В его письме к К. П. Пятницкому читаем: «Тьма» — отвратительная и грязная вещь. Ее истинным автором является ее герой — известный Вам Василий Федорович [конспиративная кличка Рутенберга], болван, которому я дал бы пощечину, будь он около меня. Я предупреждал, я просил этого скота не говорить Леониду о революции и своем участии в ней, я прямо указывал ему, что Л⟨еонид⟩ немедленно постарается испачкать все, чего не поймет (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, М., Гослитиздат, 1954, с. 28).

Реакцию самого Рутенберга на появление «Тьмы» передает — в пересказе Горького же — М. К. Иорданская:

«— А знаете, что больше всего задело Рутенберга. Не то, что Леонид сделал из него какого-то неврастеника и идиота, а то, что он так отвратительно описал его ноги.

— Откуда взял Андреев, что у меня такие безобразные, волосатые ноги с кривыми и грязными ногтями,— жаловался Рутенберг,— ей-Богу, я каждый день мою ноги...

И Алексей Максимович рассмеялся — «чудак-человек» (*ЛН*, с. 579).

Андреев закончил рассказ 21 сентября, а 26-го уже читал его на

«Среде». С. Н. Сергеев-Ценский свидетельствует: «Чтение «Тьмы» было организовано торжественно, и приглашенных было больше [чем при чтении «Царя Голода»], причем приглашены были и «мистические анархисты» — Вячеслав Иванов и Георгий Чулков; был Федор Сологуб; был Блок с женою и тещей, вдовой Менделеева; был Аким Волынский, незадолго перед тем выпустивший книгу о Достоевском; был Семен Юшкевич, приехавший из Одессы с какою-то своей продукцией для «Шиповника»; были издатели «Шиповника» Копельман и Гржебин и много других.

Андреев отказался сам читать свой рассказ, объяснив это тем, что он писал его целых два месяца, что совершенно с ним измучился, потерял сон, заболел от этого рассказа и прочее, и попросил Блока прочитать его.

⟨...⟩ Блок читал благоговейно, скандируя каждое слово. Глядя на него, думалось, что это — очень скучный человек, совершенно не склонный к юмору».

Когда Блок закончил чтение, Андреев попросил его высказать свое мнение. Сергеев-Ценский пишет: «Я невольно резко повернулся в сторону Блока,— что он может сказать? Не хотел бы я быть тогда на его месте. И вдруг, к моему изумлению, Блок, тем же торжественным тоном, каким и читал, только с каким-то священным трепетом в голосе, ответил, поднявшись с места: — Леонид Николаевич! (Не «Николаич», а именно «Николаевич».) Вы — гениальный писатель... Все, что написано вами до сего времени,— гениально... Но в этой вещи вы превзошли самого себя... «Тьма» является самым гениальным из ваших произведений.

Услышав такой гимн, я был ошеломлен. Не возмущен,— до возмущения у меня еще не дошло тогда, а именно ошеломлен тем, что Блок-то вот, оказывается, постиг в «Тьме» что-то такое, чего я, как последний дурак, не в состоянии был постигнуть!.. Что же именно он постиг?

Я ожидал, что он объяснит это, но он сел, как будто в изнеможении от охвативших его чувств. Он сел, но тут же поднялся сидевший с ним рядом Чулков и голосом совсем замогильным, воистину мистическим, проговорил, точно задыхаясь от волнения:

— Да, Леонид Николаевич! («Николаевич» так же полногласно, как и Блок) «Тьма» — самая глубокая, самая всеобъемлющая, самая гениальная из всего, что вы написали! Сказал и опустился на стул в изнеможении» (*ЦГАЛИ*, ф. 1161, оп. 1, № 222).

Резко отрицательно был оценен рассказ большевистской критикой. Воровский обвинил Андреева в литературном мародерстве, в пособничестве реакции: «...Поэт изображает победу тьмы над революционной правдой. ⟨...⟩Это своеобразная ликвидация рево-

люции, идущая параллельно, хотя и враждебная официальной ликвидации» (Воровский В. В. В ночь после битвы.— Литературная критика. М., 1971, с. 148—149. Впервые: Орловский П., в сб. «О веяниях времени» (1908). А. В. Луначарский, поместивший статью «Тьма» в сборнике «Литературный распад», писал: «В «Тьме» трепещет злая сатира на революционера⟨...⟩талант Андреева начинает так лгать, так завираться, что странным становится, как бумага не краснеет. ⟨...⟩ «Страшная правда» Андреева с точки зрения теоретической этики не стоит выеденного яйца, а с практической точки зрения есть одетая в люмпенпролетарское тряпье консервативно-мещанская реакция на революцию» (*Литературный распад*, с. 165—166, 168). Столь же категорически отрицательным был отзыв А. Амфитеатрова: «Как ни раскрашивал г. Андреев перья на своем небывалом герое,⟨...⟩а все-таки не мог не сознаться с душевным прискорбием, что герой-то — легкомысленнейший предатель-неврастеник» (Амфитеатров А. Талант во тьме.— В его кн.: Против течения. СПб., 1908, с. 178). Тут же критик прямо противопоставил Андреева Горькому: «Рожденный ползать летать не может! — учил нас великий певец безумства храбрых. А литературный сменник его, со всею силою несомненного литературного таланта своего, старается внушить, что наоборот: — Летать рожденный — летать не смеет! И даже: — Летать рожденный обязан ползать!..» (там же, с. 182). «...Во всей этой «Тьме»,— заключал рецензент,— нет момента правды. Солгано все. Не бывает таких революционеров.⟨...⟩Не было, нет и не бывает таких проституток» (там же, с. 185).

На идеологическую и этическую уязвимость основной концепции рассказа указал также Р. В. Иванов-Разумник: «Л. Андреев, вероятно, и не подозревает, насколько близко он подошел в рассказе «Тьма» к мировоззрению т. н. «махаевщины», требующей во имя равенства низведения всего и всех до одного общего уровня» (Иванов-Разумник Р. О смысле жизни. Федор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов. СПб., 1908, с. 146).

Рассказ многие находили художественно неубедительным, а поведение героя — немотивированным: «Андреев не хочет быть верным и послушным жизни, а все выдумывает и сочиняет ⟨...⟩ В данном рассказе хитро придуманная психология только завела Леонида Андреева в грязный вздор. ⟨...⟩ Фигуры мертвые, слова и поступки не мотивированные, натурализм гадкий» (Айхенвальд Ю. Литературные заметки.— Русская мысль, 1908, № 1, с. 187—188). «Чудовищно и невероятно столь быстрое превращение революционера-аскета в обыкновенного смертного! Сам автор, видимо, также отступил от своего реально-художественного прототипа»,— писала газета «Бакинец» (1907, 17 декабря, № 18). «Если вы захотите оценить момент такого перерождения с точки

зрения жизненно-бытовой правдивости, то, несомненно, психологическая обстановка, данная Л. Андреевым, покажется совершенно недостаточной. Андреевский герой — это только весьма вероятный носитель современной неуравновешенной психики, рожденный в обстановке вечно блуждающей мысли»,— читаем мы в «Литературных заметках» С. В. Мирского (Баку, 1908, 18 мая, № 73).

Однако были и попытки разобраться в идейном содержании рассказа «Тьма», который по словам А. Горнфельда, «при всех своих недостатках с болезненной силой задел что-то важное и требующее ответа в душе читателей» (Наш век, 1908, 1 января, № 961). «Сам Леонид Андреев думает ли, что в самом деле «стыдно быть хорошим?» — спрашивал А. Горнфельд в другой статье.— Полагаю, что нет». Герой «Тьмы», считает критик, «ни от чего существенного в себе не отрекся.〈...〉В его прошлом был действительно порок — и он очистился от него в столкновении с Любой. Этот порок〈...〉*нравственная сытость*» (Товарищ, 1907, № 139, 2 декабря). Это мнение оспаривал литературный обозреватель журнала «Трудовой путь»: избавиться от «нравственной сытости» террорист Андреева не может, как не может свободно действующий человек встать вровень с жертвой обстоятельств: «По-прежнему, с одной стороны, будут *«не свободные»* люди〈...〉задавленные *против воли* ужасом, грязью жизни, а с другой — «свободный» человек,〈...〉добровольно окунувшийся в тину, погубивший свою душу, чтобы спасти ее.〈...〉Этический парадокс, ради которого принесена большая жертва художественности〈...〉не удался» (С-в Алексей. «Тьма» Леонида Андреева.— Трудовой путь, 1908, № 1, с. 48—49). «Вглядываешься в эту фигуру,— размышлял о герое «Тьмы» С. Ноев,— прислушиваешься к ее речам, и что-то слышится в них родное, веет от нее чем-то близким, кровным 〈...〉 Не напоминает ли это вам, читатель, представителей той части русской интеллигенции, которая в своем покаянном рвении то опускалась до самоуничижения, то поднималась до порыва гордого негодования, граничащего с доподлинным пафосом 〈...〉 Всегда готовых на заклание своей личности в интересах народа, внезапно осенит их сознание суетности своего самопожертвования, разверзнется перед ними мрачная бездна 〈...〉 Нужно ли говорить, что уже этой постановкой вопроса Леонид Андреев становится в ряды русской народолюбимой интеллигенции со всем складом ее мышления» (Бессарабская жизнь, 1908, 3 января, № 2). Е. Янтарев (Е. Л. Бернштейн), высказывая неудовлетворенность художественной стороны «Тьмы», призывал внимательно отнестись к авторскому замыслу: «Леонид Андреев один из немногих, чьи произведения, помимо внешних достоинств — красоты стиля, образов,— имеют всегда глубокую внутреннюю важность 〈...〉 У Андреева — тема почти всегда гениальна. Никогда Андреев не оста-

навливает своего внимания, глубокого и пытливого, на чем-нибудь мелком, незначительном, временном. Больше всего поэтому его произведения вечны ⟨...⟩ Самое необыкновенное качество Андреева — его искренность» (Тифлисский листок, 1908, 3 января, № 2). Г. Полонский в статье «Тьма» Андреева светит» писал: «...Помимо некоторой неуклюжести рассказ блещет всеми лучшими и драгоценнейшими достоинствами андреевского творчества. ⟨...⟩ Андреев самый острый глаз и самый тонкий слух в современной, не только русской, но, может быть, и европейской литературе ⟨...⟩ Не знаешь, что лучше: то ли специфически андреевское настроение, которое родилось от грандиозно и импозантно задуманной очной ставки двух правд, жизни вверх и жизни вниз — или то щемящее душу немое и зловещее, которое ворвалось к преображенным по-радостному и по-страшному людям, вместе с третьей правдой — правдой полицейской шлюхи. Во всех этих моментах Андреев обнаружил всю проникновенную мощь и интимность своего таланта. Чудится, что раскрыты все тайные ходы людской души, и видишь ее изначальные и последние пути ⟨...⟩ На пиршество жизни для всех и во всем пусть поднимут заздравный кубок. Таков смысл загадочного обмена правды во «Тьме». «Тьма» Андреева светит» (Наш день, 1907, 24 декабря, № 3). С подобной оценкой рассказа Андреева решительно не согласен А. Южанин, озаглавивший свой отзыв о «Тьме» — «Стыдно ли быть хорошим»: «Все на художественной стороне рассказа почти не останавливаются, да и, действительно, не в ней там сила. Весь интерес сосредоточен в философии рассказа, на вложенной в него идее ⟨...⟩ Стоило бы, пожалуй, только удивиться, что вот-де талантливый и чуткий писатель, а написал вещь пустую, неумную и даже фальшивую, ибо никогда я не поверю, чтобы убежденный настоящий революционер, отдающий жизнь за счастье борьбы, мог быть тронут и побежден подобной маниловщиной (Северокавказская газета, 1908, 12 января, № 13). Рецензент газеты «Вестник Либавы» (1908, 13 января, № 11) так отзывался о «Тьме» Андреева: «Это не жизненная реальная проблема: в постановке вопроса чувствуется надуманность, искусственность». Дальше в рецензии неубедительность рассказа объясняется чисто русской способностью к рефлексам и сомнениям.

Антон Крайний (З. Н. Гиппиус) отозвался, по обыкновению, высокомерно-презрительно: «Андреев и Андреев. Ни хуже, ни лучше. Та же риторика, та же мера антихудожественности, ⟨...⟩ та же безрезультатная потуга «удивить мир злодейством» и даже тот же глупый-преглупый герой,— обыкновенный андреевский дурак» (Весы, № 2, 1908, с. 73). Н. М. Минский, напротив, очень высоко оценил гуманистический пафос: «Тьмы»: «Может быть, ни в какой другой литературе, кроме русской, этот рассказ не мог бы появить-

ся. В нем заключается завет какой-то новой любви, с культурно-европейской точки зрения, может быть, и непонятной, любви как бы бездействующей и не греющей, а на самом деле наиболее энергичной и сжигающей» (Наша газета, 1908, 16 марта).

Л. Толстому, прочитавшему сначала одну из рецензий, понравилась основная идея «Тьмы», но затем, познакомившись с самим рассказом, он, по свидетельству Н. Н. Гусева, был очень разочарован. «Его хвалят,— сказал Лев Николаевич,— и он позволяет себе писать Бог знает как. Полное отсутствие чувства меры...» (Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 94). Позднее, перечитав «Тьму», Толстой сказал: «Слабо, психологически неверно, много лишнего» (там же, с. 388).

Андреев был очень огорчен неудачей. В интервью корреспонденту «Петербургской газеты» он признался: «Вот эта вещь, несмотря на все усилия сделать из нее что-нибудь порядочное, мне совсем не удалась. А стараний было много, я никогда так не бился над вещью, как в этот раз ⟨...⟩ Жаль, очень жаль, что испортил тему, которую считаю чрезвычайно важной и интересной» (Петербургская газета, 1908, № 235, 27 августа).

О том, что Андреев действительно много работал над «Тьмой», свидетельствуют два первоначальных варианта рассказа, хранящиеся в *ЦГАЛИ*. Один из них представляет собой развернутую экспозицию с подробным описанием восторженного состояния героя, готовящегося к террористическому акту. Впоследствии Андреев использовал этот материал, работая над образом Муси из «Рассказа о семи повешенных».

К идее «стыдно быть хорошим» Андреев вернется в драме «Профессор Сторицын» (1912). А в 1913 г., готовя к выпуску Полное собрание своих сочинений, он скажет в беседе с Л. Клейнбортом: «Для меня, если говорите вы об удовлетворении своим детищем, на первом месте была и будет «Тьма» ⟨...⟩ «Тьма» никому не угодила, я это знаю ⟨...⟩ Но многие ли доросли до этих тем?» (Клейнборт Л. Встречи. Леонид Андреев.— Былое, 1924, № 24, с. 172). Из ранних переводов «Тьмы». В 1908 г. рассказ вышел отдельными изданиями в переводах на армянский и болгарский языки, а в 1909 г. в Ревеле на эстонском.

ИЗ РАССКАЗА, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОКОНЧЕН

(Стр. 310)

Впервые — в газете «Утро России», 1907, № 1, 16 сентября.

В конце 1906 г. Андреев писал сестре Римме Николаевне и брату Павлу Николаевичу, что собирается работать над рассказом «Революция», в котором «будет говориться о баррика-

дах⟨...⟩Потом пусть снова рабство, что угодно, важно одно — баррикады. Важен — момент» (*Повести и рассказы*, т. 2, с. 414).

Рассказ переведен на финский (1909) и английский (1916) языки.

ВЕЛИКАН
(Стр. 315)

Впервые — в журнале «Современный мир», 1908, № 1.

Родственница Андреева, С. Д. Панова, свидетельствует: «...Детей своих Леонид очень любил. Переживания отца он изобразил в рассказе «Великан». У него был болен сын, Вадим. Мальчик поправился, что неясно из рассказа» (*Фатов*, с. 206).

Горький высоко оценил это произведение: «...«Великан» Андреева — грациозная вещь, а поэтическая оглобля милого Скитальца [1] несколько проигрывает рядом с Леонидом. Сколь верный рыцарь смерти он!» (*ЛН*, с. 435).

Каприйские воспоминания Горького содержат эпизод, также, по-видимому, относящийся к предыстории рассказа:

«Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь,— сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь,— повторил мальчик.

— Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его, Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он.— Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло красивенькой рамки» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 347—348).

---

[1] Стихотворение в прозе «Красота» Скитальца (С. Г. Петрова) было опубликовано в том же номере «Современного мира».

К ЗВЕЗДАМ
(Стр. 319)

Впервые — в сборнике товарищества «Знание», кн. 10. СПб., 1906.

Исходный замысел пьесы появился у Андреева под впечатлением от книги немецкого астронома и метеоролога Германа Клейна «Астрономические вечера». Еще в октябре 1903 г. Горький писал К. П. Пятницкому: «Леонид вдохновился Клейном и хочет изображать человека, живущего жизнью всей вселенной среди нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4-м акте телескопом по башке» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., Гослитиздат, 1954, с. 292—293).

Эта тема увлекла и самого Горького; он просил Андреева уступить ему «Астронома», но тот взамен предложил писать пьесу совместно. Однако горьковская концепция конфликта «ученый — народ» была неприемлема для Андреева; появились два самостоятельных произведения — «Дети солнца» Горького и «К звездам» Андреева. В одном из интервью последний так говорил о своем будущем герое: «Он меряет время тысячелетием, пространство — миллионами километров, а кругом ничего — вчера, завтра, через неделю; аршины, футы, копейки. Меня занимает та близость, которая существует между астрономом и его коллегою, имеющим только родиться через тысячу лет, то трогательное доверие, с которым он относится к этому товарищу будущего, та связь, которая между ними существует...» (Одесские новости, 1905, № 6700, 24 июля).

В ИРЛИ хранится датированный 10 октября 1905 г. черновой вариант первого действия «К звездам» с перечислением действующих лиц и их краткими характеристиками» (ИРЛИ. Р. III, оп. 1, ед. хр. 49, л. 1—8), а также не датированный перечень действующих лиц с более развернутыми их характеристиками (ИРЛИ. Р. III, оп. 1, ед. хр. 48, л. 1—1 об.). Для изучения творческой истории «К звездам» представляет интерес фрагмент первого действия пьесы, начинающийся словами «Над обрывом несколько молчаливых силуэтов — смотрят» (ИРЛИ. Р. III, оп. 1, ед. хр. 57, л. 1—11), но наиболее ценным источником является ранняя редакция «К звездам», датированная 11—20 октября 1905 г., которая настолько сильно отличается от окончательного варианта пьесы, что может рассматриваться как вполне самостоятельное произведение (ИРЛИ. Р. III, оп. 1, ед. хр. 48, л. 1—64). Ранняя редакция «К звездам» опубликована Л. Н. Афониным (см. Андреевский сборник. Исследования и материалы. Курск, 1975, с. 139—191).

Первый вариант пьесы заметно отличался от окончательного.

С одной стороны, в нем акцентировалось невежество суеверной толпы, громящей обсерваторию, с другой — изображенный Андреевым конфликт был более схематичен (в нем были задействованы абстрактные фигуры: Он, Она, Первый голос, Второй голос и т. п.). Горький, тогда еще рассчитывавший на совместную работу, предложил автору множество поправок. И хотя Андреев принял не все из них, пьеса приобрела бо́льшую конкретность и актуальность, а главный герой (в первом варианте — Верховцев) в качестве смысловой антитезы, уравновешивающей идейную коллизию, получил оппонента — революционера Трейча. Горький, по свидетельству В. П. Тройнова, «выбросил немую старушку с трясущейся головой — к черту гамсуновские символы! — послал Николая на баррикады, рассорил семью и сотрудников Терновского, наметил двух рабочих, простых, но житейски мудрых людей, преданных делу пролетариата. Он придумывал целые сцены столкновений между враждебными людьми, вставлял колкие горьковские словечки, описывал внешность действующих лиц. Горький не оставил без внимания даже декоративной части пьесы.⟨...⟩Закончив работу, Андреев повез пьесу Горькому. Вернулся он мрачный, раздраженный. Пьеса Горькому не понравилась.⟨...⟩Расхождение взглядов оказалось глубже и непримиримее, чем предполагал Андреев. Вопрос о совместной работе больше не поднимался. Надо полагать, что точность воспоминаний В. П. Тройнова подтвердит или подвергнет сомнению еще не изученная рукопись последней редакции «К звездам», датированная 29 октября — 3 ноября 1905 г. Эта рукопись, имеющая большую авторскую правку, хранится ныне в Архиве Гуверовского института (Станфорд, США).

«Леонид Андреев снова взялся за переделку пьесы. Это был уже третий вариант. Андреев опять ввел немую старуху и, словно в отместку Горькому, еще больше усилил в пьесе мистический элемент» (*ЛН*, с. 582).

Пьесу «К звездам» Андреев посвятил своей матери, Анастасии Николаевне Андреевой, некоторые черты которой воспроизведены в образе жены Терновского, Инны Александровны; однако это посвящение не перепечатывалось при публикации пьесы.

Цензура признала первое драматическое произведение Андреева «к представлению неудобным». «Вся эта символическая драма,— писал цензор Ламкерт в своем отчете,— талантливо и с большим подъемом написанная, служит идеализацией революции и ее деятелей, вследствие чего не может быть дозволена к представлению» (Первая русская революция и театр. Статьи и материалы. М., 1956, с. 338—339).

Андреев устроил публичное чтение пьесы в Берлине, куда он уехал накануне декабрьского вооруженного восстания в Москве. «...Народу было тысячи две с половиной,— писал он Пятницко-

му,— и сбор — около 5000 марок — в пользу российских. Отзывы в печати хвалебные» (*Пьесы*, с. 560).

Первая постановка «К звездам» состоялась в Австрии в октябре 1906 г. под руководством режиссера и актера Рихарда Валлентина; она стала и первым театральным триумфом Леонида Андреева. «Совершенно неожиданный и своеобразно окрашенный успех имели в Вене «К звездам»,— писал он Горькому.— Там только что образовался «Свободный народный театр» [1] ⟨...⟩ и для первого дебюта они поставили «К звездам». И удивление: все газеты без исключения хвалят, а рабочие листки говорят даже, что «впервые искусство встретилось с народом». И публика, почти сплошь рабочие, доходила «даже до энтузиазма». Вообще успех необыкновенный. Одно подозрительно: хвалят все, даже буржуазные органы, хотя и с некоторыми оговорками. Так что и не знаю: радоваться мне или впасть в меланхолию» (*ЛН*, с. 274—275).

В русских газетах успех пьесы объясняли, в основном, ее революционным пафосом. «В ⟨...⟩ бешеных криках «браво!» чувствовались не обычные крики одобрения, а как бы чувствовалась клятва, даваемая всей этой аудиторией, исполнить призыв Трейча и подпереть своими руками самое небо, если оно готово будет обрушиться на нас и помешает нам идти вперед» (Русские ведомости, 1906, № 257, 20 октября).

В России пьеса была впервые представлена труппой В. Р. Гардина в Териоках (Финляндия) 27 мая 1907 г., в постановке Вс. Мейерхольда. А. Р. Кугель, отмечая «неуспех» спектакля, писал: «К звездам» — вовсе не пьеса, а резонерский диалог, где «быт» заменен чем-то «безлично-личным», а поэзия — грубыми аллегориями. ⟨...⟩ Усердием г. Мейерхольда даже понятное и удачное в произведении г. Андреева стало непонятным и неудачным» (Русь, 1907, № 137, 29 мая). Андреев и сам был недоволен постановкой. «В Териоках на летней сцене изнасиловали «Савву» и «К звездам»,— писал он Горькому (*ЛН*, с. 284). Другая постановка пьесы с успехом прошла 10 июля 1907 г. в Харбине.

Отзывы литературных критиков были самые разнообразные. «К звездам»,— писал А. Е. Редько,— ⟨...⟩ принадлежит к числу неудачных произведений со всеми особенностями неудачного *символического* произведения. ⟨...⟩ Читатель, даже прочитав драму, легко может остаться в полном недоумении: о чем здесь шла речь на протяжении 4 актов» (Русское богатство, 1906, № 11, отд. II, с. 122). «С большим талантом давая отдельные яркие сцены и жизненные, меткие очерки характеров, автор разбавил их монотонностью длинных рассуждений, холодом надуманности; он словно

---

[1] Театральная организация «Freie Volksbühne» была основана в сентябре 1906 г. при социал-демократической газете «Die Arbeiter Zeitung».

вылил их из воска и дал застыть в холодном прозрачном воздухе гор»,— читаем в рецензии Е. А. Ляцкого. Пьеса, по его мнению, «оставляет читателя безучастным, не шевелит в нем глубоких отзывно-трагических струн» (Образование, 1906, № 8, с. 802).

В. Ходасевич писал, что Андреев «призвал на помощь непритязательную тенденциозность, так глубоко чуждую его творчеству. Отбросил обычную глубину замысла, тонкость и вычерченность психологического облика (Перевал, 1906, № 1, с. 51).

В. Фриче подверг резкой критике образы представленных в пьесе революционеров. Последние, писал он, «заняты преимущественно личными, а не общими делами, интересуются более всего собственной особой, а не благом других, совершенно так же, как нарисованные им обыватели-мещане» (Фриче В. Леонид Андреев (Опыт характеристики). М., 1909, с. 39).

Были и прямо противоположные оценки. «Схема пьесы скомпонована красиво и умно. Все в ней строго обдумано и представляется в строгой гармонии,— писал Ф. Батюшков.— ⟨...⟩ В последнем действии чувствуется особый подъем настроения, и мы здесь более всего находим настоящего Андреева, этого «поэта мысли» с его глубиной и гибкостью проникновения в сюжет, виртуозностью языка и сильным лирическим темпераментом» (Мир Божий, 1906, № 7, отд. II, с. 22). «Символизм новой пьесы Леонида Андреева — здоровый символизм, чуждый бесформенного декадентства»,— утверждал Е. Жураковский. Содержание этой драмы, полагал критик, «говорит о вере Андреева в гармонию отвлеченной и конкретной жизни, людей чистой науки и людей практического переустройства жизни» (Жураковский Е. От мрака к свету. «К звездам».— В его кн.: Трагикомедия современной жизни. М., 1906, с. 153, 155).

А. Измайлов, сопоставляя «К звездам» с пьесой Горького «Дети солнца», писал об Андрееве: «Как писатель-интеллигент, он вышел победителем из той дилеммы, которая повалила Горького. Его астроном прекрасен в своем возвышенном эгоизме, а не отталкивает, как герой Горького. ⟨...⟩ «К звездам» — апофеоз знания, того знания, которое смотрит через столетия вперед, воспринимает сегодняшнюю печаль как будущую радость...» (Биржевые ведомости, 1906, № 9332, 9 июня).

Евгений Аничков отмечал, что пьеса «К звездам» столь же злободневна и глубоко-общественна, как «Красный смех». «Леонид Андреев вылил в ней свое тревожное до боли, до неистовства истомленное раздумье над современными событиями. Он сказался здесь весь. От того это самое личное из всех его произведений» (Страна, 1906, 4 августа, № 125).

При жизни Андреева «К звездам» переведены на немецкий

(1906), болгарский (1906), английский (1907), польский (1907), румынский (1908) и другие языки.

С. 323. *Астролябия* — угломерный прибор, употреблявшийся до начала XVIII в. для определения положения небесных тел. В дальнейшем заменен более совершенными приборами.

С. 336. *«Сижу за решеткой в темнице сырой...»* — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Узник» (1822). Стихотворение положено на музыку многими композиторами (А. Алябьевым, А. Рубинштейном и др.) и стало народной песней, распространенной в конце XIX в. среди революционной интеллигенции.

С. 340. *Юдифь.*— По библейскому преданию, иудейская патриотка. Пробралась во вражеский стан и обезглавила начальника ассирийского войска Олоферна, осаждавшего ее родной город Ветилую.

С. 342. *Когда я увидел комету Биелу, предсказанную Галлеем...*— Эдмунд Галлей (1656—1742) — английский астроном Открыл в 1682 г. новую комету и доказал периодичность ее возвращения к Солнцу. В 1826 г. эта же комета была вновь открыта чешским астрономом-любителем Вильгельмом Биэлой (1782—1856).

С. 348—349. *Точно осуществился сон Байрона.*— Имеется в виду стихотворение Байрона «Тьма» (1816) о неизбежном конце мира.

САВВА

(Стр. 372)

Впервые — в сборнике товарищества «Знание» за 1906 г., кн. XI (СПб., 1906); одновременно — в Штутгарте (издательство И. Дитца).

Еще в 1902 г. Андреев задумал рассказ, основой сюжета которого послужило правительственное сообщение о приговоре, вынесенном А. Уфимцеву, Л. Кишкину, В. Каменеву и А. Лагутину, устроившим в 1898 г. взрыв «чудотворной» иконы в курском Знаменском монастыре. Монахи тогда подменили уничтоженную икону точной ее копией и вестью о новом чуде увеличили приток паломников. Открытого суда над организаторами взрыва (пытавшимися — по официальному определению — «поколебать веру в чтимую святыню») не было, так как власти боялись разоблачения духовенства, и царским указом они были сосланы на разные сроки в Восточную Сибирь.

Свой замысел Андреев подробно изложил Горькому. Героем рассказа должен был стать «высланный студент» — «атеист, молодой и воинствующий», знающий «всю потайную сторону монастырской жизни: разврат, пьянство, обирательство» и ненавидящий как

«жирных монахов», так и обираемых богомольцев. Их веру в чудо и задумал разрушить герой рассказа,— подложив под икону свою «адскую» машину. Способ спасения иконы — отличный от реально осуществленного — Андреев также описал Горькому: «Небу помогают монахи. Извещенные послушником и сообразившие выгоду, прячут временно икону, а после взрыва ⟨...⟩ ставят ее на место. На сотни верст кричит земля: Чудо! Чудо! ⟨...⟩ И вот три группы — он, одинокий и сомневающийся. Монахи с трясущимися животами — знают про обман и все же *плачут*. И — верующая толпа. Послушник ⟨...⟩ говорит плача: «Бог совершил чудо моими недостойными руками. Пути его неисповедимы — и, быть может, я, пьянчужка, только для того и родился, чтобы через мое посредство он проявил свое могущество». Так что и расскажи атеист про обман, все равно — *чудо совершилось*. И тут вопрос: да и нужно ли? Не лучше ли оставить Бога для этих труждающихся и обремененных?» (*ЛН*, с. 130—131).

Рассказ этот написан не был, и только в начале 1906 года, в Берлине, Андреев приступил к исполнению своего замысла, но уже в драматургической форме. 10 февраля он сообщил Пятницкому из Мюнхена: «Вчера я окончил драму «Савва» — вещь, которую опять-таки можно было написать только при двух противоположных влияниях: заграницы и российских зверств. К себе я отношусь вообще довольно строго, ⟨...⟩ но «Савву» считаю вещью хорошей — серьезной и сильной. С «К звездам» и сравнивать, конечно, нельзя. Понравится пьеса или нет,— это еще большой вопрос,— слишком она остра и радикальна. И мрачна она, как черт. Но самое в ней плохое — это ее нецензурность» (*ЛН*, 423).

8 марта Леонид Андреев отправил из Глиона (Швейцария) письмо брату Павлу, где изложил свое отношение к Савве и дальнейшие творческие планы, связанные с этим персонажем. «Не знаю, как «Савва» с художественной стороны, может быть, и плохо — но по существу вещь ядовитая, дикая и в то же время настолько вразумительная, что сразу определит мое положение. Все обидятся. И с.-р. и с.-д. и к.-д. и просто д. И даже анархисты, ибо и об анархистах Савва отзывается пренебрежительно. Конечно, я не Савва, но мои симпатии к нему настолько очевидны, что платить я за него буду и чувствую — жестоко. Едва ли поймет кто и истинный смысл вещи: как последнюю крайнюю ярость против гнусностей жизни. ⟨...⟩ После «Саввы» я думаю написать «Записки Саввы Тропинина», где более подробно и мотивированно разовью его миросозерцание. Фигура такая, что жаль расстаться, не исчерпавши. Ты знаешь, что он к революции относится пренебрежительно: «это значит расчесывать голову покойнику — пустое занятие!». Возьму интересный фон, приведу его в столкновение с интересными людьми. Мне он — дорог. Я все думал: почему меня не

угрызает совесть, что я не дерусь на баррикадах, что я удрал от революции — а теперь я понимаю, почему» (Собрание В. Л. Андреевой). «Записки Саввы Тропинина», однако, так и не были осуществлены.

Горький, которому Андреев прочитал «Савву» в середине марта 1906 г., поначалу очень высоко оценил пьесу и даже взял ее с собой в Америку, чтобы там продать. Издателю андреевских произведений в Берлине И. П. Ладыжникову он писал: «Из его последних произведений это — самое крупное и интересное по задаче. Основная мысль должна вызвать горячие споры. Как пьеса — это гораздо выше предыдущей. Есть изумительно написанные роли — например, странник «Царь Ирод», послушник Вася. Очень хороши все монахи, и сильно сделан герой пьесы Савва. Вероятно, в России пьесу цензура не разрешит, пред Европой она может открыть много нового и глубоко интересного. Такая фигура, как Царь Ирод, это — нечто специфически русская и в то же время — общечеловеческая. Человек, живущий страданием, влюбленный в него и во Христа. Атеист Савва, герой пьесы, и этот странник — две очень большие и трагические фигуры. Думаю, что пьеса должна производить оглушающее впечатление» (*ЛН*, с. 422—423).

Впоследствии Горький изменил свое отношение к «Савве» и ставил в упрек Андрееву искажение прототипического характера — замечательной личности изобретателя Уфимцева. «...Я знал,— пишет Горький в своих воспоминаниях,— что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые,— очарованы своей верой и любовью,— идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своем разумной энергии, творящей добро и красоту. Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев исказил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку и краски, достойные его. Мы поспорили, и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности. Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Леонид Николаевич не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, с. 346).

Несмотря на уверенность в нецензурности «Саввы», Андреев вел переговоры с руководителями МХТ о возможной его постановке. «Задача пьесы,— писал он Вл. И. Немировичу-Данченко 4 апреля 1906 г.,—〈...〉отнюдь не агитационная. Это попытка дать синтез российского мятежного духа в различных крайних его проявлениях. С этой точки зрения центральная фигура — Савва равноценен трем другим: Царю Ироду, Сперанскому, Тюхе. По цельности характера, по силе Царь Ирод, религиозный мистик,

христианин, б⟨ыть⟩ м⟨ожет⟩, даже выше Саввы, отсюда и мистика разрушения. Как всегда, я только ставлю вопросы, но ответы на них не даю, и это должно быть отмечено в исполнении» (*Уч. зап. ТГУ*, с. 385—386). В письме К. С. Станиславскому Андреев делает еще одно немаловажное пояснение: «...Многие серьезно подумают, что это призыв к анархии. А это — еще раз и еще раз трагическое жизни, тоска о светлом, загадка смерти. Я знаю, что многие из читавших не заметили Тюху — Тюху, истинного героя этой драмы» (т а м ж е, с. 382).

Но театральная цензура, как и ожидалось, не пропустила пьесу. «Монахов автор выводит развратниками, не верующими в Бога и живущими в монастыре только ради куска хлеба» — такова была главная претензия цензора (*Драматургия «Знания»*, с. 571).

Как и «К звездам», «Савва» был поставлен Вс. Мейерхольдом в Териоках (труппа В. Гардина), но постановка успеха не имела. Не понравилась она и самому Андрееву. «В «Савве» надо искать реалистического решения темы, а у вас — мистическая символика»,— говорил он на одной из репетиций (*ЛН*, с. 266). Премьера пьесы в Художественно-артистическом театре в Харбине 22 июня 1907 г. также была неудачной.

На публикацию «Саввы» критика отреагировала неоднозначно. Известный литературовед Д. Овсянико-Куликовский увидел в пьесе художественное исследование по психопатологии в различных ее формах. Савва, писал он, «настоящий маньяк в психиатрическом смысле, с резкими признаками *мании величия* и *психопатологической наследственности*». В этой рецензии, сильно огорчившей Андреева, содержался подробный разбор душевных аномалий всех персонажей пьесы — от «психической осовелости» отца Саввы до «совсем рехнувшегося» Тюхи и «истерички и фанатички» Липы. Смысл же бунта главного героя Овсянико-Куликовский понял как анархизм с «религиозной подкладкой»: «Его больная мысль бьется ⟨...⟩ в рамках представлений о втором пришествии, о Мессии, об Антихристе, о Посланном в мир и о Пославшем» (Страна, 1906, № 176, 3 октября).

А. В. Луначарский в своей статье, посвященной критике анархизма, сосредоточился на политической значимости андреевской пьесы. «Савва»,— писал он,— невольно или против воли автора сделался довольно глубоким памфлетом против анархизма» (Образование, 1906, № 10, отд. II, с. 20). В. Фриче, в дополнение к этому, дал социально-психологическую характеристику системы персонажей «Саввы»: «В этой пьесе Л. Андреев сконцентрировал в трех выдержанных образах ⟨...⟩ три основных настроения мещанского мира, распадающегося под напором капитализма — сентиментальную тягу вниз к уродству и искалеченности, к «тьме»

(Липа), террористический анархизм (Савва) и отрицание жизни во имя смерти, превращение смерти в жизнь (Тюха — Сперанский)» (Фриче В. Леонид Андреев (Опыт характеристики). М., 1909, с. 31—32).

Ходасевич писал: «Здесь жизнь мчится разъяренно; все сокрушено, спутано, извращено, лица искажены гримасами. Это — один ужас, поражающий нас» (Перевал, 1906, № 1, с. 52).

Между критиками А. Горнфельдом и В. Львовым-Рогачевским разгорелся спор об авторской позиции в пьесе. Первый обвинял Андреева в холодном беспристрастии, в стремлении избежать каких бы то ни было оценок: «С одной стороны... с другой стороны... а, впрочем, Господь с вами». Главное, к чему Андреев стремился, по мнению А. Горнфельда,— не решение важных вопросов современной жизни, а создание красочных, «химерических образов», которые соединяются в «любопытный российский Бедлам, может быть, выдуманный, но зато выигрышный» (Товарищ, 1906, № 85, 12 октября). «Ошибочнее такой характеристики трудно что-либо представить,— парировал его оппонент.— ⟨...⟩ Андреев ⟨...⟩ никогда не отписывается от действительности; никогда не пытается освободиться от ответственности, которая связана с исканием правды; никогда не бывает поверхностно объективным». Душа андреевских героев, писал Львов-Рогачевский, «это арена, где *нутро* с *логикой* борются, и в этом «с одной стороны, с другой стороны» — великая трагедия мыслящего человека» (Образование, 1906, № 12, отд. II, с. 62—63).

Много писалось об актуальности пьесы. «Она проникнута настроением наших дней, полна отчаянием и болью ⟨...⟩ И сколько же ужасов, и страданий, и вражды должно быть разлито на той несчастной земле, которая делает заразительным и понятным это в существе своем дикое чувство мести и разрушения!» (Евг. Л. [Ляцкий Е.] Литературное обозрение.— Вестник Европы, 1906, № 12, с. 837—838). По-разному при этом оценивался художественный уровень «Саввы». «...Перед читателем-зрителем скорее какие-то художественные переотражения кошмара наяву, чем образы подлинных живых людей»,— писал А. Е. Редько (Русское богатство, 1906, № 11, отд. II, с. 121). «...Автор еще раз показал себя ⟨...⟩ столь же высоким мастером художественного слова, сколько и глубоким провидцем индивидуальной души. На этот раз также и души народной»,— утверждал А. Курсинский (Золотое руно, 1906, № 10, с. 90)

«Савва» переведен на ряд иностранных языков и ставился за рубежом. В России пьеса представлялась некоторыми провинциальными театрами в первые послереволюционные годы, в рамках антирелигиозной кампании.

С. 372. *Ignis sanat.*— В качестве подзаголовка использован эпиграф к драме Шиллера «Разбойники» (1781).

С. 412. *«Все в жизни неверно...»* — слова из романса П. М. Ковалевского, музыка А. Т. Гречанинова.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
(Стр. 443)

Впервые — в Литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник», кн. I (СПб., 1907), тогда же — отдельной книгой в Берлине (издательство И. П. Ладыжникова).

Андреев закончил эту драму в Берлине в сентябре 1906 г. Он посвятил ее памяти своей жены, Александры Михайловны, умершей 28 ноября от послеродовой болезни. Вадим Андреев в своей книге воспоминаний приводит следующую запись, приложенную его отцом к черновику «Жизни Человека»: «Эту рукопись я завещаю после моей смерти Вадиму. Это последняя, в работе над которой принимала участие его мать. В Берлине, по ночам, на Auerbachstrasse, кажется, 17 (против станции), по ночам, когда ты спал, я будил, окончив работу, мать, читал ей, и вместе обсуждали. По ее настояниям и при ее непосредственной помощи я столько раз переделывал «Бал». Когда ночью ей, сонной, я читал молитвы матери и отца, она так плакала, что мне стало больно. И еще момент. Когда я отыскивал, вслух с нею, слова, какие должен крикнуть перед смертью человек, я вдруг нашел и, глядя на нее, сказал:

— Слушай. Вот. «Где мой оруженосец? — Где мой меч? — Где мой щит? Я обезоружен. Будь проклят». И я помню, навсегда, ее лицо, ее глаза, как она на меня смотрела. И почему-то была бледная. И последнюю картину, Смерть, я писал на Herbertstrasse, № 26, в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни. И по ночам, когда я был в ужасе, светила та же лампа» (Андреев В. Детство, с. 13—14).

По окончании работы над пьесой Андреев писал Горькому: «Жизнь Человека» — произведение, достойное самого внимательного и хладнокровного изучения. На первый взгляд, это — ерунда; на второй взгляд — это возмутительная нелепость; и только на тридцатый взгляд становится очевидным, что написано это не идиотом, а просто человеком, ищущим для пьесы удобных и свободных форм» (*ЛН*, с. 274). Писатель задумал целый драматический цикл в найденной им художественной манере. «За «Жизнью Человека» идет «жизнь человеческая»,— писал Андреев Немировичу-

Данченко,— которая будет изображена в четырех пьесах: «Царь Голод», «Война», «Революция» и «Бог, дьявол и человек». Таким образом, «Жизнь Человека» является необходимым вступлением как по форме, так и по содержанию в этот цикл, которому я смею придавать весьма большое значение» (*Пьесы*, с. 563). Однако целиком этот замысел осуществлен не был; из всего задуманного Андреев написал только пьесу «Царь Голод».

Горький отнесся к «Жизни Человека» очень строго. Он писал Андрееву: «...Это превосходно как попытка создать новую форму драмы. Я думаю, что из всех попыток в этом роде — твоя, по совести, наиболее удачна. Ты, мне кажется, взял форму древней мистерии, но выбросил из мистерии героев, и это вышло дьявольски интересно, оригинально. Местами, как, например, в описании друзей и врагов человека, ты вводишь простоту и злую наивность лубка — это тоже твое и это — тоже хорошо. Язык этой вещи — лучшее, что когда-либо тебе удавалось.

Но — ты поторопился. В жизни твоего человека — почти нет человеческой жизни, а то, что есть — слишком условно, не реально. Человек поэтому вышел очень незначителен — ниже и слабее, чем он есть в действительности, менее интересен. Человек, который так великолепно говорил с Ним, не может жить такой пустой жизнью, как он живет у тебя — его существование трагичнее, количество драм в его жизни — больше⟨...⟩Ты скажешь — не хочу реальности! Пойми — говорю не о форме, а о содержании, оно не может не быть не реальным» (*ЛН*, с. 278).

И Горький, и Плеханов [1], и многие другие находили в «Жизни Человека» заметное влияние Метерлинка. Блок так прокомментировал это наблюдение: «Публика в театре недоумевает: о чем, собственно, беспокоиться? И что за пьеса? И почему так таинственно? ⟨...⟩ «Белиберда, подражание Метерлинку». Но вопросы не попадают в цель: *никакого Метерлинка нет в «Жизни Человека»*, есть только видимость Метерлинка, то есть, вероятно, Андреев читал Метерлинка — вот и все. Но Метерлинк никогда не достигал такой жестокости, такой грубости, топорности, наивности в постановке вопросов. За эту-то топорность и наивность я и люблю «Жизнь Человека» и думаю, что давно не было пьесы более важной и насущной» (*Блок*, с. 189). Свое родство с бельгийским символистом отрицал и сам Андреев. Объясняя К. С. Станиславскому сущность своих нововведений, он, в частности, писал: «Если в Чехове и даже Метерлинке сцена должна дать *жизнь*, то здесь, в этом

---

[1] См. план его неосуществленной статьи о «Жизни Человека» в кн.: — Литературное наследие Г. В. Плеханова. Сб. VI. М., 1938, с. 276, 278.

представлении, сцена должна дать только *отражение* жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он ⟨...⟩ находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то» (*Уч. зап. ТГУ*, с. 383).

В беседе с корреспондентом газеты «Русское слово» Андреев говорил: «О, я не теоретик, совсем не теоретик. Построить какую-нибудь теорию искусства и потом, следуя ей, творить, осуществляя в художественных образах эстетическую программу,— я не понимаю, как это можно делать. Меня в этом отношении часто удивлял Валерий Брюсов, который так ясно знает, к чему идет ⟨...⟩ Я думаю, что этот путь неправилен и, в известной степени, повредил многим вещам Брюсова. Вот почему я боюсь теории. Я лично пишу свои вещи, как пишется ⟨...⟩ Не от теории к образам, а от художественных образов к теории. Так у меня было и с «Жизнью Человека». Написал, а потом сказал себе: «Это — стилизованная драма». Моим идеалом является богатейшее разнообразие форм в естественной зависимости от разнообразия сюжетов. Сам сюжет должен облечься в свойственную ему форму. Пусть индивидуальность художника сказывается не в неподвижности форм, а в самом их разнообразии ⟨...⟩ Обобщать можно только стилизуя. Но все-таки, признавая, что каждому сюжету свойственна его особая форма, я думаю, что бытовая драма, безусловно, устарела и более не нужна. Во-первых, совершенно потерял для нас всякий интерес весьма значительный в бытовой драме — хотя бы Островского — этнографический элемент ⟨...⟩ Затем, современный человек стал слишком чуток, слишком о многом догадывается с первого слова, и ему скучновато следить за развитием интриги, развязку которой он чует издалека. Но самое главное — это, конечно, то, что настало время широких обобщений, что назрела потребность в итогах пережитого, передуманного и перечувствованного за последние десятилетия. Нужен синтез. А эти-то широкие обобщения в бытовой драме немыслимы. Она всегда освещает один какой-нибудь уголок жизни, один какой-нибудь домик,— частность и частности. На что уж Чехов большой артист и мастер. Его пьесы это — живопись на стекле, сквозь которое сквозят бесконечно — далекие перспективы, но и он не мог, оставаясь в рамках своей формы, достигнуть широких обобщений. Для итогов нужны стилизованные произведения, где взято самое общее, квинтэссенция, где детали не подавляют главного, где общее не утопает в частностях. Вот почему я думаю, что нужна новая форма и что эта новая драма должна быть стилизованной ⟨...⟩ Мне нередко приходилось слышать, что «Жизнь Человека» — это метерлинковщина. Я считаю подобное мнение чистейшим недоразумением. Различий между этими типами драм целая масса. Вот хотя бы некоторые. Стилизованная драма должна быть демократической.

Не книжкой для народа, не нравоучением, а именно демократической в смысле универсальности ⟨...⟩ Новая драма должна быть простою и понятною всем, как пирамиды. Не таковы пьесы Метерлинка. Он для утонченных, для избранных. Затем, Метерлинк — символист. В его «Слепых», например, море не море, а символ — жизнь. Я же, в «Жизни Человека» и вообще, строгий реалист. Если у меня будет сказано: «море», понимайте именно «море», а не что-нибудь символизируемое им. «Некто в сером» — не символ. Это реальное существо. В своей основе, конечно, мистическое, но изображающее в пьесе само себя: Рок, Судьба. Тут не символ Рока или Судьбы, а сам Рок, сама Судьба, представленные в образе «Некоего в сером». Чем я в «Жизни Человека» недоволен — это старухами. Они действительно символы и могут быть с основанием названы метерлинковскими. Стилизованная драма должна быть реальной и демократической (Эс. П э. В мире искусств. У Леонида Андреева.— Русское слово, 1907, 5 октября, № 228).

Желая добиться наибольшей точности в сценической передаче содержания пьесы, Андреев подробно излагал Станиславскому и Немировичу-Данченко свой замысел и свое понимание театральной постановки. «В связи с тем, что здесь не жизнь, а только отражение жизни, рассказ о жизни, представление, как живут,— в известных местах должны быть подчеркивания, преувеличения, доводящие определенные типы, свойства до крайнего развития. Нет положительной, спокойной степени, а только превосходная. ⟨...⟩ Резкие контрасты. Родственники, напр[имер], в первой картине должны быть так пластично нелепы, чудовищно комичны, что каждый из них, как фигура, останется в памяти надолго.⟨...⟩Так же и гости на «балу». Вообще весь этот «бал» откровенно должен показать тщету славы, богатства и т. п. счастья.⟨...⟩Они, эти гости, должны быть похожи на деревянных говорящих кукол, резко раскрашенных.⟨...⟩Эта картина «веселья» должна бы быть самой тяжелой из всех, безнадежно удручающей. Это не сатира, нет. Это изображение того, как веселятся сытые люди, у которых душа мертва. Пьяницы и вся пятая картина — кошмар.⟨...⟩Но вот еще одно важное обстоятельство. Так как все это — только отражение, только далекое и призрачное эхо, то драмы в «Жизни Человека» нет. В четвертой картине молитв и проклятий, очень удобной для чисто драматических проявлений, я с трудом удержался от того, чтобы не перейти границу,— кое-где вместо отражения жизни не дать настоящую жизнь.⟨...⟩Но если выкинуть драму совсем, то по непривычке к такого рода *нарисованным* представлениям публика попросту начнет чихать и кашлять. И поэтому я смалодушничал: кое-где в четвертой и пятой картинах я оставил драматические местечки (напр[имер], молитва

Отца, которую, в сущности, следовало сделать холоднее и отвлеченнее). Но, в общем, и горе и радость должны быть только представлены, и зритель должен почувствовать их не больше, чем если бы он увидел их на *картине*» (*Пьесы,* 567).

Вс. Мейерхольд опередил МХТ, и уже 22 февраля 1907 г. в петербургском театре В. Ф. Комиссаржевской состоялось первое представление «Жизни Человека». Его очень высоко оценил Блок («Это — можно с уверенностью сказать — лучшая постановка Мейерхольда».— *Блок,* с. 190), но сам Андреев был недоволен режиссурой: «Всю пьесу он пронизал мраком, нарушив цельность впечатления. В ней должны быть свет и тьма» (Сегодня, 1907, № 328, 20 сентября).

Премьера «Жизни Человека» в Московском Художественном театре (постановка К. С. Станиславского и Л. А. Сулержицкого, музыка И. Саца) состоялась 12 декабря 1907 г. «Успех огромный,— отметил Станиславский в книге протоколов спектаклей,— много вызывали автора, и он выходил. Лично [мне] этот спектакль не дал удовлетворения. Вот почему я был холоден и недоволен собой» (*Пьесы,* с. 568). Андреевские новации были слишком далеки от традиций психологической драмы, культивировавшихся в МХТ. Не могла Станиславского удовлетворить и стилевая неровность «Жизни Человека», которую Андреев объяснял своими уступками привыкшей к «драматическим местечкам» публике.

В провинции постановки «Жизни Человека» вызвали яростную реакцию черной сотни. После скандала во время спектакля в Одессе, учиненного союзом «истинно русских», оскорбленных «богохульственным» образом Некоего в сером, управление по делам печати разослало циркуляр, предписывавший «дозволять к представлению пьесу «Жизнь Человека» только в том случае, если добросовестность антрепризы может служить ручательством надлежащего исполнения этой пьесы и если не имеется в виду причин, заставляющих опасаться нарушения порядка во время представления» (Театр и искусство, 1907, № 18, с. 291). Несмотря на протесты в печати, пьеса была запрещена местными властями Одессы, Харькова, Киева, Витебска, Вильны и ряда поволжских городов. Труппы Марджанова и Янова, гастролировавшие с «Жизнью Человека» по стране, понесли из-за этого большие убытки.

В декабре 1907 г. «Общество русских драматических писателей и оперных композиторов» (в его жюри входили А. Н. Веселовский, П. Н. Сакулин и Р. Ф. Брандт) присудило Андрееву за пьесу «Жизнь Человека» премию имени А. С. Грибоедова.

Реакция критики на пьесу и ее театральные постановки была

бурной, при абсолютной полярности оценок. Целый поток оскорблений выплеснул на Андреева и его произведение В. Буренин. «Наиболее фиглярствующий из теперешних ломак мнимого новаторства — г. Леонид Андреев, и наиболее шарлатанское из последних произведений этого ломаки — «Жизнь Человека»,— писал критик.— ⟨...⟩ Это какая-то виттова пляска в мнимо драматической форме, пляска тем более противная, что она притворная, деланная» (Новое время, 1907, № 11296, 24 августа). Разгромная рецензия Антона Крайнего (З. Н. Гиппиус) была выдержана в иных тонах: «Жизнь Человека» Л. Андреева — несомненно, самая слабая, самая плохая вещь из всего, что когда-либо писал этот талантливый беллетрист.⟨...⟩Л. Андреев еще глубок, когда не думает, что он глубокомыслен. А когда это думает — теряет все, вплоть до таланта.⟨...⟩Никогда мне не было так жалко Леонида Андреева» (Весы, 1907, № 5, с. 54—55).

Невысоко оценил «Жизнь Человека» и Лев Толстой. «Этот наивный, напускной пессимизм, что не так идет жизнь, как мне хочется...— говорил он.— Я много получаю писем таких, преимущественно от дам. Ни новой мысли, ни художественных образов» (Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 145).

Обвиняли Андреева и в реакционности, причем главным образом «справа», а не «слева». «Молодая публика, награждающая автора шумными овациями, разве она может, не кривя душою, признать в «настроении», каким проникнута «Жизнь Человека», что-либо отвечающее на ее судьбу, на подъем ее души, на ее массовую психику?⟨...⟩Позволим себе ответить за нее *отрицательно,*— писал известный романист П. Боборыкин (Слово, 1907, № 334, 19 декабря). Д. В. Философов в своей рецензии прямо и решительно ставил политическое клеймо: «Нечего себя обманывать: «Жизнь Человека» — одно из самых *реакционных* произведений русской литературы, и только наивное и бездарное русское правительство может ставить препоны к его распространению. Оно реакционно потому, что уничтожает всякий смысл жизни, истории» (Товарищ, 1907, № 266, 15 мая). Подходили к Андрееву и с позиций психиатрии: «Если он не душевнобольной, то во всяком случае ясно, что он обладает больной психикой. ⟨...⟩ Все «его люди» несчастные, искалеченные нравственно и физически, полуживые мертвецы, и весь мир его — бездонный склеп» (Кубе О. Кошмары жизни. Критико-психологический очерк о Л. Андрееве, Пшибышевском и других современных писателях. СПб., 1909, с. 26—27).

С такими отзывами резко контрастировали выступления А. Блока и А. Белого. «Я не могу забыть того подъема, с которым я читал это замечательное произведение. И когда мне говорят

о недостатках, хочется сказать: «Не в недостатках дело»! — писал А. Белый.—⟨...⟩Как сорвавшаяся лавина проносится перед нами «Жизнь Человека». Как сорвавшаяся лавина, вырастает в душе гордый вызов судьбе. Как сорвавшаяся, пухнущая лавина растет, накипает в сердце рыдающее отчаяние.⟨...⟩Спасибо, спасибо художнику, который раскрыл перед нами пропасти бытия и показал перед ними гордого *человека*, а не *идиота*. ⟨...⟩ «Жизнь Человека» Л. Андреева принадлежит к тому немногому, на что мы можем с гордостью опираться среди многообразного печатного хлама последнего времени» (Перевал, 1907, № 5, с. 51).

«Да, отчаяние *рыдающее,*— подхватывал А. Блок,— которое не притупляет чувства и воли, а *будит,* потому что проклятия человека так же громки и победоносны, как проклятия Иуды из Кариота... И эти вопли будили и будут будить людей в их тяжелых снах» (*Блок,* с. 108). Блок нашел в пьесе не болезнь, не реакционность и не пессимизм, а «твердую уверенность, что *победил Человек*, что *прав* тот, кто вызывал на бой неумолимую, квадратную, проклятую судьбу. «Литературные произведения,— писал он,— давно не доставляли таких острых переживаний, как «Жизнь Человека». Да — тьма, отчаяние. Но — свет из тьмы ⟨...⟩» (*Блок,* с. 192).

«Шедевром Андреева» назвал эту пьесу и А. В. Луначарский (Вестник жизни, 1907, № 3, с. 102). Социологическая критика в лице В. Фриче нашла, что «Жизнь Человека» — типическая трагедия мещанина, трагедия всего мещанства» (Ф р и ч е В. Леонид Андреев (Опыт характеристики). М., 1909, с. 37). Общим местом критических отзывов было сравнение пьесы с русским лубком и европейским символизмом (прежде всего — с произведениями М. Метерлинка), а также указание на ее стилевую невыдержанность, создающую «впечатление как бы обширной пустыни лишь с несколькими оазисами» (Б а т ю ш к о в Ф. Современный мир, 1907, № 3, отд. II, с. 82).

В 4-м альманахе «Шиповника» (СПб., 1908) Андреев опубликовал новый вариант пятой картины «Жизни Человека», предпослав ему обстоятельный автокомментарий-примечание, в котором изложил причины создания и суть новой трактовки финала пьесы. Критика отметила неблагоприятную для цельного восприятия произведения форму подачи этого варианта — отдельно от основного текста. Литературный обозреватель «Русского богатства» поставил также под сомнение целесообразность подобных изменений, призванных, по замыслу автора, завершить «всеобъемлющее изображение человеческой жизни». Последнего, утверждал критик, никакой художественный образ, даже самый типический, дать не может, и «если художник станет на путь вариантов, он будет го-

няться за своей тенью, вечно изменчивой, ибо вечно изменчив он сам» (Русское богатство, 1908, № 5, отд. II, с. 153).

«Жизнь Человека» переводилась на иностранные языки и ставилась зарубежными театрами.

С. 459. *Нет, Бог не допустит этого.*— Андреев часто использовал скрытые цитаты из произведений Ф. Достоевского (сравни реплики Сонечки Мармеладовой из «Преступления и наказания).

А. В. Богданов



СОДЕРЖАНИЕ

Андреев Л. Н.
А65 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Рассказы; Пьесы. 1904—1907/Редкол.: И. Андреева, Ю. Верченко, В. Чуваков; Сост. и подгот. текста Е. Жезловой; Коммент. А. Богданова.— М.: Худож. лит., 1990.— 559 с.
ISBN 5-280-00979-2 (Т. 2)
Во второй том собрания сочинений вошли рассказы и пьесы 1904—1907 гг.

А $\frac{4702010101\text{-}157}{028(01)\text{-}90}$ Подписное ББК 84Р1

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Том второй

Редактор
В. АВДЕЕНКО

Художественный редактор
Г. МАСЛЯНЕНКО

Технический редактор
Н. КОШЕЛЕВА

Корректоры
Б. ТУМЯН, Т. ФИЛИППОВА

ИБ № 5689

Сдано в набор 17.07.89. Подписано к печати 05.04.90. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура Тип. «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4+1 вкл.+альб.=30,29. Усл. кр.-отт. 31,6. Уч.-изд. л. 33,12+1 вкл.+альб.= =33,84. Тираж 300 000 экз. Изд. № II-3531. Заказ 201. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

